ДЕТЕКТИВ И ПОЛИТИКА

Издание Московской штаб-квартиры
Международной ассоциации
«Детектив и Политика»
(МАДПР)



3/1991

Издание
Московской штаб-квартиры
Международной ассоциации
«Детектив и Политика»
(МАДПР)

ДЕТЕКТИВ И ПОЛИТИКА

Выпуск 3(13) 1991

Издается с 1989 года

СОДЕРЖАНИЕ



Москва, 1991

ББК 94.3
Д 38

ДЕТЕКТИВ И ПОЛИТИКА

ВЫПУСК 3

Ответственный за выпуск Мордвинцева Н.Б.
Редактор Морозов С.А.
Художники Бегак А.Д., Прохоров В.Г.
Художественный редактор Хисиминдинов А.И.
Младший редактор Тарасова Е.Б.
Корректоры Агафонова Л.П., Устинова Л.В.
Технический редактор Денисова А.С.
Технолог Володина С.Г.
Наборщики Благова Т.В., Орешенкова Р.Е.

Сдано в набор 13.04.91. Подписано в печать 24.10.91. Формат издания 84×108 1/32. Бумага газетная. Гарнитура универс. Печать офсетная. Усл. печ. л. 18,48. Уч.-изд. л. 23,64. Тираж 25 000. Заказ 1650. Изд. № 8902.

Московская штаб-квартира МАДПР
103786, Москва, Зубовский б-р, 4

Восточно-Сибирское отделение «Зорге» МШК МАДПР
Иркутск, ул. Горького, 32а.

Отпечатано с готовых диапозитивов в Иркутском Доме печати.
664009, Иркутск, ул. Советская, 109.

Детектив и политика. — Вып. 3. — М.: Изд-во "Новости", 1991. — 352 с.

ISSN 0235—6686

4700000000
067 (02)—91 Без объявл.

СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Дик Фрэнсис

НЕРВ

1

Арт Метьюз застрелился в центре парадного круга на скачках в Данстейбле. Застрелился вызывающе, на глазах у всех.

Я стоял в двух метрах от него, но он выстрелил так быстро, что, если бы я был и в двух сантиметрах, я бы не успел помешать ему.

Из раздевалки он вышел передо мной, глубоко погруженный в свои мысли, низко опустив голову и сгорбив узкие плечи под курткой цвета хаки, которую он набросил поверх жокейской формы. Я заметил его, когда он слегка запнулся на дорожке в двух шагах от весовой. Когда до парадного круга оставалось несколько метров, кто-то заговорил с ним, и было очевидно, что он не слышит. Обычный путь от весовой до парадного круга, обычные скачки в ряду сотен других. Когда он стоял и разговаривал минуты две-три с владельцем и тренером лошади, ничего не предвещало трагедии. Потом он сбросил куртку и, пока она падала на землю, приставил дуло большого автоматического пистолета к виску и спустил курок.

Без колебаний. Без последнего "прости". Сразу после заключительного взвешивания. Беспричинность его поступка так же потрясала, как и результат.

Он даже не закрыл глаза, и они были еще открыты, когда он падал вперед. Я слышал звук, с каким его лицо ударилось о траву, и шлем покатился по земле. Пуля прошла насквозь и вышибла кусок черепа, откуда выпирало кровавое месиво из кожи и мозгов.

Щелчок выстрела эхом раскатился по паддоку, отражаясь от высокой задней стены трибун. Головы вопросительно повернулись, оживленный гул и шум голосов зри-

телей, выстроившихся в три ряда вдоль забора, постепенно затихал и наконец замолк, когда они осознали потрясающий, невероятный факт: все, что осталось от Арта Метьюза, лежало, уткнувшись лицом в ярко-зеленую скаковую дорожку.

Корин Келлар, тренер, опустился на одно колено и тряс Арта за плечо, будто мог проснуться тот, у кого снесена половина головы.

Солнце ярко светило, сиял голубой и оранжевый шелк на спине Арта, на его бриджах не было ни пятнышка, начищенные ботинки отсвечивали мягким глянцем. У меня мелькнула неуместная мысль: Арт порадовался бы — от шеи до ботинок он выглядел так же безукоризненно, как всегда.

Два распорядителя спешили к нам и остановились как вкопанные, уставясь на голову Арта. От ужаса у них отвисли челюсти и сузились глаза. Они были обязаны стоять в парадном круге перед каждой скачкой, пока проводят лошадей для того, чтобы принимать решение в случае каких-либо нарушений правил. Думаю, нарушение, подобное самоубийству первоклассного жокея стипль-чеза, никогда не случалось в их практике.

Старший из них, лорд Тирролд, высокий худой человек, прирожденный администратор, наклонился над Артом, чтобы ближе его рассмотреть. Я увидел, как исказилось его лицо, он взглянул на меня через тело Арта и спокойно сказал:

— Конец... принесите чепрак.

Я прошел шагов двадцать по парадному кругу, туда, где стояла одна из лошадей, которой предстояло участвовать в этой скачке. Ее окружали владелец, тренер и жокей. Не говоря ни слова, тренер снял с лошади чепрак и протянул мне.

— Метьюз? — с сомнением спросил он.

Я кивнул, поблагодарил за чепрак и пошел назад.

Другой распорядитель, угрюмый, похожий на тупого быка человек по имени Боллертон, извергал завтрак — я был почти рад это видеть, — теряя заботливо хранимое достоинство.

Корин Келлар так и водил рукой ото лба к подбородку, все еще стоя на одном колене возле своего жокея. В лице ни кровинки, руки трясутся. Он тяжело воспринял смерть Арта.

Я протянул один конец ковра лорду Тирролду, и мы мягко опустили его на труп Арта. Лорд Тирролд постоял с минуту, глядя вниз на неподвижную коричневую фигуру, затем взглянул на группу жокеев, которые должны были участвовать в этом заезде. Он подошел к ним, что-то ска-

зал, и сразу же конюхи повели всех лошадей с парадного круга назад в денники.

Я смотрел на Корина Келлара, на его страдание и думал, что он его вполне заслужил. Хотел бы я знать, как чувствует себя человек, который понимает, что довел другого до самоубийства.

В громкоговорителе щелкнуло, и голос объявил: в связи с тем, что на парадном круге произошел серьезный несчастный случай, две последние скачки отменяются, а завтрашняя программа состоится, как и планировалось; теперь же всех просят оказать любезность и идти домой.

Бедный Арт. Бедный, затравленный, загнанный в угол Арт, разделавшийся со своими несчастьями с помощью кусочка свинца.

Атмосфера в раздевалке была почти безмятежная, явно от перенесенного шока. Среди жокеев Арт, по всеобщему согласию, занимал позицию старшего и умудренного опытом, хотя ему не было и тридцати пяти. С ним считались и его уважали. Сдержанный, иногда даже замкнутый, но честный человек и хороший жокей. Его единственной явной слабостью, над которой мы с удовольствием подтрунивали, было убеждение, что в проигранной скачке всегда виноваты какие-то изъяны у лошади или недостатки в системе тренировок, и ни в коем случае не он сам. Мы все прекрасно знали, что Арт не исключение из правил, и каждый жокей в какой-то степени предвзято оценивает прошедшую скачку, но он никогда не признавал свою вину и каждый раз, когда его призывали к ответу, мог привести убедительные доказательства.

— Слава богу, — сказал Тик-Ток Ингерсолл, стягивая с себя свитер в голубую и черную полоску, — Арт хорошо рассчитал и позволил нам всем взвеситься перед скачкой, прежде чем пустить себе пулю в лоб. Если бы он это сделал на час раньше, у нас у всех в кармане было бы на десять фунтов меньше.

Тик-Ток был прав. Наш гонорар за каждую скачку начисляется сразу же после того, как мы становимся на весы. Если вес жокея соответствует правилам, ему автоматически выплачиваются деньги, независимо от того, участвовал он в скачке или нет.

— В таком случае, — заметил Питер Клуни, — нам следует вложить половину в фонд его вдовы. — Клуни, маленький спокойный молодой человек, быстро проникался жалостью и быстро забывал о ней как по отношению к другим, так и к себе.

— Ну и глупо, — возмутился Тик-Ток, откровенно не любивший Клуни. — Для меня десять фунтов — это десять фунтов, а у миссис Метьюз их и без того хватает. И она задирает из-за этого нос.

— В знак уважения к Арту, — настаивал Питер, обводя нас полными слез глазами и осторожно избегая воинственного взгляда юного Тик-Тока.

Я симпатизировал Тик-Току и тоже нуждался в деньгах. Кроме того, миссис Метьюз относилась ко мне — впрочем, как и ко всем другим рядовым жокеям — с особенной обжигающей холодностью. Пять фунтов в память Арта едва ли заставят ее оттаять. Бледная, с соломенными волосами, бесцветными глазами, она была настоящая снежная королева, подумал я.

— Миссис Метьюз не нуждается в наших деньгах, — сказал я. — Давайте лучше купим венок и, может, еще что-нибудь полезное в память об Арте, такое, что он бы одобрил.

Худощавое лицо юного Тик-Тока выразило восхищение. Питер Клуни взглянул на меня с печальным упреком. Но все остальные кивали в знак согласия.

Грант Олдфилд сказал со злобой:

— Может, он и застрелился потому, что эта бесцветная ведьма сбросила его с постели.

Наступило несколько обескураженное молчание. Год назад, мелькнула у меня мысль, год назад мы скорей всего засмеялись бы. Но год назад Грант Олдфилд сказал бы то же самое и, возможно, так же грубо, ради забавы, а не с такой безобразной, мрачной злобой.

Я понимал, да и все мы понимали, что Грант не знал да и вовсе не хотел знать подробности семейной жизни Арта, но последние месяцы Гранта будто пожирала какая-то внутренняя злоба, каждая самая обыденная его фраза просто сочилась ядом. Мы видели причину в том, что он покатился по лестнице вниз, даже не поднявшись доверху. По характеру он был очень честолюбив и безжалостен, и это помогало ему совершенствоваться в жокейском ремесле. Но в какой-то момент на гребне успеха, когда он привлек внимание публики вереницей побед и начал регулярно работать для Джеймса Эксминстера, одного из самых высококлассных тренеров, что-то случилось: Грант потерял работу у Эксминстера, и другие тренеры нанимали его все реже и реже. Несостоявшийся заезд был у него сегодня единственным.

Грант был смуглый, волосатый, крепко скроенный мужчина лет тридцати, с высокими выступающими скулами и широким носом с постоянно раздувающимися ноздрями. Мне приходилось проводить в его компании гораздо больше времени, чем хотелось бы, потому что моя вешалка в раздевалке почти на всех скачках была рядом с его и нашу форму приводил в порядок один и тот же гардеробщик. Грант, не задумываясь, брал мои вещи, не спрашивая и не благодаря, и если он что-нибудь по-

ртил, то всегда заявлял, что ничего не трогал. Когда я впервые встретил его, меня забавлял его иронический юмор, но два года спустя, к тому времени, когда умер Арт, меня уже тошнило от взрывов его настроения, грубости и злобного характера.

За шесть недель, с начала нынешнего сезона, несколько раз я видел, как Грант стоит с вытянутой вперед головой и в недоумении разглядывает все вокруг, будто бык, с которым играет матадор. Бык, измученный борьбой с куском ткани, бык, сбитый с толку и сокрушенный. Вся его удивительная сила истрачена на пустяки, которые он не может проткнуть рогами. Конечно, в такие моменты мне было жаль Гранта, но в остальное время я старался держаться от него подальше.

После злобного предположения Гранта мы замолчали. В этот момент один из служащих ипподрома спустился в раздевалку и, увидев меня, крикнул:

— Финн, вас хотят видеть распорядители!

— Сейчас? — переспросил я, стоя в рубашке и трусах.

— Сию же минуту, — усмехнулся он.

— Хорошо. — Я быстро оделся, пригладил щеткой волосы, через весовую прошел к двери распорядителей и постучал.

Все трое распорядителей, секретарь скачек и Корин Келлар сидели за большим продолговатым столом на неудобных на вид стульях с прямыми спинками.

Лорд Тирролд сказал:

— Проходите и закройте дверь.

Я так и сделал.

Он продолжал:

— Я знаю, что вы стояли рядом с Метьюзом, когда он... мм... застрелился. Вы действительно видели, как он сделал... это? Я имею в виду, вы видели, как он вытащил пистолет и приставил к виску, или вы посмотрели на него, только услышав выстрел?

— Я видел, как он вытащил пистолет и приставил его к виску, сэр.

— Очень хорошо, в таком случае полиция, наверно, захочет получить ваши показания, пожалуйста, не уходите из весовой, пока они не встретятся с вами. Мы ждем инспектора, он вернется сюда из комнаты первой помощи.

Кивком он отпустил меня, но, когда я уже взялся за ручку двери, спросил:

— Финн... вы не знаете, что могло бы подтолкнуть Метьюза уйти из жизни?

Я слишком долго колебался, прежде чем обернулся и твердо сказал: "Нет". И эта лишняя доля секунды сделала мой ответ неубедительным. Я посмотрел на Корина Келлара, занятого изучением собственных ногтей.

— Мистер Келлар может знать, — неуверенно проговорил я.

Распорядители переглянулись. Мистер Боллертон, все еще бледный от приступа тошноты, вызванной видом тела Арта, сделал отметающий жест рукой и сказал:

— Не считаете же вы, будто мы поверим, что, мол, Метьюз застрелился просто потому, что Келлар был неудовлетворен его работой? — Он посмотрел на других распорядителей и продолжал, подчеркивая каждое слово: — В самом деле, если эти жокеи до того зазнались, что не могут вынести немного явно заслуженной критики, то им самое время искать другое занятие. Но предполагать, что Метьюз покончил самоубийством из-за пары неприятных слов, — безответственно и вредно.

В этот момент я вспомнил, что лошадь Арта, которую тренировал Корин Келлар, принадлежала именно Боллертону. "Неудовлетворен его работой". Бесцветная фраза, какую он использовал для описания целого ряда язвительных стычек между Артом и тренером после скачек, вдруг показалась мне неуклюжей попыткой скрыть беспокойство. "Вы знаете, почему Арт застрелился, — подумал я, — и вы были одной из причин, но не хотите признаться в этом даже себе".

Я снова взглянул на лорда Тирролда и обнаружил, что он задумчиво изучает меня.

— Это все, Финн? — спросил он.

— Да, сэр.

Я вышел, и на этот раз они не задержали меня, но я еще был в весовой, когда дверь снова открылась, и я услышал голос Корина за своей спиной:

— Роб!

Я обернулся и подождал его.

— Весьма благодарен, — саркастически начал он, — за эту маленькую свинью, которую вы мне подложили.

— Вы уже сказали им об этом, — заметил я.

— Конечно, сказал.

Он все еще выглядел потрясенным, морщины на худом лице стали глубже. Келлар исключительно умный тренер, но вспыльчивый и ненадежный человек, который сегодня предлагает дружбу на всю жизнь, а завтра становится смертельным врагом. Но теперь, похоже, он сам нуждался в утешении.

Он заговорил:

— Уверен, что вы и другие жокеи не верят, будто Арт застрелился потому... ну... что я решил меньше занимать его на скачках? У него должны быть другие причины.

— Но в любом случае сегодня он работал бы как ваш жокей последний раз, разве не так? — спросил я.

Он с минуту поколебался и затем кивнул, удивленный,

что я знаю эту новость. Я не сказал Келлару, что накануне вечером столкнулся с Артом на автостоянке; горькое отчаяние, жгучая печаль, разъедавшие его от чувства несправедливости, пересилили обычную сдержанность Арта, и он признался мне, что Келлар отказал ему в работе.

Я только сказал:

— Метьюз застрелился потому, что вы его уволили, и он сделал это у вас на глазах, чтобы вы испытали раскаяние. Это, если вас интересует, и есть мое мнение.

— Но люди не кончают самоубийством из-за того, что потеряли работу! — воскликнул он с легким раздражением.

— Нет, если они нормальные, не кончают, — согласился я.

— Каждый жокей знает, что рано или поздно ему придется уйти. И Арт был уже слишком стар... должно быть, он был сумасшедший.

— Возможно, — сказал я и ушел. А он остался стоять, пытаясь убедить себя, что не несет ответственности за смерть Арта.

Вернувшись в раздевалку, я с удовольствием отметил, что Грант Олдфилд уже оделся и ушел домой. Ушли и другие жокеи, гардеробщики сортировали грязные белые бриджи и укладывали в большие плетеные корзины шлемы, ботинки, хлысты и другую экипировку.

Тик-Ток, насвистывая сквозь зубы последний хит, сидел на скамейке и натягивал модные желтые носки. Рядом стояли начищенные остроносые ботинки, достающие до лодыжки. Он болтал стройными ногами в темных твидовых брюках (без манжет) и, почувствовав мой взгляд, поднял глаза и усмехнулся.

— В журнале "Портной и закройщик" вас поместят в рубрику "Идеальный парень", — проговорил он.

— Мой отец в свое время, — вежливо ответил я, — входил в число "Двенадцати самых хорошо одетых мужчин Британии".

— Мой дед носил плащ из шерсти ламы.

— Моя мать, — я продолжал игру, — носила только итальянские рубашки.

— А моя, — осторожно вставил он, — стряпала в них на кухне.

Мы перекидывались детскими фразами, глядя друг на друга и наслаждаясь юмором ситуации. Пять минут в обществе Тик-Тока действовали так же, как стакан чаю с ромом на замерзшего человека. Его способность беззаботно радоваться жизни заражала всех, кто был рядом с ним. Пусть Арт погиб, не вынеся позора, пусть мрак окутывает душу Гранта Олдфилда, но пока юный Ингерсолл так ве-

село щебечет, подумал я, королевству скачек не грозит беда.

Он помахал мне рукой, поправил модную тирольскую шляпу, сказал: "До завтра" — и ушел.

И все же в королевстве скачек было неблагополучно. Очень неблагополучно. Я не понимал, в чем дело. Мне были видны лишь симптомы, но их я видел все более и более ясно — возможно, потому, что всего два года, как включился в игру. Казалось, что тренеры и жокеи постоянно раздражены друг другом, скрываемая вражда неожиданно прорывалась наружу и положение ухудшалось, затаенная обида и недоверие перетекали от одного к другому. Положение хуже, думал я, чем в обычных джунглях за кулисами любого бизнеса, построенного на яростной конкуренции, хуже, чем в таком же королевстве беговых конюшен, лошадей и серых фланелевых костюмов. Но Тик-Ток — ему одному я высказал свои подозрения, — не раздумывая, отмел их.

— Вы, должно быть, настроены на неправильную волну, дружище, — воскликнул он. — Сколько улыбок вокруг! Улыбайтесь. По-моему, жизнь прекрасна!

Последние шлемы и ботинки исчезли в корзинах. Я выпил вторую чашку тепловатого чая без сахара и пожирал глазами куски фруктового кекса. Как всегда, потребовалось большое усилие, чтобы не съесть ни кусочка. Единственная вещь, которая не нравилась мне в скачках, — это постоянный голод, и сентябрь — плохое время года: еще оставалась летняя полнота и приходилось голодать, чтобы войти в норму. Я вздохнул, с сожалением отвел глаза от кекса и утешил себя тем, что в следующем месяце аппетит вернется на зимний уровень.

Мой гардеробщик, молодой Майк, закричал с лестницы:

— Роб, здесь полицейский, он хочет видеть вас.

Я поставил чашку и вышел из раздевалки. Неприметного вида полицейский средних лет ждал меня с блокнотом в руке.

— Роберт Финн? — спросил он.

— Да.

— Я узнал от лорда Тирролда, что вы видели, как Артур Метьюз приставил пистолет к виску и спустил курок?

— Да, — согласился я.

Он сделал пометку в блокноте и произнес:

— Это очень простой случай самоубийства. Тут не потребуется больше одного свидетеля, кроме доктора и, может быть, мистера Келлара. Не думаю, что нам придется беспокоить вас в дальнейшем. — Он чуть улыбнулся, закрыл блокнот и положил его в карман.

— Это все? — спросил я довольно безучастно.

— Да, все. Когда человек вот так убивает себя при публике, как в данном случае, здесь нет вопроса о несчастном случае или убийстве. Спасибо, что вы подождали меня, хотя это была идея ваших распорядителей, не моя. Ну тогда всего доброго. — Он кивнул, повернулся и пошел к комнате распорядителей.

2

Дома в Кенсингтоне* никого не было. Как обычно, гостиная выглядела так, будто совсем недавно на нее налетел небольшой торнадо. На рояле матери громоздились партитуры, некоторые из них каскадом упали на пол. Пюпитры в позе пьяниц валялись вдоль стены, выставив треугольники ног, на одном из них висел скрипичный смычок. Сама скрипка опиралась на спинку кресла, а ее футляр лежал на полу сзади, виолончель и ее футляр стояли рядом около дивана, бок о бок, будто любовники. Гобой и два кларнета прижались друг к другу на столе. Неряшливая, застывшая музыка. И по всей комнате, на всех стульях, принесенных из спальни и заполнявших свободное пространство пола, белел богатый выбор шелковых носовых платков, канифоль и дирижерские палочки.

Пробежав опытным взглядом по разбросанным вещам, я определил, что недавно тут музицировали мои родители, два дяди и кузен. И поскольку они никогда не уезжали далеко без инструментов, я мог безошибочно утверждать, что квинтет отправился на небольшую прогулку и очень скоро вернется. Я с удовольствием подумал, что в моем распоряжении небольшой антракт.

Проделав себе проход, я выглянул в окно. Никаких признаков возвращения Финнов. Квартира занимала верхний этаж дома, двумя-тремя улицами отделенного от Гайд-парка, и через гребни крыш я мог видеть, как вечернее солнце бьет в зеленый купол Альбертхолла. Позади него высился темный массив Королевского института музыки, где преподавал один из моих дядей. Полные воздуха апартаменты, штаб-квартиру семьи Финнов, отец снимал из экономии, так как они были расположены вблизи того места, где все Финны время от времени работали.

Один я остался не у дел. Я не унаследовал талантов, которыми так щедро наделена родня обоих моих родителей. Они с горечью убедились в этом, когда мне было четыре года и я не смог отличить звуки гобоя от английского рожка. Для непосвященного, может, и нет между ними большого различия, но отец имел счастье быть гобоистом

---

* Фешенебельный район Лондона, где живут артисты, музыканты, художники. (*Здесь и далее — прим.пер.*)

с мировой славой, и все другие музыканты мечтали сравняться с ним. К тому же музыкальный талант, если он есть, проявляется у ребенка в самом раннем возрасте, гораздо раньше, чем другие врожденные способности, и в три года (когда Моцарт начал сочинять музыку) на меня концерты и симфонии производили меньше впечатления, чем шум, создаваемый мусорщиками, когда они опрокидывали в машину бачки.

К тому времени, когда мне исполнилось пять лет, огорченные родители вынуждены были признать тот факт, что их ребенок, зачатый по ошибке (я стал причиной того, что пришлось отменить важные гастроли по Америке), оказался немузыкальным.

Моя мать никогда ничего не делала наполовину, поэтому меня между занятиями в школе постоянно отправляли куда-нибудь к знакомым фермерам под предлогом укрепления здоровья, но на самом деле, как я позже понял, чтобы освободить родителей для сложных и длительных гастрольных поездок. Пока я рос, между нами установились отношения, скрепленные своего рода мирным договором, по которому подразумевалось, что, поскольку родители не намерены ставить ребенка на первое место и он для них значит меньше, чем музыкальная репутация (то есть где-то на втором плане), то, чем реже мы видимся, тем лучше.

Они не одобряли мой рискованный выбор жокейской профессии лишь по одной причине: скачки не имели ничего общего с музыкой. Бесполезно было объяснять им, что единственное, чему я научился на фермах во время всевозможных каникул, — это ездить верхом (я был все же сыном своего отца, и фермерство вызывало во мне отвращение и тоску) и что моя нынешняя профессия — прямой результат их действий в прошлом. К тому, что они не хотели слушать, мои родители, наделенные абсолютным слухом, были высокомерно глухи.

Я пошел к себе в спальню и окинул взглядом маленькую комнату со скошенным потолком, переделанную для меня из чулана, когда я вернулся домой после своих странствий. Кровать, комод, кресло, стол и на нем лампа. Импрессионистский набросок скачущей лошади на стене напротив кровати. Никаких безделушек, несколько книг, абсолютный порядок. За те шесть лет, что я скитался по свету, я привык обходиться минимумом вещей, и, хотя я занимал эту маленькую комнату уже два года, я ничего не добавил в нее.

Я переоделся в джинсы, старую полосатую рубашку и задумался, чем занять время до следующих скачек. Беда была в том, что стипль-чез вошел мне в кровь, подобно страсти к наркотикам, так что все обычные удовольствия

стали просто способом провести время, отделяющее одни скачки от других.

Желудок подал сигнал чрезвычайного бедствия: последний раз я ел двадцать три часа назад. Я отправился в кухню. Но прежде чем я дошел до нее, парадная дверь с шумом открылась и в дом ввалились мои родители, дяди и кузен.

— Привет, дорогой, — бросила мама, подставляя для поцелуя нежную, приятно пахнувшую щеку. Так она приветствовала всех, от импресарио до хористов из задних рядов. Материнство не было ее стихией. Высокая, стройная, шикарная; ее стиль казался небрежным, но родился в результате серьезного обдумывания и больших затрат. По мере приближения к пятидесяти она становилась все более и более "современной". Как женщина она была страстная и темпераментная, как артистка — первоклассный инструмент для интерпретации гения Гайдна, его фортепианные концерты она исполняла с магической, щепетильной, экстатической точностью. Я видел, как самые суровые музыкальные критики выходили с ее концертов со слезами на глазах. Поэтому я никогда не ждал, что на широкой материнской груди найду утешения в моих детских горестях, и никогда не ждал возвращения мамы, которая испечет сладкий пирог и заштопает носки.

Отец, всегда относившийся ко мне с деликатным дружелюбием, спросил в форме приветствия:

— У тебя был хороший день?

Он всегда так спрашивал, и я отвечал "да" или "нет", зная, что на самом деле его это не интересует.

Я ответил:

— Я видел, как застрелился человек. Нет, это был нехороший день.

Пять голов повернулись в мою сторону.

Мать воскликнула:

— Дорогой, что ты имеешь в виду?

— Жокей застрелился на скачках. Он стоял меньше чем в двух метрах от меня. Это было ужасно.

Все пятеро теперь стояли и смотрели на меня, раскрыв рот. Лучше бы я не говорил им, в воспоминаниях все казалось гораздо страшнее, чем тогда.

Но на них это не подействовало. Дядя, "виолончель", со щелчком закрыл рот, вздрогнул и пошел в гостиную, бросив через плечо:

— Раз ты ходишь на такие эксцентричные гонки...

Мать проводила его глазами. Когда он поднимал свой инструмент, прислоненный к дивану, раздался звук басовой струны. И это подействовало на остальных, как неотвратимое притяжение магнита, они потянулись за ним. Только кузен в задумчивости задержался на несколько

минут, оторванных от Искусства, затем и он вернулся к своему кларнету.

Я прислушался: они рассаживались, пододвигали пюпитры, настраивали инструменты. Потом начали играть быструю пьесу для струнных и деревянных духовых, которую я особенно не любил. Квартира вдруг стала невыносимой. Я вышел, спустился вниз на улицу и отправился не зная куда.

Было только одно место, куда я мог пойти, если мне хотелось покоя, но я не позволял себе приходить туда часто из опасения, что наскучу своими визитами. Прошел уже целый месяц, как я не видел кузину Джоанну, и мне было необходимо ее общество. Необходимо. Вот единственно правильное слово.

Она открыла дверь с обычным выражением веселого и доброго гостеприимства на лице.

— Вот это да! Привет! — сказала она улыбаясь. Я последовал за ней в большой перестроенный каретный сарай, который служил ей гостиной, спальней и комнатой для репетиций одновременно. Половина крыши была скошена и застеклена, и сквозь нее еще проходил свет заходящего вечернего солнца. Размеры и относительная пустота помещения вызывали необычный акустический эффект: если говорить громко, создавалось впечатление, что голос доносится из соседней комнаты; если же кто-нибудь пел — а Джоанна пела, — то возникала полная иллюзия отдаленности и усиления звука, отраженного бетонными стенами.

Голос у Джоанны был глубокий, чистый и звучный. Когда она пела драматические пассажи, то при желании она украшала их нарочитой хрипотой, и получалось очень эффектное подражание звуку надтреснутого колокола. Джоанна могла бы сделать состояние на исполнении блюзов, но она родилась в семье истинно классических музыкантов, в семье Финнов, поэтому о коммерческом использовании таланта не могло быть и речи. Блюзам она предпочитала песни, которые мне представлялись немелодичными и не приносящими вознаграждения, хотя она, казалось, добилась приличной репутации среди людей, любивших такого рода музыку.

Джоанна встретила меня в старых джинсах и черном свитере, измазанном кое-где краской. На мольберте стоял полузаконченный портрет мужчины, и рядом на столе лежали кисти и краски.

— Я пробую теперь писать маслом, — сказала она, взяв кисть и сделав несколько мазков, — но, черт побери, не очень хорошо получается.

— Продолжай работать углем, — заметил я. Когда-то она нарисовала легкими линиями скачущих лошадей, ни-

чего общего не имевших с анатомией, но полных жизни и движения, которые висели теперь в моей комнате.

— Но все же я его закончу, — не согласилась Джоанна.

Я стоял и наблюдал за ней. Она выдавила немного кармина и, не глядя на меня, спросила:

— Что случилось?

Я не отвечал. Рука с кистью остановилась в воздухе, она обернулась и спокойно разглядывала меня несколько секунд, потом сказала:

— Там на кухне есть бифштекс.

Читает мысли моя кузина Джоанна. Я усмехнулся и отправился в узкую длинную пристройку с покатой крышей, где она принимала ванну и стряпала себе еду. Там я нашел большой кусок мяса, поджарил его с парой помидоров, сделал французский соус для салата, который, уже приготовленный, лежал в миске. Когда мясо поджарилось, я разделил его на две части и вернулся к Джоанне. Пахло оно удивительно.

Она положила кисть, вытерла руки о джинсы и села есть.

— Должна сказать тебе, Роб, одну вещь. Ты готовишь настоящий бифштекс, — проговорила она, набив рот.

— Благодарю, пустяки, — проурчал я с полным ртом.

Мы съели все до крошки. Я закончил первый и сидел, откинувшись в кресле, наблюдая за ней. У нее было очаровательное лицо, полное силы и характера, с прямыми темными бровями. Она отбросила назад волнистые, подстриженные якобы в художественном беспорядке волосы, но на лоб все равно упала небрежная вьющаяся челка.

В моей кузине Джоанне таится причина, почему я не женат, если можно говорить о причине в двадцать шесть лет. Она старше меня на три месяца, и это дает ей преимущество всю нашу жизнь, и очень жаль, потому что я влюблен в нее еще с пеленок. Я несколько раз просил ее выйти за меня замуж, но она всегда говорила "нет". Во-первых, кузены, твердо объяснила она, слишком близкие родственники. И кроме того, добавляла она, я не волную ей кровь.

Во всяком случае, два других претендента успели больше, чем я. Оба они музыканты. И каждый из них самым дружеским образом рассказывал мне, какая Джоанна великолепная любовница, как она углубляет их восприятие жизни, дает удивительную силу их музыкальному вдохновению, открывает новые горизонты, и так далее и тому подобное. Они оба были довольно хорошо откормленными мужчинами с безусловно красивыми лицами. В первом случае мне было восемнадцать, и я сразу же в отчаянии уехал в чужие края и не возвращался в течение

шести лет. Во втором случае я отправился в буйную компанию и напился первый и единственный раз в жизни. Оба приключения прошли не без пользы, дали хороший урок, но не излечили меня от любви.

Она отодвинула пустую тарелку и сказала:

— Ну а теперь в чем дело?

Я рассказал об Арте. Она внимательно слушала и, когда я закончил, проговорила:

— Несчастный человек. И несчастная его жена... Почему он это сделал, как ты думаешь?

— Наверно, потому, что потерял работу. Арт так любил совершенство во всем. И он был слишком гордый... Он никогда не признавал, что допустил какую-то ошибку... Думаю, он просто не мог смотреть в лицо людям, которые знали, что ему дали пинка. Но странная вещь, Джоанна, для меня он оставался таким же совершенством, как и раньше. Я понимал, что ему тридцать пять, но ведь это не старость для жокея, и, хотя все видели, как он и Корин Келлар, тренер, который его уволил, страшно ссорились, если их лошади проигрывали, Арт ничего не утратил в своем стиле, его мог бы нанять кто-нибудь, пусть и не в такие престижные конюшни, как у Корина.

— Я правильно поняла, ты считаешь, что смерть для него была предпочтительнее сползания вниз?

— Да, похоже, что так.

— Надеюсь, когда придет твое время уходить, ты не будешь пользоваться такими сильнодействующими средствами, — заметила она. Я улыбнулся, и она добавила: — Кстати, что ты думаешь делать, когда уйдешь?

— Уйду? Я еще только начинаю, — удивился я.

— И через четырнадцать лет ты станешь второразрядным, разбитым, желчным сорокалетним человеком, слишком старым, чтобы начать жизнь снова, и не имеющим ничего за душой, кроме воспоминаний о лошадях, которые никто не хочет слушать. — В ее голосе звучала досада и раздражение от нарисованной перспективы.

— И с другой стороны, ты, — подхватил я, — будешь толстое, средних лет контральто дублирующего состава, которое боится потерять внешность и озабочено тем, что голосовые связки все больше и больше теряют эластичность и уходит точность звучания.

— Какая мрачная перспектива, — засмеялась Джоанна. — Но я понимаю тебя. И потому не пытаюсь разочаровать в твоей работе, хотя она и не дает будущего.

— Но будешь продолжать отговаривать по другим причинам?

— Конечно. Это по сути пустое, непродуктивное, эскапистское* занятие, и оно побуждает людей растрачивать время и деньги на несущественное...

— Например, на музыку.

Она взглянула на меня:

— За это ты сейчас пойдешь и вымоешь посуду.

Пока я отбывал наказание за самую страшную ересь, возможную в семье Финнов, она снова занялась портретом, но наступили сумерки, и, когда я пришел с миром, предложив ей только что сделанный кофе, она оставила портрет до следующего дня.

— У тебя телевизор работает? — спросил я, вручая ей чашку.

— Наверное, работает.

— Ты не против, если я включу его на четверть часа?

— Кто играет? — автоматически спросила она.

Я вздохнул:

— Никто. Там программа скачек.

— О, прекрасно, если тебе надо...

Я включил телевизор, и мы увидели конец программы варьете. Затем последовал блок рекламы, потом открылись ворота ипподрома и на фоне ускоренных съемок скачущих лошадей в самых невозможных ракурсах возникла надпись "Скачки недели" и потом объявление о еженедельной пятнадцатиминутной передаче "Встречи для вас".

На экране появилось знаменитое лицо Мориса Кемп-Лоура, привлекательное, непринужденное, ироничное. Он начал с того, что просто и естественно представил гостя вечера, известного букмекера, и назвал тему сегодняшней передачи, объясняя, как делать ставки, основываясь на математических выкладках.

— Но сначала, — сказал Кемп-Лоур, — я хотел бы отдать дань памяти жокею стипль-чеза Арту Метьюзу, который сегодня на скачках в Данстейбле ушел из жизни по собственной воле. Думаю, многие из вас видели на экранах скачки, в которых он участвовал... и вы разделите со мной глубокое потрясение, что такая долгая и успешная карьера закончилась подобной трагедией. Хотя он так и не стал жокеем-чемпионом, Арт был известен как один из лучших мастеров стипль-чеза в стране, и его прямой, неподкупный характер служил великолепным примером для молодых жокеев, только вступающих в игру...

Джоанна, подняв брови, поглядела на меня, а Морис Кемп-Лоур, изящно закончив теплый некролог, посвященный Арту, вновь представил букмекера, который

---

* Эскапист (от англ. escape) — человек, стремящийся уйти от действительности.

ясно и очаровательно продемонстрировал, как присоединиться к стану выигрывающих. Иллюстрацией к его беседе служили кинокадры и мультипликационные картинки, рисующие минута за минутой, как в Большом Лондоне ежедневно принимаются решения о стартовых ставках. Передача полностью отвечала высоким стандартам всех программ Кемп-Лоура.

Кемп-Лоур поблагодарил букмекера и завершил четвертьчасовую передачу обзором скачек на следующей неделе. Он не касался отдельных претендентов на победу, но давал такую информацию о жокеях и лошадях, которая усиливала бы интерес к предстоящим скачкам, так как публика что-то узнавала о прошлых достижениях соревнующихся. Его анекдоты были всегда интересными или смешными, и я слышал, что он приводил в отчаяние журналистов, пишущих о скачках, потому что его забавные истории всегда превосходили все, что могли придумать они.

Наконец он сказал:

— До встречи на следующей неделе в это же самое время. — И надпись "Скачки недели" исчезла вместе с ним.

Я выключил телевизор. Джоанна спросила:

— Ты смотришь каждую неделю?

— Да, если могу. Сейчас сезон скачек. Полно вещей, которые не стоит пропускать, и очень часто его гости — люди, которых я встречал.

— Мистер Кемп-Лоур собаку съел в своем деле?

— Да. Он вырос в этой среде. Его отец в тридцатые годы побеждал в больших национальных скачках, а теперь он босс в Национальном охотничьем комитете, а этот комитет, — продолжал я, заметив ее отсутствующий взгляд, — самый главный в управлении стипль-чезами.

— О-о. И мистер Кемп-Лоур тоже участвует в скачках?

— Нет. Вряд ли он вообще ездит верхом. У него от лошадей астма или что-то вроде этого. Я точно не знаю... Но он всегда на виду. Он часто бывает на скачках, правда, я никогда с ним не разговаривал.

Интерес Джоанны к скачкам на этом полностью истощился, и час или около того мы дружески и беспредметно болтали о том, как все в мире неустойчиво.

У дверей раздалось звяканье колокольчика, она пошла открыть, и, когда вернулась, за ней шел мужчина, портрет которого она пыталась нарисовать, один из тех, кто волновал ей кровь и волнует до сих пор. Он как собственник обнял ее за талию и поцеловал. Затем кивнул мне.

— Как прошел концерт? — спросила она. Он был первой скрипкой в Лондонском симфоническом оркестре.

— Так себе, — пожал он плечами. — Си-бемоль Мо-

царта прошел нормально, только какой-то дурак в зале начал хлопать после медленной части и испортил переход к аллегро.

Кузина издала сочувствующий звук. Я встал. Меня не приводил в восторг их вид, так уютно пристроившихся друг к другу.

— Уходишь? — сказала Джоанна, освобождаясь от его руки.

— Да.

— Спокойной ночи, Роб, — проговорил он, зевая. Потом снял черный галстук и расстегнул воротничок рубашки.

— Спокойной ночи, Брайен, — вежливо ответил я, подумав про себя: хоть бы ты провалился к чертям.

Джоанна проводила меня до дверей.

Я сказал унылым голосом:

— Спасибо за бифштекс... и за телевизор.

— Приходи еще.

— Хорошо. Спокойной ночи.

— Спокойной ночи, — повторила она и, будто вспомнив, добавила: — Как Полина? — Полина — фотомодель, с которой я проводил время.

— Она собирается замуж, — сообщил я, — за сэра Мортона Хенжа.

Должен признаться, я не ожидал такого взрыва "сострадания", какой увидел. Джоанна радостно засмеялась.

3

Две недели спустя после смерти Арта я остался ночевать в доме Питера Клуни.

Машины у меня нет, и на первое в сезоне соревнование в Челтнеме я приехал, как обычно, поездом для участников скачек, взяв маленький саквояж с необходимыми для ночевки вещами. Меня наняли на два заезда, по одному в день, и я собирался найти на окраине гостиницу, где цены не особенно бы продырявили мой карман. Но Питер, увидев саквояж, спросил, нашел ли я уже где остановиться и предложил мне переночевать у него. Я удивился такой любезности, ведь мы не были даже близкими друзьями, и, поблагодарив, я принял предложение.

С моей точки зрения, день прошел без особых волнений. Неддикинс, мой вздорный начинающий скакун, не имел никакого шанса на победу. В прошлом за ним тянулся печальный список падений и неоконченных скачек. Тяжелое, неуклюжее животное, он всегда шел последним и останавливался где вздумается.

Мне пришлось напрячь все силы, чтобы чуть-чуть раз-

будить Неддикинса. И хотя мы финишировали последними, но из скачек не выбыли. Мы все же закончили круг, что, на мой взгляд, было триумфом. К моему удивлению, такого же мнения держался и тренер, который, похлопав меня по плечу, предложил на следующий день работать еще с одним новичком.

Неддикинс был первой лошадью, с которой я работал для Джеймса Эксминстера, и я знал: он предложил ее мне, потому что не хотел рисковать своими постоянными жокеями; на Неддикинсе они могли бы получить травму. Много такого рода скачек встречалось на моем пути, но я был рад им. Я считал, что если смогу набраться опыта на плохих лошадях, когда никто ничего от меня не ждет, то буду в нужной форме, если когда-нибудь мне попадется хорошая.

Ближе к вечеру я нашел Питера, и мы поехали в его удобной семейной машине. Он жил милях в двадцати от Челтнема в маленькой деревеньке, окруженной холмами. Мы свернули с шоссе на узкую проселочную дорогу, окруженную с обеих сторон широкой живой изгородью. Казалось, дорога бесконечно будет тянуться меж убранных фермерских полей, но, сделав еще один поворот, мы въехали на край плато, откуда была видна вся деревня, заполнившая ложбину.

Питер показал:

— Вот в том бунгало внизу я живу. Вон то, с белыми окнами.

Я проследил за его пальцем, у меня хватило времени, пока дорога повернула, разглядеть маленький сад, окруженный аккуратным забором, и совсем новый дом. Мы спустились с холма, миновали несколько крутых поворотов, предварительно посигналив, уже в деревне обогнули крохотную лужайку и остановились перед бунгало Питера.

Его жена открыла белую дверь и спустилась на дорожку, чтобы встретить нас. Я заметил, что совсем скоро у нее будет ребенок. Она выглядела так молодо, что казалась почти школьницей. И говорила, сильно смущаясь.

— Проходите, — сказала она, протягивая мне руку, — Питер позвонил и сказал, что вы приедете, у меня все готово.

Я последовал за ней в дом, он был удивительно чистый и опрятный и пах полиролем для мебели. Полы были покрыты мягким голубым линолеумом в крапинку, и кое-где лежали терракотовые, связанные из тряпок половики. Позже, вечером, жена Питера сказала, что половики сделала сама.

В гостиной стояли только софа, телевизор, обеденный стол и четыре стула. Пустота комнаты казалась бы не-

приятной, если бы одна стена почти полностью не была увешана фотографиями. Рамки для фотографий Питер сделал сам, и для краев паспарту он подобрал картон ярких цветов, так что впечатление они производили веселое и радостное.

Казалось, они были очень привязаны и прекрасно подходили друг к другу. Это выдавало каждое слово, каждый взгляд, каждое движение: оба доброжелательные, быстрые на проявление симпатии, впечатлительные и не без чувства юмора.

— Давно вы женаты? — спросил я.

— Девять месяцев, — ответил Питер, и его жена залилась румянцем.

Мы пообедали, вымыли тарелки и провели вечер возле телевизора, разговаривая о скачках. Когда мы отправлялись спать, они извинились за вид моей спальни.

— Мы еще не обставили ее как следует, — сказала жена Питера, глядя на меня озабоченными глазами.

— Мне будет очень удобно, не сомневайтесь. Вы были так добры, пригласив меня.

Она улыбнулась от удовольствия.

В спальне стояли кровать и стул. На голубом линолеуме лежал терракотовый половик. На стене маленькое зеркало и плотные цвета ржавчины шторы на окне, вешалка с двумя крючками на двери служила гардеробом. Спал я хорошо.

Мы выехали в Челтнем позже, чем собирались, потому что Питер настоял, что надо заехать вниз в деревню и купить хлеба, а то жене придется идти пешком.

Мы неслись по извилистой дороге между холмов гораздо быстрее, чем требовало благоразумие, но, к счастью, ничего не попалось нам на пути. И пока мы пролетали мимо фермерских полей, казалось, удача сопровождает нас. Но, сбавив скорость при выезде на шоссе, мы увидели военную автоцистерну. Она загородила по диагонали дорогу, полностью блокировав ее.

Настойчивые гудки Питера привлекли внимание солдата, он заспешил к машине и успокаивающе заговорил:

— Простите, сэр, но мы искали дорогу в Тимберли.

— Вы рано повернули. Тимберли — следующий поворот направо, — нетерпеливо объяснил Питер.

— Да, я знаю, — согласился солдат. — Мы поняли, что повернули слишком рано, и мой товарищ попытался развернуться; что он тут натворил, просто ужас, мы въехали в изгородь. Короче говоря, — небрежно продолжал он, — мы окончательно застряли. Товарищ поймал грузовик и поехал позвонить в военную автоинспекцию.

Питер и я вышли из машины, чтобы убедиться самим, но солдат говорил правду. Огромная, тяжелая в управле-

нии автоцистерна намертво перегородила выезд с узкой дороги, а водитель уехал.

Бледный, мрачный Питер снова сел за руль, я позади него. Он проехал четверть мили задним ходом, прежде чем мы нашли въезд в ворота и смогли развернуться, потом долго спускались вниз с холма по дороге, вьющейся серпантином, промчались через деревню и выехали на шоссе с другой стороны. Оно вело на юг, в противоположную сторону от Челтнема, и нам пришлось делать длинный объезд, чтобы вернуться на нужное направление, хотя автоцистерна преградила путь всего в двенадцати милях от цели нашего путешествия.

Несколько раз Питер повторил: "Я опоздал" — и в голосе его звучало отчаяние. Я знал, что он участвовал в первой скачке, и тренер, для которого он работал, любил за час до начала видеть в весовой своих жокеев. Тренеры утверждали их имена по крайней мере за четверть часа до заезда. Если бы они заявили жокея, который еще не приехал, а он бы по самой уважительной причине действительно не приехал, у тренера были бы неприятности с распорядителями. Питер работал для человека, который никогда не рисковал такими вещами. Если его жокей не приезжал за час до скачек, он заменял его. А так как тренер был человеком порывистых решений, то он не допускал и мысли, что кто-то или что-то нарушит его планы.

Мы были на ипподроме за сорок пять минут до начала первого заезда. Питер помчался с автостоянки к раздевалке, но мы оба знали, что он не будет участвовать в скачках. Я не спеша пошел за Питером и, когда проходил широкую асфальтированную площадку на пути в весовую, услышал щелчок громкоговорителя, и объявляющий начал перечислять участников первого заезда. Питера Клуни среди них не было.

Я нашел его в раздевалке, он сидел на скамье, обхватив голову руками.

— Он не стал ждать, — повторял Питер несчастным голосом. — Он не стал ждать. Я знал, что он не будет ждать. Я знал. Он взял вместо меня Ингерсолла.

Я посмотрел туда, где Тик-Ток натягивал ботинки. Он сидел уже в алом свитере, который должен был бы надеть Питер. Тик-Ток поймал мой взгляд, состроил гримасу и в знак сочувствия покачал головой, но он был не виноват, ему предложили работу; естественно, он ее взял.

Хуже всего было то, что Тик-Ток выиграл скачку. Я стоял рядом с Питером на местах для жокеев, когда алые цвета проскользили мимо финишного столба, он издал такой подавленный звук, будто собирался разразиться рыданиями. Он сумел взять себя в руки, но лицо у него стало серо-белым.

— Ерунда, — смущенно сказал я, встревоженный его видом. — Это еще не конец света.

Разумеется, наше опоздание — большая неудача, но тренер, для которого работал Питер, был разумный человек, хотя и нетерпеливый, и он не собирался отказываться от Питера. В тот же день Питер работал для него, но лошадь прошла не так хорошо, как ожидали, и захромала. Последний раз его лицо со следами разочарования мелькнуло передо мной, когда он приставал ко всем в раздевалке с назойливым рассказом об автоцистерне, который он повторял снова и снова.

У меня дела оказались чуть лучше. Новичок упал, когда прыгал через ров с водой, но потом медленно закончил скачку, и я не пострадал, лишь несколько травинок зацепилось за мои бриджи.

Молодая кобыла, с которой я работал в последнем заезде для Джеймса Эксминстера, имела такую же отвратительную репутацию, как и ее сосед по конюшне, доставшийся мне вчера, когда я дошел до финиша только ради самого себя. Но в этот раз по какой-то причине капризное животное и я с самого старта хорошо подошли друг другу, и, к моему удивлению, и это удивление разделяли все до единого из присутствующих, мы прошли последнее препятствие следом за лидирующей лошадью и потом помчались к финишному столбу. Лошадь, которую считали фаворитом, пришла четвертой. Это была моя вторая победа за сезон и первая в Челтнеме, и она была встречена мертвым молчанием.

На площадке, где расседлывали победителей, я попытался объяснить происшедшее Джеймсу Эксминстеру:

— Я очень сожалею, сэр, но я не мог удержать ее.

Я знал, что он не поставил на нее ни пенни, а владелец даже не пришел посмотреть на скачки.

Эксминстер задумчиво посмотрел на меня, но ничего не ответил, и я подумал: вот и появился тренер, который не скоро еще раз наймет меня. Иногда так же плохо неожиданно выиграть, как и проиграть, когда ожидают победу.

Я распустил подпругу, перекинул седло через руку и стоял, ожидая, когда разразится буря.

— Ну, — резко сказал он, — теперь идите и взвесьтесь. И когда оденетесь, я хочу поговорить с вами.

Когда я вышел из раздевалки, он стоял у весовой и разговаривал с лордом Тирролдом, чью лошадь тренировал. Они замолчали и повернулись ко мне, но я не мог видеть выражения их лиц, потому что они стояли спиной к свету.

Джеймс Эксминстер спросил:

— В каких конюшнях вы чаще работаете?

— В основном я работаю для фермеров, которые тренируют собственных лошадей, — пояснил я. — У меня нет постоянной работы с профессиональными тренерами, но когда они просят меня, я работаю и для них. Мистер Келлар несколько раз брал меня. — И в этом, подумал я, истинная причина того незначительного впечатления, которое я до сих пор производил в мире скачек.

— Я слышал, как два или три тренера говорили, — сказал лорд Тирролд, обращаясь к Эксминстеру, — что для своих плохих лошадей они всегда могут взять Финна.

— Что я и сделал сегодня, — усмехнулся Эксминстер, — и посмотрите на результат! Как я смогу убедить владельца, когда он услышит о победе, что это был такой же сюрприз для меня, как и для него? Сколько раз я говорил ему, что лошадь никуда не годится. — Он повернулся ко мне: — Вы выставили меня совершеннейшим дураком, вы понимаете это?

— Я очень сожалею, сэр, — еще раз повторил я, и я действительно сожалел.

— Не отчаивайтесь. Я дам вам другой шанс, вернее несколько шансов. У меня есть старая, медлительная кляча, вы можете работать на ней для меня в субботу, если вы уже не заняты на этих скачках, и две или три следующие недели. А потом... там посмотрим.

— Спасибо, — сказал я изумленно. — Большое спасибо. Все вышло так, как если бы он бросил мне в руки золотой слиток, когда я ожидал скорпиона. Если я оправдаю себя на его лошадях, он может использовать меня регулярно как запасного жокея. Для меня — гигантский шаг наверх.

Он тепло улыбнулся почти озорной улыбкой, от которой собралась кожа вокруг глаз, и сказал:

— Герань, стипль-чез в субботу. Вы свободны?

— Да.

— И вы сможете сбросить вес? Чтобы было не больше шестидесяти трех килограммов?

— Да, — ответил я. Мне предстояло сбросить полтора килограмма за два дня, но никогда еще голод не казался мне таким привлекательным.

— Очень хорошо. Там увидимся.

— Да, сэр, — подтвердил я.

Он и лорд Тирролд вместе пошли к выходу, и я слышал, как они смеялись. Высокий нескладный лорд Тирролд и тренер даже еще выше его — пара, которая выигрывала почти каждый важный заезд во всех национальных скачках.

Джеймс Эксминстер был крупным человеком во всех смыслах. Под два метра ростом, крепко сбитый, он двигался, говорил и принимал решения легко и уверенно. Его

большое лицо с выдающимся вперед носом и тяжелой квадратной нижней челюстью знакомо всем любителям конного спорта. Когда он улыбался, его нижние зубы выдвигались дальше, чем передние, хорошие, сильные зубы, очевидно, здоровые и необыкновенно белые.

Он владел крупнейшей конюшней в стране, его жокей Пип Пэнкхерст последние два сезона держал звание чемпиона, и его лошади, примерно шестьдесят, считались самыми лучшими среди участвующих в скачках. Я получил предложение от человека, стоявшего на самой вершине пирамиды, что было так же пугающе, как и невероятно. Если я проиграю этот шанс, мелькнула у меня мысль, я могу с успехом последовать за Артом в мир забвения.

Весь следующий день я провел, бегая вокруг Гайд-парка в трех свитерах и ветровке. Часов в шесть я сварил три яйца, съел их без хлеба и соли и поспешил удрать, потому что мать пригласила друзей к обеду, и девушка, которая приходила в подобных случаях, наполнила кухню деморализующими, соблазнительными запахами. Я решил пойти в кино, чтобы отвлечь сознание от желудка. После кино я отправился в турецкие бани, где провел всю ночь. Затем вернулся на квартиру, съел еще три яйца вкрутую, даже не почувствовав их вкуса, и наконец поехал на скачки.

Стрелка вздрогнула, когда я встал на весы в легких ботинках и с самым легким седлом. Она поднялась вверх над отметкой шестьдесят три килограмма, но потом заскользила вниз и наконец остановилась на толщину волоса ниже нужного веса.

— Шестьдесят три килограмма, — объявил удивленно служащий, фиксирующий вес. — Как вы это сделали? Наждаком?

— Почти, — усмехнулся я.

В парадном круге Джеймс Эксминстер посмотрел на доску, где были цифры: какой вес должна нести лошадь и какой у ее жокея, и обратился ко мне.

— Лишнего веса нет? — спросил он.

— Нет, сэр, — ответил я так, будто сбросить лишний вес — самое пустяковое дело, какое только бывает.

— Гм. — Он, махнув рукой, подозвал конюха, который водил по кругу вялую старую кобылу, ту, с которой мне предстояло работать, и сказал: — Вам придется все время пинать эту старую клячу. Она ленивая. Хорошо прыгает, но больше ничего.

Я привык пинать ленивых лошадей. Пинал я и эту кобылу, которая хорошо прыгала: мы финишировали третьими.

— Гм, — снова промычал Эксминстер, когда я распускал подпруги. Я взял седло и пошел взвешиваться — на двести граммов легче, чем до заезда. Я переоделся в цве-

та другой лошади, с которой должен был работать в этот же день, и, когда вышел из весовой, Эксминстер ждал меня. В руке он держал лист бумаги и, ни слова не говоря, протянул его мне.

Это был список пяти заездов в различных скачках на следующей неделе. Против каждой лошади он поставил вес, который она должна нести, и скачки, в которых она участвовала. Я внимательно прочел список.

— Итак, — сказал он, — вы сможете работать с ними?

— Я смогу взять четырех из них, но меня уже наняли на скачки новичков в среду.

— Это важно? Вы не можете отказаться?

Мне ужасно хотелось сказать "могу". Бумага, которую я держал, была приглашением в мой персональный рай, и, кроме того, всегда есть вероятность, что если я откажусь от одной из его лошадей, то жокей, который возьмет ее, будет работать с ней и в будущем.

— Я... не могу, — пробормотал я. — Я должен участвовать. Это для фермера, который дал мне несколько моих первых лошадей...

Эксминстер слегка улыбнулся, и его нижние зубы выдвинулись вперед.

— Прекрасно. Тогда берите четырех других.

— Спасибо, сэр. Я бы очень хотел... — Он повернулся и ушел, а я сложил драгоценный листок и положил в карман.

Вторую лошадь, с которой я работал в этот день, тренировал Корин Келлар. После смерти Арта он постоянно нанимал разных жокеев и ворчал, как неудобно не иметь под рукой первоклассного специалиста. Зная, что именно из-за его отношения Арт, первоклассный специалист, бросил Корина самым ужасным из всех возможных способов, мы с Тик-Током считали, что Келлар — готовый случай для психиатра, но мы оба в общем-то с удовольствием работали с его лошадьми.

— Если Корин предложит вам, — спросил я Тик-Тока, когда мы брали седла и шлемы, готовясь взвеситься перед заездом, — вы возьмете работу Арта?

— Если предложит — да, — усмехнулся Тик-Ток. — Но Келлар не собирается беспокоить меня в будущем. — Он поднял глаза к потолку, тонкогубый широкий рот растянулся в беззаботную ухмылку. Ясное, почти агрессивное душевное здоровье отражалось в каждой черте его худощавого лица, и в этот момент он показался мне человеком, родившимся слишком рано. Он был такой, каким мне рисуется человек двадцать первого столетия, необыкновенно жизнеспособный, любознательно-наивный, без тени апатичности, злобности или жадности. В его присутствии я чувствовал себя старым. Ему было девятнадцать.

Мы вместе вышли на парадный круг.

— Улыбку на тридцать два зуба, — бросил он. — Глаз мира обшаривает наш путь.

Я посмотрел вверх. Телевизионная камера со своей продуваемой всеми ветрами площадки, когда мимо проводили по кругу серую лошадь, направила на нас квадратную морду. Камера чуть-чуть задержалась и двинулась дальше.

— Я забыл, что мы на виду, — безразлично заметил я.

— О да, — ехидное выражение появилось в глазах Тик-Тока, — сам великий человек тоже здесь, единственный и неповторимый Кемп-Лоур. Человек-воздушный шар.

— Что вы имеете в виду?

— Быстрый взлет. И наполненность горячим воздухом. Но богатый человек и со вкусом. Бодрящий аромат, свежий и хрустящий.

Я засмеялся. Мы подошли к Корину, и он начал давать нам обоим указания, как провести заезд. Кобыла Тик-Тока была на хорошем счету, я, как обычно, работал с лошадью, от которой мало чего ожидали, и совершенно правильно. Мы долго плелись в хвосте, и я видел по номерам, появившимся на табло, что другая лошадь Корина победила.

Корин, Тик-Ток и владелец лошади образовали кружок вокруг победительницы и обменивались взаимным восхищением. Когда я проходил в весовую с седлом под мышкой, Корин схватил меня за руку и попросил сразу же вернуться и рассказать, как вела себя лошадь во время заезда.

Вернувшись, я увидел, что он разговаривает с человеком, стоявшим спиной ко мне. Я остановился неподалеку, не желая мешать их беседе, но Корин, заметив меня, взмахом руки подозвал к себе. Человек обернулся. Ему было чуть за тридцать, решил я. Среднего роста, стройный, с приятными чертами лица и светлыми волосами. Никогда не перестаешь приходить в замешательство, встретив первый раз во плоти человека, чье лицо знакомо, будто лицо родного брата. Передо мной стоял Морис Кемп-Лоур.

Телевидение не льстит никому. Оно делает фигуру толще, а личность банальнее, поэтому, чтобы сиять с маленького экрана, в реальной жизни человек должен быть буквально раскаленным добела. И Кемп-Лоур не был исключением. Очарование, которое исходило от его программ, становилось совершенно неотразимым в реальной жизни. Его рукопожатие было быстрым и сильным, его улыбка заразительной и теплой, излучающей восхищение от встречи со мной. Но даже в тот момент, когда я

улыбался в ответ и пожимал руку, я осознавал, что эффект, который он произвел на меня, рассчитан. Все на продажу. Хорошие интервьюеры знают, как вызвать доверие в людях, чтобы они раскрылись, как бутон, и Кемп-Лоур, конечно, мастер своего дела. В его программах скучные люди сверкали остроумием, молчаливые — красноречием, догматики — гибкостью ума.

— Я видел, что вы проиграли этот заезд, — проговорил он. — Плохой день.

— Плохая лошадь, — возразил Корин и расплылся в улыбке, обретя юмор в присутствии телекомментатора.

— Я бы хотел как-нибудь сделать программу, если вы простите меня, с жокеем-неудачником. — Широкая улыбка смягчила жало его слов. — Или, вернее, с жокеем, который пока не добился успеха? — Его голубые глаза засверкали. — Не согласились бы вы прийти выступить в моей передаче и рассказать зрителям, какую жизнь вы ведете? Финансовое положение, надежда на удачу в очередной скачке, безопасность... такого рода детали. Просто показать публике обратную сторону медали. Она знает все о крупных владельцах конюшен, больших ставках и жокеях, которые выигрывают важнейшие скачки. А я хочу показать, как ухитряется жить жокей, который редко выигрывает даже на незначительных соревнованиях. Жокей, живущий на нерегулярные вознаграждения. — Он тепло улыбнулся. — Вы расскажете?

— Да, конечно, — согласился я. — Но мой случай совсем нетипичный. Я...

Он перебил меня:

— Не говорите мне ничего сейчас. Я достаточно слышал о вашей карьере и считаю, что вы подходите для моего замысла. Я всегда предпочитаю не знать ответа на мои своеобразные вопросы, пока мы не окажемся в прямом эфире. Это делает передачу непосредственнее. Если мы с моими приглашенными будем репетировать то, что скажем в программе, передача получится скучной и неубедительной. Я пошлю вам список примерных вопросов, которые собираюсь задать, и вы можете подумать над ответами. Хорошо?

— Да, — согласился я. — Пусть будет так.

— Прекрасно. Тогда в следующую пятницу. Программа идет в эфир в девять часов. Приходите в студию в семь тридцать, вы сможете? Вот эта карточка поможет вам попасть туда. — Он протянул карточку, на которой большими буквами было напечатано на одной стороне "Юниверсл телекаст", а на другой — упрощенная карта Уайлсдена.

— И кстати, будет, конечно, гонорар и возмещение

всех расходов. — Он приветливо улыбнулся, показывая мне, что знает, как делаются интересные новости.

— Спасибо. В пятницу буду.

Он перекинулся парой слов с Корином и ушел. Я взглянул на Корина, когда тот смотрел вслед уходящей фигуре Кемп-Лоура, и поймал на его лице то же самое выражение, какое я часто видел у поклонников, окружавших после концертов моих родителей. Самодовольная, глупая ухмылка, означавшая: "Знаменитая личность, которая умнее меня, разговаривала со мной".

— Я довольно хорошо знаю Мориса, — начал Корин громким, самодовольным тоном. — Он попросил у меня совета, подойдете ли вы для его передачи... мм... о неудачливом жокее, и я сказал ему — в самый раз.

Он ждал, что я поблагодарю, и я сказал: "Спасибо".

— Да-а, Морис великий человек. Из хорошей семьи, вы знаете? Его отец выиграл Национальный приз — как любитель, конечно; его сестра долгие годы была первой леди в выездке. Бедный старина Морис, он едва ли вообще сидел на лошади. Он даже не охотится. Знаете, от лошадей у него разыгрывается ужасная астма. Он так страдает из-за этого. Он бы никогда не занялся телевидением, если бы мог участвовать в скачках или бегах. Но может, и к лучшему.

Спустившись в раздевалку, я увидел Гранта Олдфилда, который стоял возле моей вешалки и держал в руках лист бумаги. Подойдя ближе, я с раздражением обнаружил, что это список лошадей, который дал мне Джеймс Эксминстер. Значит, Грант шарил у меня в карманах.

Не обратив ни малейшего внимания на мое возмущение, не говоря ни слова, он сжал кулак и с силой двинул меня по носу.

Количество крови, которая вылилась от этого удара, сделало бы честь целой клинике доноров. Кровь лилась по бледно-зеленой шелковой рубашке и стекала на белые бриджи. Маленькие лужицы образовались на скамейке и на полу. Я отплевывался, пытаясь очистить от крови рот.

— Ради бога, положите его на спину, — крикнул один из служителей, подбегая ко мне.

Его совет был вообще-то бесполезен, потому что я и так уже лежал на полу с одной ногой, задранной на скамейку. В такой позе я оказался, когда после удара потерял равновесие.

Грант стоял у меня в ногах и смотрел в пол, будто удивляясь, что стал причиной такого переполоха. Я бы расхохотался, если бы не был так занят проглатыванием, как мне казалось, полных чашек собственной крови.

Молодой Майк подсунул мне под плечи седло и закинул голову назад. Затем положил мокрое полотенце на

переносицу, и постепенно сгустки крови, выходящие с дыханием, стали меньше и кровотечение прекратилось.

— Вам лучше побыть еще немного здесь, — сказал Майк. — Я сейчас схожу и приведу кого-нибудь из первой помощи, чтобы вас осмотрели.

— Не беспокойтесь, — возразил я. — Пожалуйста, не беспокойтесь. Со мной все в порядке.

Он нерешительно вернулся от дверей и стоял у меня в изголовье.

— Какого черта вы это сделали? — спросил он Гранта.

Мне тоже хотелось услышать ответ, но Грант ничего не сказал. Он хмуро взглянул на меня, повернулся на каблуках и стал проталкиваться к дверям навстречу жокеям, возвращавшимся с последнего заезда. Список лошадей Эксминстера кружась опустился на пол. Майк поднял его и вложил в мою протянутую руку.

Тик-Ток бросил седло на скамейку, снял шлем и упер руки в бока.

— Что это у нас здесь? Кровавая ванна? — воскликнул он.

— Из носа пошла кровь, — ответил я.

— А то я не вижу.

Жокеи начали собираться вокруг меня, и я решил, что полежал уже достаточно. Я снял с лица полотенце и осторожно встал. Фонтан иссяк.

— Грант двинул ему в нос, — пояснил один из жокеев, который присутствовал с самого начала.

— За что?

— Спросите меня о чем-нибудь другом, — сказал я. — Или спросите Гранта.

— Вам следовало бы доложить распорядителям.

— Не стоит, — возразил я.

Я привел себя в порядок, переоделся и пошел вместе с Тик-Током на станцию.

— Вы, конечно, знаете, за что он ударил вас, — проговорил он.

Я протянул ему список Эксминстера, он прочел и вернул мне.

— Да, понимаю. Ненависть, зависть и ревность. Вы влезли в туфли, в которые он не смог всунуть ноги. Ему тоже представился шанс, и он его проворонил.

— А что случилось? — спросил я. — Почему Эксминстер выбросил его?

— Честно, не знаю, — ответил Тик-Ток. — Лучше спросить Гранта и выяснить, чтоб не наделать ошибок. — Он усмехнулся. — Ваш нос похож на дешевую открытку с морского курорта.

— Как раз для телевизионной камеры, — заметил я и рассказал о предложении Кемп-Лоура.

— Мой дорогой сэр, — воскликнул он, снимая тирольскую шляпу и отвешивая шутливый поклон. — Я потрясен.

— Дурак.

— Слава богу.

На этом мы расстались, Тик-Ток отправился в свою берлогу в Баркшире, я — в Кенсингтон. В квартире никого не было, обычное дело в субботу вечером, самая занятая концертами ночь. Я взял полрешетки кубиков льда из холодильника, положил их в пластиковый мешок, обернул в чайное полотенце и лег в постель, мешочек со льдом подрагивал у меня на лбу. Полное впечатление, будто вместо носа у меня желе.

Я закрыл глаза и думал о них, о Гранте и Арте. Два раздавленных человека. Одного довели до насилия против себя, а другой обратил насилие против всего мира. Бедняги, подумал я, пожалуй, чересчур свысока, у них не хватило стойкости справиться с тем, что разрушало их. И я вспомнил, что легкая жалость сродни снисходительности.

В следующую среду Питер Клуни приехал на скачки, пуская пузыри от счастья. Родился мальчик, жена чувствовала себя прекрасно, все сияло розовым светом. Он хлопал жокеев по спине и утверждал, что мы не понимаем, чего лишены. Лошадь, с которой он работал, начинала среди фаворитов, и хотя прошла плохо, даже это не испортило ему настроения.

На следующий день он должен был участвовать в первом заезде и опоздал. Еще до того, как он появился, мы знали: он упустил свой шанс.

Я стоял возле весовой, когда Питер наконец приехал за сорок минут до первого заезда. Он бежал по траве с озабоченным лицом. Его тренер отделился от группы людей, с которыми разговаривал, и пошел навстречу Питеру. Обрывки сердитых реплик долетали даже до меня.

Питер прошмыгнул мимо меня бледный, дрожащий, на вид больной, и, когда немного спустя я вернулся в раздевалку, он сидел на скамейке, спрятав лицо в ладонях.

— Что случилось на этот раз? — спросил я. — С женой все в порядке? И с малышом? — Я подумал, что он, должно быть, слишком увлекся, ухаживая за ними, и забыл следить за часами.

— С ними все прекрасно, — несчастным голосом ответил он. — У нас теперь живет теща, она присматривает за ними. Я не опоздал... каких-нибудь пять минут или около того... но... — Он встал и посмотрел на меня своими большими влажными глазами. — Вы не поверите, там опять был перегорожен выезд на шоссе, и мне снова пришлось

ехать вокруг, даже дальше, чем в прошлый раз... — У него упал голос, когда я недоверчиво взглянул на него.

— Неужели еще одна автоцистерна? — скептически спросил я.

— Нет, машина. Старая машина, один из этих тяжелых старых "ягуаров". Он уперся носом в изгородь, и оба передних колеса в кювете, и так крепко завяз, прямо поперек дороги.

— И вы не могли заставить водителя вытолкать ее в сторону? — удивился я.

— Не было никакого водителя. Абсолютно никого. И дверцы машины заперты, он поставил ее на ручной тормоз. Вонючий мерзавец. — Питер редко использовал такие сильные выражения. — Еще один человек ехал сзади меня, и мы вдвоем пытались столкнуть этот "ягуар", но абсолютно бесполезно. Нам пришлось делать объезд в несколько миль, он ехал первым и вовсе не спешил... у него новая машина, и он боялся ее поцарапать.

— Какая неудача, — сказал я совсем некстати.

— Неудача! — в отчаянии воскликнул он, чуть не плача. — Это больше чем неудача, это... это ужасно. Я не могу себе позволить... я нуждаюсь в деньгах... — Он замолчал, несколько раз сглотнул, глубоко вздохнул. — Нам приходится много платить по закладной, — продолжал он, — я и не знал, что дети могут стоить так дорого. И жене пришлось оставить работу. Мы не предполагали... мы не рассчитывали иметь ребенка так скоро.

Я живо вспомнил новое небольшое бунгало с дешевым голубым линолеумом, терракотовые половики домашней работы, голые стены и минимум мебели. И у него машина, и теперь еще траты на ребенка, я понял, что потеря десяти гиней гонорара за скачки для семьи катастрофа.

В тот день он не участвовал в других заездах и провел его, слоняясь возле весовой, чтобы быть на глазах у тренеров, если вдруг спешно понадобится замена. Он обводил всех взглядом отчаявшегося охотника, и я чувствовал, что один этот взгляд отпугнул бы меня, будь я тренером. Только после пятого заезда он уехал, безработный и несчастный, и у каждого тренера, встретившего его, осталось впечатление, что с ним не все в порядке.

Я видел, как он брел к автостоянке, и волна раздражения окатила меня. Почему он не мог сделать хорошую мину при плохой игре, обратить свое несчастье в шутку? И почему он не оставил себе запас времени на всякие дорожные неожиданности, если опоздание стоило ему так дорого? И что за мрачные совпадения, которым надо было случиться дважды в одну неделю? — размышлял я.

Джеймс Эксминстер, улыбаясь представил меня вла-

дельцу лошади, с которой я участвовал в заезде. Мы обменялись обычными, ни к чему не обязывающими фразами. Третья на этой неделе лошадь Эксминстера, с которой я работал, средних лет, не подающий надежд скакун, сонно трусила по кругу. Я уже сумел оценить хитрость и ловкость постановки дела у Эксминстера. Его лошади были хорошо вышколены и красиво снаряжены, в экипировке никогда не появлялось ничего случайного или второсортного. Об успехе и процветании говорил каждый чепрак с яркими инициалами, каждая высшего качества уздечка, каждая щетка, каждая бадья, каждая коновязь.

На двух предыдущих скачках я работал с его лошадьми из второго состава, тогда как Пип Пэнкхерст занял свое обычное место на лучших лошадях. Но скачки в четверг были мои, потому что Пип не мог участвовать из-за веса.

Когда Пип узнал, что я работаю на некоторых лошадях из той же конюшни, он с ободряющей улыбкой посоветовал:

— Около шестидесяти пяти килограммов — и лошадь ваша. Если больше шестидесяти пяти, не стоит и пытаться.

Я всю неделю почти ничего не ел и не пил и ухитрился сохранять нужный вес, ниже шестидесяти трех килограммов, что при моем росте требовало большого напряжения, но при добром расположении Пипа вышло очень удачно.

Джеймс Эксминстер сказал:

— Вначале надо держаться где-то в середине, после третьего препятствия смотрите, чтобы они не слишком обошли вас, держитесь за четвертым. Лошади нужно время, чтобы набрать максимальную скорость. Постарайтесь идти за лидером, а там увидите, что можно сделать. Эта лошадь — великолепный прыгун, но она быстро выдыхается.

Раньше он никогда не давал мне таких детальных инструкций. Я почувствовал дрожь возбуждения. Наконец я работал с лошадью, тренер которой не удивится, если она выиграет.

Я буквально следовал его указаниям и подошел к последнему препятствию вровень с двумя другими лошадьми, я поощрял старого скакуна со всей решительностью, на какую был способен. Он ответил зигзагообразным взлетом, который позволил ему еще в воздухе оставить позади других лошадей, и мы приземлились на добрых два корпуса впереди них. Я услышал стук копыт о доски препятствия, когда другие лошади слегка ударялись о них, и в глубине души надеялся, что они запнутся и потратят время на приземление. Эксминстер был прав, старый скакун не особенно спешил. Я дал ему обрести рав-

новесие после прыжка и направил прямо к финишному столбу. Едва ли я вообще использовал хлыст, сосредоточившись на том, чтобы сидеть спокойно и не мешать ему; он весело продолжал дистанцию, и у нас еще оставалось полкорпуса, когда мы прошли финишный столб. Прекрасный момент.

— Хорошо, — бросил Эксминстер, будто это само собой разумелось. Победы были так привычны, что ничего не значили для него.

Владелец был в восторге.

— Здорово! Здорово! — повторял он, обращаясь сразу к лошади, Эксминстеру и ко мне. — Я никогда не думал, что он сможет, Джеймс, даже когда последовал вашему совету и нанял его.

Я быстро взглянул на Эксминстера. Его пронзительные глаза насмешливо разглядывали меня.

— Хотите работу? — спросил он. — Регулярную, вторым после Пипа.

Я кивнул, набрал побольше воздуха и проговорил "да". Оно прозвучало будто хрип.

Владелец скакуна засмеялся:

— Удачная неделя для Финна. Джон Боллертон говорил мне, что Морис будет интервьюировать его в своей программе завтра вечером.

— Да? — удивился Эксминстер. — Постараюсь посмотреть.

Я пошел взвеситься и переодеться, и, когда вышел, Эксминстер дал мне очередной список лошадей. Он хотел, чтобы на следующей неделе с четырьмя из них работал я.

— С этого дня, — сказал он, — я не хочу, чтобы вы принимали какие-либо предложения, не узнав сначала, нужны ли вы мне. Идет?

— Да, сэр, — подтвердил я, стараясь не очень выказывать идиотский восторг, который испытывал. Но он и так видел. Он набил на таких делах руку. Его глаза сияли пониманием, дружелюбием и обещанием.

4

Я позвонил Джоанне:

— Как насчет того, чтобы поужинать вместе? Я хочу отпраздновать.

— Что?

— Победу. Новую работу. Порядок в этом мире, — сообщил я.

— Звучит так, будто ты уже отпраздновал.

— Нет, — возразил я. — Опьянение, которое ты мо-

жешь услышать в моем голосе, означает, что на меня свалилась удача.

Она засмеялась:

— Тогда все в порядке. Где?

— "Хенниберт". — Это был маленький ресторанчик на Сент-Джеймс-стрит, где кухня была подстать адресу, а цены подстать тому и другому.

— О да! — воскликнула она. — Я приеду в золотой карете.

— Я так и думал. Я заработал сорок фунтов за неделю и хочу часть потратить. И кроме того, я голоден.

— Ты не найдешь свободный стол.

— Он уже заказан.

— Сдаюсь. Буду там в восемь.

Джоанна приехала на такси, что польстило мне: она любила гулять пешком. Она надела платье, которого я не видел прежде, — облегающее, прямое, из плотной темно-голубой ткани, при движении оно слабо мерцало, когда падал свет. Упругие волосы аккуратными локонами падали на шею, и темно-серые тонкие линии, которыми она обвела веки, делали ее темные глаза большими, бездонными и таинственными. Головы всех мужчин повернулись к ней, когда мы вошли в зал, хотя она и не была хорошенькой, бросающейся в глаза, эффектной, даже особенно хорошо одетой. Она выглядела... я даже сам удивился этому слову... интеллигентной.

Мы ели авокадо под французским соусом, и бефстроганов со шпинатом, и клубнику осеннего урожая со сливками, и грибы, и свиную грудинку, и маслины. Праздник — после моего долгого птичьего рациона. Мы ели долго, и выпили бутылку вина, и сидели за кофе, и болтали с легкостью, которая свойственна дружбе, уходящей в детство. После долгой тренировки я научился скрывать от Джоанны мои совсем не братские чувства к ней, скрывать их было необходимо, потому что я знал по прошлому опыту: если бы я заговорил о любви, она начала бы нервничать, прятать глаза и очень быстро нашла бы подходящий предлог, чтобы уйти. Если я хотел наслаждаться ее обществом, надо было считаться с ее условиями.

Казалось, она искренне рада тому, что я буду работать для Джеймса Эксминстера. Хотя скачки и не интересовали ее, она ясно понимала, что это значит для меня.

Я рассказал о телевизионной передаче.

— Завтра? — спросила она. — Хорошо, я буду свободна и погляжу на тебя. Ведь ты ничего не делаешь наполовину, да?

Я усмехнулся:

— Это только начало.

Я сам почти верил своим словам.

Всю дорогу назад мы прошли пешком и остановились в темном дворе возле дверей. Я взглянул на нее. Это была ошибка. Поднятое кверху лицо, свет звезд, отражавшийся в затененных глазах, темные волосы, растрепанные нашей прогулкой, гибкая линия шеи, выступающая грудь так близко к моей руке — меня охватило то невыносимое волнение, которое я подавлял весь вечер.

— Спасибо, что пришла, — отрывисто бросил я. — Спокойной ночи, Джоанна.

Она удивилась:

— Разве ты не зайдешь выпить кофе... или что-нибудь еще?

Или что-нибудь еще? Да.

Я сказал:

— Больше я бы ничего не смог ни есть, ни пить. Кроме того... там Брайен...

— Брайен в Манчестере, на гастролях. — Но это было просто констатацией факта, не приглашением.

— Ну все равно, думаю, мне лучше отправиться спать.

— Хорошо. — Она ни капельки не была встревожена. — Ужин был великолепен, Роб, благодарю тебя. — Она дружелюбно положила руку мне на плечо и улыбнулась, желая спокойной ночи, потом вставила ключ в дверь, открыла ее и слегка помахала мне рукой, когда я обернулся. Она хлопнула дверью. Клянусь, с силой, слишком громко. Слабое утешение.

5

На телевидении меня встретили на том уровне, который в семье Финнов называется ДВП, "Довольно Важная Персона", то есть меня принял достаточно высоко стоявший в иерархии чиновник, тем самым показав, что обо мне позаботились.

Моя мать прекрасно разбиралась во всех различиях между Особо Важной Персоной и Довольно Важной Персоной и неизменно замечала каждую деталь в поведении чиновников, сопровождавших ее. Ее стремление быть всегда Особо Важной Персоной я чувствовал с самого раннего детства, и, когда я вырос, эта игра немало забавляла меня. И поскольку я долгие годы был СНВП (Совсем Не Важная Персона), то восприятие нюансов во мне обострилось.

Через вертящуюся стеклянную дверь я вошел в большой вестибюль и спросил девушку, сидевшую за справочным столом, куда мне идти. Она любезно улыбнулась, не присяду ли я, жестом показывая на рядом стоявший диван. Я сел:

— Мистер Финн здесь, Гордон, — сообщила она по телефону.

Через десять секунд плотный молодой человек с веснушками в пиджаке типа растущий-молодой-управляющий стремительно появился в одном из коридоров.

— Мистер Финн? — радостно воскликнул он, протягивая руку, которая высовывалась из белоснежного с золотыми запонками манжета.

— Да. — Я встал и пожал руку.

— Рад видеть вас здесь. Я Гордон Килдэйр, помощник продюсера. Морис — в студии, улаживает последние детали, я предлагаю сначала пойти немного выпить и съесть по бутерброду. — Он повел меня по коридору, и мы вошли в маленькую безликую приемную. На столе стояли бутылки, бокалы и четыре блюда со свеженарезанными пышными бутербродами, выглядевшими весьма аппетитно.

— Что вы будете? — гостеприимно спросил он, и его рука потянулась к бутылкам.

— Спасибо, ничего.

— Тогда, возможно, потом. — Он налил в стакан немного виски, добавил содовой, поднял бокал и, улыбаясь, проговорил: — Удачи вам. Вы первый раз на телевидении?

Я кивнул.

— Великое дело быть естественным. — Он выбрал бутерброд с филе молодого лосося и принялся, захлебываясь, жевать.

Двери открылись, и вошли еще двое мужчин. Они представились как Дан такой-то и Пол такой-то. Они были одеты чуть менее тщательно, чем Гордон Килдэйр, которому явно уступали по значению. Они тоже взяли по бутерброду, наполнили бокалы виски с содовой, пожелали мне удачи и посоветовали быть естественным.

Затем стремительно вошел Морис Кемп-Лоур в сопровождении пары помощников в спортивных куртках.

— Привет, старина, — воскликнул он и тепло пожал мне руку. — Рад видеть вас здесь вовремя. Гордон позаботился о вас? Все в порядке? Как насчет того, чтобы выпить?

— Сейчас не стоит, — отказался я.

— О? Ну хорошо. Может, потом? Вы получили лист с вопросами, вам все ясно?

Я кивнул.

Гордон протянул ему почти полный бокал и предложил бутерброды. Помощники принялись за еду. Меня вдруг осенило, что закуска, предназначенная для участников передач, вероятно, заменяет им ужин.

Раздался телефонный звонок. Гордон поднял трубку, кратко выслушал, сказал: "Он здесь, Морис", — и открыл двери.

Кэмп-Лоур вышел первым, за ним последовали Гордон и то ли Дан, то ли Пол, они выглядели почти одинаково. Им предстояла более важная встреча. Я улыбнулся, подумав, что бы сказала моя мать.

Я лениво размышлял, кто бы мог быть другой гость и знаю ли я его. На пороге появилась почтительная спина Кемп-Лоура, который держал дверь, чтобы гость вошел первым. Вперед выдвинулся живот и очки, мистер Джон Боллертон позволил ввести себя в комнату.

Кемп-Лоур представил ему всех своих помощников, и "Роб Финн, которого вы, наверное, знаете?" — добавил он.

Боллертон холодно кивнул в мою сторону, стараясь не встретиться со мной глазами. Очевидно, ему было неприятно, что я видел, как его рвало возле тела Арта, и, по-видимому, он знал, что я не скрыл этого от других жокеев.

— Думаю, пора идти в студию, — сказал Кемп-Лоур, вопросительно глядя на Гордона. Тот кивнул.

Проходя мимо стола, я заметил, что на блюдах с бутербродами ничего не осталось, кроме крошек и мятых листьев салата.

В маленькой студии стояло небольшое, покрытое ковром возвышение и на нем три низких кресла и чайный столик.

Кемп-Лоур подвел Боллертона и меня к возвышению.

— Нам надо выглядеть как можно естественнее, — ласково объяснял он. — Будто мы только что вместе пообедали и теперь беседуем за кофе, бренди и сигарами.

Он попросил Боллертона сесть в левое кресло, меня — в правое, и сам занял место посередине. Впереди, чуть сбоку, стоял монитор с темным экраном, и полукругом выстроилась батарея камер с направленными в нашу сторону пугающими черными объективами.

Гордон и его помощники проверили свет, несколько минут падавший на нас с ослепляющей интенсивностью, затем звук. Когда Гордон удостоверился, что все в порядке, он обратился к нам:

— Вам всем нужен грим. Морис, вы, как всегда, справитесь сами? Мистер Боллертон и мистер Финн, я покажу вам, где гримерная, прошу за мной.

Он повел нас в маленькую комнату в другом конце студии, где нас встретили ослепительными улыбками две девушки в ярко-розовых комбинезонах.

— Это не займет много времени, — заверили они, втирая темный крем. — Чуть затенить под глазами... вот

так. Теперь припудрить... — Они окунули ватные тампоны в пудру, осторожно стряхнули лишнюю. — Вот и все.

Я посмотрел в зеркало. Грим смягчил и сгладил линии лица и неровности кожи. Меня это совсем не заботило.

— Грим нужен для того, чтобы выглядеть естественнее и здоровее, — убеждали нас девушки.

Боллертон нахмурился и пожаловался, что одна из них припудрила ему залысины. Девушка деликатно настаивала:

— Иначе они бы чересчур блестели, понимаете? — И она слегка похлопала его по голове ватным тампоном.

Он поймал мой насмешливый взгляд и от ярости побагровел под гримом цвета загара. Нет сомнения, он не разделяет сочувственные шутки в свой адрес, о чем мне следовало бы знать. Я вздохнул. Два раза я видел его, и оба раза он представал передо мной в невыгодном свете, и, хотя мне вовсе не хотелось вызывать его раздражение, казалось, будто я специализируюсь в этом.

Мы вернулись в студию, и Кемп-Лоур жестом показал, чтобы мы заняли свои места в креслах на возвышении.

— Я расскажу вам о порядке передачи. После музыкальной заставки я буду говорить с вами, Джон, о том, что мы обсудили. Потом Роб расскажет, какой образ жизни приходится вести жокею. У нас есть несколько кадров, показывающих вас на скачках, мы их используем как иллюстрацию, и как раз тут я планирую начать наше интервью. Вы все увидите на этом экране. — Он показал на монитор. — В последние несколько минут, Джон, у вас есть возможность прокомментировать то, что скажет Роб, и потом вы оба добавите несколько слов в заключение. Увидим, как все пойдет. Итак, самое главное — говорить естественно. Я всегда утверждаю, что слишком много репетиций портят спонтанность программы, но это значит, что в следующие четверть часа большая доля успеха зависит от вас. Я уверен, что вы оба будете великолепны.

Он закончил свою речь ободряющей улыбкой, и я действительно чувствовал, как переливается в меня его уверенность.

Голос прокричал:

— Две минуты.

Ослепительно вспыхнули прожекторы. На мгновение монитор показал крупным планом кофейные чашки на столе, затем следующий кадр — мультипликационная картинка, рекламирующая нефть. Зазвучала музыка, мы были в прямом эфире.

Я посмотрел на монитор. На нем без слов шла реклама мыльных хлопьев. В студии царило гробовое молчание. Все ждали. Кемп-Лоур подготовил свою знаменитую улыбку и глядел прямо в темный объектив. На десять се-

кунд улыбка застыла на лице без движения. На мониторе сверхкрупным планом галопировали лошади. Гордон резко бросил руку вниз. На камере перед Кемп-Лоуром зажегся красный глазок, и его приятный, задушевный голос зазвучал в миллионах гостиных.

— Добрый вечер... сегодня я собираюсь представить вам двух человек, они оба тесно связаны с национальными скачками, но видят их и говорят о них с противоположных полюсов. Один — мистер Джон Боллертон... — Кемп-Лоур в превосходной степени аттестовал Боллертона, хотя явно перестарался. В Национальном охотничьем комитете сорок девять других членов, включая отца Кемп-Лоура, и все они по крайней мере так же активны и так же преданы конному спорту, как толстый человек, который сейчас наслаждался лестной оценкой, даваемой ему комментатором.

Искусно ведомый Кемп-Лоуром, он рассказывал о своих обязанностях распорядителя скачек.

Я наблюдал за ним в монитор и вынужден был признать, что на экране он выглядит солидным, рассудительным, ответственным человеком, чувствующим свою правоту. Агрессивная роговая оправа придавала ему на экране авторитетность определенного сорта, и его обычно мрачное выражение казалось скорее открытым и добродушным. Никто из тех, кто смотрит спектакль Кемп-Лоура, умеющего разговорить человека, не заподозрит, что Боллертон — надутый тупица, каким мы его знаем на скачках. И тут я вдруг понял, как телепередачи помогли ему собрать голоса на выборах в Национальный охотничий комитет.

Раньше чем я ожидал Кемп-Лоур повернулся ко мне. Я конвульсивно сглотнул. Он улыбался в камеру.

— А теперь, — начал он с видом человека, который готовит другому подарок, — я представляю вам Роба Финна, молодого жокея стипль-чеза, который пока на старте своей спортивной карьеры. Он никогда не побеждал на крупных скачках и не работал ни с одной знаменитой лошадью, вот поэтому я и пригласил его сегодня на встречу с вами, чтобы он помог нам чуть-чуть понять, как выглядят попытки проложить себе дорогу в спорте с таким высоким духом соревновательности.

Красный глазок зажегся на камере, направленной на меня. Я слабо улыбнулся. Язык прилип к нёбу.

— Сначала, — продолжал он, — мы посмотрим кадры, показывающие Финна в действии. Он в белой шапке, четвертый от конца.

Мы все уставились на монитор. Меня легко было заметить. Кадры показывали одну из первых моих скачек, и они жестоко раскрывали мою неопытность. В течение не-

скольких секунд, что продолжался фильм, белая шапка отодвинулась на два места назад, лучшую иллюстрацию к теме жокея-неудачника трудно было бы подобрать.

Кадры исчезли с экрана, и Кемп-Лоур, улыбаясь, заговорил:

— Теперь расскажите нам, как вы начинали и как вы решили стать жокеем.

— Я знал трех фермеров, которые сами тренировали собственных лошадей, и я попросил их дать мне шанс испытать себя на скачках.

— И они согласились?

— В конце концов да. — Я мог бы добавить, что пообещал им отдать гонорар и не просить никакого возмещения расходов, но метод, который я использовал для убеждения фермеров, владельцев лошадей, был прямым нарушением правил.

— Обычно, — прокомментировал Кемп-Лоур, поворачиваясь к камере, и красный глазок моментально зажегся на ней, — жокей на скачках начинает или как любитель в стипль-чезе, или как ученик на беговых дорожках без препятствий. Но, как я понимаю, вы, Роб, не воспользовались ни одним из подобных путей?

— Нет, не воспользовался, — ответил я. — Я начинал слишком старым, чтобы быть учеником, и я не мог быть любителем, потому что, объезжая лошадей, я зарабатывал на жизнь.

— Как конюх? — Слова прозвучали в форме вопроса, но интонация ясно показывала: он ждет, что я скажу "да". Кроме всего, это означало бы простонародное происхождение жокея, что в королевстве скачек считалось унизительным.

— Нет, — возразил я.

Он ждал, пока я продолжу, брови у него поднялись треугольником и выражали удивление, он выглядел так, будто у него зародилось опасение. Ну, подумал я, вы не стали слушать меня, когда я сказал, что едва ли можно меня представить как типичный случай, и, если я отвечаю не так, как вы ожидали, это полностью ваша вина.

— Видите ли, я уезжал на несколько лет из Англии, бродил по свету. Главным образом в Австралии и Южной Америке. Чаще всего я нанимался пастухом. Но год я провел в Новом Южном Уэльсе, работая помощником в труппе странствующего родео. Десять секунд на брыкающемся мустанге — это что-нибудь да значит, — усмехнулся я.

— О! — Брови поднялись еще на долю сантиметра, и наступила заметная пауза, прежде чем он сказал: — Как интересно. — Слова прозвучали так, будто именно это он и предполагал. Он продолжал: — Я хотел бы, чтобы у нас

было больше времени послушать о ваших приключениях, но я собирался представить зрителям финансовую сторону жизни жокея в вашем положении... Жокея, пытающегося заработать на одной или двух скачках в неделю. Ваш гонорар десять гиней за один раз, не так ли?

Он напирал на самое больное место, мои финансовые дела не выглядели слишком хорошо: расходы на дорогу, плата гардеробщику, замена экипировки и тому подобное. Выходило, что мой доход в последние два года был меньше, чем я мог бы заработать, например, как водитель почтового фургона, и будущее не обещает мне больших улучшений. Я почти чувствовал, как у зрителей, глядевших на меня, бьется мысль: какой дурак.

Кемп-Лоур почтительно обратился к Боллертону:

— Джон, какие вы хотели бы сделать комментарии к тому, что мы услышали от Роба?

Злобное удовольствие явно проскользнуло во властолюбивой улыбке Боллертона.

— Все эти молодые жокеи слишком много жалуются, — заговорил он хриплым голосом, совершенно забыв, что я вообще не жаловался. — Если они плохо выполняют свою работу, почему они надеются, что им должны хорошо платить? Владельцы скаковых лошадей не хотят тратить деньги и лишать своих лошадей шанса, нанимая жокея, которому не доверяют. Я говорю так, потому что знаю, я сам владелец.

— Гм... конечно, — проговорил Кемп-Лоур. — Но ведь каждый жокей должен когда-то начать? И всегда есть довольно много людей, которые никогда не достигнут высшего уровня, но им тоже надо зарабатывать на жизнь и содержать семью.

— Им лучше пойти на фабрику и получать хорошую зарплату, стоя у конвейера, — грубовато пошутил Боллертон, но слова его звучали вполне благоразумно. — Если они не могут примириться с фактом, что они неудачники, и не плакаться, как они бедны, тогда им надо вообще оставить скачки. Но немногие бросили скачки, — добавил он с недоброй усмешкой, — потому что им нравится носить яркую шелковую форму. Когда они проходят, люди оглядываются на них, и это льстит их мелкому самолюбию.

Где-то в глубине студии пронесся вздох после такого неджентльменского удара ниже пояса, и уголком глаза я заметил, что на камере, направленной на меня, зажглось красное пятнышко. Какое выражение на моем лице схватила камера в первый момент, я не знаю, но я расплылся в улыбке, обращенной к мистеру Боллертону, в такой нежной, одобрительной и прощающей улыбке, что она даже заставила слегка улыбнуться и его. Мне не так уж

трудно было улыбаться, потому что я знал: яркая шелковая форма скорее стесняла меня, чем доставляла удовольствие.

Кемп-Лоур повернулся ко мне:

— И что вы скажете на это, Роб?

Я заговорил искренне и страстно:

— Дайте мне лошадь и возможность участвовать на ней в скачках, и мне совершенно все равно, шелковая форма на мне или... или... пижама. Мне совершенно все равно, есть зрители или нет. Мне совершенно все равно, заработаю ли я много денег, или сломаю себе шею, или буду голодать, чтобы сбросить вес. Меня интересуют только скачки... скачки и победа, если я смогу.

Наступило короткое молчание.

— Мне трудно объяснить, — добавил я.

Они оба уставились на меня. Джон Боллертон выглядел так, будто раздавленная оса ожила и ужалила его, и прежняя враждебность перешла в явную озлобленность. А Кемп-Лоур? Выражение его лица я вообще не мог прочесть. Прошло несколько пустых секунд, прежде чем он спокойно повернулся к камере и знакомая улыбка опять проскользнула на свое место, но я инстинктивно чувствовал, как что-то важное зреет в них обоих, и испытывал странное беспокойство от того, что не имел ни малейшего понятия, что это такое.

Кемп-Лоур начал обычный обзор скачек следующей недели и быстро закончил программу традиционными словами: "До встречи в пятницу в это же время..."

Изображение на мониторе пропало вместе с улыбкой Кемп-Лоура и сменилось рекламой мыла.

Гордон, сияя, шагнул вперед.

— Очень хорошая программа. Все прошло прекрасно. Именно то, что они любят. Острый спор. Прекрасно, прекрасно, мистер Боллертон, мистер Финн. Великолепно. — Он пожал нам обоим руки.

Кемп-Лоур стоял, потягиваясь и улыбаясь:

— Прекрасно, Джон. Прекрасно, Роб. — Он нагнулся, взял мой стакан бренди и протянул мне. — Выпейте, — сказал он, — вы заслужили. — Он тепло улыбался, расслабившись и сбросив напряжение.

Я улыбнулся в ответ и выпил бренди, все время думая о том, как искусен он в своем деле. Побудив Боллертона подколоть меня, он выудил крик души, который услышали несколько миллионов чужих людей, тогда как я никогда бы не признался в этом даже самому близкому другу.

После спектакля, несмотря на поздравления, щедро, хотя и незаслуженно, обрушившиеся на Боллертона и потом на меня, я испытывал больше опасений, чем перед началом передачи. Почему так, я не мог понять.

6

Три недели и день спустя после передачи Пип Пэнкхерст сломал ногу. Лошадь вместе с ним упала на последнем препятствии второго заезда. В серую дождливую субботу середины ноября произошло событие, которое вывело из строя на оставшуюся часть сезона жокея — чемпиона стипль-чезов.

Санитары из "скорой помощи" долго не могли перенести его с поля в машину, потому что острая стрела голенной кости прорвала тонкую кожу ботинка и зловеще торчала из отверстия. Наконец, как мне потом сказал один из них, когда Пип потерял сознание, они ухитрились поднять его на носилки.

Со своего места я видел только взмахи белого флага, машину "скорой помощи", подпрыгивавшую на ухабистом грунте, и неподвижную фигуру Пипа на траве. Было бы неправдой сказать, что я спускался в весовую со спокойным сердцем. Как искренне я ни сочувствовал Пипу, от слабой надежды, что я могу занять его место в следующем заезде, пульс у меня взлетал и падал.

Это был главный заезд дня, главный заезд недели, стипль-чез на три мили с богатым призом, установленным пивоваренной фирмой. Приз привлек множество владельцев знаменитых лошадей, и будущие скачки обсуждались на спортивных страницах всех ежедневных газет. Лошадь Пипа, принадлежавшая лорду Тирролду, — звезда конюшни Эксминстера, мускулистый шестилетний каурый мерин, — обладала всеми качествами, чтобы стать чемпионом, и лучшие годы еще ждали ее впереди. Пока мерин ходил в "обещающих". Звали его Темплейт.

Я вошел в весовую и увидел Джеймса Эксминстера, который разговаривал с близким другом Пипа и тоже ведущим жокеем. Тот качал головой, и через комнату я видел по губам, что он говорит: "Нет, я не могу".

Эксминстер медленно обернулся и окинул взглядом лица. Я тихо стоял и ждал. Оглядев всех, он заметил меня. Он разглядывал меня без улыбки, размышляя. Затем глаза его передвинулись влево и сфокусировались на ком-то еще. Он принял решение и быстро прошел мимо меня.

Интересно, а на что я надеялся? Я работал для него всего четыре недели. Три победы. И дюжина обычных заездов. Две недели назад я снял угол в деревне рядом с его конюшней и каждое утро тренировался на его лошадях, но все же я оставался новичком, незнаменитостью, жокеем-неудачником из телевизионной передачи. Безутешный, я направился к дверям раздевалки.

— Роб, — произнес голос возле моего уха, — лорд Тирролд говорит, что вы можете участвовать в заезде на его лошади. Вам надо бы сказать гардеробщику Пипа: он принесет форму.

Я полуобернулся. Они стояли рядом, двое высоких мужчин, и оценивающе глядели на меня, понимая, что дают мне шанс на всю жизнь, но неуверенные, что я воспользуюсь им.

— Да, сэр, — сказал я и направился в раздевалку, чувствуя головокружение и едва веря тому, что услышал.

Ни Эксминстер, ни лорд Тирролд не дали мне в паддоке никаких указаний, как пройти дистанцию. Они были слишком озабочены состоянием Пипа: вид его раздробленной ноги поглотил все внимание и расстроил их.

Эксминстер лишь сказал:

— Постарайтесь, Роб, как можете.

И лорд Тирролд с несвойственной такому дипломатичному человеку бестактностью мрачно проворчал:

— Утром я поставил сто на Темплейта, да ладно, теперь уже, полагаю, поздно отменять ставку. — Но, заметив мое горестное изумление, он добавил: — Прошу прощения, Роб, я уверен, вы пройдете великолепно. — Но его слова прозвучали неубедительно.

Приняв гибкий и меняющийся по обстоятельствам план скачки, я сосредоточился на том, чтобы держать Темплейта четвертым в заезде из двенадцати участников. Оставаясь немного позади сначала, я сохранял его силы для финиша. И кроме того, если вести скачку первым, не увидишь, что делают остальные, кто может быть соперником. Темплейт сам ко второму препятствию подошел третьим, я еще не оказывал на него никакого нажима. Возле последнего я направил его на край скаковой дорожки, чтобы он мог видеть все впереди, и поощрил его. Его шаг моментально ускорился. Он взлетел так далеко перед препятствием, что у меня на секунду упало сердце, я был уверен, что он приземлится на его гребне, но я недооценивал его силу. Темплейт приземлился на несколько ярдов впереди от задней стенки препятствия, сам нашел равновесие, не запнувшись, и устремился вперед к финишному столбу.

Одна из лошадей, которая шла чуть впереди, в высоком прыжке преодолела препятствие. Оставалось обойти только гнедого. Только фаворита, выбранного критиками, публикой и прессой. Не так зазорно, мелькнуло у меня в голове, уступить фавориту.

Я вдавил колени в бока Темплейта и два раза стегнул его хлыстом. Я понял, что ему нужен был только сигнал, каждой унцией тела он устремился вперед, вытянув шею; я встал коленями ему на холку, и давил на него, и дви-

гался в его ритме, я держал хлыст, боясь помешать ему. Он вытянул морду вперед за пять шагов до финиша, и так и миновал его.

Я был так измучен, что едва мог спрыгнуть с седла. Когда мы пришли на площадку, где расседлывают лошадей, раздались одобрительные восклицания и комплименты, но я чувствовал себя слишком слабым и вялым, чтобы радоваться им. Ни одна скачка раньше не отнимала у меня столько сил. И ни одна так много не давала.

От удивления лорд Тирролд и Эксминстер выглядели почти подавленными.

— Отлично, Роб, — сказал Эксминстер, и его нижние зубы блеснули в улыбке.

— Это удивительная лошадь! — с жаром воскликнул я.

— Да, — согласился лорд Тирролд, — он удивительный. — И потрепал потемневшую от пота шею Темплейта.

Эксминстер сказал:

— Не болтайтесь тут, Роб, идите и взвесьтесь. У вас мало времени. Вы участвуете в следующей скачке и еще в одной после нее.

Я посмотрел на него.

— Ну а чего вы ждали? Пип, очевидно, пролежит еще несколько месяцев. Я взял вас вторым после него, и вы будете заменять его, пока он не вернется.

— Некоторые люди выходят с дезинфекции, а пахнут лавандой, — выдал Тик-Ток очередное изречение.

В конце дня он ждал, пока я переоденусь.

— Шесть недель назад вы выпрашивали лошадей. Потом вы даже пришли на телевидение как неудачник и заставили понять, что вы не неудачник. Воскресные газеты пишут в спортивных колонках о вас, вашу версию символа веры с удовольствием полощут в "Таймсе". Теперь у вас роль в шоу из-дублеров-в-звезды и тому подобный джаз. И все вполне прилично. Три победы в один день. Вот это то, что я называю нервом.

— Что взлетает вверх, должно упасть вниз. Вы потом подберете осколки, — усмехнулся я.

Завязав галстук и пригладив волосы, я посмотрел в зеркало на глупую улыбку, которую не мог стереть с лица. Такие дни, как сегодня, бывают совсем не часто, подумал я.

— Пойдемте лучше навестим Пипа, — предложил я.

— Идет, — согласился Тик-Ток.

Нам удалось побыть у Пипа всего несколько минут. Он лежал, накрытый одеялом до подбородка, в одноместной палате, нога подвешена в специальной люльке. Проворная сестра сообщила, что через минуту его увезут в

операционную и что пациента не надо беспокоить: он уже принял нужные для операции лекарства.

— Привет. — Вот почти все, что мы сказали ему. Пип выглядел ужасно бледным, и глаза у него были затуманены. Но слабым голосом он спросил:

— Кто выиграл большие скачки?

— Темплейт, — ответил я почти извиняющимся тоном.

— Вы?

Я кивнул. Он слабо улыбнулся:

— Теперь у вас будет много лошадей для работы.

— Я сохраню их тепленькими для вас. Вы не пробудете тут долго.

— Три проклятых месяца. — Он закрыл глаза. — Три проклятых месяца.

Сестра вернулась с каталкой и двумя санитарами. Мы подождали в холле и видели, как они везли Пипа к открытому лифту.

— С таким переломом он пробудет тут не меньше четырех месяцев, — заметил Тик-Ток. — Как раз в марте к Челтнему выйдет. Самое время, чтобы отобрать у вас всех лошадей и лишить шанса участвовать в Больших национальных скачках и Золотом кубке.

— Ну и что ж, — не согласился я. — Всего лишь восстановится справедливость. А что-нибудь может случиться и раньше.

Наверно, Эксминстеру нелегко было убедить некоторых владельцев, что я способен занять место Пипа, и вначале я работал не со всеми лошадьми его конюшни. Но проходила неделя за неделей, и я невероятно шел в гору. Эксминстер все меньше и меньше привлекал других жокеев. В день я участвовал в трех или четырех скачках и возвращался в деревенскую берлогу удовлетворенный и выжатый как лимон, но наутро просыпался полный энергии и желания снова оказаться на ипподроме. Постепенно я даже привык побеждать, для меня перестало быть чудом восхищение владельцев или мой портрет в спортивных газетах.

Я начал зарабатывать довольно много денег, но тратил мало. Где-то в глубине сознания всегда оставалась мысль, что такое процветание временно. Пип поправлялся. Тем не менее Тик-Ток и я решили купить машину на двоих, подержанный кремовый "мини-купер", нам порекомендовал его как выгодную покупку друг Тик-Тока, владевший гаражом.

— Еще пару леопардовых шкур на сиденья и пару блондинок, — заявил Тик-Ток, вытирая пыль с маленькой машины, припаркованной возле моей берлоги, — и мы будем похожи на элегантных представителей человече-

ского рода с рекламы в "Тэтлере". — Он поднял капот и всунул нос в мотор. — Какой прекрасный дизайн!

Пока Бог подбрасывал мне удачу за удачей, у других дела шли все хуже.

Грант не извинился и не дал никаких объяснений, за что он ударил меня, но с того дня фактически не сказал мне ни единого слова и перестал пользоваться моими вещами. Не уверен, что это меня огорчало. Он все больше и больше замыкался в себе. Неукротимая ярость бушевала в нем, и все более деревенело его тело и теснее сжимались губы. Он не выносил, если кто-нибудь дотрагивался до него, даже случайно, и угрожающе оборачивался, если кто-то натыкался на него в раздевалке. Моя вешалка на большинстве скачек по-прежнему была рядом с его, невозможно было избежать столкновений в таком тесном пространстве, и, если я нечаянно толкал его, взгляд, которым он окидывал меня, был полон ненависти.

Он не только со мной перестал разговаривать. Он вообще замолчал. Тренеры и владельцы, еще нанимавшие его, не могли обсудить с ним план скачки или объяснить, что произошло после ее окончания.

Довольно странно, но мастерство Гранта не ухудшилось вместе с характером. Он работал так же жестко, как обычно, но мы видели, что он начал вымещать ярость на лошадях, и дважды за ноябрь распорядители вызывали его для объяснений "за неумеренное использование хлыста". Не говоря уже о том, что каждая лошадь приходила к финишу с красными рубцами на боках.

Извержение вулкана произошло однажды холодным днем на стоянке машин в Варвике. Я задержался после скачек, потому что выиграл последний заезд, и ликующий владелец, один из моих друзей-фермеров, повел меня в бар. Тик-Ток уехал на другие соревнования, и "мини-купер" был в моем распоряжении. Когда я вышел, на стоянке маячил "мини-купер", рядом с ним еще одна машина и два или три автомобиля в следующем ряду.

Я шел к "мини", радуясь победе и восторгу моего друга-фермера, потому, наверно, и не заметил Гранта. Домкрат поддерживал пустую ось черного автомобиля, а он стоял на коленях рядом и держал в руке запасное колесо.

Он заметил, как я улыбаюсь, и мысль, что я смеюсь над проколотой шиной, взбесила его. Я впервые увидел, как бесконтрольная ярость может исказить лицо человека. Грант вскочил и стоял неподвижно, плотная фигура воинственно сгорбилась, сильные плечи напряглись под пальто, руки висели по бокам. Вдруг он нагнулся и выбрал среди кучи инструментов баллонный ключ. Не сводя с меня глаз, он рассекал им воздух.

— Если хотите, я помогу вам с этим проколом, — мягко предложил я.

В ответ он сделал шаг в сторону, размахнулся, будто собирался рубить дрова, и ударил по заднему стеклу "мини-купера". Стекло с шумом разлетелось и зазвенело по стенкам салона, из рамы торчал только острый треугольный осколок.

У нас с Тик-Током машина была всего три недели. Злость поднялась во мне мгновенной горячей волной, и я сделал шаг, чтобы спасти от дальнейшего разрушения свою самую ценную собственность. Он обернулся ко мне и снова поднял баллонный ключ.

— Не будьте ослом, Грант, — решительно сказал я. — Бросьте эту штуку и давайте вместе поменяем колесо.

— Вы... — выкрикнул он, — вы отняли у меня работу.

Глаза над высокими скулами налились кровью. Большие ноздри зияли, будто черные ямы. Он размахнулся и занес руку с ключом над моей головой.

В эту минуту я подумал, что он, должно быть, действительно сошел с ума, потому что, если бы он попал, он наверняка бы убил меня, и у него не было никакой надежды удрать в стоявшей рядом машине без колеса. Но он не способен был думать.

Я увидел занесенную над моей головой руку и, прежде чем она опустилась, успел увернуться. Баллонный ключ просвистел мимо правого уха. Его рука вернулась в прежнее положение, и он опять целился в меня. Я нырнул у него под мышкой, и на этот раз, когда он замахнулся, его туловище оказалось открытым. Я сделал шаг и ударил изо всех сил кулаком ему под ребра. Он замычал, когда воздух с силой вырвался из легких, рука с ключом упала, и голова дернулась вперед. Я чуть отклонился вправо и ударил его ребром ладони сбоку в шею. Он упал на колени и, слабея, пополз по траве. Я вынул баллонный ключ из разжавшихся пальцев, положил его вместе с другими инструментами в ящик и засунул все в багажник его машины.

Становилось очень холодно, ранние сумерки превратили все цвета в черный и серый. Я присел на корточки возле Гранта, он был почти без сознания, тяжело дышал и слегка постанывал.

Я нагнулся к его уху и спросил, будто продолжая разговор:

— Грант, почему вас уволил Эксминстер?

Он что-то пробормотал, но я не расслышал. Я повторил вопрос. Он молчал. Я вздохнул и выпрямился. Оставался лишь маленький шанс.

Вдруг он отчетливо произнес:

— Он сказал, что я передавал информацию.

— Какую информацию?

— Передавал информацию, — повторил он не так ясно.

Я нагнулся и переспросил:

— Какую информацию? — И хотя губы у него шевелились, он ничего больше не сказал.

Я решил, что не могу уехать и оставить его лежать тут, на холоде. Я опять вынул инструменты, разложил их на траве, поставил целое колесо и затянул гайки. Потом накачал шину, вытащил домкрат и бросил его вместе с проколотым колесом в багажник на ящик с инструментами.

Грант еще не совсем пришел в сознание. Я знал, что не так сильно ударил его, чтобы он так долго не приходил в себя, и мне пришло в голову, что, вероятно, его затуманенный мозг нашел спасительный путь спрятаться от реальности. Я нагнулся, потряс его за плечо и позвал по имени. Он открыл глаза. И на секунду показалось, будто улыбается прежний Грант, но затем обида и горечь снова овладели им, как если бы он вспомнил, что случилось. Он выглядел отчаянно уставшим, полностью выжатым.

— О боже, — проговорил он, — о боже! — Его слова прозвучали как настоящая молитва, и сошли они с губ, которые обычно, не задумываясь, проклинали.

— Если бы вы обратились к психиатру, — ласково заметил я, — он мог бы что-то посоветовать вам.

Он не ответил, но и не сопротивлялся, когда я помог ему сесть в "мини-купер". Он бы не смог вести машину, и никого не было поблизости, чтобы довезти его до дома. Я спросил, где он живет, он объяснил. Его машине на стоянке ничего не грозило, и я предложил ему завтра забрать ее. Он молчал.

К счастью, он жил всего в тридцати милях от ипподрома, и я довез его, куда он сказал; он вышел перед безликим домом на две семьи на окраине маленького сельского городка. В окнах свет не горел.

— Вашей жены нет дома? — спросил я.

— Она ушла от меня, — бросил он отсутствующим тоном. Затем на щеках вздулись желваки, и он закричал:

— Не суйте нос в... чужие дела. — Он толкнул дверцу машины, выбрался наружу и с грохотом захлопнул ее. — Убирайтесь вместе с вашим благополучием и... Мне не нужна ваша помощь, вы...

Казалось, его обычное состояние вернулось, оно вызывало жалость, но не было никакого смысла оставаться и выслушивать его проклятия. Я включил мотор и отъехал. Но, не проехав и полмили, я нехотя пришел к заключению, что ему не стоит оставаться одному в пустом доме.

В этот момент я был в центре маленького городка, где

в ярко освещенных магазинах уже были заперты двери, я остановился и спросил пожилую женщину, где можно найти доктора. Она указала большой дом на тихой стороне улицы, я припарковался и позвонил.

Появилась хорошенькая девушка, сказала:

— Прием с шести, — и попыталась закрыть дверь.

— Если врач там, позвольте мне поговорить с ним, — быстро вставил я.

— Хорошо, — согласилась она и ушла. Немного спустя вышел молодой круглолицый, внушающий доверие человек, жующий кусок шоколадного торта с кремом. Его лицо выражало безропотный вопрос, такое выражение бывает у врачей, выполняющих долг в нерабочее время.

— Вы, случайно, не доктор Гранта Олдфилда? — спросил я. Если Грант и не его пациент, подумал я, то он подскажет мне, к кому обратиться.

Но доктор сразу же сказал:

— Да. Что, он опять упал?

— Мм... Нет. Не будете ли вы любезны поехать и посмотреть его?

— Сейчас?

— Да, пожалуйста. Он... мм... его стукнуло на скачках.

— Полминуты, — проговорил доктор и вошел в дом. Почти тотчас он вновь появился с врачебным чемоданчиком и еще одним куском торта. — Вы не довезете меня? Чтобы не тратить время, а то мне надо выводить машину из гаража, тут рукой подать.

Едва мы сели в "мини-купер", как он спросил о разбитом заднем стекле, вопрос не праздный, потому что пронизывающий ветер леденил нам шеи. Я рассказал, как Грант разбил стекло, и объяснил, каким образом мне удалось привезти его домой.

Он слушал молча, слизывая крем с куска торта. Затем спросил:

— Почему он набросился на вас?

— По-видимому, он убежден, что я отнял у него работу.

— Вы отняли у него работу?

— Нет, — возразил я. — Он потерял ее на месяц раньше, чем предложили мне.

— Вы тоже жокей? — спросил он, глядя на меня с любопытством. Я кивнул и назвал свою фамилию. Он сообщил, что его фамилия Парнелл. Я сбросил скорость, и мы остановились в нескольких метрах от дома Гранта. В окнах по-прежнему не горел свет.

— Я оставил его тут меньше десяти минут назад, — сказал я, когда мы шли по дорожке к входной двери. Едва видимый в свете уличного фонаря маленький сад выгля-

дел запущенным и печальным, на заросших травой клумбах торчали засохшие цветы. Мы позвонили в дверь. Никакого результата. Мы позвонили снова. Доктор доел торт и облизал пальцы.

Что-то в темноте зашелестело на дорожке сада. Доктор вынул фонарь в форме карандаша, таким обычно врачи освещают глаз или горло пациента, и направил его тоненький луч на кусты жасмина, растущие вдоль забора. Свет выхватил из темноты несколько жалких кустов роз, заглушенных некошенной травой. Но в углу у забора острый луч света наткнулся на силуэт сгорбившегося человека. Он сидел на земле, прижавшись спиной к забору, обхватив руками голову и упираясь подбородком в колени.

— Пойдем, старина, — ободряюще сказал доктор и поставил его на ноги. Он ощупал карманы Гранта, нашел связку ключей и вручил мне. Я пошел вперед, отпер входную дверь и включил в прихожей свет. Доктор вел Гранта, и мы вошли в комнату, которая оказалась столовой, где все было покрыто толстым слоем пыли.

Грант бессильно рухнул на стул и положил голову на грязный обеденный стол. Доктор осмотрел его, пощупал пульс, поднял глазное веко, пробежался руками вокруг шеи и выступающих скул. Грант раздраженно откинулся, когда пальцы Парнелла коснулись того места, куда я ударил его, и сердито пробормотал:

— Убирайтесь вон, убирайтесь вон.

Парнелл отступил на шаг и пожевал губы.

— Насколько я вижу, никаких физических повреждений у него нет, разве что онемела шея. Нам лучше уложить его в постель, я дам успокоительное, а утром организую, чтобы его осмотрел тот, кто сможет определить, что с ним происходит. Если будут какие-нибудь изменения в его состоянии, вы можете ночью позвонить мне.

— Я? Я не останусь тут на всю ночь...

— М-да, а я думал... Не останетесь? — бодрым тоном проговорил он, и глаза сардонически засверкали на круглом лице. — Кто же тогда? В конце концов, вы ударили его.

— Да, но... — запротестовал я, — но ведь причина не в этом.

— Какая разница? Вы уже позаботились, чтобы привезти его домой, и привели меня. Будьте хорошим парнем и доведите дело до конца. Думаю, кто-то должен остаться с ним на ночь... кто-то достаточно сильный, чтобы справиться в критическую минуту. Пожилая родственница тут не годится, даже если бы так поздно мне и удалось разыскать кого-нибудь.

Когда вопрос поставлен так, трудно отказаться. Мы повели Гранта наверх, вдвоем поддерживая его. Спальня

оказалась в отвратительном состоянии. Грязные, скомканные простыни и одеяла кучей громоздились на неубранной постели, толстый слой пыли покрывал все поверхности, испачканная одежда валялась на полу и грязные рубашки висели на спинках стульев. Вся комната пахла прокисшим потом.

— Лучше положить его где-нибудь в другом месте, — предложил я, зажигая свет и открывая другие двери на маленькой лестничной площадке. Одна дверь вела в ванную, запущенный вид которой не поддается описанию. За другой оказался бельевой шкаф, где лежало в аккуратной стопке несколько простыней, а за третьей открылась пустая спальня с яркими букетами роз на обоях. Грант, сощурившись, стоял на площадке, пока я доставал простыни и стелил ему постель. Чистой пижамы в шкафу не нашлось. Доктор Парнелл раздел Гранта до трусов и заставил лечь в чистую постель. Затем он спустился вниз и вернулся со стаканом воды, по брезгливому выражению лица я без слов понял, в каком состоянии могла быть кухня.

Он открыл чемодан и достал две таблетки, из своей руки заставил Гранта проглотить их, что тот послушно сделал.

Парнелл посмотрел на часы.

— Я опаздываю на прием, — воскликнул он, когда Грант лег на спину и закрыл глаза. — Таблетки позволят ему немного спокойно поспать. Дайте еще две, когда он проснется. — Он протянул мне маленький пузырек. — Вы знаете, где найти меня, если я понадоблюсь, — добавил он с бессердечной ухмылкой. — Спокойной ночи.

Я провел ужасную ночь, поужинав бутылкой молока, которую нашел на пороге. В вонючей кухне не было ничего съедобного. В доме я не нашел ни книг, ни радио и коротал время, пытаясь навести порядок в этом жутком хаосе.

Несколько раз я поднимался на цыпочках взглянуть, что делает Грант, но он мирно спал, вытянувшись на спине. В полночь я нашел его с открытыми глазами, но когда подошел ближе, то увидел, что сознание не вернулось к нему, и он послушно, не говоря ни слова, проглотил две таблетки. Я подождал, пока он снова закроет глаза, потом запер дверь спальни и спустился вниз. Разложив ковер из машины на коротком диване, я заснул тяжелым сном.

Доктор Парнелл оказался все же так любезен, что полвосьмого приехал с мужчиной средних лет и освободил меня. Он привез с собой корзинку, собранную его женой. Она положила туда яйца, бекон, хлеб, молоко, кофе, а он вытащил из врачебного чемодана электрическую бритву с сильным мотором.

— Вот и все, — весело сказал он, и его круглое лицо сияло.

Так я приехал на скачки, вымытый, выбритый и накормленный. Но мысль о человеке, оставленном с помутненным рассудком, не поднимала настроения.

7

— Вся беда в том, что именно сейчас нам не хватает жокеев, — пожаловался Эксминстер.

Мы ехали в Сендаун и обсуждали, кого можно взять на следующей неделе, когда ему придется послать лошадей на два разных ипподрома в один и тот же день.

— Вы все еще думаете, что есть черная кошка, от которой идет вред всему делу, — говорил Эксминстер, ловко протискивая свой большой лимузин между девушкой, едва справлявшейся с велосипедом, и фургоном для перевозки мебели. — Арт застрелился, Пип сломал ногу, у Гранта нервное расстройство. У двоих или троих обычные травмы, вроде сломанной ключицы, и, наконец, четверо совершенно бесполезных парней, взятых по никудышному совету Боллертона, и теперь от них одни неприятности. Есть еще Питер Клуни... но я слышал, что он ненадежен, может вовремя не приехать; Дэнни Хигс слишком много спорит, говорят владельцы; Ингерсолл, я бы сказал, не всегда старается... — Он сбросил скорость, пока мамаша толкала перед собой коляску и вместе с ней трое малышей не спеша переходили дорогу, и продолжал: — Каждый раз, когда я считаю, что нашел многообещающего жокея, я узнаю что-то, говорящее не в его пользу. С вами... те кадры, что они показали в телевизионной программе. Просто шок, разве не правда? Я смотрел и думал: боже, что я наделал, я взял этого олуха работать на моих лошадях, и, кроме того, как я объясню владельцам, почему я его взял. — Он усмехнулся. — Я готов был обзвонить их и заверить, что вы никогда не будете работать с их лошадьми. К счастью для вас, я вспомнил, как вы уже работали для меня, и решил досмотреть передачу, и, когда она кончилась, я отказался от намерения звонить. Я даже подумал, что наткнулся на золотую жилу, опередив всех и захватив вас. И ничего, что было потом, — он сбоку посмотрел на меня и улыбнулся, — не изменило моего мнения.

Я тоже улыбнулся. С того дня, когда Пип сломал ногу, проходили недели, и я все лучше узнавал Эксминстера и с каждым днем он нравился мне все больше. Он не только был мастером экстракласса и работником, не знавшим устали, но он был надежным человеком во всех отноше-

ниях. Он не поддавался переменам настроения, и, подходя к нему, не приходилось вычислять, в хорошем он расположении или плохом. Он всегда оставался самим собой, благоразумным и восприимчивым. Он прямо говорил, что думал, никогда не приходилось разгадывать косвенные намеки или искать скрытого сарказма, и потому отношения с ним складывались устойчивые и свободные от подозрительности. Тем не менее во многих случаях он бывал эгоистичным. Даже в деловых вопросах его собственный покой и удобства всегда занимали первое, и второе, и третье место. Он мог оказать кому-то любезность, но лишь в том случае, если она не требовала от него абсолютно никакой личной жертвы, ни времени, ни усилий.

У меня создалось впечатление, что с самого начала его так же удовлетворяло мое общество, как и меня его. Очень скоро он предложил отбросить "сэр" и говорить "Джеймс". В конце той недели, когда мы возвращались с Бирмингемских скачек, нам навстречу то и дело попадались яркие афиши, сообщавшие о концерте, который должен был состояться в тот же вечер.

— "Дирижер — сэр Трилоуни Финн", — громко прочел он огромные буквы, бросавшиеся в глаза. — Вряд ли родственник, — шутливо заметил он.

— Как сказать, это мой дядя, — ответил я.

Наступило гробовое молчание. Затем он сказал:

— И Каспар Финн?

— Отец.

Пауза.

— Кто еще?

— Леди Оливия Коттин — моя мать, — проговорил я, просто констатируя факт.

— Боже всемогущий!

Я усмехнулся.

— И вы так умеете скрывать... — пробормотал он.

— На самом деле не я... Им хотелось бы, чтобы я скрывал. Понимаете, жокей в семье — это бесчестье. Это их смущает. Им будет неприятно, если такая компрометирующая родственная связь окажется на виду.

— Понятно, — задумчиво протянул он. — Это многое объясняет, чему я всегда удивляюсь. Откуда в вас такая спокойная уверенность... такая манера держаться... почему вы так мало говорите о себе.

Я заметил с улыбкой:

— Я был бы очень благодарен... Джеймс... если бы вы, из любезности к моим родителям, не позволили этой теме стать предметом болтовни в раздевалке.

Он ответил, что о моем происхождении никто не узнает, и сдержал слово, но после этого разговора он с большой убежденностью воспринимал меня как друга. И

когда он перечислял недостатки Питера Клуни, Дэнни Хигса и Тик-Тока, между нами уже установилось некоторое доверие, что позволило мне сказать:

— Наверно, на вас обрушивается много слухов. Вы убеждены, что все они основаны на фактах?

— На фактах? — удивленно повторил он. — Допустим, Питер Клуни несколько недель назад действительно пропустил две скачки из-за того, что опоздал. Это факт.

Я рассказал о чудовищной неудаче, постигшей Питера, когда два раза выезд с узкой проселочной дороги, идущей от его деревни к шоссе, оказался перегорожен машинами.

— Насколько я знаю, — настаивал я, — с тех пор он больше никогда не опаздывал. Мнение о нем как о ненадежном человеке основано главным образом на этих двух случаях.

— Я несколько раз слышал, что ему нельзя доверять, вечно с ним что-то происходит, — упрямо не соглашался Джеймс.

— От кого? — удивился я.

— Ну-у, я не помню. Например, От Корина Келлара. И конечно, от Джонсона, который нанимал его, и от Боллертона тоже, хотя это и против моих правил — обращать внимание на то, что он говорит. Впрочем, у всех такое мнение.

— Хорошо, а что с Дэнни Хигсом? — Я знал Дэнни, неукротимого кокни, крохотного роста, но безрассудно храброго человека.

— Он слишком много спорит, — убежденно проговорил Джеймс.

— Кто так считает?

— Кто так считает? Я... мм... Корин. — Он запнулся. — Корин, кажется, несколько раз говорил мне. Он говорит, что из-за этого он никогда не нанимает Хигса.

— А Тик-Ток? Кто сказал, что Ингерсолл не всегда старается выиграть скачку?

Джеймс долго молчал и наконец сказал:

— Почему я не должен верить тому, что говорит Корин? Он отличный тренер, и он, как и мы все, зависит от хороших жокеев. Разве он отказался бы использовать Клуни или Хигса, если бы у него не было убедительных доводов?

Я несколько минут подумал и потом попросил:

— Я знаю, что это совершенно меня не касается, но если вы не возражаете, расскажите, почему вы отказались от Гранта Олдфилда. Он сам сказал мне о какой-то информации, но не объяснил, в чем дело. — Я предпочел не упоминать, что Грант был в полубессознательном состоянии, когда говорил.

— А, информация? Да, он передавал информацию. Я ненавижу такие дела.

Мой вид выдавал непонимание. Эксминстер проскочил на желтый свет и скосил на меня глаза.

— Информация, — раздраженно объяснил он, — это данные о лошадях. Он передавал данные. Если среди нас есть такой человек, он предупредит профессионального игрока, и владелец лошади не получит тех денег, на какие рассчитывал, потому что профессионал опередит его и испортит рынок. Три владельца моих лошадей страшно разозлились — они получили два или три к одному, тогда как ожидали получить шесть или семь к одному. И сделал это Грант. Очень жаль, потому что он сильный жокей, такой, как мне нужен.

— А как вы узнали, что именно Грант тот, кто передавал информацию?

— Морис Кемп-Лоур раскрыл все дело, когда работал над одной из своих передач. Что-то о том, как действуют профессиональные игроки. Думаю, он вышел на Гранта более-менее случайно. Ему было не совсем удобно говорить мне об этом, и он только предупредил, что разумнее не позволять Гранту знать слишком много. Но нельзя нормально работать с жокеем и держать от него секреты. Совершенно безнадежное дело.

— А что говорил Грант, когда вы отказали ему?

— Он очень возмутился и все отрицал. А что он мог еще? Ни один жокей не признается, что продавал информацию, если хочет, чтобы другой тренер нанял его.

— Вам удалось спросить профессионала?

— Конечно. Понимаете, мне не хотелось верить. Но тут уж никуда не денешься. Мне пришлось надавить на него, потому что, естественно, он не выдавал информатора, но потом Лаббок, профессионал, признался, что Грант предупреждал его по телефону и он каждый раз платил Гранту, когда тот работал для меня.

Звучало вполне убедительно, но у меня осталось неуловимое чувство, будто я что-то упустил.

Я переменил тему.

— Вернемся к Арту, — сказал я. — Почему у него всегда бывали конфликты с Корином?

— Не знаю, — задумчиво проговорил Эксминстер. — Корин говорил раза два или три, что Арт не выполняет его инструкции. Возможно, так оно и было. — Он осторожно обошел два медленных грузовика и поглядел на меня. — Почему вас это интересует?

— Мне иногда кажется, что слишком много непонятного. Слишком много жокеев пострадало от слухов. Вы сами говорили, будто дурной глаз положен на наше племя.

— Это же шутка, — запротестовал он. — У вас слишком развито воображение. И если говорить о слухах, разве слухи заставили Арта покончить самоубийством или Пипа сломать ногу, или они заставили Гранта продавать информацию? Ведь не слухи заставили Клуни опаздывать.

— Дэнни Хигс спорит не больше других, — возразил я, чувствуя, что мне надо переходить в оборону. — Ингерсолл работает так же честно, как и все остальные.

— Вы не можете судить о Хигсе, потому что не знаете, — разбил он мою оборону. — А Ингерсолл, разрешите напомнить вам, на прошлой неделе давал объяснения распорядителям, почему его лошадь пришла третьей. Джон Боллертон, ее владелец, был просто в ярости, он сам мне говорил.

Я вздохнул. Тик-Ток сообщил другую версию. Корин велел ему не перегружать лошадь, потому что она была не совсем здорова, и Тик-Ток решил поберечь ее, вот они и финишировали третьими. И сам же Корин, мнение которого обычно менялось, как флюгер, осудил Тик-Тока за его действия.

— Может быть, я абсолютно не прав, — медленно проговорил я. — Надеюсь, не прав. Только...

— Только? — повторил он, когда я замолчал.

— Только, — облегченно продолжил я, — если вы услышите какие-нибудь слухи обо мне, вспомните о моих сомнениях... и раньше, чем поверить слухам, проверьте, правдивы ли они.

— Договорились, — насмешливо согласился он. — Все это чепуха, но, договорились, я проверю. — Он ехал молча довольно долго, потом сказал, сердито качая своей большой головой: — Никому не придет в голову специально стараться сломать карьеру жокею. Чепуха. В этом нет смысла.

Мы сменили тему разговора.

Близилось Рождество, и неделю, когда не было скачек, я провел в Кенсингтоне. Родители встретили меня с обычным дружелюбным равнодушием и предоставили самому себе. Они оба были заняты подготовкой к предстоящим рождественским выступлениям, и мать отрабатывала концерт, который ей предстояло играть в новом году. Каждое утро она начинала ровно в семь и с короткими перерывами на кофе и размышления сидела за роялем до половины первого. За свои двадцать шесть лет я привык просыпаться под звуки хроматических гамм и арпеджио и лениво лежал в постели, слушая, как она тщательно отрабатывает фразу за фразой, пробираясь через диссонансы современной партитуры, повторяя и повторяя аккорд за

аккордом, пока они наконец не удовлетворят ее и она не будет знать, что каждая нота переливается в другую в назначенном порядке.

Я мог точно обрисовать ее: одетая для работы в кашемировый свитер и спортивные брюки, она сидит с прямой спиной на специальном стуле, голова устремлена вперед, будто она прислушивается больше к роялю, чем к самим нотам. Она докапывалась до самого дна, чтобы понять суть, основное намерение композитора; и когда они твердо укладывались у нее в голове, начинала придавать им собственную интерпретацию, обостряла контрасты настроения и тональности, пока законченная концепция не всплывала — ясная, сверкающая и запоминающаяся.

Моя мать не была для меня утешительницей в детстве, не проявляла любящего интереса ко мне теперь, когда я стал взрослым, но своим примером показывала мне множество качеств, которыми я восхищался и высоко ценил. В частности, профессионализм, несгибаемую целеустремленность, отказ удовлетворяться низкими стандартами, если можно трудом достичь высоких. Я вырос уверенным в себе молодым человеком благодаря ее неучастию в материнских заботах, но зато я видел, какая тяжелая работа скрывается за громким успехом ее публичных выступлений, я вырос, не ожидая, что успех свалится мне прямо в руки без малейших усилий с моей стороны. Чему еще мать может научить своего сына?

Джоанна тоже была очень занята: она пела в Рождественской оратории. Только однажды промозглым утром мне удалось поймать ее на прогулке в парке, но, увы, мысли о Бахе легко отодвигали меня на второй план в ее сознании. Она не переставая мычала отрывки из оратории от Альберт-Гейт до Серпентайн и от Серпентайн до Бейз-уотер-роу. Там я посадил ее в такси и повез на рождественский ленч в "Савой", где она выглядела так, будто с трудом удерживалась от желания запеть в полный голос, потому что акустика главного вестибюля поразила ее. Я не мог решить, притворялась ли она раздраженной или в самом деле сердилась, и если так, то почему?

Определенно, она выглядела совсем не беззаботной, как обычно, в поведении была какая-то горечь, которая мне не нравилась. Когда мы одолели половину отличного мясного пирога, у меня запоздало мелькнула мысль, что она несчастна. В таком состоянии я не видел ее раньше и потому был не уверен в правильности своей догадки. Я подождал, пока принесли кофе, и небрежно спросил:

— Что случилось, Джоанна?

Она посмотрела на меня, потом обвела глазами зал, затем снова взглянула на меня, потом на свой кофе.

Наконец она сказала:

— Брайен хочет, чтоб я вышла за него замуж.

Совсем не то, чего я ожидал, и я почувствовал ужасную боль.

Я обнаружил, что разглядываю кофе, черный и горький, весьма подходящий к случаю, мелькнула мысль.

— Не знаю, что делать, — продолжала Джоанна. — Меня вполне устраивало, как у нас все шло. Сейчас я выбита из колеи. Брайен без конца говорит о "жизни во грехе" и что надо "узаконить отношения". Он сейчас особенно часто ходит в церковь и не может примирить наши отношения с религией. Я никогда не думала, что это грешно, просто радостно и плодотворно и... и удобно. Он говорит, что надо купить дом и солидно устроить его, он видит меня только домохозяйкой, которая убирает, штопает, готовит и тому подобное. А я не такого сорта человек. Одна мысль об этом пугает меня. Если я выйду за него замуж, я знаю, я буду несчастна... — Ее голос дрогнул.

— А если не выйдешь замуж за него? — спросил я.

— Тогда я тоже буду несчастна, потому что он отказывается продолжать наши отношения. Нам теперь вместе нелегко. Мы... ссоримся. Он утверждает, что безответственно и глупо в моем возрасте отказываться от замужества, и я говорю, что с удовольствием выйду за него замуж, если мы будем продолжать жить, как до сих пор: он будет приходить и уходить, когда ему хочется, и я тоже буду свободна, буду работать и ходить, куда мне нравится. Но он так не хочет. Он хочет соблюдать условности, быть респектабельным... и скучным. — Последнее слово получилось как взрыв и с оттенком презрения. Наступила пауза, она энергично размешивала кофе. В нем не было сахара. Я наблюдал за нервными движениями длинных сильных пальцев, слишком крепко державших ложку.

— Ты сильно его любишь? — спросил я, испытывая острую боль.

— Не знаю, — произнесла она несчастным тоном. — Я теперь не знаю, что такое любовь. — Она смотрела прямо на маленький столик. — Если это значит, что я должна всю жизнь приспосабливаться, чтобы создать удобства для его творчества, тогда я не люблю его. Если это значит быть счастливой в постели, тогда люблю.

Она заметила тень на моем лице и резко остановилась.

— Черт... Роб, прости. Это было так давно, когда ты говорил о... Я не думала, что ты еще...

— Ладно, — проговорил я. — Не имеет значения.

— Как ты думаешь, что... что мне делать? — спросила она, помолчав и все еще играя кофейной ложкой.

— Совершенно ясно, — убежденно сказал я, — что те-

бе не стоит выходить замуж за Брайена, если ты не сможешь выносить жизнь, какую он намерен вести. Это совсем не в твоем характере.

— Тогда? — тихо спросила она.

Я покачал головой. Решать ей придется самой. Никакой мой ответ не может быть беспристрастным, и она должна знать об этом.

Она сразу же ушла, потому что спешила на репетицию. Я заплатил, вышел на предпраздничную улицу и медленно побрел домой, купив по дороге подарки для всей семьи. Брак, какой предлагал Брайен, а Джоанна с презрением отвергала, был и моей самой большой в мире мечтой. Почему, безутешно размышлял я, жизнь так ужасно несправедлива?

На Святках Темплейт выиграл Королевские скачки — одно из десяти важнейших соревнований года. Таким образом, он твердо перешел в класс скаковых звезд, и мне это тоже не принесло никакого вреда.

Скачки транслировали по телевидению, и Морис Кемп-Лоур поставил меня перед камерами и взял интервью как у жокея-победителя. В конце краткой беседы он предложил мне послать привет Пипу, который, как объяснил Кемп-Лоур зрителям, следил за соревнованиями дома. Я видел Пипа неделю или две назад, и мы обсуждали с ним тактику предстоящих скачек, но я любезно приветствовал Пипа и сказал, что, надеюсь, его нога заживает хорошо. Кемп-Лоур, улыбаясь, добавил:

— Мы все желаем вам скорейшего выздоровления, Пип.

На следующий день спортивная пресса хвалила Темплейта и меня, многие тренеры, с лошадьми которых я еще не имел дела, предложили мне работать для них. У меня наконец появилось чувство, что меня приняли как жокея за мои собственные заслуги, а не только как временную замену Пипа. Вполне возможно, трепетала во мне надежда, что, когда Пип вернется, я не потеряюсь опять где-то в скаковых дебрях, потому что два тренера предложили мне работать с их лошадьми в любой момент, когда я буду свободен.

Естественно, что не обошлось и без падений, но, наверное, мне везло, и их было меньше, чем обычно: я не получил никаких серьезных травм, которые помешали бы участвовать в скачках, кроме нескольких синяков и царапин.

Самое худшее, с точки зрения зрителей, падение случилось однажды в январский субботний полдень, когда лошадь, с которой я работал, сбросила меня, отклонившись в прыжке от препятствия в сторону трибун. Я упал на голову и пришел в себя, когда санитары "скорой помо-

щи" поднимали меня на носилках в машину. Минуту или две я не мог вспомнить, где нахожусь.

Лицо Джеймса, склонившегося надо мной, когда они несли меня в пункт первой помощи, будто щелчком выключателя вернуло меня на землю, и я спросил, в порядке ли лошадь.

— Да, — ответил он, — а как вы?

— Ничего не сломано, — заверил я его, будто пьяный двигая конечностями по пути от машины к помещению.

— Лошадь перекатилась через вас, — сказал Джеймс.

— Вот как, — усмехнулся я. — То-то я чувствовал, будто меня выжимают, как лимон.

Я немного полежал в помещении первой помощи и к концу дня вернулся с Джеймсом в Баркшир.

— С вами все в порядке? — спросил он по дороге в машине.

— Да, — бодро ответил я. — Прекрасно. — На самом деле время от времени у меня начиналось головокружение, я испытывал слабость и тошноту, но скрывать свое истинное состояние от тренеров стало профессиональной привычкой, и я был уверен, что к понедельнику после хорошего сна смогу участвовать в скачках.

Единственным человеком, который откровенно выражал недовольство, если я выигрывал скачку, был Джон Боллертон, и я несколько раз в парадном круге ловил его взгляд, когда он, сжав тонкие губы, с очевидной враждебностью, совсем не соответствовавшей положению распорядителя, смотрел на меня.

После того дня, когда мы вместе участвовали в телевизионной передаче, мы едва ли обменялись несколькими словами, но Корин с едва скрываемым наслаждением передал мне, что Боллертон громко говорил ему и Морису Кемп-Лоуру в баре для членов Национального охотничьего комитета:

— Финн вовсе не заслуживает той шумихи, какую подняли вокруг его побед. Он так же быстро полетит вниз, как и поднялся, вот увидите. И я первый, кто не будет плакать о нем.

Каково же было мое удивление, когда на следующий день после падения Корин предложил мне участвовать в скачках на одной из лошадей Боллертона. Сначала я отказался и не принял слова Корина всерьез. Его звонок разбудил меня воскресным утром, и я было подумал, что это следствие сотрясения мозга.

— Если бы перед ним стоял выбор между мной и мешком картошки, — сказал я сонным голосом, — он выбрал бы картошку.

— Нет, я серьезно, Роб, он хочет, чтобы вы работали с Шантитауном завтра в Данстейбле, — убеждал меня Кел-

лар. — Должен признаться, что я и сам не понимаю, в чем дело, ведь он так настроен против вас. Но он совершенно определенно сказал мне по телефону не больше пяти минут назад. Может, это оливковая ветвь.

А может, и нет, подумал я. Моим первым инстинктивным желанием было отказаться, но я не мог придумать убедительного довода. Корин прежде спросил, свободен ли я, а потом предложил работать с лошадью Боллертона. Откровенный отказ без всяких объяснений хотя и был возможен, но дал бы Боллертону законный повод к враждебности, если он искренне хотел сгладить свою неприязнь, в чем я, правда, сомневался. И все равно отказ от его предложения только обострил бы враждебность.

Шантитаун не Темплейт. Далеко не Темплейт. На следующее утро по дороге в Данстейбл Тик-Ток утешительным тоном описывал мне его непредсказуемый характер и ненадежную прыгучесть.

— Он великолепно подходит, — говорил Тик-Ток, ставя ногу на акселератор "мини-купера", — только на убой. Деликатес. Вся живодерня будет аплодировать.

— У него неплохие данные, — слабо протестовал я, предвидя предстоящие мучения.

— Гм, каждый раз, когда он выигрывает или занимает призовое место, у жокея руки болтаются, как после вывиха. Попробуй заставь его сойти с места на старте и скакать куда надо. Когда он не в настроении, остается только держать его в шенкелях и надеяться на бога. Иначе он и к финишу не придет. Ему нужна жесткая узда. Фактически я не могу вспомнить, — с иронической ухмылкой закончил Тик-Ток, — другую лошадь, которая бы так плохо слушалась своего жокея.

Несколько недель назад Тик-Ток имел сомнительное удовольствие работать с лошадью Боллертона. Тогда распорядители втолкнули Шантитауна на третье место, а до тех пор Корин Келлар игнорировал Тик-Тока. Типичная для Корина несправедливость: дать отставку человеку, который, несмотря на неприятности, работал в его интересах, и Корин не ударил палец о палец, чтобы положить конец слухам, будто Тик-Ток имеет привычку работать спустя рукава.

Несмотря на резкое сокращение числа скачек, в которых он участвовал, слухи не портили настроения самому Тик-Току. Он пожимал плечами и с убежденным выражением на худощавом молодом лице заявлял:

— Со временем они изменят мнение. Я буду выжимать из каждой лошади, с которой работаю, все до костей. Я водружу свою задницу на любую безнадежную клячу. Никто не увидит, что я пришел восьмым, если я могу приволочь это чудовище шестым.

Шантитаун, когда мы встали на старт, выглядел хуже, чем я ожидал. Казалось, он вот-вот уснет на ходу. Когда дали старт, он едва переступал ногами, и я с трудом заставил его двинуться к первому препятствию. Скакун взлетел довольно хорошо, но потом с трудом обрел равновесие. И так после каждого прыжка. Это меня озадачило, потому что совсем не соответствовало тому, что говорил Тик-Ток. Но у лошадей бывают свои дни пониженной активности по неизвестным нам причинам, и я предполагал, что это один из таких дней. Все три мили мы ковыляли, замыкая группу лошадей, и бесславно пришли последними. Все мои усилия заставить его двигаться быстрее ушли впустую, он никак не реагировал на них. Шантитаун с самого начала не взял удила, а к концу казалось, что он избит до смерти.

Когда мы вернулись, нас встретил враждебный прием. Джон Боллертон гремел, как июльский гром. Корин, чувствуя себя неуверенно, по-видимому, собирался сделать меня козлом отпущения за неудачу лошади, чтобы спасти свою репутацию тренера. Вечная опасность, когда работаешь с лошадьми Корина.

— Какого черта?! Что вы делаете? — агрессивно накинулся на меня Боллертон, когда я соскользнул на землю и стал расседлывать Шантитауна.

— Мне жаль, сэр, но он был не в состоянии идти быстрее.

— Не болтайте чепуху, — кричал Боллертон. — Я никогда не видел такой отвратительной беспомощности. Вы не сумеете управлять даже повозкой, запряженной свиньями, не то что лошадью. Если вы спросите меня, я все объясню: вы не дали лошади шанс проявить себя. Вы пропустили старт, и вы мешали ему встать на ноги после прыжков.

— Я предупреждал вас, — укоризненно обратился ко мне Корин, — не позволяйте ему уходить в сторону и держитесь сзади первые две мили. Я не думал, что вы примете мои советы так буквально...

— Буквально? — захлебываясь от ярости, перебил его Боллертон. — Вы что, боялись, что он вырвется вперед, или чего вы боялись? Если вы не умеете ездить верхом, то какого черта вы вообще участвуете в скачках? Почему бы сразу не сказать, что вы не умеете? Это бы спасло нам всем и время и деньги.

Я сказал:

— Лошадь не тянула, она была как неживая.

— Келлар, — почти заорал Боллертон. — Разве моя лошадь не тянет?

— Да, Шанти тянет, — подтвердил Корин, избегая моего взгляда.

— И вы сказали, что с ним все в порядке. Что он в отличной форме.

— Да, я думал, он выиграет.

Они оба осуждающе глядели на меня. Корин должен бы знать, что лошадь бежала вяло, потому что он наблюдал скачки опытным глазом, но он не собирался признавать очевидный факт. Если бы я работал для Корина, кисло подумал я, у меня с ним скоро начались бы такие же стычки, как у Арта.

Боллертон сощурил глаза и сказал:

— Я попросил вас работать с Шантитауном вопреки моим самым твердым убеждениям и только потому, что Морис Кемп-Лоур утверждал, будто я неправильно сужу о вас и будто вы надежный человек, который станет заметной фигурой на скачках. Прекрасно, теперь я скажу ему, что он ошибался. Вы больше никогда не получите мою лошадь, я обещаю вам.

Он повернулся на каблуках и пошел, Корин последовал за ним. Когда я спускался в весовую, моим главным чувством было раздражение, что я не послушался инстинкта и сразу же не отказался.

К концу дня недоумение, вызванное сонливостью Шантитауна, сменилось тревогой, потому что ни одна из двух других лошадей, с которыми я работал потом, не показала тех результатов, каких ожидали. Они обе вели себя вполне нормально и шли хорошо, но финишировали почти последними, и хотя владельцы оказались гораздо более любезными, чем Боллертон, их разочарование было очевидным.

На следующий день, уже в Данстейбле, серия провалов продолжалась. Меня наняли для трех лошадей, и они все финишировали плохо. Весь этот угнетающий день я с извинениями объяснял владельцу за владельцем, что я не мог заставить их лошадей идти быстрее. И действительно, третья лошадь шла так плохо, что мне пришлось тянуть ее до конца круга. И в лучшие дни она прыгала медленно, а тут так долго готовилась к прыжку и так долго стояла на месте после приземления, что, когда мы одолели милю, остальные уже прошли все препятствия и почти всю дистанцию. Когда я натягивал поводья, она неохотно переходила с медленного шага на галоп, но, проскакав с минуту, снова замедляла ход — верный признак, что лошадь очень устала. Я подумал, что поскольку ее тренировал сам владелец, фермер, то, должно быть, он слишком много гонял ее галопом накануне, но фермер утверждал, что такого не было.

Череда провалов на скачках более привычна, чем удачи, и тот факт, что шесть моих лошадей подряд показали

себя гораздо ниже своих обычных способностей, не привлек бы особого внимания, если бы не Джон Боллертон.

После пятой скачки я переоделся и выходил из весовой, когда наткнулся на него, окруженного маленькой группой постоянных болельщиков. Все головы повернулись в мою сторону, и оценивающие взгляды свидетельствовали о том, что они обсуждали меня, и Боллертон, как обычно, громко что-то говорил; слово "позор" ясно долетело до меня.

Морис Кемп-Лоур подошел к воротам скакового круга, где я стоял, чтобы поговорить со мной. Мы несколько раз встречались на скачках, и внешне все выглядело, будто мы в дружеских отношениях, но, несмотря на его очарование или, может, потому, что оно казалось слишком отлакированным, я чувствовал, что его дружелюбие профессионального сорта: "может быть полезен". Я не верил, что нравлюсь ему сам по себе.

Он сиял улыбкой, очарование было включено на полную мощность, плотная фигура излучала здоровье и надежность, и голубые глаза достигли почти невероятного блеска в этих серых январских сумерках. Я автоматически улыбнулся: никто бы не смог удержаться. Весь его впечатляющий успех исходил из непререкаемого чувства благополучия, которым он вдохновлял любого, с кем разговаривал. От старших распорядителей до мелких служащих не было никого, кто бы не радовался его компании, даже если они, подобно мне, подозревали небескорыстные мотивы — собрать материал для программы.

— Что, Роб, неудача? — бодро сказал он. — Я слышал, будто похвальные слова, что я сказал о вас Боллертону, вышли вам боком.

— Можно считать и так, — согласился я. — Но в любом случае спасибо.

Я отчетливо слышал слабый высокий свист, когда он вдыхал воздух, и понял, что первый раз встретил его во время приступа астмы. Я слегка пожалел Кемп-Лоура.

— Джеймс уже затвердил свои планы на Зимний кубок? — небрежно спросил он. Я улыбнулся. Как я и предполагал, он собирал информацию. Но ведь это его работа, и я не видел ничего предосудительного в том, чтобы поболтать с ним.

— Будет участвовать Темплейт, он в прекрасной форме, — сообщил я.

— И работать с ним будете вы?

— Да.

— Как долго еще Пип не сможет участвовать в скачках? — спросил он с явным хрипом в легких.

— Считают, что нога хорошо идет на поправку, но пока она в гипсе, — ответил я. — Его снимут на следующей не-

деле. Думаю, что к Челтнему он будет готов, но, конечно, к Зимнему кубку еще не поправится.

До Зимнего кубка оставался почти месяц, и я возлагал на него особые надежды. К Золотому кубку Челтнема Пип будет вполне здоров и сможет работать на Темплейте, и у меня остается только Зимний кубок, пока я дублирую Пипа.

— Какие, по-вашему, шансы у Темплейта в Зимнем кубке? — спросил Морис, наблюдая в бинокль за стартом.

— О, я надеюсь, он выиграет, — усмехнулся я. — Вы можете процитировать меня.

— Возможно, процитирую, — согласился он, тоже улыбаясь. Мы вместе смотрели скачки, и его личность оказывала такое действие, что я уезжал из Данстейбла в бодром настроении, а гнетущие результаты двух последних дней были временно забыты.

8

Бодрость оказалась ошибочной. Волшебная полоса удач кончилась и отомстила мне. В течение следующих двух недель я работал с семнадцатью лошадьми, пятнадцать из них финишировали замыкающими, и только в двух случаях мы пришли средними.

Я не мог понять, в чем дело. Насколько я знал, в моем умении работать с лошадьми ничего не изменилось, и казалось совершенно неправдоподобным, чтобы все мои лошади одновременно теряли форму. Во мне поселилась тревога, и она не помогала делу, я чувствовал, как испаряется моя вера в себя. И каждый день приносил огорчения и недоумение.

Была одна серая кобыла, с которой я любил работать из-за скорости ее реакции: часто казалось, будто она знает, что я намерен сделать на долю секунды раньше, чем я давал сигнал, будто она схватывала ситуацию так же быстро, как и я, и сама независимо от меня начинала действовать. У нее был прекрасный характер, беспрекословное послушание, и она фантастически прыгала. Мне нравился и ее владелец — маленький веселый фермер с сильным норфолкским акцентом, и, пока мы наблюдали, как ее водили по парадному кругу перед скачкой, он сочувствовал моим неудачам и говорил:

— Все ерунда, парень. Эта кобыла принесет вам удачу. Она не даст вам проиграть. С ней все будет в порядке.

Я шел к ней и улыбался, потому что тоже верил: с этой кобылой все будет в порядке. Но тут ее будто подменили. Тот же цвет, те же размеры, та же красивая голова. И ни-

какого темперамента. Работать с ней было все равно, что толкать машину с четырьмя спущенными шинами.

Веселый фермер уже выглядел не таким веселым, а гораздо более задумчивым, когда я вернулся после скачки.

— Она раньше никогда не бывала последней, парень, — с упреком сказал он мне.

Мы тщательно осмотрели ее, и, насколько могли видеть, у нее не было никаких повреждений, она даже дышала легко.

— Может, отправить проверить ей сердце? — с сомнением заметил фермер. — Вы в самом деле все делали как надо, парень?

— Да, — подтвердил я. — Но у нее сегодня совсем не было энтузиазма.

Одна из лошадей, с которой я работал, принадлежала высокой женщине с резкими чертами лица, которая знала очень много о скачках и не симпатизировала плохим профессионалам. Она направилась прямо ко мне, когда я перетащил ее сверхдорогого мерина с последнего места на второе от конца за несколько шагов до финиша.

— Я полагаю, вы понимаете, — заговорила она громким, хриплым голосом, к которому бессовестно прислушивалась большая группа зрителей, — что за последние пять минут вы сумели вполовину снизить цену моей лошади и выставить меня дурой, которая заплатила за нее целое состояние.

Я извинился и высказал предположение, что, возможно, ее лошади надо дать немного времени.

— Времени? — сердито повторила она. — На что? Дать время, чтобы вы проснулись? Вы так говорите, будто вся вина в моем решении, а не в вас. Вы слишком задержались на старте. Вам следовало с самого начала держаться ближе к лидирующей группе... — Ее язвительная лекция все не кончалась и не кончалась, а я смотрел на прекрасную голову сверкающе-черного, благородных кровей мерина и отмечал про себя, что он, возможно, гораздо лучше, чем выглядит.

Одна из сред стала большим днем для десятилетнего школьника с искрящимися карими глазами и заговорщицкой улыбкой. Его богатая эксцентричная бабушка, узнав, что для владельцев лошадей не ограничен возраст, подарила Гуго огромного гнедого скакуна в два раза выше его собственного роста и, как предполагалось, крупный счет в банке, чтобы оплачивать тренера.

Мы с Гуго стали друзьями. Зная, что я почти каждое утро вижу его лошадь в конюшне Джеймса, он обычно присылал мне малюсенькие посылки с кусками сахара, которые он таскал за обедом у себя в школе, и я их добро-

совестно передавал тому, кому они предназначались. И кроме того, я писал Гуго подробнейшие отчеты о том, как прогрессирует его любимец. В эту среду не только самому Гуго разрешили не ходить в школу, чтобы посмотреть скачки с его лошадью, но он привел с собой трех друзей. Все четверо стояли рядом со мной и Джеймсом на парадном круге. Мать Гуго принадлежала к тому редкому типу женщин, которые радуются, когда их сын находится в центре внимания. Когда я шел из весовой, она широко улыбалась мне со своего места на трибуне.

Четыре маленьких мальчика были возбуждены и взволнованы, Джеймс и я очень забавлялись, разговаривая с ними совершенно серьезно, как мужчины с мужчинами, что они явно оценили. На этот раз, пообещал я себе, на этот раз ради Гуго выиграю. Должен.

Но в этот день гнедой гигант прыгал очень неуклюже. Пройдя препятствие, он быстро наклонял голову, и мне, чтобы не скатиться кувырком вниз, приходилось вытягивать руку в сторону, а потом вперед и вниз к его шее, а поводья держать только одной рукой. Вытянутая рука помогала мне удержаться в седле, но этот жест, известный как "остановить такси", вряд ли заслужил бы одобрение Джеймса, который часто ругал его, называя стилем "усталого, побитого или больного любителя".

Маленькое лицо Гуго стало пунцовым, и три маленьких друга мрачно переминались с ноги на ногу позади него. У Гуго не было возможности скрыть провал от остальных школьных товарищей: три друга все видели.

— Я очень сожалею, Гуго, — искренне сказал я, прося прощения за все — за себя, за лошадь, за скачку и за несправедливость судьбы.

Гуго ответил со стоицизмом, который мог бы послужить уроком многим взрослым.

— Я ожидал, что день будет неудачным, — доброжелательно проговорил он. — И в любом случае кто-то должен прийти последним. Так сказал папа, когда я провалился на истории. — Он посмотрел на гнедого, прощая ему провал, и обратился ко мне: — Думаю, он сильный, а вы как думаете?

— Да, — согласился я. — Он сильный. Очень.

— Ну, — сказал Гуго, поворачиваясь к друзьям, — что я говорил? А теперь нам можно попить чаю.

Поражений было слишком много, чтобы на них не обратили внимание. Дни проходили, и я замечал, как меняется тон, в котором люди разговаривают со мной. Некоторые, и Корин в частности, выказывали что-то, похожее на удовольствие. Другие выглядели смущенными, третьи — сочувствующими, остальные — сожалеющими. Когда я проходил, все головы поворачивались мне вслед,

и я мог почти чувствовать сплетни, которые оставлял за своей спиной. Но, в сущности, я не знал, что говорят обо мне, и однажды спросил Тик-Тока.

— Не обращайте внимания, — отмахнулся он. — Стоит выиграть пару скачек, и они снова забросают вас лавровыми венками. Дайте задний ход всему, что они говорят теперь. Это мошкара, гнус, вот и все.

Больше я ничего не смог из него вытянуть.

Вечером в четверг Джеймс позвонил в мою берлогу и попросил зайти к нему домой. Довольно несчастный, я шел в темноте и размышлял, не собирается ли он, подобно двум другим тренерам, найти извинительную причину и взять для своих лошадей кого-то еще. Я не мог обижаться на него. Владельцы, наверное, вынудили его отказаться от жокея, который постоянно портит им настроение.

Джеймс ждал меня возле своего кабинета и отступил на шаг, приглашая меня пройти первым. Он последовал за мной, закрыл дверь и почти агрессивно глядел на меня.

— Я слышал, — сказал он без всякого вступления, — что вы потеряли нерв.

В комнате стало совершенно тихо. Слегка потрескивал огонь в камине. За стеной в просторном боксе лошадь била копытом об пол. Я смотрел на Джеймса, и он мрачно глядел мне прямо в глаза.

Я не отвечал. Молчание затянулось. Я не был удивлен, я догадывался, что болтали обо мне, когда Тик-Ток отказался передать эти разговоры.

— Нельзя упрекать человека, если он потерял нерв, — уклончиво проговорил Джеймс. — Но тренер не может продолжать использовать того, с кем такое случилось.

Я молчал.

Он подождал несколько секунд и продолжал:

— У вас проявляются классические симптомы... Вы тянетесь по кругу почти последним, дергаете лошадь по каким-то непонятным причинам, застреваете на старте, чтобы не попасть в общую кучу, и "останавливаете такси". Вы боитесь упасть. В этом все дело.

Почти оцепенев, я задумался над его словами.

— Несколько недель назад, — продолжал он, — я обещал вам, что если услышу какие-нибудь слухи о вас, то, прежде чем поверить, сам удостоверюсь, правдивы ли они. Помните?

Я кивнул.

— В прошлую субботу несколько человек выразили мне сочувствие, потому что мой жокей потерял нерв. Я не поверил им. Я сам стал внимательно наблюдать за вами.

Я обреченно ждал, когда опустится топор. На этой неделе я проиграл пять раз из семи.

Он резко подошел к креслу возле камина и тяжело опустился в него. Раздраженно бросил:

— Боже мой, да садитесь же, Роб. Только не стойте, как оглушенный буйвол, и не молчите.

Я сел и уставился на огонь.

— Я надеялся, что вы будете отрицать, — проговорил он усталым голосом. — Так это правда?

— Нет, — сказал я.

— Это все, что вы можете сказать? Мало. Что-то случилось. Вы обязаны мне объяснить.

Я обязан ему многим.

— Не могу объяснить, — в отчаянии проговорил я. — Каждая лошадь, с которой я работал в последние три недели, вела себя так, будто ее ноги увязают в патоке. Причина — в этих лошадях... Я остался таким же. — Слова прозвучали несерьезно и невероятно даже для меня самого.

— Определенно вы утратили чувство лошади, — медленно проговорил он. — Наверное, Боллертон прав...

— Боллертон? — вырвалось у меня.

— Он всегда говорил, что вы никудышный жокей, каким вы и были вначале, и что я выдвинул вас слишком быстро... дал вам первоклассных лошадей, а вы еще не созрели для них. Теперь он повсюду самодовольно ходит и заявляет: "Я вам говорил". Он так доволен, что не может говорить ни о чем другом.

— Мне очень жаль, Джеймс, — пробормотал я.

— Вы больны или что? — сердито спросил он.

— Нет, — ответил я.

— Они говорят, что падение с лошади три недели назад напугало вас — в тот день, когда вы упали на голову и лошадь перекатилась через вас. Но ведь с вами было все в порядке, когда вы уехали домой, разве не так? Я помню, вы немножко ушиблись, но не создалось впечатления, будто вы дрожите от страха, снова упасть.

— Я ни разу и не вспомнил то падение.

— Но почему же? Почему, Роб?

Я покачал головой. Я не знал почему.

Он встал и открыл буфет, в котором хранились бутылки и бокалы, налил виски и подал мне.

— Я не могу убедить себя, что вы потеряли нерв, — продолжал Джеймс. — Я вспоминаю, как вы провели скачку с Темплейтом на Святках, всего месяц назад. Вы сделали почти невозможное. Человек не способен так основательно измениться за такой короткий срок. Прежде чем я взял вас, разве не вы работали со всеми неотесанными и опасными лошадьми, когда тренеры не хотели рисковать своими лучшими жокеями? Потому-то я и взял вас, я помню это очень хорошо. И все те годы, что вы

где-то провели, нанимаясь пастухом, и разные фокусы в родео... вы не того сорта человек, который вдруг без причины теряет нерв, и особенно в середине самого захватывающего и успешного сезона.

Фактически первый раз за день я улыбнулся, поняв, как сильно я хотел, чтобы он не потерял веру в меня. Я сказал:

— У меня такое чувство, будто я борюсь с туманом. Я стараюсь сделать все, чтобы заставить этих лошадей идти быстрее, но они все полумертвые. Или я полумертвый? Не знаю... Какой-то заколдованный круг.

— Боюсь, что так, — мрачно проговорил он. — И можете представить, какие у меня трудности с владельцами. Все, кто вначале сомневался, теперь укрепились в своих сомнениях. Мне не удается разубедить их... точно паника на бирже: все что-то продают. А вы как плохая акция, от которой надо отделаться.

— На какие скачки я могу надеяться? — спросил я.

Он вздохнул:

— Не знаю. У вас могут быть все лошади Брумма, потому что он совершает круиз по Средиземному морю и пока до него еще не дошли слухи... И две мои. Они участвуют на следующей неделе. Остальные — подождем, увидим.

Я едва заставил себя выговорить, но мне надо было знать:

— А как насчет Темплейта?

Он в упор посмотрел мне в глаза.

— Я ничего не слышал от Джорджа Тирролда. Думаю, он согласится, не может же он вышвырнуть вас после того, как вы выиграли для него столько скачек. Он нелегко меняет свое мнение, и тут есть надежда, ведь именно он впервые обратил мое внимание на вас. Если не случится что-нибудь худшее, — добавил он рассудительно, — думаю, вы можете рассчитывать на Темплейта в Зимнем кубке. Но если вы придете с ним последним... это будет конец.

Я встал и допил виски.

— Я выиграю эту скачку. Любой ценой. Выиграю.

Мы молча вместе ехали на скачки на следующий день. Но когда мы добрались туда, я обнаружил, что две из трех моих перспективных лошадей уже больше не мои. Меня, если использовать сильные выражения, выбросили за борт. Владельцы, без церемоний объяснил тренер, считают, что, если они наймут, как планировалось, меня, у них не будет шанса выиграть.

Я стоял возле ворот и следил за скачками, обе лошади прошли хорошо: одна выиграла, и другая финишировала

третьей, близко к первым двум. Я рисковал послужить объектом наблюдения других жокеев, тренеров, журналистов, стоявших рядом со мной. Если им хочется видеть, как я воспринимаю чужие победы, ну что ж, это их дело. Точно так же, как мое дело скрыть от них неодолимую горечь от этих двух результатов.

В четвертом заезде я работал со скакуном Джеймса и поднимался из весовой с абсолютной убежденностью, что выиграю. Лошадь была способна победить, я ее знал, она умело преодолевала препятствия и на финише охотно вела борьбу.

Мы пришли последними.

Всю дистанцию я едва мог заставить ее идти за остальной группой, в конце легким галопом она медленно прошла мимо финишного столба с низко опущенной от усталости головой, у меня тоже была опущена голова от поражения и унижения. Я чувствовал себя больным.

Потребовались серьезные усилия, чтобы вернуться назад и слушать похвалы победителям. Мне больше хотелось сесть в "мини-купер" и на большой скорости врезаться в хорошее крепкое дерево.

Веснушчатый парень, который смотрел за лошадьми, явно избегал моего взгляда, когда в паддоке брал у меня поводья. Обычно он приветствовал меня, сияя улыбкой. Я слез с лошади. Там стояли владелец и Джеймс с ничего не выражавшими лицами. Никто ничего не сказал. Говорить было нечего. Наконец, не говоря ни слова, владелец пожал плечами, повернулся на каблуках и ушел.

Я взял седло, и парень увел лошадь.

— Так не может продолжаться, Роб, — проговорил Джеймс.

Я понимал.

— Мне неприятно. Мне очень неприятно, — продолжал он. — Но я вынужден нанять кого-то еще для моих лошадей на завтра.

Я кивнул.

Он бросил на меня изучающий взгляд, в котором первый раз недоумение и сомнение было смешано с жалостью.

Невыносимо.

— Думаю, сегодня после скачек я поеду в Кенсингтон, — сказал я, стараясь, чтобы голос звучал спокойно.

— Очень хорошо, — согласился он, по-видимому, с облегчением от того, что ему не предстояло удручающее совместное возвращение домой. — Мне действительно очень жаль, Роб.

— Да, — согласился я. — Знаю.

Я понес седло в весовую, остро чувствуя взгляды, которые сопровождали меня. Когда я вошел, в раздевалке

смолкли все разговоры и повисло тягостное молчание. Я направился к вешалке, положил седло на скамейку и стал снимать жокейскую форму. Я посмотрел на лица, повернутые ко мне, на одних прочел любопытство, на некоторых враждебность, на других сочувствие и на одном или двух удовольствие. Никакого презрения; в раздевалке все испытывали одно чувство: "слава богу, что это не я", и для презрения места не было.

Снова началась обычная болтовня, но со мной никто не заговаривал. Они не знали, что мне сказать. И я тоже не знал.

Во мне было не больше и не меньше смелости, чем всегда. Ведь невозможно, в смятении размышлял я, подсознательно бояться, избегать падения, не думая об этом, особенно для человека, который всю жизнь так высоко ценил риск. Три недели назад я бы расхохотался, если бы мне пришла в голову такая мысль. Но от сокрушительного факта никуда не уйдешь: только девять из двадцати восьми лошадей, с которыми я работал после того, как упал на голову, выступили более-менее прилично. Их готовили разные тренеры, и они принадлежали разным владельцам, а со мной все вели себя одинаково. Лошадей было слишком много, чтобы их вялость была простым совпадением, но, с другой стороны, те, которых у меня забрали, выступили хорошо.

Я кружился в путанице бесплодных мыслей и безнадежной статистики, чувствуя, что рушатся небеса. Я переоделся, причесал волосы и удивился, увидев в зеркале, что выгляжу как обычно.

Я вышел из здания, и, казалось, никто не намерен разговаривать со мной, никто, за исключением потрепанного хорька, который работал, я знал, для незначительной спортивной газеты.

Он стоял с Джоном Боллертоном, но когда заметил меня, направился прямо навстречу.

— О, Финн, — воскликнул он, вытаскивая из кармана блокнот и карандаш и поглядывая на меня с хитрой, злобной улыбкой, — могу я получить список лошадей, на которых вы завтра будете участвовать в скачках? И на следующей неделе?

Я посмотрел на Боллертона. Его тяжелое лицо светилось самодовольным триумфом. Огромным усилием я подавил ярость и скучающим голосом ответил журналисту:

— Спросите у мистера Эксминстера. — Он выглядел разочарованным, но он не знал, как близко к его лицу был мой кулак, просто у меня хватило здравого смысла понять, что швырнуть его черту на рога — худшее из того, что я мог бы сделать.

Я прошел мимо него, лопаясь от злости, но день для меня еще не кончился, совсем не кончился. Корин намеренно попался мне на пути, он остановился и сказал:

— Вы, наверно, видели это? — Он держал в руке газету, для которой писал потрепанный хорек.

— Нет, — ответил я. — И не хочу видеть.

Корин хитро улыбнулся, наслаждаясь ситуацией.

— Я считаю, вам нужно подать в суд. Все так думают. Когда вы прочтете, вы тоже захотите подать на них в суд. Нельзя игнорировать такое, иначе все будут думать...

— Каждый имеет право думать, черт возьми, что ему нравится, — грубо перебил я, пытаясь обойти его.

— Прочтите, — настаивал Корин, поднося листок к моим глазам. — Уже все прочли.

Против воли я начал читать:

"Задумывался ли кто-нибудь, почему один человек бывает храбрым, а другой трусливым? Или почему человек храбр в одном случае и труслив в другом?

Может, все дело в гормонах? Может, ушиб головы способен нарушить химический обмен, который определяет мужество? Кто знает? Кто знает?

Жокей стипль-чеза, потерявший после падения нерв, — жалкое зрелище. В этом могли убедиться любители скачек. Но если иногда такое состояние вызывает глубокое сочувствие, потому что человек ничего не может с собой поделать, то в других случаях каждый имеет право спросить у жокея: правильно ли он поступает, если продолжает участвовать в скачках и выпрашивает у владельцев лошадей?

Публика требует за свои деньги полноценного зрелища. Если жокей не может обеспечить ей такого зрелища, потому что он боится травмы, не значит ли это, что он получает гонорар нечестным путем?

Но, конечно, это вопрос только времени, в конце концов владельцы и тренеры откажутся от такого человека и вынудят его уйти в отставку, защищая интересы публики, чтобы ей не приходилось выбрасывать деньги на ветер.

И это будет справедливо!"

Я вернул Корину газету и попытался расслабить болезненную судорогу, сводившую мне челюсть.

— Я не могу подать на них в суд, — заметил я. — Они не упомянули моего имени.

Казалось, он не удивился, и я тотчас же понял, что он все знал заранее. Он просто хотел насладиться, наблюдая за тем, как я читаю, и в его глазах все еще мелькала очень мерзкая улыбка.

— Что я сделал вам, Корин, — спросил я, — почему вы так ведете себя со мной?

Он отпрянул назад и тихо пробормотал:

— Мм... ничего...

— Тогда мне жаль вас, — холодно проговорил я. — Жаль вашу посредственную, трусливую, мелкую душу...

— Трусливую? — воскликнул он, вздрагивая и краснея. — Кто вы, чтобы называть кого-то трусливым? Смешно слышать такое от того, кто сам трус. Подождите, все узнают... Подождите, я расскажу...

Но я не стал ждать. С меня было достаточно, и даже больше чем достаточно. Я поехал домой в Кенсингтон в таком глубоком и ужасном отчаянии, что даже не надеялся жить дальше.

В квартире никого не было, и удивительно, но царил полный порядок. Я сделал вывод, что семья уехала. Кухня подтвердила мой вывод. Холодильник зиял пустотой: ни еды, ни молока, ни в хлебнице хлеба, ни в вазе фруктов.

Вернувшись в безмолвную гостиную, я достал из буфета почти полную бутылку виски и лег, вытянувшись на диване. Я открыл бутылку и сделал два больших глотка. Спирт резко обжег мне десны и вызвал судорогу в пустом желудке. Я вставил пробку и поставил бутылку на пол рядом с диваном. Какой смысл напиваться, подумал я, утром будет еще хуже. Конечно, я могу быть пьяным несколько дней, но в конце концов от этого не станет лучше. Мне вообще уже не будет лучше. Все кончено. Все разбито. Все ушло.

Я провел много времени, разглядывая руки. Руки. Воздействие, какое они оказывали на лошадей, всю мою взрослую жизнь давало мне средства к существованию. Они выглядели точно так же, как всегда. Нервы и мускулы, сила и чувствительность — ничего не изменилось. Но память о последних двадцати восьми лошадях отрицала этот очевидный факт. Память тяжелая, обременительная, неуступчивая.

Я не умел ничего другого — только работать с лошадьми — и не хотел ничего другого. Лучше всего я чувствовал себя на спине у лошади. Седло для меня что море для рыбы, в нем естественно и легко. А седло для скачек? Я задержал дыхание, и мурашки побежали по спине. Для такого седла, мелькнула унылая мысль, я не гожусь.

Мало *хотеть* участвовать в скачках, для этого, как и для остального, надо иметь талант и силу. И я столкнулся с открытием, что я недостаточно хорош для скачек, что я никогда не стану достаточно хорошим, чтобы твердо удерживать позицию, какую почти занял. От моей веры в себя остались жалкие лоскутки.

А что в будущем? Я мог на следующей неделе вернуться и работать с одной или двумя лошадьми Джеймса, если он еще позволит мне, и, возможно, даже на Темплейте за Зимний кубок. Но я больше не надеялся и не ожидал, что смогу работать хорошо, и меня сотрясала

дрожь от перспективы возвращаться со скачек, чувствуя все эти взгляды и слушая оскорбления. Опять начать новую жизнь? Но чем заниматься в этой новой жизни?

Быть пастухом в двадцать лет еще годилось для меня, но вряд ли я захочу быть пастухом в тридцать, в сорок или в пятьдесят. И кроме того, теперь я не могу уехать, потому что, куда бы я ни удрал, всюду со мной будет знание того, что я полностью провалился и что мне надо выкарабкиваться. И сильно постараться для этого.

Я встал и поставил бутылку на место в буфет.

Прошло двадцать шесть часов с того времени, как я ел последний раз, и, несмотря на отчаяние, желудок начал подавать привычные сигналы. Я еще раз обследовал кухню и обнаружил несколько баночек устриц, сырной соломки и засахаренных каштанов. Мне пришлось выйти на улицу и найти прилично выглядевший паб, где, я был уверен, меня никто не узнает, мне не хотелось разговаривать.

Я заказал бутерброды с ветчиной и бокал пива, но когда их принесли, толстый кусок свежего белого хлеба показался мне безвкусным, и горло конвульсивно сжималось при попытках его проглотить. Так продолжаться не может, подумал я. Я должен есть. Если я не могу напиться, если я не могу быть с Джоанной, если я не могу... быть больше жокеем... зато я могу есть сколько хочу, не заботясь о том, прибавлю фунт или два... но минут через десять я увидел, что попытки напрасны: я не сумел заставить себя проглотить ни куска.

Весь вечер мне не приходило в голову, что сегодня пятница, и незаметно наступило девять часов. Но только я отодвинул бутерброды и уставился в пиво, чувствуя подступавшую тошноту, как кто-то включил телевизор, стоявший в углу паба, и мелодия передачи "Скачки недели" неожиданно перекрыла звяканье бокалов и гул голосов. Большая группа болельщиков уселась с полными кружками перед экраном и заставила замолчать остальных посетителей. К тому времени когда на экране материализовались мелкие черты Мориса Кемп-Лоура, его слушала уже более-менее внимательная аудитория. Мой маленький столик со стеклянной столешницей стоял в самом дальнем от двери углу, так что было почти невозможно уйти, не помешав молчаливым слушателям, и мне против воли пришлось остаться в пабе.

— Добрый вечер, — сказал Морис, и очаровательная улыбка заняла свое место. — Сегодня мы собираемся поговорить о гандикапе*. С вами встретятся два хорошо ин-

* Скачки и бега, в которых шансы лошадей разного возраста и класса уравниваются.

формированных человека, которые видят скачки с противоположных сторон. Один из них, мистер Чарлз Дженкинсон, в течение нескольких лет был организатором гандикапов. — Застенчивое лицо мистера Дженкинсона мелькнуло на экране. — И другой — хорошо известный тренер Корин Келлар.

Худое лицо Корина светилось удовлетворением. Мы еще никогда не слышали, чтоб он говорил на эту тему, подумал я и с острой болью вспомнил, что я уж никогда не буду там и, разумеется, ничего больше не услышу.

— Мистер Дженкинсон объяснит, как он проводит гандикап. А мистер Келлар расскажет, как он пытается избежать лишнего веса у лошадей. Кульминационный момент для жокея в гандикапе — каждому отдельному участнику пройти финишный столб в одной линии с остальными, грудь в грудь. Ведь цель гандикапа — дать каждой лошади абсолютно равный шанс. В действительности так никогда не бывает, но каждый участник гандикапа мечтает об этом. — Кемп-Лоур дружески усмехнулся своим гостям, и, когда на экране появился мистер Дженкинсон, почти можно было видеть, как уверенность просто переливается в него от Мориса.

Я слушал вполуха, неотвязно погруженный в свое несчастье, и Корин говорил уже довольно долго, когда я обратил на него внимание. Ему приходилось говорить полуправду, потому что полная правда очень скоро лишила бы его тренерской лицензии. На практике он вовсе не испытывал угрызений совести, когда давал своим жокеям приказ, чтобы они стартовали последними и такими же оставались до финиша, и я получал злорадное удовольствие, наблюдая, как он в теории отстаивает правду, будто все ангелы на его стороне.

— Жокеи, которые работают с лошадьми из моей конюшни, всегда делают все возможное и невозможное, чтобы победить, — лгал он не моргнув глазом.

— Но вы, естественно, не настаиваете, чтобы жокей гнал ее до последней минуты, если у нее нет никакого шанса? — рассудительно спросил Морис.

— Надо делать все, что необходимо, да, — утверждал Корин. — Я терпеть не могу жокеев, которые сразу же сдаются, поняв, что проигрывают. Недавно я отказался от услуг одного жокея, который не боролся до конца. Он мог бы прийти третьим, если бы серьезно относился к делу. — Голос Корина гудел ханжески и раздраженно, и я подумал о Тик-Токе, которому пришлось давать объяснения распорядителям из-за того, что он слишком добросовестно выполнял приказы Келлара. А теперь он вынужден доказывать другим тренерам, что ему можно доверять. Я вспомнил Арта, к которому Корин придирался, спорил и

довел до самоубийства. И активная неприязнь, какую я всегда испытывал к Корину, в углу прокуренного паба переросла в ненависть.

— Победа всегда в руках жокея, — рассуждал Корин.

— Продолжите свою мысль, — поощрительно сказал Морис и наклонился вперед. Свет откуда-то из студии высветил его глаза и моментально замерцал, когда он подвинулся. Корин заговорил:

— Вы можете работать, как раб, целыми неделями, готовя лошадь к скачкам, и потом из-за одной глупой ошибки жокея весь ваш труд пойдет насмарку.

— В таком случае гандикап лучше всего, — перебил его Морис рассмеявшись. И вся публика в пабе тоже засмеялась.

— Наверное, — согласился Корин в замешательстве.

— Если вы подходите с такой точки зрения, то да, — продолжал Морис, — но в гандикапе жокей всегда найдет оправдание, если он не сумел выжать из лошади все, на что она способна. Хотя вы как тренер видите, например, ошибку или что-то более серьезное, допустим, нерешительность в критический момент...

— Вы имеете в виду, что у него поджилки затряслись? — прямо поставил вопрос Корин. — Должен вам сказать, что у жокея в гандикапе это так же явно видно, как и у любого другого. И это каждый должен учитывать. Вот такой случай... — Корин заколебался, но Морис не остановил его, и он продолжал уже смелее: — Вот такой случай, когда некий жокей всегда тащится в хвосте. Он боится упасть, понимаете. И не говорите мне, что он тянется в хвосте, потому что именно эти лошади стали хуже, чем были всегда. Конечно же, лошади такие, какие есть. Тут все дело в жокее, который катится вниз.

Я почувствовал, как кровь бросилась мне в голову и начала пульсировать в локтях, упертых в стол, и бить в пальцы.

Невыносимо.

Голоса неумолимо продолжали.

Морис спросил:

— А ваша точка зрения, мистер Дженкинсон?

И специалист в гандикапе, страшно смутившись, пробормотал:

— Конечно... мм... в определенных обстоятельствах человек может... мм... заметить, что результат случайный.

— Случайный! — воскликнул Корин. — Я могу перечислить почти тридцать скачек с такими результатами. По-вашему, они все случайные?

— Я не могу ответить на этот вопрос, — запротестовал Дженкинсон.

— Что вы обычно делаете в таких случаях? — спросил Морис.

— Я... в таких... мм... обычно... трудно судить, они не так явны... Я могу проконсультироваться.... мм... с другими, прежде чем принять решение. Но дело в том, что это не такой предмет, который я мог бы обсуждать здесь.

— А где? — настаивал Морис. — Мы все знаем этого бедного парня, который три недели назад получил сотрясение мозга и с тех пор... мм... работает... неэффективно. Сомневаюсь, что вы не принимаете в расчет такую возможность, когда организуете гандикапы.

Пока камера была направлена на Дженкинсона, который в замешательстве медлил с ответом, раздался голос Корина:

— Мне интересно знать, как вы решаете? Одна из этих лошадей была моя, понимаете? Это было ужасающее зрелище. Финн больше никогда не будет работать для меня, и если ни для кого другого тоже, то я не удивлюсь.

Дженкинсон встревоженно сказал:

— Не думаю, что нам надо называть имена.

Морис быстро подхватил:

— Да, да, я согласен. Лучше не называть. — Но имя уже было названо.

— Хорошо, благодарю вас обоих за то, что вы уделили время и пришли на нашу встречу. С сожалением должен сказать, что наша передача подходит к концу. — Он точно рассчитал минуты для сплетен и своих заключительных фраз. Но я больше не слушал. Он и Корин поделили добычу на руинах моей краткой карьеры. Понаблюдав за ними на маленьком светящемся экране, я почувствовал ослепляющую головную боль.

В переполненном пабе снова начался гул голосов. Я поднялся, испытывая удушье, и стал, слегка пошатываясь, пробираться к дверям. Группа энтузиастов скачек допивала свое пиво, и, когда я проходил мимо, услышал обрывки разговора.

— По-моему, парня стукнули слишком сильно, — сказал один.

— Еще мало, — не согласился другой, — я в четверг потерял из-за Финна фунт стерлингов. Он заслуживает все, что получил, засранец...

Я, спотыкаясь, вышел на улицу, хватая ртом холодный воздух и стараясь изо всех сил стоять прямо. Мне хотелось сесть на тротуар и заплакать, обняв водосточную трубу. Совсем нетрудное занятие. Я медленно пошел в темную пустую квартиру, не зажигая свет и не раздеваясь, лег в постель.

В голове у меня гудело. Лежа я вспоминал день, когда

Грант разбил мне нос, когда я жалел его и Арта. Жалеть было так легко. Я застонал, и этот звук поразил меня.

Какой длинный выход — из окна на мостовую. Пять этажей. Длинный быстрый выход. Я подумывал о нем.

В квартире под нами часы с боем отсчитывали каждые пятнадцать минут. В тишине дома ясно слышались их удары. Они пробили десять, одиннадцать, двенадцать, час, два.

Пять этажей. Но как бы плохи ни были дела, я не мог воспользоваться таким выходом. Он не для меня. Я закрыл глаза и спокойно лежал и наконец после долгих часов отчаяния погрузился в изнурительный, тяжелый сон, полный сновидений.

Проснувшись, я услышал, что часы бьют четыре. Головная боль прошла, сознание было ясным и четким, как звездное небо за окном, умытое и сияющее. Будто я попал из густого тумана под яркое солнце. Будто спал жар и теперь нормальная температура. Будто заново родился.

Когда я уже не спал, но еще и не проснулся, я понял, что ко мне вернулось спасительное чувство определенности, — я остаюсь той же личностью, что и был, я не какой-то жалкий обломок крушения, как думали обо мне другие, я снова встал на ноги.

И в таком настроении не совсем уверенно я подумал, что могут быть какие-то другие объяснения моих неудач. Я должен сделать все, *все,* чтобы найти их. Без сочувствия я вспоминал свое недавнее сокрушительное отчаяние, которому позволил опутать себя. Я наконец начал — давно пора — шевелить мозгами.

Через полчаса я понял: мой желудок тоже проснулся и потребовал, чтобы я его наполнил, иначе трудно сосредоточиться. Я встал и взял банки сырной соломки и засахаренных каштанов, но не устриц. Какой нужно испытывать голод, лениво размышлял я, чтобы в пять часов утра проглотить этих скользких, отвратительных моллюсков?

Я открыл банки и снова лег, сгрыз всю сырную соломку, пока думал, и проглотил полбанки засахаренных каштанов, которые так прибавляют вес. Желудок успокоился, будто дракон, получивший свою ежедневную порцию в виде юной девушки. Звезды пропали, над Лондоном вставал рассвет.

Утром я воспользовался советом, который дал Гранту, и отправился к психиатру.

9

Психиатра, друга отца, я знал всю свою жизнь и потому считал, что могу позвонить субботним утром, хотя

утро он всегда резервировал для гольфа. В восемь утра я позвонил ему домой на Уинпоул-стрит, где он жил в квартире над своей приемной.

Он спросил, как отец. И по голосу было ясно, что он спешит.

— Могу я приехать и встретиться с вами, сэр? — спросил я.

— Сейчас? Нет. Суббота. Гольф.

— Пожалуйста... Ненадолго.

Короткая пауза.

— Неотложное дело? — В голосе зазвучали профессиональные нотки.

— Да.

— Тогда приезжай сейчас же. Я могу поехать в Уэнтуорт в десять.

— Я не брит... — проговорил я, схватив в зеркале свое отображение и поняв, каким разбитым я выгляжу.

— Ты хочешь бриться или поговорить? — сердито спросил он.

— Поговорить.

— Тогда приезжай! — И он положил трубку.

Я взял такси. Он открыл дверь с куском тоста, намазанного джемом, в руке. Знаменитый мистер Клаудиус Меллит, которого пациенты обычно видели в полосатых брюках и черном пиджаке, сейчас был полностью готов для зимнего гольфа — непромокаемые брюки и удобный, толстый норвежский свитер. Он окинул меня изучающим взглядом и показал: "Наверх".

Я последовал за ним. По дороге он доел тост. Мы вошли в столовую, он посадил меня за овальный стол красного дерева и предложил полутеплый кофе в чашке с золотой каемкой.

— Итак, — сказал он, садясь против меня.

— Предположим... — начал я и замолчал. То, что виделось мне очевидным и бесспорным в пять утра, сейчас вызывало сомнение. Предположение, выглядевшее на рассвете убедительным, теперь при свете дня прозвучало бы нелепо.

— Послушай, — прервал он мое молчание, — если ты действительно нуждаешься в помощи, гольф можно отложить. Когда я сказал по телефону, что спешу, я не видел, в каком ты состоянии, и, если ты простишь мои слова, похоже, что ты спал в пиджаке?

— Да, спал, — удивленно проговорил я.

— Тогда расслабься и расскажи все. — Он усмехнулся, большой, как медведь, человек пятидесяти лет и фантастически мудрый.

— Простите, что я небрит и неопрятен, — начал я.

— И темные круги под глазами, и ввалившиеся щеки, — пробормотал он улыбаясь.

— Но я не так плохо себя чувствую, как, наверно, выгляжу. Во всяком случае, теперь. Я задержу вас ненадолго, если вы только скажете мне...

— Да? — Он спокойно ждал.

— Предположим, у меня есть сестра, — начал я, — которая такой же прекрасный музыкант, как отец и мать, и я единственный в семье лишен таланта — вы знаете, что таланта у меня нет, — и я чувствую, что они презирают меня. Как, вы полагаете, я буду себя вести?

— Никто не презирает тебя, — запротестовал он.

— Конечно... но если бы они презирали, каким бы путем я постарался убедить их — и себя, — что у меня есть хорошее оправдание, почему я не музыкант?

— Понятно, — сразу же сказал он. — Думаю, что ты будешь делать именно то, что делаешь. Найдешь занятие, которое тебе нравится, и будешь фанатически совершенствоваться в нем, пока не достигнешь в этой области таких же стандартов, как твоя семья в своей.

Я почувствовал, будто меня ударили в солнечное сплетение. Такое простое объяснение моей одержимости скачками никогда не приходило мне в голову.

— Это... это не совсем то, что я имел в виду, — беспомощно пробормотал я. — Но теперь я понимаю, что вы правы. — Я помолчал. — Вот что я на самом деле хотел бы спросить. Мог ли я, когда рос, развить в себе физический изъян, чтобы им объяснить свои неудачи? Паралич, например, при котором нельзя играть на скрипке, на пианино или любом другом инструменте? Разве это не способ выйти с честью из положения?

Он несколько секунд смотрел на меня проницательно и без улыбки.

— Если бы ты был личностью определенного типа, да, такое возможно. Но не в твоем случае. А тебе лучше перестать вальсировать вокруг да около и прямо задать вопрос. Настоящий вопрос. К гипотетическим вопросам я привык... С ними я встречаюсь каждый день... Но если ты хочешь получить достоверный ответ, то должен задать конкретный вопрос.

— У меня их два. — Я все еще колебался. Как сильно вся моя жизнь зависела от его ответа. Он терпеливо ждал.

Наконец я заговорил.

— Может ли мальчик, у которого вся семья увлекается скачками и бегами и все они прекрасные наездники, развить в себе астму только из-за того, что панически боится лошадей? — У меня пересохло во рту.

Он ответил не сразу. Помолчав, спросил:

— Какой второй вопрос?

— Может ли мальчик, став взрослым мужчиной, раз-

вить в себе такую ненависть к жокеям стипль-чеза, что он начнет ломать им карьеру? Даже если он нашел, как вы сказали, какую-то другую сферу, в которой его дела идут исключительно хорошо?

— По-видимому, именно у этого человека есть сестра, о которой ты говорил?

— Да, — согласился я, — среди целого поколения она была первой леди в выездке лошадей.

Он откинулся назад в кресле.

— Совершенно ясно, что эти вопросы приводят тебя в отчаяние. Но я не могу ответить, так мало зная о сути дела. Я не собираюсь сказать пару ни к чему не обязывающих "да" и потом узнать, что у тебя страшные неприятности с разными людьми. Тебе придется рассказать, почему тебя так волнуют эти вопросы.

— Но ваш гольф! — воскликнул я.

— Я поеду позже, — спокойно сказал он. — Рассказывай.

И я начал. Я рассказал ему, что случилось с Артом и что с Грантом, и с Питером Клуни, и с Тик-Током, и со мной. Я рассказал ему о Морисе Кемп-Лоуре:

— Он происходит из семьи, в которой садятся на лошадь, едва научатся ходить. И он создан для стипль-чеза. Но у него от лошадей астма, и это все знают, потому он сам и не ездит верхом. Вполне приличная причина, не правда ли? Конечно, многие астматики участвуют в скачках, но никому и в голову не придет обвинять человека, если он из-за астмы не участвует.

Я замолчал, но он не задавал никаких вопросов, и я продолжал:

— Никому не удается вырваться из сетей его очарования. Невозможно вообразить влияние его личности, пока не испытаешь его. Просто на глазах люди раскрываются и загораются, когда он разговаривает с ними. У него есть подход к каждому — от распорядителя до последнего служащего... Вот я и подумал, что он использует свое влияние, чтобы сеять семена сомнения в оценке характера жокеев.

— Продолжай, — сказал Клаудиус. Его лицо ничего не выражало.

— Особенно сильно поддались его очарованию два человека: Корин Келлар, тренер, и Джон Боллертон, член правления. Ни один из них никогда не сказал доброго слова о жокеях. Думаю, что Кемп-Лоур выбрал их в качестве друзей единственно потому, что они по своей злобности и посредственности самые подходящие для его целей. Они охотно распространяют опасное для жокеев мнение, которое он незаметно внушил им. Думаю, что все разрушительные слухи начинаются с Кемп-Лоура и даже их содержание тоже главным образом его работа.

Почему он не удовлетворен, имея так много? Он нравится жокеям, чью карьеру ломает, и они с удовольствием разговаривают с ним. Почему ему необходимо унизить их?

Он сказал:

— Если бы это был гипотетический случай, я бы объяснил тебе, что такой человек может ненавидеть и завидовать отцу и сестре, подобные чувства в нем развиваются еще в раннем детстве. Но он знает, что это плохие чувства, и подавляет их в себе, а агрессивность, к несчастью, переносит на людей, обладающих теми же качествами и способностями, которые он ненавидит в отце. Таким личностям можно помочь. Их надо понять, лечить и простить.

— Я не прощу, — сказал я. — И я его остановлю.

Меллит взглянул на меня.

— Ты уверен в своих фактах? — Он погладил ногтем большого пальца верхнюю губу. — Пока у тебя только догадки. А у меня нет возможности побеседовать с ним, и потому я не могу сказать ничего определенного. Я допускаю, что твои подозрения насчет Кемп-Лоура *возможны*, оставляя право на сомнение. В некотором смысле он фигура общественная. Ты выдвигаешь очень серьезные обвинения. Для этого нужны железные факты. Пока у тебя их нет, всегда есть вероятность, что ты перекладываешь вину за то, что случилось с тобой, на злые внешние силы, таким образом объясняя собственную внутреннюю неудачу. Фактически астма сознания.

— Психиатры никогда не смотрят на вещи просто, — вздохнул я.

Он покачал головой:

— Простых вещей очень мало.

— Я найду факты. И начну сегодня же, — сказал я, вставая. — Спасибо, что вы приняли меня и так терпеливо слушали, я искренне сожалею, что помешал вашему гольфу.

— Я не так уж и опоздал, — успокоил он меня, спускаясь вниз по лестнице и открывая парадную дверь. На пороге, словно бы обдумав что-то, он сказал: — Будь осторожен, Роберт. Действуй осмотрительно. Если ты прав в отношении Кемп-Лоура, хотя это очень предположительно, ты должен чутко отнестись к нему. Надо убедить его пройти курс лечения. Его здоровье в твоих руках, не будь жестоким.

Я откровенно сказал:

— Не могу смотреть на него с вашей точки зрения. Я не думаю, что Кемп-Лоур болен, он просто опасен.

— Где кончается болезнь и начинается преступление... — Он пожал плечами. — Об этом спорят столетиями, и нет двух человек, которые бы пришли к согласию.

Но будь осторожен, будь осторожен. — Он улыбнулся и, закрывая дверь, сказал: — Напомни обо мне родителям.

Я прошел пару перекрестков: первое — найти шикарную, пахнущую свежестью парикмахерскую, и второе — заказать тройную порцию яиц и бекона в соседнем кафе. Я погрузился в обдумывание, как раскопать железные факты. По размышлении я пришел к выводу, что некоторые из них, и весьма ценные, лежат неглубоко и начинать копать надо с них. Я решил преодолеть барьер жалости и презрения, который воздвигла в королевстве скачек моя последняя неудача. Опасная затея, но я хотел исцелиться, и поэтому придется ее осуществить.

Воспользовавшись телефоном в кафе, я позвонил Тик-Току.

— Вы сегодня работаете? — спросил я.

— Будьте великодушны, дружище. Нехорошо задавать вопросы в такой ранний час. Да еще когда ответ негативный. — Пауза. — А вы? — Наивность так наивность.

— Подонок.

— Так меня зовут друзья.

— Мне нужна машина, — сказал я.

— Ведь вы не собираетесь высаживать десант в тылу неприятеля?

— Не собираюсь.

— Прекрасно. У меня отлегло от сердца. Но если надумаете, дайте мне знать, и я присоединюсь к вам. — Голос у Тик-Тока был веселый и подразнивающий, но горькая правда, которая скрывалась за ним, не требовала лишних слов.

— Я хочу побывать в кое-каких конюшнях, — начал я.

— В чьих? — перебил он.

— Так, в кое-каких... примерно в шести.

— У вас появился нерв, — сказал Тик-Ток.

— Спасибо, — поблагодарил я. — Вы единственный человек в стране, который так думает.

— Проклятье... Я не подумал о...

Я усмехнулся:

— Ерунда. Где сейчас машина?

— У меня под окном.

— Я поеду в Ньюбери поездом и, если вы встретите меня на станции, заберу ее, — сказал я.

— Сегодня бесполезно ехать в любую конюшню, все тренеры на скачках, — заметил он.

— Да, я очень надеюсь, что их не будет, — согласился я.

— Что вы задумали? — В его голосе звучало подозрение.

— Вернуть состояние обанкротившемуся Дому Финнов. Я успею на десять десять. Вы встретите меня. Хоро-

шо? — И я положил трубку, не обращая внимания на его протестующее "эй".

Но когда я вышел в Ньюбери, он уже ждал, одетый как истинный денди: утянутый в талии камзол для верховой езды почти такой длины, как в восемнадцатом веке, и невероятно узкие бархатные кавалерийские бриджи. Пока я оглядывал его с головы до ног, он с ироническим видом наслаждался моим удивлением.

— А где же галстук, кружевное жабо и меч? — спросил я.

— У вас нет воображения. Я человек завтрашнего дня. Мой меч действует сам, как антирадиационное снаряжение. Вам понадобится защита, когда вы встретите опасность... — Он усмехнулся.

В который раз я уже подумал, что у юного Тик-Тока стойкий реалистический взгляд на мир.

Он открыл дверцу машины и сел за руль.

— Куда едем? — спросил он.

— Вы не поедете, — запротестовал я.

— Обязательно поеду. Машина наполовину моя. Куда едет она, туда и я. — Он уже все решил. — Куда едем?

— Ладно... — Я сел рядом, вытащил из кармана список, который составил в поезде, и показал ему. — Тут конюшни, где бы я хотел побывать. Я постарался расположить их так, чтобы не делать большой крюк, но все равно поездить придется.

— Фью, — присвистнул он. — Как много. Гемпшир, Суссекс, Кент, Оксфорд, Лестер, Йоркшир... Мы никогда не объедем их за один день. Тем более что вы уже выглядите усталым.

Я взглянул на него, но он уставился в список. Я действительно чувствовал себя усталым, но меня огорчило, что это так заметно. Я надеялся, что парикмахерская и завтрак вернут мне веру в себя и смоют шрамы прошедшего дня и ночи.

— Вам не обязательно ехать... — начал я.

— Мы объедем их все, — перебил он. — Мы начнем раскапывать, что случилось вчера с вами и со мной. И по дороге вы мне расскажете, зачем мы туда едем. — И он спокойно повернул ключ и нажал на газ; по правде сказать, я был очень рад его компании.

Тик-Ток повел "мини-купер" в первую по списку конюшню. Конюшню Корина Келлара в Гемпшире.

— Ну, — сказал он, — давайте.

— Нет, я не собираюсь рассказывать вам, зачем мы едем. Слушайте и наблюдайте, а потом расскажете мне.

— Зануда, — проговорил он, не споря, а потом добавил: — Надеюсь, вы принимаете в расчет всех этих олухов там, куда и ангелы не суют свои святые ноги? Я говорю о том, что все должно быть втихую, ни одному из нас там

не расстелят красную дорожку. Они скорей отправят нас прямехонько в ад.

— Вы правы, — сказал я улыбаясь.

Тик-Ток повернул ко мне голову и удивленно посмотрел.

— Смотрите на дорогу, — спокойно заметил я.

— Я никогда не знал вас, — проговорил он. — Я думал, вы так тяжело все воспринимаете... ну, то, что случилось... но с тех пор, как я встретил вас на станции, я чувствую себя гораздо веселее, чем все эти недели.

Мы приехали в просторную, ухоженную конюшню Корина, когда конюхи кормили лошадей после второй утренней тренировки. Артур, старший конюх, шел по двору с корзиной овса, когда заметил, как мы вылезаем из маленького автомобиля, и морщинистая улыбка, которой он обычно приветствовал меня, на полпути исчезла: он вспомнил мнение хозяина обо мне. Он даже не поздоровался.

— Хозяина нет. — В голосе звучала озабоченность. — Он уехал на скачки.

— Знаю, — бросил я. — Могу я поговорить с Дэви?

Дэви был конюхом, смотревшим за Шантитауном.

— Наверно, можете, — задумчиво проговорил Артур. — Надеюсь, у нас не будет из-за вас неприятностей?

— Нет, — ответил я. — Никаких неприятностей. Где он?

— Четвертый бокс от конца с той стороны, — показал он. Тик-Ток и я нашли Дэви, подбрасывавшего свежую солому в подстилку Шантитауна. Мы облокотились на перегородку, наполовину закрывавшую дверь в бокс, и наблюдали, как меняется выражение лица Дэви от теплого до презрительного. Это был невысокий, коренастый шестнадцатилетний парень с огненно-рыжими волосами и обидчивым ртом. Он повернулся к нам спиной и положил руку на холку лошади. Затем начал перебрасывать солому. Тик-Ток громко втянул воздух, и его руки сжались в кулаки.

Я быстро сказал:

— Если вы в настроении чуть-чуть поговорить, получите соверен.

— О чем? — спросил он, не оборачиваясь.

— О том дне, когда я работал с Шантитауном в Данстейбле, — пояснил я. — Три недели назад. Помните?

— Конечно, помню, — обиделся он.

Я не обратил внимания на его тон.

— Прекрасно, расскажите, что происходило с того момента, как вы приехали на скачки, и до того, когда я сел на Шантитауна в парадном круге.

— Какого черта! О чем вы говорите? — Он повернулся

на каблуках и подошел к двери. — Ничего не происходило. Что могло произойти?

Я вынул из бумажника фунт стерлингов и протянул ему. Он рассматривал купюру секунду или две, потом пожал плечами и положил в карман.

— Начните с того, как вы выехали отсюда, ничего не пропускайте.

— Вы спятили? — пробурчал он.

— Нет, я хочу, чтоб вы отработали мою гинею.

Он снова пожал плечами и начал:

— Мы везли лошадь в боксе отсюда в Данстейбл и...

— Вы по дороге останавливались? — перебил его я.

— Да, в кафе Джо, как всегда, когда мы едем в Данстейбл.

— Вы там встретили кого-нибудь из знакомых?

— Да... Джо и девушку, которая разливает чай.

— Никого из тех, кого вы не ожидали? — настаивал я.

— Нет, конечно, нет. Ну, как я сказал, мы приехали и сгрузили там лошадей, отвели их в конюшню и пошли в столовую, а потом я пошел поискать букмекеров, поставить десять шиллингов на Блоггса, что он придет первым, потом я пошел к воротам и смотрел, народу там... все кипело, когда лошади шли к финишу... ну потом я вернулся в конюшню, взял Шантитауна, надел на него чепрак и повел в паддок... — Он говорил скучным голосом, перечисляя все детали своей ежедневной работы на скачках.

— Мог ли кто-нибудь дать что-то Шантитауну выпить или съесть, к примеру, ведро воды перед скачкой? — спросил я.

— Не выставляйте себя дураком. Конечно, нет. Где это слыхано, чтобы лошади перед скачкой давали пить или есть? Глоток воды часа за два до скачек, это еще бывает, но ведро... — Обида в его голосе вдруг сменилась злостью. — Вы что же, думаете, я дал ему воды? Нет, парень, не сваливайте на меня вину за тот позор, что вы нам устроили.

— Нет, — заверил я его. — Нет, Дэви, успокойтесь. Как охраняют конюшни в Данстейбле? Может ли кто-нибудь, кроме тренера и конюха, войти туда?

— Нет, — ответил он более спокойно. — Туда не войдешь, ни за что. Любой сторож у ворот будет сейчас же уволен, если разрешит владельцу без тренера войти, а уж к новому человеку они так придираются...

— Продолжайте, — сказал я. — Мы дошли до паддока.

— Ну, я вывел лошадь на смотровой круг, подождал, пока хозяин принесет седло из весовой... — Он вдруг улыбнулся какому-то приятному воспоминанию. — Потом я отвел Шанти в бокс, где седлают лошадей, и хозяин надел на него седло, и потом я отвел Шанти на парадный круг, и мы с ним обошли его, потом они отозвали меня, а

вы сели в седло. — Он замолчал. — Не понимаю, зачем вам все это слушать?

— Что произошло в смотровом круге? — спросил я. — Что-то приятное? Что-то такое, что вы улыбнулись, вспомнив?

Он хмыкнул:

— Ничего из того, что вы хотите знать.

— Соверен дан за то, чтобы вы говорили все.

— Ладно, пожалуйста, но это вовсе не связано со скачками. Тот парень с телевидения. Кемп-Лоур. Он подошел, и разговаривал со мной, и восхищался лошадью. Он сказал, что он друг владельца, старого Боллертона, и он дал Шанти пару кусков сахару. Я не отнял сахар у Шанти, понимаете, нельзя же быть грубым, когда имеешь дело с таким человеком... Он спросил, какие шансы у Шанти, и я сказал, что очень хорошие... и остался в дураках... и он ушел. Вот и все. Я говорил вам, что это не имеет отношения к скачкам.

— Да, — сказал я, — не имеет. Но все равно. Спасибо за подробности.

Мы сели в "мини-купер" и выехали со двора.

— Можно подумать, — воскликнул Тик-Ток, — что вы убили мать и ограбили бабушку, так они смотрят на вас. Потерять нерв — не преступление.

— Если вы не можете вынести несколько безвредных фырканий, вам лучше выйти на ближайшей железнодорожной станции, — весело заявил я, с удовольствием обнаружив в последние полчаса, что фырканья больше не трогают меня. — И я не потерял нерв. По крайней мере, пока не потерял.

Он открыл рот, но ничего не сказал и закрыл его снова и следующие двадцать миль молчал.

Мы подъехали ко второй конюшне из моего списка к часу дня и потревожили богатого фермера, который сам тренировал своих лошадей. В прошедшие два года я заработал ему несколько побед, пока на прошлой неделе не потерпел позорного поражения с его лучшей лошадью. Подавив удивление при виде нас, он довольно дружелюбно пригласил зайти и что-нибудь выпить. Но я поблагодарил и отказался, спросив только, где найти конюха, который ухаживал за лошадью перед последней скачкой. Он подошел к воротам и указал на дом у дороги.

Мы извлекли конюха из его лачуги, посадили в машину, я дал ему фунт стерлингов и попросил описать в деталях, что происходило в тот день, когда я работал с его лошадью. Он был старше, чем Дэви, не такой умный и не такой агрессивный, но и он не испытывал желания рассказывать. Он несколько раз повторил, что не видит в этом смысла. Но все же я заставил его начать и потом с трудом

остановил, он рассказывал почти полчаса все очень подробно.

В тот момент, когда в паддоке с лошади сняли чепрак и надели седло, пришел Морис Кемп-Лоур, парень с телевидения, и сказал пару комплиментов насчет лошади владельцу, фермеру, и скормил ей несколько кусков сахару, потом ушел, как всегда оставив "совершенно потрясающее" впечатление, как выразился конюх.

Я подождал, пока он дойдет до того момента, когда фермер посмотрел, как я сажусь на лошадь, и остановил его, поблагодарив за подробности. Мы уехали, а он продолжал бормотать: мол, пожалуйста, приезжайте, я рад, но все равно в этом нет смысла.

— Как странно, — задумчиво проговорил Тик-Ток по дороге к следующей конюшне, отстоявшей на восемьдесят миль. — Как странно, что Морис Кемп-Лоур... — И он не закончил предложения. Я тоже.

Два часа спустя в Кенте мы слушали, заплатив еще фунт, как мрачный конюх лет двадцати рассказывал, какой классный парень этот Кемп-Лоур, как он интересовался лошадью и какой добрый, дал ей немного сахару, хотя вообще-то это запрещено, но разве вы скажете такому человеку "нельзя", если он так дружески настроен. Парень отнесся к нам с довольно обидным превосходством, но даже Тик-Ток не обратил на это внимания, его заинтересовала лишь повторявшаяся деталь.

— Расслабляющий допинг, — решительно заявил он после долгого молчания, поворачивая на Мейдстоун. — Он давал им допинг, и они засыпали на ходу, а все выглядело, будто вы не справляетесь с лошадью, будто вы потеряли нерв. И люди поверили.

— Да, — согласился я.

— Нет, невозможно, — горячо запротестовал он. — Какого черта! Зачем ему это делать? Так не бывает. Просто совпадение, что он дал сахар трем лошадям, с которыми вы работали.

— Может быть. Увидим. — Я не стал спорить.

И мы увидели. Мы объехали все конюшни, где стояли лошади, с которыми я работал после Шантитауна (мы не были только у Джеймса), и разговаривали с конюхами, ухаживавшими за ними. И в каждой конюшне мы слышали, какое восхищение вызвал Кемп-Лоур у конюха, как этот парень с телевидения хвалил конюха, что он правильно смотрит за лошадью, и потом предлагал соблазнительные куски сахара (и все перед скачкой, в которой я участвовал на этой лошади). Мы потратили всю субботу и все воскресное утро и приехали в последнюю конюшню из моего списка на краю Йоркширских вересковых холмов в два часа дня. Только потому, что я хотел обладать дей-

ствительно железными фактами, мы забрались так далеко на север. В Нортгемптоншире Тик-Ток поверил.

На следующее утро, в понедельник, я отправился в конюшню Эксминстера повидать Джеймса.

— Пойдемте в кабинет, — сказал он, увидев, что я жду. Тон был нейтральный, но выступавшая нижняя челюсть — безжалостна. Я пошел за ним, он включил рефлектор и стал греть руки. — Я не могу предложить вам много работы, — говорил он, стоя спиной ко мне. — Все владельцы подняли крик, кроме одного. Посмотрите сами, письмо пришло сегодня утром. — Он протянул руку, нашел на столе лист бумаги и подал его мне.

В нем говорилось:

"Дорогой Джеймс,

после телефонного разговора я раздумывал над нашим решением заменить Финна на Темплейте в следующую субботу, и теперь я убежден, что надо отменить это решение и позволить ему участвовать в скачке, как первоначально и планировалось. Я полагаю, что это нужно так же нам, как и ему. Я не хочу, чтобы говорили, будто я в первый же критический момент поспешил выбросить его за борт, проявив бессердечную неблагодарность после того, как он одержал столько побед на моих лошадях. Я приготовился к разочарованию, что мы не выиграем Зимний кубок, и прошу у вас прощения за то, что лишаю возможности добавить еще один приз к вашей коллекции, но я предпочитаю скорее потерять скачку, чем уважение скакового братства.

Всегда ваш,

Джордж Тирролд".

Я положил письмо на стол.

— Ему не придется огорчаться, — хрипло проговорил я. — Темплейт выиграет.

— Вы хотите сказать, что не будете участвовать в скачке? — воскликнул Джеймс, быстро поворачиваясь ко мне. В его голосе прозвучала опасная страстная нотка, и он заметил, что я услышал ее. — Я... я... думал... — завилял он.

— Джеймс, — начал я, без приглашения садясь в одно из кресел. — Есть несколько вещей, и я хотел бы, чтоб вы их знали. Первое: как бы все плохо ни выглядело, но я не потерял нерв, хотя вы этому и поверили. Второе: каждая лошадь, с которой я работал после падения три недели назад, получала расслабляющий допинг. Не такой сильный, чтоб было заметно, но вызывающий сонливость. Третье: допинг давал каждой лошади один и тот же человек. Четвертое: допинг был в кусках сахара. Полагаю, что это какой-то вид снотворного, но у меня нет способа узнать какой. — Я резко замолчал.

Джеймс стоял и смотрел на меня с открытым ртом,

жевательная резинка прилипла к выступающим нижним зубам, губа отвисла: он не верил своим ушам.

— Прежде чем вы сделаете вывод, что я сошел с ума, окажите любезность, вызовите одного из конюхов и послушайте, что он скажет.

Джеймс резко закрыл рот:

— Какого конюха?

— Не имеет значения. Любого, с чьей лошадью я работал в последние три недели.

Он в сомнении помедлил, но все же пошел к двери и закричал кому-то, чтоб нашли Эдди. Этот конюх смотрел за гнедым гигантом, принадлежавшим Гуго. Меньше чем через минуту появился запыхавшийся парень, его курчавые, будто нечесаные волосы сиянием окружали голову.

Джеймс не дал мне открыть рот и сам быстро спросил Эдди:

— Когда вы последний раз разговаривали с Робом?

Эдди обиженно удивился и начал заикаться:

— Н-н-на той н-н-неделе.

— А после пятницы? — Это был день, когда сам Джеймс последний раз видел меня.

— Нет, сэр.

— Очень хорошо. Вы помните большого гнедого, который плохо прошел в среду на прошлой неделе?

— Да, сэр. — Эдди мрачно посмотрел на меня.

— Давал ли кто-нибудь гнедому сахар перед скачкой? — Заинтересованность в голосе Джеймса была замаскирована строгостью.

— Да, сэр, — горячо воскликнул Эдди. Знакомая улыбка от приятного воспоминания появилась на его грязном лице, и я облегченно вздохнул.

— Кто?

— Морис Кемп-Лоур, сэр. Он похвалил меня, что я с любовью смотрю за лошадьми. Он наклонился через перила смотрового круга и заговорил со мной, когда я проходил мимо. Вот я и остановился, он был такой симпатичный. Он дал гнедому немножко сахару, сэр, но я не думал, что это имеет значение, потому что мистер Гуго всегда сам посылает ему сахар.

— Спасибо, Эдди, — сказал Джеймс довольно вяло. — Конечно, сахар не имеет значения... бегите теперь.

Эдди ушел. Джеймс тупо смотрел на меня. Часы громко тикали.

Тогда я заговорил:

— Я провел последние два дня, разговаривая с конюхами из других конюшен, с лошадьми которых я работал после того, как упал. Каждый из них сказал, что Морис Кемп-Лоур дал лошади немного сахару, прежде чем я сел

на нее. Ингерсолл ездил со мной. Он тоже их всех слушал. Вы можете спросить его, если не верите мне.

— Морис никогда не подходит близко к лошадям на скачках, — запротестовал Джеймс, — и вообще нигде не подходит к ним.

— Именно это помогло мне понять, что произошло, — продолжал я. — Я разговаривал с Кемп-Лоуром у ворот в Данстейбле сразу же после Шантитауна и двух других лошадей, безнадежных для меня. И он заметно хрипел. У него разыгралась астма. Это показывало, что он недавно близко подходил к лошадям. Тогда я не обратил внимания, но теперь это факт в мое досье.

— Но Морис... — недоверчиво протянул Джеймс. — Совершенно невозможно.

— Совершенно возможно, — сказал я с большей холодностью, чем имел право: за те двенадцать ужасных часов мои подозрения стали уверенностью. — Разве естественно то, что свалилось на меня после небольшого сотрясения мозга?

— Не знаю, что и думать, — недовольно сказал Джеймс. Мы оба молчали. Я хотел, чтобы он оказал мне одну-две услуги, но, помня о его закоренелой несклонности помогать кому-либо, не надеялся на положительный ответ. Как бы то ни было, если я не попрошу, то и не получу никакого ответа.

Я начал медленно, убедительно, как если бы мысль только что пришла ко мне:

— Дайте мне поработать с одной из ваших лошадей, ваших собственных, если владельцы не хотят... и вы сами увидите, как Кемп-Лоур попытается дать ей сахар. Возможно, вы сами сумеете быть все время рядом с лошадью? И если он подойдет с кусками сахара, вы, к примеру, нечаянно заденете его руку, и сахар упадет, прежде чем лошадь съест его. Или, допустим, вы возьмете сахар и сунете в карман, а лошади дадите другой сахар, который будет у вас в руке? И тогда мы посмотрим, как лошадь пройдет.

— Какая-то фантастика. Я не могу делать такие фокусы.

— Все очень просто, — спокойно сказал я. — Вы всего лишь толкнете его руку.

— Нет, — ответил он, но без упорства. "Нет", полное надежды для меня. Я не стал давить на него, зная по опыту: если чересчур настойчиво требовать, чтоб он сделал, чего не хочет, он упрется и его не сдвинуть с места.

Я предоставил ему самому решить, как поступать, и спросил:

— Вы в хороших отношениях с человеком, который проверяет лошадей на допинг?

— После каждых соревнований два-три животных про-

ходили проверку главным образом для того, чтобы напугать тренеров с сомнительной репутацией, которые использовали допинг, чтобы подбодрить лошадей или, напротив, обессилить их. Перед каждыми скачками распорядители решали, каких лошадей надо проверить, например, победителя второго заезда или фаворита четвертого (особенно если он потерпел поражение). Никто, и даже сами распорядители, никогда точно заранее не знал, у какой лошади будет взята слюна на проверку, и действенность всей системы основывалась именно на такой неопределенности.

Джеймс понял мою мысль.

— Вы имеете в виду, чтобы я спросил, не проходила ли обычную проверку какая-нибудь из лошадей, на которых вы работали после падения?

— Да, — подтвердил я. — Могли бы вы спросить?

— Спрошу, — согласился он. — Я позвоню ему. Но если одна из них проходила и результаты оказались отрицательными, вы понимаете, что тогда ваши обвинения абсолютно несостоятельны?

— Понимаю, — кивнул я. — В самом деле, я работал со столькими фаворитами, потерпевшими поражение, что систематический допинг уже мог бы быть раскрыт.

— Вы так убеждены? — удивленно проговорил Джеймс.

— Да, — ответил я, вставая и направляясь к двери. — Да, я убежден. И скоро вы тоже убедитесь, Джеймс.

Но он покачал головой, и я оставил его. Он смотрел в окно с застывшим лицом, невероятный смысл моих слов вступил в борьбу с его собственным мнением о Кемп-Лоуре. Джеймсу он нравился.

10

В тот же понедельник поздно вечером Джеймс позвонил мне и сказал, что я могу работать с его собственной лошадью, Тэрниптопом, которая в следующий четверг участвует в стипль-чезе для новичков в Стрэтфорде-на-Эйвоне. Я начал благодарить, но он перебил:

— Вы должны знать, он не победит, он никогда не брал серьезных препятствий, только легкие заборы, я хочу, чтобы он привыкал к большим скачкам, и вы без напряжения должны просто пройти дистанцию. Хорошо?

— Да, — согласился я. — Хорошо. — И он повесил трубку. Не было сказано ни слова о том, ждет ли он или не ждет фокусов с кусками сахара.

Я устал. Весь день я провел в дороге. Я посетил в Девоне красивую вдову Арта Метьюза, снежную королеву. Бесплодная поездка. Она была точно замороженная. Как

и раньше. Вдовство так же не прибавило ей теплоты, как и супружеская жизнь. Светловолосая, выхоленная и холодная, она отвечала на мои вопросы с ледяным спокойствием, без любопытства и заинтересованности. Арт погиб четыре месяца назад. Она говорила о нем так, будто едва помнила, как он выглядел. Нет, она не знает, почему Арт постоянно ссорился с Корином. Нет, она не знает, почему Арту пришла мысль покончить с собой. Нет, Арт не говорил о хороших отношениях с мистером Джоном Боллертоном. Да, Арт однажды появился на экране в передаче "Скачки недели". Нет, это не был успех, сказала она, и воспоминание о старой обиде прозвучало в ее голосе. Арта выставили в передаче дураком. Арт, чье щепетильное чувство чести и любовь к порядку завоевали ему уважение всех, кто связан со скачками, на экране был представлен как сварливый, ограниченный недоумок. Нет, она не может вспомнить, как шла передача, но она помнит, и даже слишком хорошо, какой эффект она произвела на ее семью и друзей. После передачи все жалели ее, что она выбрала такого мужа.

Я слушал ее и в глубине души жалел бедного покойного Арта за такой выбор.

На следующий день, во вторник, к негодованию Тик-Тока, я снова присвоил "мини-купер". На этот раз я поехал через Челтнем и навестил аккуратное новое бунгало Питера Клуни, свернув с шоссе на узкую извилистую дорогу к деревне среди холмов.

Жена Питера открыла дверь и с напряженной улыбкой пригласила зайти. Она больше не выглядела счастливой, цветущей и довольной. Прямые волосы небрежно заколоты на затылке. В доме чуть ли не холоднее, чем на улице. И на ней порванные меховые тапочки, толстые носки, несколько теплых кофт и перчатки. Без помады на губах и жизни в глазах она едва ли напоминала ту счастливую женщину, дом которой я посетил четыре месяца назад.

— Заходите, — пригласила она, — но боюсь, что Питер будет не скоро. Он поехал на Бирмингемские скачки... возможно, он получит работу как запасной жокей... — Ее голос звучал безнадежно.

— Конечно, получит, — заверил я. — Он хороший жокей.

— Наверное, тренеры так не думают, — в отчаянии возразила она. — С тех пор как он потерял регулярную работу, он участвует самое большее в одной скачке за неделю. Мы не можем жить на это, как можно жить на десять фунтов? Если положение в ближайшее время не изменится, ему придется бросить стипль-чез и поискать что-то другое... Но его интересуют только лошади и скачки... если он не вернется в спорт... для него это будет катастрофа.

Она провела меня в гостиную, которая стала еще более пустой, чем раньше. Разоренной. Исчез купленный в рассрочку телевизор. На его месте стояла детская кровать — картонный ящик на металлической подставке. Я подошел и посмотрел на малыша, маленький сверток под горой одеял. Он спал. Я выразил восхищение, что наконец увидел сына Питера, и лицо матери моментально ожило от удовольствия.

Она настояла на том, что приготовит чай, я подождал, пока она наконец села, сказав, что нет ни молока, ни сахара, ни печенья, и тут я задал самый важный для меня вопрос:

— Тот "ягуар", перегородивший дорогу, из-за чего Питер опоздал, кому он принадлежал?

— Мы не знаем, — ответила она. — Очень странно. Никто не приехал забрать его, и он стоял поперек дороги все утро. Потом полиция отогнала его. Питер спрашивал у полицейских, чья это машина, потому что Питер хотел сказать этому человеку, чего стоила ему блокированная дорога, но полицейские ответили, что они еще не выяснили.

— Вы случайно не знаете, где "ягуар" сейчас?

— Не знаю, там ли он сейчас, но прежде стоял во дворе большого гаража возле станции Тимберли.

Я поблагодарил и встал, она проводила меня до машины. Я знал, что Питер почти не занят в скачках, и понимал, как мало он зарабатывает. Поэтому я привез большой ящик разных продуктов, масла, яиц и тому подобного и пластмассовые игрушки для малыша. Я занес коробку в бунгало и поставил ее на кухонный стол, не обращая внимания на удивленный протест жены Питера.

— Он слишком тяжелый, чтоб везти назад, — усмехнулся я. — Вы найдете ему лучшее применение.

Она заплакала.

— Держитесь, — сказал я. — Скоро дела пойдут лучше. А вам не кажется, что в бунгало слишком холодно для ребенка? Я где-то прочел, что некоторые дети умирают зимой из-за того, что дышат холодным воздухом, даже если они так тепло закутаны, как ваш.

— Но я не могу топить, — всхлипывая, проговорила она. — Плата за бунгало забирает почти все, что у нас есть... мы топим только по вечерам. Это правда, что дети умирают? — испугалась она.

— Да, абсолютная правда, — подтвердил я, вынул из кармана конверт и протянул ей. — Тут подарок малышу. Тепло. Это не состояние, но вы сможете заплатить за электричество и купить уголь, если захотите. Похоже, что наступает морозная погода, и вы должны пообещать мне, что потратите деньги на тепло для малыша.

— Обещаю, — тихо сказала она.

Гараж возле станции Тимберли был недавно отремонтирован и с фасада сиял белоснежной штукатуркой, но когда я обошел его вокруг, сзади открылась плохо побеленная кирпичная стена. Рядом с ней стоял старый, брошенный "ягуар" в окружении кучи старых шин. Я вернулся к входу в гараж и спросил мужчину, работавшего там, могу ли я купить машину.

— К сожалению, нет, сэр, — весело сообщил он.

— Почему? — удивился я. — На вид она никуда не годится, разве что в металлолом.

— Я не могу продать ее, — с сожалением объяснил он, — потому что не знаю, кому она принадлежит, но, — его лицо просветлело, — она уже так долго стоит здесь, что, можно считать, стала моей... как невостребованная утерянная собственность. Я спрошу в полиции.

Без всяких понуканий с моей стороны он рассказал о "ягуаре", как его бросили поперек дороги и как фирма забрала машину сюда.

— Но кто-то ведь мог видеть, как водитель выходил из машины?

— Полиция думает, что его занесло в кювет, и он решил: мол, машина не стоит того, чтобы вытаскивать.

— Сколько вы за нее хотите?

— Вам, сэр, — он широко улыбнулся, — я бы отдал ее за сто фунтов.

Сто фунтов. Я попрощался с ним и пошел к "мини-куперу". Хотел бы я знать, неужели Кемп-Лоуру стоило сто фунтов сломать Питера Клуни? Неужели его одержимость, его ненависть к жокеям настолько сильны? Но ведь сто фунтов для Кемп-Лоура, размышлял я, наверно, значительно меньше, чем для меня.

Станция Тимберли находится почти в четырех милях от поворота на дорогу, ведущую к деревне Питера, то есть в часе быстрой ходьбы. Питер наткнулся на "ягуар" в одиннадцать часов, машину бросили поперек дороги за несколько секунд до того, как Питер поднялся на холм. Перед моим мысленным взором живо возникла картина, как Кемп-Лоур останавливается у поворота, где дорога, извиваясь, идет вниз, как в бинокль наблюдает за домом Питера, вот он увидел, что Питер вышел, сел в машину и отправился на скачки. У Кемп-Лоура оставалось мало времени, чтобы поставить машину на задуманную позицию, запереть дверь и исчезнуть. Времени немного, но достаточно.

И потом, было одно важное обстоятельство не в пользу Кемп-Лоура. Слава. Его лицо так хорошо знакомо почти всему населению Британии, что он не мог надеяться уехать отсюда незамеченным. Наверняка в этом малонаселенном районе, подумал я, можно найти человека, который его видел.

И я решил найти его. Я начал со станции. Касса была закрыта, я нашел кассира в багажном отделении дремавшим возле горячей плиты с расписанием скачек в руках. Когда я вошел, кассир сразу проснулся и сказал, что следующий поезд в час десять.

Мы поговорили о стипль-чезе, но я ничего не узнал. Морис Кемп-Лоур никогда (к большому сожалению, сказал кассир) не садился в поезд на станции Тимберли. Если бы такое случилось не в его смену, утверждал кассир, он бы все равно узнал. А он как раз дежурил в тот день, когда сюда притащили "ягуар". Отвратительная история. Разве можно разрешать людям быть такими богатыми, чтобы бросать старую машину в кювет, будто окурок.

Я спросил кассира, много ли пассажиров садилось в поезд на станции в тот полдень.

— Много ли пассажиров? — грустно повторил он. — Здесь никогда не бывает больше трех или четырех, кроме тех дней, когда в Челтнеме скачки...

— Интересно, — равнодушно заметил я, — мог ли тот тип, что бросил "ягуар", уехать в то утро с этой станции поездом.

— С этой — не мог, — уверенно сказал кассир. — Потому что, как и всегда, все пассажиры, садившиеся в поезд, были леди.

— Леди?

— Да, женщины. Они ездят в Челтнем за покупками. В рабочее время у нас здесь не садится ни один мужчина, конечно за исключением дней скачек.

Я сообщил ему свежую информацию о скачках в Бирмингеме, и, когда уходил, он за государственный счет звонил своему букмекеру (как я потом с удовольствием узнал, он выиграл).

В деревенском пабе в Тимберли мне сказали, что Кемп-Лоур никогда не осчастливливал их своим присутствием.

В двух кафе для водителей вдоль главной дороги никогда не слышали от своих ребят, чтоб они подсаживали его.

В гаражах в округе диаметром в десять миль никогда не видели его.

Местная служба такси никогда не возила его. Он никогда не садился в местный автобус.

Куда бы я ни приходил, мне легко удавалось перевести разговор на Кемп-Лоура, но это требовало времени. К тому моменту, когда дружелюбно настроенный водитель автобуса рассказывал мне на автовокзале в Челтнеме, что ни один из его товарищей никогда не возил такого знаменитого человека, было уже семь часов.

Если бы не моя твердая, необоснованная уверенность,

что именно Кемп-Лоур бросил "ягуар", мне пришлось бы сдаться перед фактом, что, если никто не видел его, значит, он тут не был. И хотя я потерпел неудачу, но не считал, что мои розыски напрасны.

Военная цистерна, перегородившая дорогу, оказалась там случайно, это ясно. Но у Питера было столько неприятностей из-за опоздания, что оружие само шло в руки врага. Достаточно всего лишь заставить Питера опоздать еще раз, полунамеками распространить слухи о его ненадежности, и дело сделано. Ни доверия, ни работы, ни карьеры.

Подумав, я решил, что не все потеряно и мне удастся раскопать что-нибудь еще, поэтому я снял номер в челтнемской гостинице и провел вечер в кино, чтобы отвлечь внимание от еды.

Тик-Ток, когда узнал, что я оставляю его без машины еще на день, по телефону показался мне более сочувствующим, чем сердитым. Он спросил, какие у меня успехи, я сообщил, что никаких. Он сказал: "Если вы правы насчет нашего друга, то он очень коварный и хитрый. Вам не удастся легко найти его следы".

Без особой надежды утром я пошел на вокзал в Челтнеме. Используя как пропуск фунтовую купюру, я вышел на человека, проверявшего билеты у пассажиров, приехавших из Тимберли в тот день, когда был брошен "ягуар".

Мы с ним немного поболтали, и оказалось, он никогда не видел Кемп-Лоура, кроме как по телевидению. Хотя он словно бы сомневался, когда это говорил.

— Что вас смущает? — спросил я.

— Понимаете, сэр, я его никогда не видел, но, мне кажется, я видел его сестру.

— Как она выглядела?

— Она очень похожа на него, сэр, конечно, иначе как бы я узнал, что это она. И одета она была как жокей. Такие узкие брюки, не знаю, как они называются. И шарф на голове. Хорошенькая, очень хорошенькая. Сначала я не мог вспомнить, кого она мне напоминает. И только потом до меня дошло. Я не разговаривал с ней, понимаете? Я только взял у нее билет, когда она проходила. Вот и все. Я хорошо помню, как взял у нее билет.

— А когда вы видели ее?

— О, я не могу сказать. Просто не знаю. До Рождества. Незадолго до Рождества. В этом я уверен.

В четверг утром я одевался и брился с особенной тщательностью, потому что предвидел, какой прием меня ожидает. Шесть дней как я не участвовал в скачках. Шесть дней, за которые клочки моей репутации были окончательно растоптаны и выброшены за ненадобностью.

Жизнь в раздевалке шла быстро: важно то, что сегодня, еще важнее, что будет завтра, но вчера — мертво. Я принадлежал к вчерашним событиям и стал устаревшей новостью.

Даже мой гардеробщик удивился, увидев меня, хотя я написал, что приеду.

— Вы сегодня работаете? — спросил он. — А я хотел узнать, не продадите ли вы седло... тут есть парень, он только начинает, и ему нужно седло.

— Пока я его сохраню, — заметил я. — Я работаю с Тэрниптопом в четвертом заезде. Цвета мистера Эксминстера.

Странный день. Хотя у меня не было чувства, что я заслуживаю сочувствующих взглядов, которые меня сопровождали, я обнаружил, что меня все еще жалеют, но, к великому облегчению, это больше не огорчало, более того, я хладнокровно воспринял успех бывших моих лошадей в двух первых заездах. Единственное, что меня занимало, как поступит Джеймс с сахаром и что у него на сердце.

Он давал инструкции участникам других заездов, и за всю первую половину дня мы обменялись лишь несколькими словами. Когда я вышел на парадный круг, он стоял один возле Тэрниптопа и задумчиво глядел вдаль.

— Морис Кемп-Лоур тут, — коротко бросил он.

— Да, знаю. Я видел его.

— Он уже дал сахар нескольким лошадям.

— Что? — воскликнул я.

— Я спрашивал у многих... Морис в прошедшие несколько недель скармливал сахар большинству лошадей, не только тем, с которыми работали вы.

— О, — тихо выдохнул я. Хитер, как дьявол. Тик-Ток правильно предсказывал.

— Ни одна из лошадей, с которыми вы работали, не проходила обычную проверку на допинг, — продолжал Джеймс. — Но другие лошади, которым Морис давал сахар, проходили. Результаты у всех отрицательные.

— Он давал сахар с допингом только моим лошадям. Остальным — для камуфляжа. Так что ему чертовски повезло, что ни одна из моих лошадей не проходила проверку, — сказал я.

Джеймс покачал головой.

— Вы... — начал я, не надеясь. — Он... Кемп-Лоур... пытался дать Тэрниптопу сахар?

Джеймс сжал губы и смотрел на меня. Я затаил дыхание.

— Он пришел в бокс, где седлают, — ворчливо проговорил Джеймс, — и восхищался линиями лошади.

Тэрниптоп прошел иноходью, излучая великолепное здоровье, но Джеймс не успел договорить, как к нему подошел один из распорядителей, и я так и не узнал, чем

кончилось дело с сахаром, потому что пора было выходить на старт.

Уже у второго препятствия я знал, что Кемп-Лоур не давал лошади сахар. Свинцовые гири, которые замедляли движение моих последних двадцати восьми лошадей и которые, как я вынужден был поверить, появились в результате моего неумения, исчезли.

Тэрниптоп взлетал, и прыгал, и мчался вперед, будто несущийся поезд, он рвался к финишу, почти не нуждаясь в поощрении. Мне хотелось громко кричать от облегчения. Тэрниптоп прыгал небрежно, скорее с энтузиазмом, чем с расчетом, такой стиль не грозил особыми неприятностями, когда он имел дело с заборами, но сейчас, на своем первом стипль-чезе, он с таким же пренебрежением относился и к серьезным препятствиям. Есть огромная разница между легко падающим от ударов копыт забором толщиной в одну доску и препятствием шириной в три фута, прочно построенным из березовых бревен, да если еще за ним ров с водой. Но молодой, горячий и неосторожный Тэрниптоп не хотел ее замечать.

Обстоятельства сложились так, что в этой скачке мне надо было убедить Джеймса, и мое настроение, должен признаться, будто передалось Тэрниптопу. Мы заражали друг друга безрассудством и неоправданно рисковали, но нам удавалось избегать опасности.

Я постоянно держал его с краю скаковой дорожки, проскальзывая вперед в любой открывавшийся проход, и он прыгал и брал все препятствия, встречавшиеся на пути. Если он подходил к препятствию в правильной позиции, он легко перелетал через него, если в неправильной — переползал и опускался где придется. Наш стиль напоминал скорее спуск с американских горок, чем благоразумную, хорошо рассчитанную скачку, предписанную Джеймсом. Но такой стиль учил упрямого Тэрниптопа избегать неприятностей даже больше, чем спокойная проездка в стороне от препятствий. Подходя к предпоследнему препятствию, я больше всего боялся, что мы победим. Боялся, потому что знал: Джеймс хочет продать лошадь, и если она выиграет стипль-чез для новичков, то будет стоить меньше. Несомненный парадокс: слишком ранняя победа помешает ему войти в группу лучших новичков стипль-чеза в будущем сезоне.

Я знал: гораздо лучше прийти вторым. Если он покажет, на что способен, но не выиграет, это прибавит к цене за него сотни фунтов. Но мы начали скачку на слишком высокой скорости, и у предпоследнего препятствия наша ненужная победа казалась неизбежной. Где-то вблизи шла одна уставшая лошадь, и я не слышал других за спиной.

Тэрниптоп прыгнул или, вернее, упал случайно. Не-

смотря на мое понуждение сделать еще шаг, он оттолкнулся слишком далеко и приземлился, безнадежно увязнув задними ногами во рву, его передние ноги подогнулись от напряжения, и он упал на колени. Мой подбородок уперся в его правое ухо, а руки сомкнулись вокруг шеи. Даже тут упрямое чувство равновесия спасло его, и он встал на ноги, мощным броском плеч швырнул меня снова в седло и, покачивая головой, будто от отвращения, устремился вперед. Теперь впереди была лошадь, что шла рядом, и еще две, которые брали препятствие, пока мы там барахтались, так что к последнему препятствию мы подошли четвертыми.

Во время падения я потерял стремена, и мне не удалось вдеть в них ноги к моменту прыжка, так что мы взлетели, звякая и лязгая железом в воздухе. Я обхватил его круп ногами и слегка поощрял, и Тэрниптоп довел игру до конца, он обогнал двух лошадей и финишировал вторым.

Джеймс ждал в боксе, где расседлывают лошадей. С его лица было старательно стерто всякое выражение. Лицо игрока в покер. Я спрыгнул с седла.

— Вы никогда не будете так работать для меня, как сегодня, — сказал он.

— Не буду, — согласился я, отстегнул пряжки подпруги, снял седло, взял его под мышку и, наконец, посмотрел ему в глаза. Они непроницаемо поблескивали из-под сощуренных век.

— Вы доказали, нерв есть, — проворчал он. — Но вы могли погубить мою лошадь, доказывая свою правоту.

Я молчал.

— И себя, — добавил он, подразумевая, что это менее важно.

Я покачал головой, слабо улыбнувшись:

— Не было шанса.

— Гм. — Он окинул меня тяжелым взглядом. — Лучше приходите вечером в конюшни. Мы не можем говорить о... о том, о чем надо... здесь. Тут слишком много народу.

И, словно ставя точку под этой фразой, владелец победителя наклонился через разделяющий барьер и стал восхищаться Тэрниптопом, а я поднял шлем и пошел в весовую, так и не зная, что же случилось перед скачкой в боксе, где седлают лошадей.

Тик-Ток стоял в раздевалке возле моей вешалки. Он изящно поставил ногу на скамейку и сдвинул тирольскую шляпу на затылок.

— В следующий раз, когда вы отправитесь на такую скачку, оставьте завещание на вашу половину машины, — вместо приветствия сказал он. — Это избавит меня от сложностей с законом.

— О, заткнитесь, — проговорил я и пошел в душ.

— Некоторые люди, — громко продолжал Тик-Ток в раздевалке, — прекрасно проводят время: они глотают слова, что говорили о вас. Надеюсь, у них начнется несварение желудка. — Он пошел за мной в душевую и, небрежно прислонившись к стене, наблюдал, как я моюсь. — Наверное, вы догадываетесь, что ваши сегодняшние подвиги ясно видели несколько миллионов домохозяек, инвалидов, сторожей и бездомных, которые вечно торчат у витрин телемагазинов.

— Что? — воскликнул я.

— Факт. А вы не знали? Последние три заезда показывали одновременно с "Сексом шестью способами". Работа Великолепного. Хотел бы я знать, что он сделает, когда услышит, какой грохот вы подняли из-за сахара, — закончил почти мрачно Тик-Ток.

— Он может не узнать, — заметил я, вытирая грудь и плечи. — Он подумает, что случайно...

— Как бы то ни было, — тихо проговорил Тик-Ток, — кампания против вас закрыта. Он не рискнет продолжать после сегодняшнего.

Я согласился. И это показало, как мало мы понимаем, что такое одержимость.

Джеймс ждал меня в кабинете, погруженный в бумаги. В камине жарко горел огонь, и его блики пробегали по бокалам, стоявшим наготове рядом с бутылкой виски.

Когда я вошел, он перестал писать, встал и налил виски в оба бокала. Я сел к огню в видавшее виды кресло, и он возвышался надо мной, будто башня, с двумя бокалами в руках. Его сильное, тяжелое лицо казалось озабоченным.

— Приношу свои извинения, — отрывисто бросил он.

— Не за что, — смутился я.

— Я чуть не позволил Морису дать Тэрниптопу этот проклятый сахар, — начал он. — Я не мог поверить, что он способен на такой фантастический шаг: давать допинг каждой лошади, на которой вы участвуете в скачках. По-моему... просто нелепо.

— А что случилось в боксе?

Он отпил из бокала:

— Я дал Сиду инструкции, чтобы никто, абсолютно никто, какой бы важной персоной человек ни был, не давал Тэрниптопу ничего ни выпить, ни съесть. Когда я пришел с вашим седлом, Морис был у дверей соседнего бокса, я видел, как он дал лошади немного сахара. Сид сказал, что никто ничего не давал Тэрниптопу. — Джеймс замолчал и сделал еще глоток. — Я поставил ваш номер, надел седло и начал затягивать подпругу. Морис подошел и поздоровался. И такая заразительная улыбка... Я не мог

удержаться и тоже улыбнулся и подумал, что вы сошли с ума. Он довольно сильно хрипел из-за этой астмы... и потом он достал из кармана три куска сахара, так естественно, так небрежно, и протянул их Тэрниптопу. У меня руки были заняты подпругой, и я подумал, что вы неправы... но... не знаю... что-то меня смутило в том, как он стоял с вытянутой рукой, почти с отвращением, и сахар на его ладони был какой-то странный. Люди, которые любят лошадей, гладят их, радуются, когда дают им сахар, они не стоят как можно дальше от них. И если Морис не любит лошадей, зачем он приходит? В любом случае, решил я, не будет вреда, если Тэрниптоп не съест сахар, я уронил подпругу, притворился, что падаю, и схватил Мориса за руку, будто для равновесия. Сахар упал в солому, и я словно случайно наступил на него, когда старался не упасть.

— Что он сказал? — восхищенно спросил я.

— Ничего. Я извинился, что толкнул его, но он ничего не ответил. Лишь долю секунды он выглядел совершенно взбешенным. Потом он опять улыбался и, — глаза Джеймса сверкнули, — сказал, как он восхищен мною, что я дал бедному Финну последний шанс.

— Как мило с его стороны, — пробормотал я.

— Я объяснил ему, что вообще-то это не последний шанс, потому что вы будете работать с Темплейтом в субботу. Он только воскликнул: "Неужели?" — пожелал мне удачи и ушел.

— Так что сахар оказался растоптанным и перемешанным с соломой? — спросил я.

— Да, — подтвердил он.

— Ничего не осталось для анализа? Никаких доказательств? — У меня в голосе звучала досада.

— Если бы я не наступил, Морис мог бы поднять и снова предложить Тэрниптопу. У меня не было сахара при себе. Ничего не было... Я не верил, что он мне понадобится.

Я знал — он не любил брать на себя лишние заботы. Но он взял. И я всегда буду ему благодарен.

Мы молча пили виски. Джеймс вдруг сказал:

— Почему? Не могу понять, почему он идет на все, лишь бы дискредитировать вас. Что он имеет против вас?

— Я жокей, а он нет, — прямо объяснил я. — Вот и все.

Я рассказал о своем визите к Клаудиусу Меллиту и что он ответил мне.

— Нет никакого случайного стечения обстоятельств в том, что вы и многие другие тренеры с трудом находили жокеев и потом вынуждены были расставаться с ними. Вы все попадали под влияние Кемп-Лоура, он или сам действовал, или через своих подручных, Боллертона и Кори-

на Келлара. Эти двое как губки впитывают яд и капают им в каждое подставленное ухо. Они нашептывали и вам. Вы сами потом повторяли их слова: Питер Клуни всегда опаздывает, Тик-Ток не старается, Дэнни Хиггс слишком много спорит, Грант продает информацию, Финн потерял нерв...

Пораженный, он смотрел на меня. Я продолжал:

— Вы же верили, Джеймс, правда ведь? Даже вы? Действительно, почему бы не поверить? У них такое солидное положение. И так мало надо, чтобы владелец или тренер потерял доверие к жокею. Стоит только незаметно подкинуть мысль, и она уже понеслась: один всегда опаздывает, другой нечестный, третий боится, и скоро, в самом деле очень скоро, он уже остается без работы... Арт, Арт покончил с собой, потому что Корин уволил его. У Гранта нервное расстройство. Питер Клуни сломлен, его жена голодает в промерзшем насквозь доме. Тик-Ток паясничает...

— А вы? — перебил меня Джеймс.

— Я? Да... у меня тоже не много радостей было в последние три недели.

— Да, — задумчиво протянул он, будто в первый раз увидел последние события с моей точки зрения. — Полагаю, не много радостей.

— Все прекрасно рассчитано, — продолжал я. — Каждую пятницу в передаче "Скачки недели", вспомните сами, обязательно пачкали грязью того или другого жокея. Меня он представил как жокея-неудачника, неумелого наездника, и он предполагал, что таким я и останусь. Вы помните, какие позорные кадры он показал? Вы бы никогда не взяли меня после этих кадров, если бы не видели раньше, как я работал для вас. Ведь не взяли бы?

Он покачал головой, сильно встревоженный. Я продолжал:

— При каждом удобном случае, например когда Темплейт выиграл Королевские скачки, он напоминал телезрителям, что я только заменяю Пипа и что мне не видать побед как своих ушей, как только Пип вернется. Безусловно, я выполняю работу Пипа, и он должен обязательно получить ее назад, когда у него срастется перелом, но покровительственные нотки в голосе Кемп-Лоура рассчитаны именно на то, чтобы каждый понял: мой короткий взлет к успеху совершенно не заслужен. И пожалуй, все так и считали. Больше того, думаю, что многие владельцы скорей бы поверили вашему мнению и не поспешили бы выбросить меня за борт, если бы не постоянные шпильки Кемп-Лоура в мой адрес, которые он пускал под видом сочувствия направо и налево. А в прошлую пятницу... — Я постарался, правда, не очень успешно, чтобы голос звучал спокойно: — В прошлую пятницу он подтолкнул Ко-

рина и Дженкинсона, чтобы те прямо сказали, что я как жокей кончен. Вы смотрели?

Он кивнул и налил в бокалы виски.

— Этим делом должен заняться Национальный охотничий комитет, — убежденно проговорил он.

— Нет, — возразил я. — Его отец — член комитета.

— Да, я и забыл, — Джеймс глубоко вздохнул.

— Весь комитет настроен в пользу Кемп-Лоура. Все они под влиянием Мориса. Я был бы очень благодарен, если вы никому из них ничего не скажете. Их будет еще труднее убедить, чем вас, и нет фактов, которые Кемп-Лоур не мог бы объяснить нормальным ходом событий. Но я буду копать. Придет день.

— Неожиданно для меня вы выглядите бодрым, — заметил он.

— О боже, Джеймс. — Я решительно встал. — На прошлой неделе я хотел покончить самоубийством. Я рад, что не сделал этого. И потому я чувствую бодрость.

Он так удивленно смотрел на меня, что я рассмеялся, напряжение спало.

— Все нормально, — сказал я, — но поймите, вряд ли Национальный охотничий комитет воспримет этот случай с доверием. Они слишком воспитанны. Я надеюсь на более горькое лекарство для дорогого Мориса.

Но я пока не придумал эффективного плана, а у дорогого Мориса были острые зубы, очень острые.

11

Хотя на следующий день ни Тик-Ток, ни я не участвовали в скачках, я забрал у него машину, и поехал на соревнования в Аскот, и прошел там всю дистанцию, чтобы почувствовать грунт. В поле дул острый, холодный северо-восточный ветер, и земля была твердая, кое-где подмерзшая, точно в заплатах. Зима стояла удивительно мягкая, но высокое ясное небо предвещало, что начнется обледенение почвы.

Я обошел весь круг, планируя в уме скачку. Если земля останется твердой, можно будет взять высокую скорость, а Темплейт это любит. Раскисшая от дождей скаковая дорожка совсем не в его вкусе.

Возле весовой Питер Клуни остановил меня. Мрачный, бледный, худой, с морщинистым от забот лбом.

— Я верну вам деньги, — заявил он, будто объявляя войну. Казалось, он приготовился спорить.

— Хорошо. Когда-нибудь. Не спешите, — спокойно согласился я.

— Вы не имели права за моей спиной давать жене

деньги и продукты. Я хотел отправить их назад, но она не позволила. Мы не нуждаемся в благотворительности.

— Дурак вы, Питер. Ваша жена правильно сделала, я бы посчитал ее тупой ослицей, если бы она отказалась. Вам лучше привыкнуть к мысли, что продукты будут приносить в ваш дом каждую неделю, пока вы не начнете снова прилично зарабатывать.

— Нет, — почти во весь голос выкрикнул он. — Я не приму их.

— Не понимаю, почему жена и ребенок должны страдать из-за вашей неуместной гордости. Но ради облегчения вашей совести я объясню, почему это делаю. Вы никогда не получите работу, если будете ходить с выражением голодной собаки. Если вы выглядите слабым и несчастным, то никого не убедите, что вас можно нанять на работу. Вы должны быть жизнерадостным, энергичным, всем своим видом доказывая, что стоите той цены, которую вам заплатят. Понимаете, я хочу избавить вас от забот, чтобы вы больше думали о скачках и меньше — о холодном доме и пустом холодильнике. И тогда вы обязательно получите работу... все зависит от вас.

Я ушел, а Питер остался стоять с открытым ртом, и его брови поднялись почти до линии, где начинаются волосы.

Все, что разрушал Кемп-Лоур, я попытаюсь восстановить снова. Когда я приехал, я увидел его, оживленно разговаривавшего с одним из распорядителей, тот смеялся. Изящный, полный жизни, благополучный, он, казалось, освещал все вокруг своей светловолосой головой.

В весовой после четвертого заезда я получил телеграмму. В ней говорилось: "Заезжайте за мной. "Белый медведь", Аксбридж, 18.30. Важно, Ингерсолл". Я почувствовал, как злился Тик-Ток, когда давал телеграмму, потому что Аксбридж был в противоположном направлении от дома. Но машина все же наполовину его, и на прошлой неделе я явно перебрал свою долю.

День тянулся медленно. Я терпеть не могу, когда за мной наблюдают, и особенно противно мне было теперь, после скачки с Тэрниптопом, когда моя репутация несколько поправилась, но я старался следовать совету, какой дал Питеру, и выглядеть энергичным и жизнерадостным, за что и был вознагражден бесконечным похлопыванием по замерзшему плечу. Жизнь стала многим легче, когда никто не испытывал напряжения, разговаривая со мной. Но я не сомневался: последнее суждение будет вынесено после скачки с Темплейтом. И я ничего не имел против. Я знал, как прекрасно он показывал себя на тренировках, и Джеймс обещал, что ни на секунду не спустит с него глаз, чтоб ему не подсунули допинг.

На темной стоянке возле "Белого медведя" моя машина была второй. "Белый медведь", один из непривле-

кательных пабов с холодным светом внутри и без атмосферы уюта, пустовал. Я подошел к бару и заказал виски. Тик-Тока не было. Я посмотрел на часы. Двадцать минут седьмого.

Зеленые пластмассовые стулья вдоль стен отпугивали такой негостеприимностью, что я не удивлялся, почему нет посетителей. Не помогали ни зеленые шторы, ни флюоресцентные лампы на потолке.

Я снова посмотрел на часы.

— Вы случайно не ждете кого-нибудь, сэр? — спросил бесцветный бармен.

— Жду.

— Вы не мистер Финн?

— Да.

— Тогда у меня для вас сообщение, сэр. Мистер Ингерсолл только что звонил и сказал, что он не может приехать сюда, чтобы встретиться с вами, сэр, и он приносит извинения, но не могли бы вы подъехать за ним к станции в шесть пятьдесят пять. Станция здесь в полумиле, по дороге вниз, первый поворот налево, а потом прямо.

Я допил виски, поблагодарил бармена и пошел к машине. Я сел за руль и протянул руку, чтобы включить фары и зажигание. Я протянул руку...

Кто-то сзади с силой схватил меня за горло.

За спиной шуршала одежда, ботинки скребли тонкий резиновый коврик.

Я закинул руки назад и пытался царапаться, но до лица не дотянулся, а против перчаток, толстых, кожаных, ногти были бесполезны. Сильные пальцы точно знали, куда надо давить: с каждой стороны шеи прямо над ключицей, там, где проходят сонные артерии. Я вдруг вспомнил строчки из какого-то старого курса первой помощи: чтобы остановить кровотечение из головы... надо надавить на сонную артерию с одной стороны, но, надавив с обеих сторон, мы полностью блокируем кровоснабжение мозга.

Мне не вырваться. Упиравшийся в грудь руль мешал двигаться и сопротивляться. В те несколько секунд, пока гулкая темнота поглотила меня, две мысли мелькнули в голове. Первая — мне следовало знать, что Тик-Ток никогда бы не назначил встречу в таком дрянном пабе. Вторая — сердитая, что я умираю.

Когда медленно и неуверенно сознание вернулось, я обнаружил, что не могу открыть ни глаз, ни рта, стянутых липким пластырем, что у меня связаны вместе запястья и ноги стреножены, как у цыганского пони.

Я лежал на боку, неудобно скрючившись, на полу перед задним сиденьем машины; по размеру и запаху я понял, что это "мини-купер". Я замерз, но не сразу сообразил, что на мне нет ни пиджака, ни пальто. Рукава рубашки были стянуты и зажаты между двумя передними

сиденьями, так что я не мог сорвать пластырь ни с глаз, ни со рта, и мне было ужасно неудобно. Собрав все силы, я попытался высвободить руки, но они были связаны прочно, и кулак — так мне показалось — с такой жестокостью ударил по рукам, что я прекратил всякие попытки. Я не видел, кто ведет машину, и ведет на большой скорости, но мне и не надо было видеть. Только один человек в мире мог подстроить такую мудреную ловушку, как "ягуар" на узкой дороге. Только у одного человека могла быть причина похитить меня, какой бы безумной эта причина ни была. Никаких иллюзий. Морис Кемп-Лоур не намерен позволить мне выиграть Зимний кубок, и он принял меры, чтобы предотвратить победу.

Неужели он узнал, беспомощно гадал я, что Тэрниптоп не случайно не съел отравленный сахар? Неужели он догадался, что я раскрыл его козни против жокеев? Неужели он услышал о моих расспросах в конюшнях и насчет "ягуара"? Если он все знает, что он собирается сделать со мной? На последний, довольно мрачный вопрос я не спешил найти ответа.

Путешествие продолжалось, как мне показалось, долго, потом машина вдруг резко повернула налево и запрыгала по дороге, наверное, вымощенной камнем, замедлила ход, еще раз повернула, немного проехала и остановилась.

Кемп-Лоур вышел, нагнул вперед сиденье водителя, схватил меня за веревку, стягивавшую запястья, и вытащил наружу. Я не сумел встать, потому что был стреножен, и упал на спину. Земля была жесткая, посыпанная гравием. Рубашка порвалась, и острые камни царапали кожу.

Он рывком поставил меня на ноги, и я стоял покачиваясь, ничего не видя, неспособный бежать, даже если бы мне и удалось вырваться. К веревке на запястьях он прикрепил что-то вроде свинцовой гири и тянул меня вперед, ухватившись за нее. Земля была неровная, а веревка на лодыжках короткая. Я все время спотыкался и два раза упал.

Очень неприятно падать, когда ничего не видишь, но я ухитрился, извиваясь в воздухе, упасть на спину, а не лицом. Когда я упал второй раз, я попытался сорвать пластырь с глаз, но он грубо отдернул руки и потащил меня по земле, мелкий гравий, будто терка, сдирал кожу на спине, и было очень больно.

Он остановился, я встал на ноги и услышал звук открываемой двери, он втянул меня в помещение. Я поздно понял, что там ступенька, и опять упал. У меня не хватило времени изогнуться, и я грохнулся на живот, локти и грудь. На минуту у меня перехватило дыхание и потемнело в заклеенных глазах.

Пол деревянный, подумал я, упираясь в него щекой. Сильно пахло пылью и чуть-чуть лошадьми. Он снова поставил меня на ноги, поднял запястья вверх и прикрепил к чему-то над головой. Когда он кончил и отошел, я ощупал пальцами, что это такое, и, едва почувствовав гладкую металлическую поверхность крюка, сразу же понял, куда попал.

Это была сбруйная. Они есть в каждой конюшне. В них хранятся седла, уздечки, поводья, щетки, скребки, чепраки — все, что нужно для лошадей. С потолка любой сбруйной спускается крюк для упряжи, приспособление вроде трехлапого якоря, на него, когда чистят, подвешивают седла, поводья. Но здесь висела не сбруя. Здесь висел я, накрепко прикрученный к штырю, от которого расходятся лапы.

Большинство сбруйных отапливается плитой, над которой сушат сырые чепраки, и в тепле кожаная упряжь не портится. Тут было очень холодно, и могильная сырость забивала запахи кожи и дегтярного мыла. Ясно, помещение не использовалось, здание пустовало. Я не слышал движения лошадей в стойлах. Тишина приобретала зловещее значение. Я вздрогнул от чего-то иного, чем холод.

Потом я услышал, как он идет по посыпанному гравием двору, раздались знакомые звуки отодвигаемого засова и лязг открываемой двери. Через несколько секунд дверь снова закрылась, и какая-то другая открылась и опять закрылась. И еще одна дверь. Он прошел ряд помещений и открыл шесть дверей. Я подумал, наверно, он что-то ищет, мелькнула вялая мысль, что хорошо бы он это не нашел. Шестая дверь конюшни захлопнулась, и он на какое-то время пропал, я не слышал, что он делает. Но машина не отъезжала, и я знал, что он еще здесь. Я не мог догадаться, из чего сделана веревка, стягивавшая запястья. Она была узкая и скользкая, и, сколько я ни двигал руками, никак не мог найти узел.

Наконец он вернулся и звякнул чем-то за дверью. Ведро.

Он вошел в сбруйную и мягко прошагал по деревянному полу. Остановился передо мной. Стало абсолютно тихо. Я услышал новый звук. Высокий слабый астматический хрип. Неужели даже в пустой конюшне его мучает астма?

Он медленно обошел вокруг меня и снова остановился. Опять обошел и остановился. Принимает решение, подумал я, но какое?

Он провел рукой в перчатке по ободранным плечам. Я невольно отшатнулся, в его дыхании послышался резкий свист. Он закашлялся, сухой, тяжелый, астматический кашель. Припадок у него, что ли, подумал я.

Он вышел, продолжая кашлять, взял ведро и прошагал

по двору. Я слышал, как звякнуло поставленное ведро и как он повернул кран. Вода громко плескалась о стенки ведра, эхо громко разносилось в тишине.

"Джек и Джон пошли на холм, — от звука хлещущей воды нелепо всплыла в памяти детская считалка. — Джек упал, разбил корону, Джон залил его водой".

Ох нет, подумал я, нет, мне и так холодно. Половина моего сознания говорила: пусть делает что хочет, лишь бы да уйти отсюда вовремя и успеть на скачки с Темплейтом; и другая половина усмехалась: не будь дураком, все дело в том, что он не даст тебе уйти, и в любом случае, если ты и сумеешь убежать, то будешь такой замерзший и измученный, что не сможешь сесть верхом и на осла.

Он закрутил кран и прошагал через двор, при каждом шаге вода чуть выплескивалась на гравий. Он принес ведро в сбруйную и остановился за моей спиной. Ручка ведра лязгнула. Я сжал зубы, набрал побольше воздуха и ждал.

Он вылил на меня воду. Она точно лезвием полоснула посередине спины. У меня было чувство, будто палач полосками сдирает кожу.

После короткой паузы он снова прошагал по двору и наполнил ведро. Я подумал: ну и пусть. Промокший человек не может быть еще более мокрым, и замерзшему не может стать холоднее. Руки, привязанные высоко над головой, начали болеть. Я уже боялся не того, что произойдет сейчас, а того, как долго он намерен держать меня в таком положении.

Он вернулся с ведром и на этот раз выплеснул воду в лицо. Я ошибался, когда думал, что хуже быть не может. Было гораздо хуже, чем в первый раз, потому что много воды попало в нос. Разве он не видит, в отчаянии подумал я, что он утопил меня. Грудь болела. Я не мог вздохнуть. Он должен снять пластырь со рта, должен... должен...

Он не снял.

К тому моменту, когда я наконец смог вдохнуть воздух, он снова шагал по двору, и вода выплескивалась из ведра. Гравий методично скрипел под его ботинками, он направлялся ко мне. Ступенька и мягкие шаги по деревянному полу. Я ничего не мог сделать, чтобы помешать ему.

Он остановился передо мной. Я отвернул лицо в сторону и постарался спрятать нос за верхней губой. Он вылил все ведро обжигающе ледяной воды мне на голову. Теперь, подумал я, у меня будет больше сочувствия к клоунам в цирке. Бедняги, может, они пользуются хотя бы теплой водой.

По-видимому, он решил, что я уже достаточно промок, во всяком случае, поставил ведро за дверью, а не пошел наполнять его, он вернулся и стоял близко ко мне. Его астматический приступ усиливался.

Он схватил меня за волосы, отогнул голову назад и первый раз заговорил.

Низким голосом с явным удовлетворением он произнес:

— Это поставит вас на место.

Он отпустил волосы и вышел из комнаты, я слышал, как он прошел по двору, шаги затихли вдали, потом я услышал, как хлопнула дверца "мини-купера", мотор взревел, и машина отъехала. Больше я ничего не слышал.

Не очень весело оказаться холодной ночью брошенным, связанным и промокшим до костей. Я понимал, что он не вернется в течение нескольких часов, потому что была пятница. С восьми по крайней мере до полдесятого он будет занят в своей программе. Интересно, какой эффект эта милая шалость окажет на его спектакль.

Ясно одно — я не могу смирно стоять и ждать, пока меня кто-то освободит. Первое, что надо сделать, — сорвать пластырь. Я долго терся ртом об руки, прежде чем мне удалось отодрать уголок. Теперь я мог втянуть ртом воздух, но не мог кричать и звать на помощь.

Холод не на шутку тревожил меня. Мокрые брюки облепили ноги, ботинки полны воды, и то, что осталось от рубашки, приклеилось к рукам и груди. Пальцы полностью онемели, и ступни почти потеряли чувствительность. Он нарочно оставил дверь открытой, я понял сразу, и, хотя холодный ветер не дул прямо, а закручивался у наружных стен и потом уже полуобессиленный влетал в сбруйную, я дрожал с головы до ног.

Крюк для упряжки. Я размышлял над его строением. Три лапы отходят от стержня. Стержень прикреплен к цепи, которая продета в кольцо, вбитое в потолок. Длина цепи зависит от высоты потолка. Все сделано крепко и основательно, чтобы годами выдерживать рывки конюхов во время чистки сбруи. Абсолютно безнадежно пытаться вырвать кольцо из потолка.

Я видел крюки для упряжи, которые просто надеты на цепь, их легко снять, если поднимать вверх, а не тянуть вниз. После бесплодных и утомительных попыток я понял, что подвешен не на таком крюке.

Но ведь должно же где-то быть слабое звено, подумал я. Слабое звено в буквальном смысле слова. Крюк покупают отдельно от цепи. Цепь, когда вешают на нее крюк, или укорачивают или удлиняют в зависимости от высоты потолка. Где-то должна быть спайка.

Основание крюка касалось моих волос. Руки были привязаны на три дюйма выше. Это давало мне совсем небольшую амплитуду, но в ней единственная надежда. Я начал раскачиваться, упираясь предплечьем в лапы крюка и закручивая цепь, потом повисал на ней и слушал, как звенья трутся друг о друга. За два с половиной оборота,

насколько я мог судить, звенья сильно перекрутились. Если бы я мог еще больше скрутить их, слабое звено обязательно бы треснуло.

В теории все просто. Но, начав раскачиваться, я убедился, как иначе все выглядит на практике. Во-первых, когда я закручивал цепь, она становилась короче, мне приходилось еще выше задирать руки над головой, и аплитуда уменьшалась. И во-вторых, руки стали болеть сильнее.

Я закрутил цепь изо всех сил. Ничего не произошло. Я ухватился за одно из колец цепи, повис на нем и рывком дернул. Цепь раскрутилась и ударила по туловищу, удар был такой сильный, что сбил меня с ног.

Не с первого раза, спотыкаясь, почти отчаявшись, я снова выпрямился и повторил всю операцию. На этот раз удар пришелся на плечи, я выстоял и повторил все снова. Цепь не порвалась.

Во время передышки я снова принялся отклеивать пластырь и наконец сорвал его. Это означало, что теперь я могу открыть рот и закричать.

Я закричал.

Никто не отозвался. Голос эхом отражался от стен сбруйной и громко звучал у меня в ушах, но боюсь, что снаружи ветер уносил его в поля. Я кричал и кричал, долго кричал. Никаких результатов.

По-видимому, именно в тот момент, примерно через час после отъезда Кемп-Лоура, я сильно испугался и разозлился.

Я испугался за руки, они все время были подняты вверх, и я их не чувствовал. Теперь я не просто дрожал, я одеревенел от холода, и кровь совсем не поступала к рукам, веревка резко врезалась в запястья.

Передо мной встала мрачная перспектива: если я останусь в таком положении всю ночь, к утру руки омертвеют. Воображение тут же непрошенно нарисовало ужасающую картину: омертвевшие руки, гангрена, ампутация.

Вдруг я подумал, не мог же он хотеть такого. Значит, он уехал ненадолго. Не может быть человек таким дико жестоким. Я вспомнил удовлетворение в его голосе: "Это поставит вас на место". Но я думал, только на один день. Не на всю жизнь.

Разозлившись, я стал сильнее и решительнее. Я не намерен, абсолютно не намерен позволить ему безнаказанно уйти и продолжать свое черное дело. Цепь должна быть порвана.

Я снова туго закрутил и дернул, задыхаясь от напряжения. Я закручивал и отпускал, дергал и закручивал, изо всех сил я старался закрутить цепь вокруг лап крюка. Цепь трещала, но держалась.

Тогда я начал работать ритмично: шесть рывков — от-

дых. Шесть рывков — отдых. И опять шесть рывков — отдых, и еще, и снова, пока не разрыдался.

Во всяком случае, подумал я с последней вспышкой юмора, упражнения согревают. Но это мало утешало: плечи и руки раскалывались от боли, шею и спину будто жгли и кололи иголками, и веревка на запястьях окончательно сорвала кожу.

Шесть рывков — отдых. Шесть рывков — отдых. Если кто-нибудь пытался плакать со стянутыми пластырем глазами, то он знает, слезы тогда бегут из носа. Когда я дышал, они попадали в рот. Соленые. Я устал от вкуса соли.

Шесть рывков — отдых. Никакого отдыха. Ты должен, сказал я себе.

Время шло. Из-за того, что я ничего не видел, чем больше я уставал, тем сильнее кружилась голова. Если я не концентрировал внимания, то начинал качаться из стороны в сторону и падать на колени, и руки от этого болели сильнее.

Ну — рывок — ничего — рывок — проклятая цепь — рывок — рывок — закручиваю цепь. Я не собирался сдаваться без борьбы, но отвратительное искушение постепенно росло во мне — бросить мучительное закручивание и просто висеть со слабеющим сознанием, получить немножко покоя. Обманчивого, бесполезного, опасного покоя.

Я продолжал закручивать и дергать, иногда рыдая, иногда ругаясь, иногда, наверно, молясь.

Я был совершенно не готов к тому, что случилось. Еще минуту назад я собирал остатки силы воли для очередной серии рывков, и в следующий момент после конвульсивного отчаянного рывка, ошеломленный, я рухнул на пол с крюком, стукнувшим меня по голове.

Секунду или две я едва мог поверить в успех. Голова кружилась, я ничего не чувствовал. Но под моим телом был пол, твердый, пахнущий пылью, реальный, сырой и дающий уверенность.

Немного спустя, когда в голове прояснилось, я перекатился и встал на колени, чтобы кровь наконец прилила к рукам, которые я зажал между ляжками, чтобы согреть, они ничего не чувствовали. Веревка вокруг запястья теперь не врезалась так сильно, когда на руках не висело все тело, она не мешала крови приливать к рукам. Если не поздно, подумал я.

Невообразимое облегчение от того, что наконец руки были внизу, заставило меня на какое-то время забыть, как я замерз, какой мокрый и как еще далеко до того, чтобы согреться и обсохнуть. Я чувствовал себя почти бодрым, будто выиграл главную битву. И действительно, оглядываясь назад, теперь я знаю, что выиграл.

12

Колени скоро устали, поэтому я пополз по полу, пока не добрался до стены и там сел, привалившись к ней спиной.

Пластырь все еще стягивал глаза. Я пытался отодрать его и терся о веревку на запястьях, но это было бесполезно. Мне мешал крюк, который бил по лицу, и в конце концов я бросил это дело и принялся снова греть руки, то засовывая между ляжками, то ударяя по коленям, чтобы восстановить кровообращение.

Через какое-то время я обнаружил, что могу двигать пальцами. Я их еще не чувствовал, но движение — это уже потрясающий шаг вперед. И следующие десять минут я, улыбаясь, двигал пальцами.

Я приставил руки к лицу и пытался содрать пластырь ногтем большого пальца, но бесполезно, он не поддавался. Мне обязательно нужно открыть глаза, не могу же я выйти на холод стреноженный и слепой.

Нагнув голову, я всунул большой палец правой руки в рот, таким образом согревая его. Каждые несколько минут я проверял результат на краях пластыря, пока наконец ноготь слегка поддел его. Ушло много времени, прежде чем ногтем я отодрал такой кусок пластыря, чтобы зацепиться за него связанными запястьями и после нескольких неудач, сопровождаемых проклятьями и ругательствами, схватить и содрать весь.

Ослепительный лунный свет вливался в открытую дверь и в окно. Я сидел почти в углу, дверь слева от меня. Внушительно выглядевшая плита занимала угол справа, и немного угля еще лежало в ящике возле нее.

В центре с потолка в бледном свете луны свисала тяжелая цепь.

Я посмотрел на руки. Крюк для упряжи мерцал отраженным светом. Неудивительно, что так трудно было оторвать его, цепь и крюк казались совсем новыми, а вовсе не старыми и проржавленными, как я воображал. Хорошо, что я этого не знал, подумал я.

Руки стали почти такими белыми, как рукава рубашки, как нейлоновая веревка с крюком. Только запястья оставались темными. Такая же нейлоновая веревка связывала одну лодыжку с другой, оставив между ними дюймов пятнадцать.

Я не смог бы развязать узел пальцами. Карманы пустые: ни ножа, ни спичек. В сбруйной не было ничего режущего. Я с трудом встал, опираясь о стену, и медленно побрел к двери. На дорожке лунного света лежало треснувшее звено цепи, неправдоподобно прочный круг серебристого металла. Ох и задал же он мне мучений!

Я подошел к двери и одолел ступеньку. Там стояло ведро, серое и тусклое. В лунном свете я увидел двор в форме латинского L. Справа от меня тянулись четыре бокса для лошадей и перпендикулярно к ним — еще два. В центре виднелся кран и возле него — вот удача! — решетка для чистки обуви, сделанная из тонкого металла и закрепленная в бетоне.

Осторожными шажками я добрался до нее по посыпанному гравием двору, пронизывающий ветер выбил последние остатки тепла из моего тела.

Опершись о стену, я тер веревку о металлическую решетку, используя одну ногу как маятник.

Планки решетки были совсем не острые, а веревка новая.

Я потратил уйму времени, но ноги наконец были свободны. Я встал на колени и попробовал сделать то же с веревкой, связывавшей запястья, но мешал крюк. Похоже, что мне пока придется таскать с собой этот тяжелый кусок металла.

Способность двигать ногами дала мне удивительное чувство свободы. Я вышел со двора и обошел дом вокруг. Все окна были закрыты ставнями. Дом стоял такой же пустой, как и конюшня. Неприятное, но не неожиданное открытие.

Я неуверенно пошел по аллее. Она привела меня к воротам. За ними начиналась проселочная дорога, и никаких указателей, в какой стороне цивилизация. Я все равно не знал, куда идти, и свернул направо. Пустынная дорога извивалась среди полей, уходивших вдаль к низким холмам. Ни одной машины, нигде ни огонька. Проклятый ветер стегал меня, будто бичом, спотыкаясь, я шел вперед, постепенно привыкая к мысли, что если смогу дойти до человеческого жилья, то так и приду связанный.

И наконец я увидел не дом, но что-то гораздо лучшее. Телефонную будку. Ярко освещенная, квадратная, она стояла на повороте, где проселочная дорога выходила на шоссе. Телефон избавлял меня от необходимости постучать в незнакомую дверь и объяснять людям, почему я похож на огородное пугало.

Я мог позвонить в полицию, в "скорую помощь", даже в пожарную охрану. Но когда я наконец ухитрился почти беспомощными руками приоткрыть дверь, чтобы всунуть ногу, я все решил. Если я позвоню властям, начнутся бесконечные вопросы и расследования, а мне не улыбалось провести ночь в какой-нибудь местной больнице. Терпеть не могу попадать в больницу.

Кроме того, хотя я и окоченел до костей, но, по-видимому, не обморозился. Лужи по краям дороги еще не покрылись льдом. Завтра в Аскоте скачки, Темплейт дол-

жен участвовать в Зимнем кубке, а Джеймс не знает, что его жокей торчит в больнице и не способен работать.

Не способен... С того момента, как я увидел телефонную будку и неуклюже поднял трубку, я уже знал: единственный способ обесценить Кемп-Лоуру его победу — это участвовать в скачках и победить, если удастся. А потом притвориться: мол, событий сегодняшней ночи не было. Он слишком долго делал все, что ему хотелось. Но ему не удастся, определенно не удастся, дал я себе клятву, еще раз одержать верх надо мной.

С трудом я набрал ноль, сообщил телефонистке номер моей кредитной карточки и попросил соединить с единственным человеком в мире, который поможет мне и потом никому не расскажет и не станет отговаривать сделать то, что я намерен.

— Алло? — голос ее звучал сонно.

— Джоанна... ты занята? — спросил я.

— Занята? В такое время? Это ты, Роб?

— Да.

— Ну, тогда иди спать и позвони мне утром. Я сплю. Разве ты не знаешь, который час? — Я услышал, как она зевнула.

— Нет.

— Сейчас... сейчас... двадцать минут первого. Спокойной ночи.

— Джоанна, не вешай трубку, — умоляюще попросил я. — Мне нужна твоя помощь. Действительно нужна. Пожалуйста, не вешай трубку.

— Что случилось? — Она снова зевнула.

— Я... я... Джоанна, я прошу тебя, помоги мне. Пожалуйста.

Трубка молчала, потом она сказала проснувшимся голосом:

— Ты раньше ни о чем не просил меня. Никогда.

— Ты приедешь?

— Куда?

— Я точно не знаю, — в отчаянии ответил я. — Я в телефонной будке на деревенской дороге, и тут никого нет. Телефонная станция в Хемпден-Роу. — Я повторил по буквам. — Думаю, это не очень далеко от Лондона, наверное, где-то на западе.

— А ты сам не можешь приехать? — спросила она.

— Нет, у меня нет денег и вся одежда мокрая.

— О-о-о. — Пауза. — Хорошо. Я найду тебя там, где ты есть. Я приеду на такси. Что-нибудь еще?

— Привези свитер, — сказал я. — Я замерз. И сухие носки, если у тебя есть. И перчатки. Не забудь перчатки. И ножницы.

— Свитер, носки, перчатки, ножницы. О'кей. Тебе при-

дется подождать, пока я оденусь, но я постараюсь приехать побыстрее. Оставайся в телефонной будке.

— Хорошо.

— Не беспокойся, я скоро буду. До свидания.

— До свидания, — пробормотал я, вешая трубку. Как бы она ни спешила, она не приедет раньше чем через час. Я и не представлял, что уже так поздно. И Кемп-Лоур не вернулся. Его программа закончилась несколько часов назад, а он не приехал. Жестокий, кровожадный подонок, подумал я.

Я сел на пол в будке, осторожно прислонился к стене под телефоном так, чтобы голова была видна через стекло. Потом поднес руки к лицу и один за одним пошевелил пальцами, они ничего не чувствовали. Они сгибались и разгибались, медленно и чуть-чуть, вот и все. Из страха, как бы не стало хуже, я принялся возвращать их к жизни, тер, всовывал между ляжками, бил о колени, заставлял сгибаться и разгибаться, не обращая внимания на хруст и боль в ободранных плечах.

Мне было о чем подумать. Например, липкий пластырь. Он заклеил мне рот, конечно для того, чтобы я не мог позвать на помощь. Но когда я в конце концов закричал, там все равно никого не было. Никто бы не услышал, как бы громко я ни кричал, потому что конюшня стояла далеко от проселочной дороги.

Пластырь на глазах, понятно, чтобы я не увидел, куда попал. А если бы увидел? Пустой двор и заброшенную сбруйную? Что изменилось бы, если бы я мог видеть и говорить, размышлял я.

Видеть... Я бы увидел выражение лица Кемп-Лоура, его удовлетворение, что он вывел меня из игры. Я бы увидел Кемп-Лоура... вот оно что! Он не хотел, чтобы я его видел.

Если это так, тогда понятно, почему он не хотел, чтобы я говорил: он боялся попасть в ловушку, отвечая. Он заговорил только однажды, и то низким, неузнаваемым голосом.

В таком случае он, должно быть, убежден, что я не догадался, кто украл меня, что я не узнал его. Значит, он думает, что Джеймс случайно выбил у него из рук сахар с допингом, и он не слышал, что Тик-Ток и я сделали рейд по конюшням, и не знает о моих расспросах о "ягуаре". Это дает мне незначительное преимущество в будущем. Если он где-то оставил следы, то ему нет необходимости немедленно уничтожить их. Он не будет все время начеку, следовательно, легче будет разрушить его планы.

Меня тревожило, что все тормоза цивилизованного человека исчезли из моего сознания. Он так неумолимо вколотил себя в мой внутренний мир, что я не мог думать

ни о чем, кроме мести за себя и за других, мести физической, окончательной, без угрызений совести.

Наконец она приехала.

Я услышал, как остановилась машина, хлопнула дверца. Быстрый звук шагов по дороге. Дверь телефонной будки открылась, впустив ледяной ветер, и Джоанна стояла на пороге в брюках, голубом теплом жакете, свет падал на темные волосы и делал глубже глаза.

Я глядел на нее, изо всех сил стараясь улыбнуться, но улыбка не получалась, я слишком сильно дрожал.

Она опустилась на колени, осмотрела меня, и лицо у нее окаменело от ужаса.

— Руки, — воскликнула она.

— Да. Ты привезла ножницы?

Ни слова не говоря, она открыла сумку, вытащила внушительного вида ножницы и освободила меня. Положила крюк на пол, потом нежно сняла с запястий перерезанную веревку. Теперь от запекшейся крови веревка была скорее коричневая, чем белая. На запястьях остались полосы, темные и глубокие. Она с испугом смотрела на них.

— Там тоже веревка, — сказал я, кивая на ноги.

Джоанна разрезала веревку на лодыжках, и я заметил, что она потрогала брюки пальцами. Воздух был слишком холодный, чтобы высушить их, а тело выделяло слишком мало тепла.

— Ты плавал? — легкомысленно спросила она. Голос дрогнул.

На дороге послышались шаги, и тень мужчины появилась за спиной Джоанны.

— С вами все в порядке, мисс? — В его выговоре явно слышался кокни.

— Да, спасибо. Вы не поможете мне посадить кузена в машину?

Он шагнул на порог и посмотрел на меня, его глаза задержались на запястьях.

— О боже, — проговорил он.

— Ловко сделано, — сказал я.

Это был крупный мужчина лет пятидесяти, с обветренным, как у моряка, лицом; казалось, его глаза видели в этой жизни все, и большая часть виденного не вызывала у него энтузиазма.

— С законом все в порядке? — спросил он.

— В порядке, — подтвердил я.

Он слегка улыбнулся:

— Тогда пойдемте. Нет смысла торчать тут.

Я неуклюже встал, оперся на Джоанну и обнял ее за шею, чтобы не упасть. И раз уж я оказался в таком положении, было бы позором упустить возможность, и я поцеловал ее. В бровь, первое, что подвернулось.

— Вы сказали "кузен"? — спросил водитель такси.

— Кузен, — твердо ответила Джоанна. Слишком, слишком твердо.

Водитель придерживал дверь будки:

— Нам лучше отвезти его к врачу.

— Нет, — возразил я. — Никакого врача.

— Тебе нужен врач, — сказала Джоанна.

— Это обморожение. — Водитель показал на мои руки.

— Нет, — настаивал я. — Это не обморожение. На лужах нет льда. Я просто замерз. Не обморозился. — Зубы у меня стучали, и я мог говорить только отрывистыми фразами.

— Что случилось с вашей спиной? — спросил водитель, увидев клочки рубашки и содранную кожу.

— Я... упал. На гравий.

Он скептически посмотрел на меня.

— Вся спина превратилась в ужасную кашу, и там много грязи, — сказала Джоанна, оглядывая меня. Ее голос звучал озабоченно.

— Смоешь, — выговорил я. — Дома.

— Вам нужен доктор, — еще раз повторил водитель.

Я покачал головой:

— Мне нужен горячий чай, аспирин и сон.

— Может, ты и знаешь, что делаешь, — заметила Джоанна. — Что еще?

— Свитер.

— В такси. Ты можешь переодеться там. Чем раньше ты попадешь в горячую ванну, тем лучше.

— Будьте осторожны, мисс, — вмешался водитель. — Не грейте руки слишком быстро, иначе пальцы отвалятся.

— Заботливый парень. Я был уверен, что он ошибается. Джоанна выглядела все более озабоченной.

Мы двинулись к машине. Это было обыкновенное лондонское такси. Как удалось Джоанне так очаровать водителя, что он поехал среди ночи в неизвестную деревню? И более практическая мысль: стучал ли счетчик все это время? Стучал.

— Входи, — сказала Джоанна, открывая дверцу. — Там нет ветра.

Я послушался совета. Она вытащила из сумки бледно-голубую шерстяную кофту без воротника, свою кофту, и теплую мужского размера куртку с капюшоном на молнии. Потом деловито посмотрела на меня и взяла ножницы. Скоро остатки рубашки лежали на сиденье. Она отрезала две длинные полоски и перевязала запястья.

— Надо бы сообщить в полицию, — решил водитель такси.

— Драка по личным причинам, — покачал я головой.

Джоанна помогла мне всунуть руки в кофту и в куртку

и застегнула ее. Затем извлекла из сумки новые перчатки на меху, мои руки без труда вошли в них, потом термос с горячим бульоном и две чашки.

Я смотрел в темные глаза Джоанны, когда она подносила мне чашку ко рту. Я любил ее. Кто бы не любил девушку, которая подумала о горячем бульоне в такое время.

Водитель тоже взял чашку с бульоном и заметил, выставив ноги наружу, что похолодало. Джоанна с горечью посмотрела на него, и я рассмеялся.

Он оценивающе взглянул на меня и сказал:

— Может, вы и обойдетесь без доктора.

Мы направились в Лондон.

— Кто это сделал? — спросила Джоанна.

— Я скажу тебе потом.

— Ладно. — Она не настаивала, нагнулась над сумкой и вытащила теплые тапочки, толстые носки и свои длинные рейтузы. — Сними брюки.

— Не могу расстегнуть молнию, — иронически пожаловался я.

— Я забыла...

— Ничего, я надену носки, если не справлюсь с брюками. — Я даже сам слышал в своем голосе страшную усталость, и Джоанна, ничего не говоря, встала на колени в покачивавшейся машине, сняла мокрые и надела сухие носки на мои безжизненные ноги.

— Замерзли, — проговорила она.

— Я их не чувствую. — Лунный свет ярко сиял за окном машины. И я посмотрел на тапочки. Они были слишком большие для меня и, конечно, для Джоанны.

— Я всунул ноги в шлепанцы Брайена? — спросил я.

После паузы она равнодушно сказала:

— Да, это тапочки Брайена.

— И куртка?

— Я купила ее как рождественский подарок.

Вот в чем дело. Не самый подходящий момент для такого открытия.

— Я не подарила ее, — заметила она, помолчав, будто приняла какое-то решение.

— Почему?

— Не подходит для респектабельной жизни в престижном пригороде. Вместо нее я подарила булавку для галстука.

— Она больше подходит, — сухо согласился я.

— Прощальный подарок, — спокойно сообщила она.

— Прости. — Я понимал, что для нее это нелегкое решение.

Она глубоко вздохнула:

— Ты сделан из железа, Роб?

— У меня чувства из железа.

Такси мчалось на большой скорости.

— Мы с трудом нашли тебя, — поменяла она тему разговора. — Понимаешь, оказалось, это большой район.

Спина и плечи ужасно болели, я сидел, прислонившись к твердой спинке, и от этого боль становилась сильнее. Я пересел на пол и положил голову и руки на колени Джоанны.

Я привык падать, вылетая из седла, особенно во время первого сезона, когда был еще неопытным жокеем, а лошади мне доставались самые плохие. Редко на мне не бывало синяков и кровоподтеков, несколько раз я ломал небольшие кости, лошадь ударяла меня копытом, и раза два или три я ходил с вывихом суставов. Но эти мелкие неприятности не оставили следа на моем оптимизме и хорошем самочувствии. Казалось, что я, как и большинство других жокеев, родился со своего рода упругой конституцией, которая позволяет перенести удар копытом и быть снова в седле если и не на следующий день, то все же гораздо раньше, чем медики считают нормальным.

На практике я научился некоторым методам, как избавляться от болезненного состояния; главный из них заключался в том, чтобы не обращать внимания на ушибы и думать о чем-нибудь приятном. Но этой ночью проверенная система действовала не очень успешно. Например, она не действовала, когда в теплой комнате Джоанны я сидел в легком кресле и смотрел, как постепенно пальцы меняют цвет от изжелта-белого до грязноугольного, потом от иссиня-красного до красного.

Джоанна настаивала, чтобы я сейчас же снял мокрые брюки и трусы и надел ее рейтузы, они были теплые, хотя и короткие. Было странно позволить ей раздевать меня, что она делала, как мать, ничего не говоря, и, с другой стороны, это казалось совершенно естественным, потому что в детстве нас купали в одной ванне, когда родители ездили в гости друг к другу.

Она разыскала аспирин в порошках, нашлось всего три пакетика, и я проглотил их. Затем она сварила черный кофе и заставила меня выпить, добавив немного бренди.

— Надо согреться, — лаконично заметила она. — Наконец ты перестал дрожать.

Как раз в этот момент пальцы начало пощипывать, и я сказал ей об этом.

— Очень больно? — спросила она, забирая пустой кофейник.

— Терпимо.

— Тогда побудь немного один.

Я кивнул, она унесла пустой кофейник и через несколько минут вернулась с полным для себя.

Пощипывание усилилось и перешло в жжение, потом появилось чувство, будто пальцы сдавливают в тисках, все туже и туже, боль становилась все острее, и мне казалось, что сейчас пальцы расплющатся под давлением. Но они оставались такими же, только медленно становились коричневато-красными.

Джоанна вытерла у меня со лба пот.

— Тебе лучше?

— Да.

Она улыбнулась, чуть-чуть добавив в улыбку нежности, от чего мое сердце с детства делало сальто-мортале.

Теперь руки будто вынули из тисков, положили на скамейку и ритмично били молотком. Ужасно. И продолжалось это слишком долго. Я опустил голову.

Она стояла передо мной с выражением лица, которое я не мог прочитать. В глазах у нее были слезы.

— Прошло? — спросила она моргая, чтобы избавиться от них.

— Более-менее.

Мы оба поглядели на руки, которые теперь стали ярко-красными.

— А как ноги?

— Прекрасно, — ответил я. Их возвращение к жизни прошло почти безболезненно.

— Тогда я сейчас смою грязь со спины.

— Нет, — не согласился я. — Утром.

— Там много грязи.

— Она там так долго, что еще несколько часов ничего не добавят. Мне сделали четыре противостолбнячные прививки за последние два года... и на худой конец есть пенициллин... а я так устал.

Джоанна не спорила. Она заставила меня, нелепо одетого в голубую кофту и черные рейтузы, лечь в свою постель. Я был похож на второсортного балетного танцора с похмелья. Простыня еще сохраняла очертания ее тела, как она лежала, когда я разбудил ее, и на подушке оставалось углубление от ее головы. Я положил голову в это углубление со странным чувством восторга. Она заметила мою улыбку и правильно поняла ее.

— Это первый раз, когда ты лег в мою постель. И последний.

— Есть у тебя сердце, Джоанна?

Она села на край матраса и посмотрела на меня.

— Это нехорошо для кузенов.

— А если бы мы не были кузенами?

— Не знаю. — Она вздохнула. — Но мы кузены.

Она наклонилась и поцеловала меня в лоб, пожелав спокойной ночи.

Я не мог сдержаться, обнял ее за плечи и притянул к

себе, и поцеловал по-настоящему. Первый раз. Я всегда подавлял и сдерживал свое чувство. Это был слишком жадный, слишком страстный, даже отчаянный поцелуй, я знал, но не мог остановиться. На какой-то момент она расслабилась и вернула мне поцелуй, но это было короткое мгновение, и я даже подумал, что мне почудилось, но потом она резко встала.

Я не удерживал ее. Она стояла и смотрела на меня, на лице не было никаких эмоций. Ни возмущения, ни отвращения, ни любви. Ни слова не говоря, она пошла к софе в другом конце комнаты, легла и укрылась одеялом, протянула руку к настольной лампе и выключила свет.

Ровный, хорошо контролируемый голос сказал через комнату:

— Спокойной ночи, Роб.

— Спокойной ночи, Джоанна.

Наступила тишина.

Я перевернулся на живот и уткнулся лицом в ее подушку.

13

Не знаю, спала она или нет. В комнате было тихо. Время тянулось медленно.

Теперь кровь в руках яростно стучала, но меня это не тревожило. Мне было хорошо, хотя и больно. К завтрашнему полудню, подумал я и поправил себя — к нынешнему полудню, они должны быть способны работать. Должны.

Едва рассвело, я услышал, как Джоанна пошла в узкую ванную-кухню, почистила зубы и приготовила кофе. Субботнее утро, подумал я. День Зимнего кубка. Но я не вскочил с постели, радостно приветствуя наступивший день. Я медленно перевернулся с живота на бок, закрыв глаза от боли в каждой мышце от шеи до пояса; спину и запястья остро саднило. Я и вправду чувствовал себя неважно.

Джоанна вошла в комнату с дымящимся кофейником и поставила его на столик возле постели. Лицо у нее было бледно и ничего не выражало.

— Кофе? — спросила она, лишь бы что-то сказать.

— Спасибо.

— Как ты себя чувствуешь? — Вопрос прозвучал как на приеме у врача.

— Живой.

Наступила пауза.

— Ну пожалуйста, — воскликнул я. — Или ударь меня, или улыбнись — или то, или другое. Не стой так с траги-

ческим видом, будто Альбертхолл сгорел в первую ночь после представления "Прометея".

— Черт возьми, Роб, — сказала она, и лицо у нее сморщилось от смеха.

— Перемирие?

— Перемирие, — согласилась Джоанна, все еще улыбаясь. Она даже снова села на край матраса. Я перевел себя в сидячее положение, морщась от боли и высвобождая руку из-под простыни, чтобы взять кофе.

Рука очень напоминала гроздь свежих говяжьих сосисок. Я вытащил вторую. Еще одна гроздь. Кожа на обеих руках страшно натянулась, и они выглядели неестественно красными.

— Проклятье. Который час?

— Около восьми. А в чем дело?

Восемь часов. Мой заезд в два тридцать. Я должен быть в Аскоте самое позднее в час тридцать, дорога на такси займет минут пятьдесят. Пусть будет час с дорожными пробками. Мне остается четыре с половиной часа, чтобы сделать себя способным для скачек. И, судя по тому, как я себя чувствую, работа предстоит тяжелая.

Я начал размышлять, что делать. Турецкие бани с паром и массажем? Но я потерял слишком много кожи, чтобы эта идея вызывала удовольствие. Гимнастический зал? Возможно, но там слишком резкие движения. Легкий галоп в парке? Хорошее решение в любой день, кроме субботы, когда парк битком набит маленькими девочками прогуливающимися верхом в сопровождении конюхов. Или еще лучше галоп на скаковой лошади в Эпсоне, но нет ни времени договориться, ни объяснения, зачем мне это нужно.

— В чем дело? — повторила Джоанна.

Я объяснил.

— Ты серьезно? Ты решил участвовать сегодня в скачках?

— Да.

— Но ты не сможешь.

— В этом все дело. Сейчас мы должны обсудить, как сделать, чтоб я смог.

— Я не то хотела сказать, — запротестовала она. — Ты выглядишь совсем больным. Тебе надо спокойно отлежаться в постели хотя бы один день.

— Я отлежусь завтра. Сегодня мы с Темплейтом участвуем в Зимнем кубке. — Она стала энергично отговаривать меня, и тогда я объяснил, почему я должен участвовать. Я рассказал о ненависти Кемп-Лоура к жокеям и о том, что случилось вчера, когда она нашла меня в телефонной будке. Я не смотрел на нее, когда рассказывал об эпизоде в сбруйной, по понятным причинам мне было

противно описывать свое бессилие даже ей, и, безусловно, я никогда не повторю рассказа кому-нибудь еще.

Когда я замолчал, она с полминуты смотрела на меня без единого слова — тридцать долгих секунд, — потом откашлялась и проговорила:

— Да, понимаю. Тогда нам лучше поскорей взяться за дело, чтобы ты был готов к скачкам. — Я улыбнулся. — С чего начнем?

— Горячая ванна и завтрак. И можно послушать прогноз погоды?

Она включила радио, там передавали какую-то отвратительную утреннюю музыку, и начала убирать в комнате. Сложила одеяло, которым укрывалась ночью, и взбила подушки на софе. Музыка прекратилась, и в восемь тридцать начался обзор утренних газет, потом прогноз погоды и объявление распорядителей скачек в Аскоте о том, что, несмотря на легкий мороз, соревнования состоятся.

Джоанна выключила радио и обернулась ко мне:

— Ты твердо решил ехать в Аскот?

— Твердо.

— Хорошо... Тогда я скажу тебе... Вчера вечером я смотрела передачу "Скачки недели".

— Неужели? — удивился я. — Ты смотришь передачу о скачках?

— Да, смотрю иногда, после того как показали тебя. Если я дома. Короче говоря, вчера вечером я смотрела.

— И?

— Он, — нам не надо было уточнять, кого она имеет в виду, — он почти все время говорил о Зимнем кубке, заготовил биографии лошадей и тренеров и тому подобное. Я ждала, что он упомянет тебя, но он даже имени не назвал. Он только говорил, как великолепен Темплейт, и ни слова о тебе. Но вот что, я подумала, ты должен знать. Он сказал: мол, это такие важные скачки, что он сам будет их комментировать и сам возьмет интервью у жокея-победителя. Если ты сможешь выиграть, он будет вынужден рассказывать, как ты сделал это, уже довольно горькая пилюля, а потом ему еще придется поздравлять тебя на глазах у нескольких миллионов зрителей.

Я благоговейно взглянул на нее.

— Ты гений! — воскликнул я.

— Так же как он интервьюировал тебя после скачек на Святки, — добавила она.

— Думаю, после скачек на Святки он решил мою судьбу. А ты, как вижу, часто смотришь передачи Кемп-Лоура?

Она взглянула на меня, чуть откинувшись назад.

— Да... это не тебя я видела прошлым летом скромно сидевшего в последнем ряду на моем концерте в Бирмингеме?

— Наверно, свет рампы ослепил тебя, — возразил я.

— Ты постоянно удивляешь меня.

Я отбросил простыню. При дневном свете черные дамские рейтузы выглядели еще более нелепо.

— Мне лучше встать. У тебя найдется что-нибудь дезинфицирующее, бинт и бритва?

— Только несколько полосок пластыря, — сказала она извиняющимся тоном, — и бритва, которой я брею ноги. Тут на соседней улице аптека, она сейчас уже открыта. Я составлю список. — Она начала писать на старом конверте.

Когда она ушла, я встал и отправился в ванную. Легко сказать — отправился в ванную. Я чувствовал себя так, будто какая-то чересчур усердная прачка несколько раз выварила меня в котле. Меня раздражало, что такими простыми средствами Кемп-Лоур внес в мое тело столько беспорядка. Я повернул краны, снял рейтузы и носки и влез в ванну. Голубая кофта прилипла к спине, а повязки, нарезанные из рубашки, — к запястьям. Я лежал в горячей воде, не трогая их, и ждал, когда они отмокнут.

Постепенно пар сделал свое дело, расслабил мышцы, и я смог крутить плечами и двигать головой, не заливаясь слезами, как прорвавшаяся плотина. Каждые несколько минут я добавлял горячей воды, так что к тому времени, когда пришла Джоанна, я был уже по горло в воде, и тепло дошло до костей. Ночью она высушила брюки и трусы и, пока я освобождался от голубой кофты и неохотно вылезал из ванны, выгладила их. Я надел брюки и смотрел, как она раскладывает покупки на кухонном столе. Темный локон падал на лоб, и она сосредоточенно сжала губы. Совсем как девочка.

Я сел за стол, и она промыла мне спину дезинфицирующим раствором, высушила, потом пропитала пластырь касторовым маслом со специальными добавками. Ее движения были точными, быстрыми, легкими.

— К счастью, грязь почти смылась в ванне, — заметила она, подрезая ножницами лишний пластырь. — Какая у тебя прекрасная мускулатура. Ты, наверно, очень сильный... Я не знала.

— В данный момент я чувствую себя будто желе, — вздохнул я. — Слабым и беспомощным. — Вдобавок боль не утихла и после ванны и страшно саднило спину, но не стоило ей говорить об этом. Она ушла в комнату, открыла комод и вернулась с еще одной кофтой. На этот раз бледно-зеленой, подходящий цвет к моему состоянию, подумал я.

— Я куплю тебе новые, — сказал я, натягивая кофту.

— Не беспокойся. Я их обе терпеть не могу.

— Спасибо, — вздохнул я, и она засмеялась.

Я накинул куртку и протянул руки. Джоанна медленно развязала пропитанные кровью повязки. Они все еще прилипали к коже, несмотря на горячую воду, и то, что оказалось под повязкой, при дневном свете вызывало даже большую тревогу, чем вчера.

— Тут я ничего не могу сделать, — сказала Джоанна, — тебе надо пойти к доктору.

— Вечером. А пока перевяжи их.

— Раны слишком глубокие, в них легко может попасть инфекция. Роб, ты не можешь в таком состоянии участвовать в скачках, Роб, пойми, ты действительно не можешь.

— Могу, — не согласился я. — Пока мы их продезинфицируем, а потом ты перевяжешь. Аккуратно и незаметно, чтоб никто не увидел.

— Но разве тебе не больно?

Я не ответил.

— Да, — вздохнула она. — Глупый вопрос. — Она налила в большую миску теплой воды, растворила в ней порошок детола, так что вода стала как молоко, и я на десять минут опустил руки в миску.

— Все бациллы убиты, — сказал я. — А теперь... аккуратно и незаметно.

Она закрепила концы бинта маленькими золотыми булавками, и они выглядели узкой полоской, так что под жокейской формой их не будет видно.

— Великолепно, — похвалил я, надевая куртку, и бинты скрылись под ее рукавами. — Благодарю вас, Флоренс*.

— А для тебя еще и мисс Найтингейл, — согласилась она и состроила рожицу. — Когда ты пойдешь в полицию?

— Я же говорил, что не пойду.

— Но почему? — удивилась она. — Почему? Ты можешь подать на него в суд за нанесение тяжких телесных повреждений или как это называется на юридическом языке.

— Я предпочитаю сам вести свою борьбу... и потом, мне невыносима мысль, что я буду рассказывать полиции о том, что случилось прошлой ночью; меня будут осматривать их врачи, фотографировать, потом придется стоять в суде, если до этого дойдет, и отвечать на вопросы перед публикой, и вся эта мерзость будет расписана в газетах с душещипательными подробностями. Я просто не вынесу...

— О-о-о, — медленно протянула она, — согласна, не-

---

* Флоренс Найтингейл (1820—1910) — английская медсестра, создала систему подготовки младшего и среднего медперсонала в Великобритании. Международный комитет Красного Креста в 1912 году учредил медаль имени Флоренс Найтингейл.

приятные процедуры, если смотреть с твоей точки зрения. Вероятно, ты испытываешь унижение, вспоминая... Правда?

— Как ни противно, но ты права, — неохотно согласился я. — И пусть мои унижения останутся при мне, если ты не возражаешь.

— Мужчины — забавные существа, — засмеялась она. — Странно, что ты так воспринимаешь вчерашний вечер.

Недостаток горячей ванны в том, что все прекрасные ощущения со временем проходят, ее эффект длится недолго, закрепить хорошее состояние можно только упражнениями. А против упражнений все мои мышцы протестовали, хотя потом наступило бы облегчение. Пока Джоанна приготовила нам яичницу, я сделал в полсилы несколько перекрестных движений руками. Потом мы позавтракали, я побрился и решительно пошел делать упражнения, потому что, если я не сяду на спину Темплейту в относительно сносном состоянии, у него нет шанса выиграть. Никому не станет лучше, если я свалюсь после первого же препятствия.

Проработав час, я все еще не мог сделать руками полный круг, но мог поднять их над головой и не кричать от боли.

Джоанна убрала и вымыла квартиру, и после десяти часов, когда я сделал передышку, она спросила:

— Ты собираешься продолжать эти изящные па, пока не уедешь в Аскот?

— Да.

— Хорошо. У меня есть предложение: почему бы вместо упражнений нам не покататься на катке?

— Опять лед. — Я вздрогнул.

— А я думала, что ты сразу же вскакиваешь после падения, разве нет?

Она права, подумал я.

— Твой гений расцветает, дорогая Джоанна, — воскликнул я.

— Хотя... может быть... Я все же думаю, что тебе лучше было бы оставаться в постели.

Когда Джоанна была готова, мы пошли на квартиру родителей, где я взял из гардероба отца рубашку, галстук и коньки, единственное его увлечение помимо музыки. Потом мы зашли в банк: ночное путешествие на такси почти полностью опустошило ее карман, и мне самому нужны были деньги, я хотел вернуть ей долг. А напоследок мы купили в магазине пару коричневых кожаных перчаток на шелковой подкладке, и я сразу же их надел. И наконец мы добрались до катка в Куинсуэй, где мы оба со-

стояли членами клуба с тех пор, когда только учились стоять на коньках.

Джоанна была права: окаменевшие мускулы расправились, и я мог двигать относительно легко и головой, и руками. Сама Джоанна скользила по льду с раскрасневшимися щеками и ослепительно сияющими глазами. Она выглядела совсем юной и полной жизни.

Время бала для Золушки истекло, и в двенадцать часов мы ушли с катка.

— Все в порядке? — улыбаясь, спросила она.

— Потрясающе! — воскликнул я, любуясь умным, интеллигентным лицом, смотревшим на меня.

Она не поняла, относились ли мои слова к ней или к катанию, хотя я имел в виду и то и другое.

— Я хотела сказать... по-прежнему больно или прошло?

— Прошло.

— Лгунишка, но все же ты не такой серый, как был.

Она уже сказала, что не поедет в Аскот, но будет смотреть скачки по телевидению.

— Уверена, что ты выиграешь.

— Можно мне потом вернуться к тебе? — спросил я.

— Почему же нет, конечно... да, да. — Джоанна будто даже удивилась моему вопросу.

— Прекрасно. Тогда до свидания.

— Удачи тебе, Роб, — очень серьезно сказала она.

14

Водитель третьего проезжавшего мимо такси согласился отвезти меня в Аскот. Он очень умело и быстро вел машину, и мне удалось сохранить тепло и эластичность рук, делая небольшие упражнения, будто я играл на воображаемом пианино. Если бы водитель увидел меня в зеркале, он бы подумал, что я страдаю неприятной формой болезни "пляска Святого Витта".

Когда я расплачивался с ним в воротах, водитель решил, что, поскольку машина его собственная, он, пожалуй, останется посмотреть скачки, и я договорился, что он отвезет меня назад в Лондон в конце дня.

— На кого бы поставить? — бормотал он, рассчитываясь со мной.

— Как насчет Темплейта?

— Нет, — он поджал губы, — нет, только не этот Финн. Говорят, он конченый.

— А вы не верьте всему, что слышите, — сказал я, улыбаясь. — До вечера.

Идет

Я пошел в весовую. Стрелки часов на башне показывали пять минут второго. Главный конюх Джеймса, Сид, стоял в дверях и, увидев меня, поздоровался и обрадовался:

— Вы уже здесь.

— Да. А почему бы нет? — удивился я.

— Хозяин поставил меня тут дожидаться вас. Побегу скорей сказать ему, что вы уже приехали. Он был на ленче... а там ходили разговоры, что вы вообще не придете, понимаете? — Он бегом отправился искать Джеймса.

Я прошел через весовую в раздевалку.

— Привет, — удивился мой гардеробщик, — я думал, вы уже покончили со скачками.

— Вы все-таки пришли! — воскликнул Питер Клуни.

— Какого черта, где вы болтались? — приветствовал меня Тик-Ток.

— А почему вы все думали, что я не приеду?

— Не знаю. Все время какие-то слухи, разговоры. Каждый считал, что вы так испугались в четверг, что вообще решили бросить скачки.

— Очень интересно, — мрачно заметил я.

— Не обращайте внимания, — сказал Тик-Ток. — Вы здесь, а на остальное наплевать. Я звонил в вашу берлогу, но хозяйка ответила, что вы не ночевали. Я хотел спросить, могу ли я сегодня взять машину, потому что вас, наверно, отвезет Эксминстер. — И он весело добавил: — Я познакомился со сногсшибательной девчонкой. Она сейчас здесь и потом поедет со мной.

— Машина? — вспомнил я. — Да, конечно. После последнего заезда мы встретимся тут возле весовой, и я расскажу вам, где она.

— Превосходно, — согласился он. — У вас все хорошо?

— Да, разумеется.

— Мои ястребиные глаза подметили, что у вас вид ночного афериста. Но это все ерунда. Удачи вам с Темплейтом и все такое.

В раздевалку вошел служащий и вызвал меня. У дверей весовой стоял Джеймс.

— Где вы были? — спросил он.

— В Лондоне, — сказал я. — А как возникли слухи, что я бросил скачки?

— Бог знает, — пожал он плечами. — Я был уверен, что вы не исчезнете, не дав мне знать заранее, но...

— Не исчезну, — подтвердил я. Хотя мелькнула мысль, что я мог бы все еще висеть в заброшенной сбруйной, борясь за жизнь.

Джеймс сменил тему и стал говорить о скачке:

— Кое-где почва подмерзла, но это дает нам преимущество.

Я сразу же заметил, что он взволнован. Какая-то не свойственная ему застенчивость в глазах, и нижние зубы поблескивали в почти постоянной полуулыбке. Ожидание победы — вот что это такое, подумал я. И если бы я не провел такую отвратительную ночь и утро, я испытывал бы то же самое. Но у меня предстоящий заезд не вызывал радости. По прошлому опыту я знал: если работаешь с лошадью, имея какую-то травму, от скачек она быстрее не заживает. Но я не уступил бы своего места на Темплейте ни за какие блага, какие только мог вообразить.

Я вернулся в раздевалку и сел на скамейку, где лежала вся моя экипировка. Мне было очень тревожно. Джеймс и лорд Тирролд имели право надеяться, что их жокей в лучшей форме, и, узнай, что это не так, вряд ли бы они обрадовались. Но с другой стороны, рассуждал я, глядя на руки в перчатках, если бы каждый жокей, получив травму, сообщал о ней владельцу, он больше времени проводил бы, наблюдая, как на его лошади выигрывают другие. Не первый раз я обманывал владельца и тренера, скрывая свое состояние, и все равно выигрывал. Я твердо надеялся, что и сегодняшняя скачка будет не последней.

Потом я принялся обдумывать предстоящий заезд. Многое зависит от того, как будут развиваться события, но в основном я был намерен держаться с краю скаковой дорожки, идти близко к лидеру, на четвертом месте, весь маршрут и вырваться вперед на последних шестистах метрах. Есть новая ирландская кобыла, Эмеральда, с блестящей репутацией, она побеждала во многих скачках, и у ее сегодняшнего жокея волевой характер и умная тактика, он идет почти всегда первым, оставляя перед последним поворотом всех позади не меньше чем на десять корпусов. Я решил, что Темплейт будет держаться близко к ней, не обязательно оставаясь на четвертом месте. Каким бы сильным он ни был, не стоит перегружать его на последней прямой.

Обычно жокеи не оставались в раздевалке, пока продолжались скачки, и я заметил, что гардеробщики с удивлением смотрят, почему я не иду наверх. Я встал, взял камзол с цветами лорда Тирролда, бриджи и пошел переодеваться в душевую. Пусть гардеробщики думают, что им нравится, но я не хотел, чтоб они видели, как я переодеваюсь. Во-первых, мне придется делать это медленнее, чем обычно, и, во-вторых, мне вовсе не улыбалось демонстрировать им бинты на спине и на руках. Я спустил рукава зелено-черного камзола, так что они закрыли бинты на запястьях.

Когда я, переодевшись, подошел к своей вешалке и

взял седло, как раз закончился первый заезд, и жокеи устремились в раздевалку.

— Вы будете в перчатках? — спросил Майк, заметив мои руки.

— Да, — равнодушно подтвердил я. — День холодный.

— Хорошо, — согласился он, вытащил из корзины перчатки и подал мне.

Я пошел в весовую и отдал седло Сиду, который там меня ждал.

— Хозяин сказал, — объяснил мне Сид, — чтобы я оседлал Темплейта прямо в конюшне и потом вывел его сразу на парадный круг, вообще не заходя в бокс.

— Хорошо, — понимающе сказал я.

— У нас два частных детектива и огромная злющая собака всю ночь ходили по двору, — продолжал он. — И еще один детектив все время сидел в стойле и не оставлял Темплейта ни на минуту. Такого цирка вы еще не видали.

— А как лошадь? — спросил я, улыбаясь.

— Он им всем покажет, — уверенно заявил Сид. — Ирландка не знает, что ее ждет. Все конюхи поставили зарплату на него. Ну конечно, я знаю, они боялись, потому что вы будете работать с ним, но я видел в четверг вас вблизи, как вы шли с Тэрниптопом, и я сказал им, что бояться нечего.

— Спасибо, — от всей души поблагодарил я, но это добавляло еще фунт к грузу ответственности.

Время тянулось медленно. Я развлекался тем, что представлял выражение лица Кемп-Лоура, когда он увидел мое имя на табло. Наверное, вначале он подумал, что это ошибка, и ждал, когда же назовут другого жокея. Интересно, ехидно подумал я, что с ним будет, когда он поймет, что я действительно здесь. А плечи невыносимо болели.

Начался второй заезд, а я все сидел в раздевалке, продолжая быть предметом откровенного любопытства гардеробщиков. Я снял кожаные перчатки и надел серобелые. Когда-то они на самом деле были белоснежными, но уже ничем нельзя было отстирать грязь и следы поводьев, накопившиеся за сезон. Я пошевелил пальцами, воспаление прошло, и они казались довольно сильными, несмотря на лопнувшую и слезавшую кожу.

Вернулись жокеи после второго заезда, они болтали, смеялись, ругались, дружески и недружески подкалывали друг друга, выкрикивали гардеробщиков, бросали на пол свою экипировку — обычная товарищеская атмосфера в раздевалке. И я почувствовал себя изолированным от них, будто жил в другом измерении. Проползли еще пятнадцать минут. И наконец заглянул служитель и закричал:

— Жокеи, на выход, поспешите, пожалуйста.

Я встал, надел куртку, шлем, взял хлыст и в общем потоке пошел к дверям. Чувство нереальности происходившего обострилось.

Внизу в паддоке, где летом под теплым ветром развевались шифон, шелка и ленты, теперь стояла маленькая замерзшая группа владельцев и тренеров. Яркое зимнее солнце создавало иллюзию тепла, но синие носы и слезившиеся глаза публики, стоявшей за барьерами, свидетельствовали об обратном. Я с удовольствием обнаружил, что куртка Джоанны не проницаема для ветра.

На тонко очерченном лице лорда Тирролда было то же выражение взволнованного ожидания, какое я заметил раньше у Джеймса. Они оба так уверены, что Темплейт выиграет, с горечью подумал я. Их убежденность делала меня слабее.

— Ну, Роб, — сказал лорд Тирролд, крепко пожимая мне руку, — дождались.

— Да, сэр, дождались.

— Что вы думаете об Эмеральде? — спросил он.

Мы смотрели, как водят ее по покрытому лужами парадному кругу, низко опущенная голова, характерная черта многих чемпионов, говорила о силе и упорстве.

— Считают, что это вторая Керстин, — заметил Джеймс, вспомнив лучшего скакуна на стипль-чезах столетия.

— Пока еще рано судить, — возразил лорд Тирролд, и я удивился, что та же самая мысль мелькнула у меня. Но он добавил, словно отметая всякие сомнения: — Темплейт побьет ее.

— Думаю, да, — согласился Джеймс.

Я сглотнул слюну. Они так уверены. Если он победит, они не удивятся. Если проиграет, будут проклинать меня. И не без оснований.

Темплейт ходил по парадному кругу в чепраке цвета морской волны и всякий раз отворачивался, когда ветер дул ему в морду, стараясь встать так, чтобы ветер бил в круп. Конюх, водивший его, висел на поводьях, будто маленький ребенок на воздушном змее.

Зазвонил колокол, оповещая, что жокеям пора садиться. Джеймс сменил парня, который подвел к нам Темплейта, снял с лошади чепрак.

— Все в порядке? — спросил Джеймс.

— Да, сэр.

Глаза у Темплейта сияли прозрачной ясностью, уши стояли, мускулы играли: образцово настроенный скаковой механизм. Темплейт не был доброй лошадью, во всем его виде не было нежности, и он вызывал скорее

восхищение, чем любовь, но я любил его за горячность, агрессивность и жадную страсть к победе.

— Вы уже достаточно полюбовались им, Роб, — поддразнивая, заметил Джеймс. — Садитесь.

Я снял куртку и бросил ее на чепрак. Джеймс подставил руку, и я вспрыгнул в седло, взял поводья, всунул ноги в стремена.

Что он прочел на моем лице, не знаю. Но он вдруг озабоченно спросил:

— Что-нибудь не так?

— Нет. Все прекрасно, — улыбнулся я, убеждая его и себя.

Лорд Тирролд сказал: "Удачи вам, Роб", словно считал, что она мне не нужна. Я прикоснулся в ответ к козырьку шапки и тронул Темплейта, чтобы занять место в ряду лошадей.

На башне, недалеко от стартовых ворот, я заметил телевизионную камеру, и мысль о том, какую ярость вызовет у Кемп-Лоура мое появление на мониторе, оказалась лучшим согревающим на ледяном ветру. Минут пять мы объезжали круг, одиннадцать лошадей и жокеев, пока помощник стартера жаловался: мол, можно подумать, будто мы замерзаем в Сибири.

Я вспомнил, как Тик-Ток, когда мы вместе работали в холодный день, пробормотал: "Аскот — место для шабаша. Где же ведьмы?" И я представил, как мужественно он переносил отставку, которую дали ему многие тренеры. Я представил Гранта, который, возможно, проклинает меня, смотря скачки по телевизору, и жену Питера Клуни, у которой вообще нет телевизора, и жокеев, которым пришлось уйти, и Арта в могиле.

— Становись, — закричал стартер, мы вытянулись в линию, и Темплейт твердо занял позицию на краю дорожки с внутренней от зрителей стороны.

Я подумал о себе, доведенном до отчаяния от вбитой в меня мысли, будто я потерял нерв, я подумал о себе, облитом водой с головы до ног и привязанном к недавно купленной цепи, и мне не надо было лучшего повода, чтобы выиграть Зимний кубок.

Я наблюдал за рукой стартера. У него была привычка шевелить пальцами, прежде чем нажать на спуск и дать сигнал, и я не собирался позволить кому-нибудь вырваться вперед раньше и занять позицию, которую я облюбовал.

Стартер пошевелил пальцами, я толкнул Темплейта в бок, мы прошли как раз под поднимавшимся стартовым шнуром, он просвистел у меня над головой, я прижался к холке Темплейта, чтобы меня не снесло. Такое случается, когда слишком резко берешь старт. И мы помчались,

заняв задуманную позицию с краю на внутренней стороне круга, по крайней мере на ближайшие две мили.

Для моего состояния первые три препятствия оказались самыми худшими. К тому времени, когда мы одолели четвертое — со рвом, наполненным водой, — я почувствовал, что тонкая корочка, которая образовалась на ободранной спине, потрескалась, и мне казалось, будто из-за напряжения плечи и руки отделились от туловища. И кровь на запястьях проступила через рукава камзола с цветами лорда Тирролда. Я все время сдерживал горячившегося Темплейта.

Когда мы приземлились, перенесясь через водяной ров, я почувствовал огромное облегчение. Боль была терпима, я мог сосредоточиться, не обращать на нее внимания и думать только о работе.

От старта до финиша я видел только трех лошадей — Эмеральду и еще двух, которым я пока разрешил лидировать. Они шли в одну линию впереди меня, держа от края скаковой дорожки расстояние в два фута, и я рассчитал, что если они так и будут идти до предпоследнего препятствия, то у меня будет вполне достаточное пространство, чтобы вырваться вперед.

Моя главная задача состояла в том, чтобы не позволить Эмеральде взять препятствие прямо передо мной и прорваться вместо Темплейта в открывшийся коридор. Поэтому я оставил совсем небольшое расстояние между Темплейтом и передней парой, и Эмеральда не могла влезть между нами. Я вынуждал кобылу все время идти с наружной от меня стороны. То, что она была на два-три фута впереди, не имело значения, так я лучше ее видел.

Нам удалось пройти первый круг по намеченному плану. Четвертое препятствие Темплейт взял так великолепно, что, приземлившись, я чуть не подергал хвосты идущей впереди пары лошадей. Мне приходилось удерживать его, чтоб не вырваться вперед слишком рано и в то же время не дать Эмеральде проскользнуть в промежуток, который был между мной и этими двумя лидерами.

Время от времени я замечал мрачное выражение на лице жокея Эмеральды, он прекрасно понимал, что я делаю с ним, и, если бы нам не удалось занять задуманную позицию с самого старта, то же самое он бы сделал со мной. По-видимому, надо поблагодарить Кемп-Лоура, что жокей Эмеральды не вступил в борьбу со мной еще на старте, мелькнула мысль. Благодаря репутации, которую создал мне Кемп-Лоур, ирландец недооценил меня. Ну что ж, тем лучше.

Следующие полмили две лидирующие лошади продолжали идти впереди, но жокей одной из них уже использовал хлыст перед третьим от конца препятствием,

и второй постоянно поощрял своего скакуна. Они обе фактически уже выбыли из игры, и перед последним препятствием расстояние между ними и краем скаковой дорожки стало шире. Ирландцу следовало бы придерживаться своей обычной тактики, но он избрал именно этот момент, чтобы вырваться вперед. Не самый подходящий для подобного рывка. Я увидел его маневр сбоку, и мы прибавили скорости, но он пошел кругом на внешнюю сторону от двух лидирующих лошадей, которые сами широко разошлись друг от друга, и на этом он потерял несколько корпусов.

Перед выходом на последнюю прямую с двумя оставшимися препятствиями лидировала Эмеральда, затем две усталые лошади и на четвертом месте я.

Между двумя лидерами и краем скаковой дорожки было три фута, я сжал бока Темплейту, он навострил уши, напряг колоссальные мускулы и устремился в узкое пространство. Он взял предпоследнее препятствие на полкорпуса позади и приземлился на корпус впереди усталой лошади. Он прыгнул так близко к ней, что я услышал удивленный вскрик жокея, когда мы пролетали мимо.

Одно из громадных преимуществ Темплейта заключалось в том, что он, приземлившись после прыжка, моментально набирал скорость. Не теряя своего широкого шага, он словно летел к следующему препятствию, все еще прижимаясь к краю дорожки отставая от Эмеральды только на корпус. Я бросил его вперед, чтобы помешать кобыле занять место перед нами у последнего препятствия. Ей всего-то нужно было идти на два корпуса впереди, чтобы безопасно совершить прыжок, но я не намерен был уступать.

Работа с Темплейтом давала огромное наслаждение из-за гигантской силы, исходившей от него. На его спине не нужно вытворять какие-то фокусы, переползать с места на место, ложиться на круп, вставать в стременах, надеяться на ошибки других и до финиша растерять силы свои и лошади. Темплейт обладал такими резервами, что его жокей мог провести скачку как задумал, и ничего нет более волнующего, чем такое ощущение.

Подходя к последнему препятствию, я считал, что Темплейт побьет Эмеральду, если возьмет его в своем обычном стиле. Она шла на корпус впереди и не показывала признаков усталости, но я все еще сдерживал Темплейта. В десяти ярдах от препятствия я позволил ему идти как он хотел. Я толкнул его в бок и сжал коленями, он взлетел над бревнами, точно ангел, — чистый, плавный, идеальный прыжок, какой только можно вообразить.

Он приземлился почти на полкорпуса впереди кобылы, но и она не собиралась легко сдаваться. Я поощрял

Темплейта, мы боролись за мою жизнь, и он распростерся над землей в своем удивительно широком, летящем шаге. Он поравнялся с Эмеральдой на половине оставшегося расстояния и помчался вперед. Она шла опасно близко, но Темплейт и не думал уступать. На невероятной скорости он оставил ее позади и победил, обойдя ее на два корпуса.

Бывают моменты, когда слова бессильны, ими ничего нельзя выразить. Я снова и снова трепал Темплейта по потной шее. Я готов был расцеловать его, мне хотелось что-нибудь дать ему. Как можно выразить благодарность лошади? Как вознаградить ее в понятиях, доступных ей, за то, что она дала мне такую победу?

Разумеется, два высоких человека были довольны. Они стояли рядом, ожидая нас, с тем же самым взволнованным выражением на лицах. Я улыбнулся, высвободил ноги из стремян и соскользнул на землю. Вот и закончилось незабываемое переживание.

— Роб! — воскликнул Джеймс, кивая своей большой головой. — Роб! — Он гладил Темплейта, от которого шел пар, и смотрел на мою борьбу с пряжкой подпруги, пальцы у меня тряслись от слабости и возбуждения.

— Я знал, что он сделает это, — сказал лорд Тирролд. — Какая лошадь! Какая скачка!

Наконец я справился с пряжкой и взял седло под мышку, тут подошел служитель и попросил лорда Тирролда не уходить, потому что через несколько минут ему вручат Кубок. И, обращаясь ко мне, он добавил:

— Подойдите сюда сразу после взвешивания. Для жокея-победителя тоже есть награда.

Я кивнул и пошел в весовую. Только сейчас, когда скачка завершилась и напряжение спало, я почувствовал, как мне плохо. Спина, плечи, руки и пальцы, каждый мускул налились свинцом. У меня было ощущение страшной тяжести, каждое движение я воспринимал как удар ножом, все тело горело будто к нему прикладывали раскаленный утюг. Ужасная слабость и усталость навалились на меня, и запястья так болели, что мне с трудом удавалось скрывать свое состояние. Быстрый взгляд на руки подтвердил, что повязки пропитались кровью. Кровь была и на перчатках, и на манжетах камзола, хорошо, что они были черные, по крайней мере пятен не видно.

Широко улыбаясь, Майк взял у меня седло, расстегнул шлем и снял с головы.

— Они хотели выбросить вас за борт, вы знали? — спросил он.

Я кивнул. Он достал расческу:

— Надо немножко пригладить волосы. Вам уже пора идти.

Я послушно взял расческу, причесался и пошел наверх.

Лошади были выстроены в ряд возле стола, на котором стоял Кубок и другие награды. Здесь же толпились управляющие и распорядители.

И конечно, Кемп-Лоур.

К счастью, я увидел его раньше, чем он меня. Я почувствовал, как при виде его вся кожа натянулась и кровь бросилась в лицо. Он обязательно бы понял, в чем дело, если бы заметил.

Джеймс тронул меня за локоть, он проследил за моим взглядом.

— Почему у вас такой мрачный вид? Он даже не пытался дать Темплейту допинг.

— Да, — согласился я. — Наверно, у него не хватило времени.

— Он отказался от своей идеи, — почти прошептал Джеймс. — Он, должно быть, понял, что у него нет шанса убедить кого-нибудь, будто вы потеряли нерв. Во всяком случае, того, кто видел, как вы работали в четверг.

Именно дерзость, с какой я работал в четверг, взбесила Кемп-Лоура и подтолкнула его отправить телеграмму, полученную мной в пятницу. Это я прекрасно понимал.

— Вы говорили кому-нибудь про сахар? — спросил я Джеймса.

— Нет, вы же попросили меня не говорить. Но думаю, что-то надо делать. Клевета или не клевета, доказано или нет...

— Можно подождать, — перебил я его, — до следующего воскресенья? Неделю? И потом вы можете говорить все, что хотите.

— Хорошо, — медленно проговорил он. — Но я все же думаю...

Он замолчал, потому что к столу с Кубком и наградами подошла хорошенькая герцогиня. Сказав несколько тщательно подобранных слов, с искренней, дружеской улыбкой она вручила Зимний кубок лорду Тирролду, серебряный поднос Джеймсу и портсигар мне. Фотограф, нанятый распорядителями, сделал снимок, как мы все трое стоим и восхищаемся нашими призами, потом, конечно, мы их вернули служителю, чтобы он отдал выгравировать на призах имя Темплейта, а также наши.

Я услышал голос Кемп-Лоура, когда передавал служителю портсигар, и у меня было время подготовить мягкую, бессмысленную улыбку. И все равно я боялся, что, взглянув на него, не смогу скрыть свои чувства.

Я медленно повернулся на каблуках и встретился с

ним глазами; пронзительно-голубые и очень холодные, они не дрогнули, когда я смотрел в них. Радуясь, что первое трудное препятствие преодолено, я немного расслабился. Он пытался прочесть по моему лицу, знаю ли я, кто похитил меня вчера вечером, и ничего не понял.

— Роб Финн, — начал он своим чарующим телевизионным голосом, — жокей, который, как вы только что видели, завоевал победу на этой удивительной лошади, Темплейте.

Он говорил в ручной микрофон, от которого тянулись ярды черного гибкого шнура к камере на деревянном помосте. Зажегся красный глазок камеры. Я мысленно подобрал поводья и приготовился предупреждать любое унижающее меня суждение, которое он надумает высказать.

— Полагаю, — продолжал он, — вы наслаждались, будучи пассажиром Темплейта?

— Это было потрясающе! — восторженно воскликнул я, ослепляя его улыбкой. — Каждый жокей испытывает такое волнение, работая с лошадью экстра-класса. — И, не дав ему времени открыть рот, я дружелюбно продолжал: — Безусловно, большая удача, что мне представилась такая возможность. Как вы знаете, все эти месяцы я занимаю место Пипа Пэнкхерста, и сегодняшняя победа должна бы принадлежать ему. Ему сейчас много лучше. И я счастлив сказать, что в недалеком будущем он снова будет принимать участие в скачках. — Я говорил искренне: хотя его возвращение для меня означало меньшее число скачек, но для спорта большое преимущество, если чемпион возвращается в строй.

У Кемп-Лоура недобро скривились уголки губ.

— В последнее время ваша работа была довольно скверной...

— Да, — ласково перебил я его. — И в этом нет ничего необычного. Разве вы не знаете, как переменчива удача на скачках? Вы же помните, как Даг Смит однажды проиграл двадцать девять скачек подряд? Как ужасно, должно быть, он себя чувствовал. В сравнении с ним мои двадцать, или сколько их там, кажутся пустяком.

— Вас не тревожит, что... э... мм... такие неудачи могут повториться на вашем пути? — Улыбка исчезла с его лица.

— Тревожит? — беззаботно повторил я. — Ну естественно, я не был особенно восхищен, но ведь неудачи на скачках бывают у каждого жокея, их приходится пережить, пока снова не придет победа. Как сегодня, — закончил я, ослепительно улыбаясь в камеру.

— Большинство считает, что у вас была не просто неудача, — сказал он резко. Его обворожительные манеры явно дали трещину, и я заметил в его глазах вспышку

ярости, правда, он быстро ее подавил. Но я получил огромное удовлетворение, и это позволило мне улыбнуться еще жизнерадостнее.

— Люди верят всему, когда затронут их карман, — сказал я. — Боюсь, что многие потеряли деньги, ставя на моих лошадей... вполне естественно, что они проклинают жокея... когда человек теряет деньги, он почти всегда проклинает.

Он слушал, как я латаю дыры, которые он проковырял в моей жизни, и не мог меня остановить; зрители бы подумали, что он ведет себя неспортивно. А ничто так быстро не убивает популярность телевизионного комментатора, как неспортивное поведение.

Он стоял справа от меня в профиль к камере, и сейчас он сделал шаг и встал рядом слева. Когда он приблизился, я почувствовал по мгновенной гримасе его рта, что он задумал какую-то жестокость, и был готов к тому, что он сделал в следующую секунду.

Широким жестом, выглядевшим на экране как проявление искренней дружбы, он тяжело уронил правую руку мне на плечо. Его большой палец лежал на шейном позвонке, а все другие — на спине.

Я спокойно стоял, повернув голову к нему, и сладко улыбался. Не помню, что еще в жизни требовало таких усилий.

— Теперь расскажите нам немного о скачке, Роб, — сказал он. — Когда вы поняли, что можете победить?

Будто тонна груза легла мне на плечи, такое чувство вызывала его рука.

— О... Я подумал, подходя к последнему препятствию, что у Темплейта есть большой запас скорости и он может на ровном участке обойти Эмеральду. Понимаете, он способен в конце так спринтовать...

— Да, конечно. — Он сильнее надавил на плечо и будто бы дружески ударил по спине. У меня закружилась голова и потемнело в глазах. Я продолжал улыбаться, отчаянно сосредоточив внимание на миловидном лице, приблизившемся к моему. И был вознагражден выражением недоумения и разочарования в его глазах. Он знал, что под его пальцами, под двумя тонкими шерстяными рубашками содрана кожа и от его прикосновения должна быть страшная боль, но он не мог понять, как мне удалось вырваться в ту ночь и не догадывался, чего мне это стоило. Я хотел, чтоб он поверил: никаких усилий не потребовалось вообще, веревки сами соскользнули, и крюк легко оторвался от потолка. Я хотел, чтобы он не почувствовал удовлетворения от сознания, будто он чуть не сорвал скачку с Темплейтом.

— И какие планы на Темплейта в будущем? — Он старался продолжать нормальный, естественный разговор.

Телевизионное интервью продвигалось по накатанному пути.

— Золотой кубок в Челтнеме. — Я боялся, что мой голос звучит не так спокойно, как мне хотелось бы. Но на его лице не было триумфа, и потому я продолжал: — Скорей всего через три недели он примет там участие. Конечно, если все будет хорошо.

— И вы надеетесь опять работать с ним? — Он едва сдерживался, чтобы не сказать мне что-то оскорбительное. Для него оказалось почти невозможным сохранять видимость такого же дружеского расположения, какое я выказывал ему.

— Это зависит от того, поправится ли Пип... и захотят ли лорд Тирролд и мистер Эксминстер, чтобы я работал с Темплейтом, если Пип еще не поправится. Но безусловно, я был бы счастлив, если бы получил шанс.

— Мне кажется, вы еще никогда не участвовали в Золотом кубке? — Он сказал так, будто я годами старался попасть в число участников, а мне отказывали.

— Не участвовал, — согласился я. — Но он проходил всего два раза с тех пор, как я стал жокеем. И если мне так быстро удастся сделать скачок в моей карьере, это будет большая удача.

К моему удовлетворению, его ноздри раздулись от злости. Удар прямо под ложечку, дружок, подумал я. Ты забыл, как недавно я пришел в королевство скачек.

Он отвернулся к камере, и я увидел, как окаменели у него шея и подбородок и как заметно бьется пульс в виске. Я легко представил, с каким удовольствием он узнал бы о моей смерти. И все же он владел собой настолько, чтобы понимать: надави он на плечи сильнее, и я догадаюсь, что это не случайно.

Возможно, если бы он в этот момент меньше контролировал себя, я бы милосерднее отнесся к нему потом. Если бы сквозь профессионально любезное выражение прорвалась ярость или если бы он в неуправляемой мстительности открыто всадил ногти мне в спину, я, вероятно, поверил бы, что он скорее безумен, чем просто зол. Но он слишком хорошо понимал, где надо остановиться, и потому, по моим представлениям, такая самодисциплина свидетельствовала не о сумасшествии, а о нормальности. Нормальный и владеющий собой, он не собирался приносить себе ни малейшего вреда. И потому я наконец отбросил просьбу Клаудиуса Меллита — "жалеть, лечить, простить".

Кемп-Лоур спокойно договорил, заканчивая передачу, и на прощание больно пожал мне руку, что на экране выглядело вполне естественно. Медленно и методично я повторял про себя десять самых неприличных слов, какие знал, и немного спустя ипподром Аскота перестал кру-

житься вокруг меня, все стало на свои места — и кирпичные стены, и трава, и люди. Я опять четко их видел, и они снова стояли перпендикулярно земле.

Оператор за камерой поднял большой палец, и красный глазок потух.

Кемп-Лоур повернулся ко мне и сказал:

— Ну вот и все. Теперь мы не в эфире.

— Спасибо, Морис, — воскликнул я, тщательно сострaивая последнюю теплую улыбку. — Выиграть большие скачки и заключить победу телевизионным интервью с вами — всё, что мне нужно. Я на седьмом небе. Я так благодарен вам, спасибо. — Я тоже всунул пальцы в его раны.

Он взглянул на меня, выработанная привычка очаровывать боролась с бушевавшей злостью и все-таки победила. Он повернулся и пошел, волоча за собой черный шнур микрофона.

Невозможно сказать, кто из нас больше ненавидел другого.

15

Я появился на пороге Джоанны в жалком виде. Сначала я привез на такси Тик-Тока и его сногсшибательную девушку в скучный "Белый медведь", по моему мнению, там на стоянке должен был стоять брошенный "мини-купер". Конечно, Кемп-Лоур приехал в "Белый медведь" на своей машине, но воспользовался "мини-купером" для задуманной экспедиции в пустующую конюшню и, вернувшись, пересел в свою машину. И все же я вздохнул с облегчением, когда мы нашли на стоянке нашу малютку в полном порядке.

Шуточки Тик-Тока насчет моего неуважения к коллективной собственности сразу же прекратились, когда он нашел в машине мои часы, бумажник и другие вещи из карманов, и вдобавок на заднем сиденье — пиджак, пальто и обрывки белой нейлоновой веревки.

— Что за чертовщина, — медленно проговорил он, — зачем вы оставили тут машину? Почему вы бросили в машине часы, деньги, пальто? Удивительно, что их не украли.

— Виноват северо-восточный ветер, — торжественно произнес я. — Знаете, луна тоже. Когда дует северо-восточный ветер, со мной вечно происходят дурацкие штуки.

— Северо-восточный ветер — любовник моей тети, — усмехнулся Тик-Ток, собрал вещи и перенес в такси. Потом он переложил всю мелочь назад в карманы моих брюк и надел мне на затянутую в перчатку руку часы.

— Дурачьте кого-нибудь еще, дружище, — сказал он, — весь день вы выглядели будто мертвец, вставший ненадолго из гроба... Тут что-то связано с вашим мучителем... и новые перчатки... вы обычно вообще их не носите. Что случилось?

— Продолжайте работать над этой версией, — любезно посоветовал я. — Конечно, если вам больше нечем заняться. — Я поглядел на его маленькую джазовую болельщицу, он засмеялся, махнул рукой и пошел усаживать ее в "мини-купер".

Водитель такси встретил меня в прекрасном настроении, он поставил на трех победителей и выиграл кучу денег, он даже не ворчал, что мы заехали еще и в "Белый медведь". Когда я, расплачиваясь, дал ему хорошие чаевые, он спросил:

— Вы тоже поставили на победителя?

— Да, — ответил я. — На Темплейта.

— Вот потеха, — продолжал он. — Я тоже поставил на него, когда вы сказали; не надо верить всему, что слышишь. Вы были совершенно правы, разве нет? Этот парень, Финн, совсем не конченый, у него еще много впереди. Он чертовски провел скачку. Я уверен, он мне еще вернет проигранное. Со временем. — Он аккуратно уложил деньги в бумажник и уехал.

Я глядел вслед красным огонькам отъезжавшей машины и чувствовал себя необыкновенно счастливым и спокойным. Выиграть скачку — само по себе многого стоит, а таксист, не зная, с кем говорит, подарил мне чек британских любителей скачек, теперь меня снова приняли в игру.

Смертельно измученный, я прислонился к дверям Джоанны и позвонил.

Но самые изнурительные двадцать четыре часа моей жизни еще не закончились. Предусмотрительная кузина правильно рассчитала, что я откажусь пойти к врачу, и привела его домой. Когда я вошел, он уже ждал, грубоватый, бесцеремонный шотландец с густыми бровями и тремя бородавками на подбородке.

Я говорил, что не выдержу осмотра и перевязки, но и он, и Джоанна остались глухи к моим настойчивым протестам. Они усадили меня на стул, сняли перчатки, куртку, рубашку отца и нижнюю шерстяную для скачек, которую я не вернул Майку, липкий пластырь с касторовым маслом и, наконец, ссохшиеся от крови повязки с запястий. К концу этой довольно жестокой процедуры комната начала кувыркаться так же, как Аскот, и я позорно скатился со стула на пол, мечтая остаться там навсегда.

Но шотландец поднял меня и снова посадил на стул со словами, что надо держаться и быть мужчиной.

— У вас всего лишь содрана кожа, — сухо заметил он.

Я начал тихонько смеяться, но шотландец был не склонен к шуткам. Он сжал губы так, что задрожали бородавки, и стал расспрашивать, что со мной случилось. Я покачал головой и ничего не сказал. Тогда он перевязал меня и дал обезболивающие таблетки. Они оказались очень эффективными, и когда я добрался до постели Джоанны, то сразу же утонул в благостном сне.

Когда я наконец вынырнул на поверхность около четырех часов дня в воскресенье, она стояла перед мольбертом и тихонько пела. Не ту угловатую, колючую мелодию, с какой выступала на концертах, а кельтскую балладу в минорном ключе, мягкую и печальную. Я лежал с закрытыми глазами и слушал, зная: она тут же замолчит, если увидит, что я проснулся. Прекрасный голос, хотя она пела почти шепотом, результат великолепно натренированных голосовых связок и потрясающего контроля над дыханием. Она чистокровный представитель семьи Финнов, сухо подумал я. Ничего не делает наполовину.

Джоанна закончила балладу и начала другую:

— Я знаю, куда иду, знаю, кто идет рядом со мной, знаю, кого я люблю, но кто знает, за кого я выйду замуж. Говорят, что он злой, а я скажу, он нежный... — Она резко остановилась и произнесла спокойно, но с силой: — Проклятье, проклятье и еще раз проклятье.

Я услышал, как она бросила палитру и кисть и пошла в кухню.

Через минуту я сел в кровати и крикнул:

— Джоанна!

— Да, — отозвалась она из кухни.

— Я умираю от голода.

— О! — Она засмеялась, потом всхлипнула и сказала: — Сейчас. Я уже готовлю.

Еда была королевская: жареный цыпленок со сладкой кукурузой, бекон и ананас. Пока из кухни доносились соблазнительные запахи, я встал, оделся, достал в комоде чистое белье и приготовил для нее свежую аккуратную постель.

Она принесла из кухни поднос с тарелкой, вилку и нож и увидела убранную постель и сложенные грязные простыни.

— Что ты делаешь?

— Тебе на софе неудобно. Ты явно там не высыпаешься, и у тебя красные глаза.

— Это не потому... — начала она и замолчала.

— Не потому, что ты не высыпаешься?

Она покачала головой:

— Ешь!

— Тогда в чем дело? — спросил я.

— Ничего. Ничего. Замолчи и ешь.

Она наблюдала, как я очистил тарелку до крошки.

— Ты лучше себя чувствуешь, — констатировала она.

— Конечно. Почти хорошо. Благодаря тебе.

— И ты не собираешься ночевать здесь сегодня?

— Нет.

— Ты можешь попробовать спать на софе, — спокойно сказала она. — И сам увидишь, что я терпела ради тебя. — Я ничего не ответил, и Джоанна настойчиво добавила: — Я хочу, чтоб ты остался, Роб. Останься.

Я внимательно посмотрел на нее. Хотел бы я знать: ее печальные песни, и слезы в кухне, и теперь настойчивое требование, чтоб я остался, — нет ли тут мельчайших признаков, что наше родство ее огорчает больше, чем она предполагала? Я всегда знал, что, даже если она полюбит меня так, как я хотел, это будет для нее большим потрясением, потому что Джоанна не способна отбросить свои предрассудки. Но в любом случае мне именно сейчас уходить не время.

— Хорошо, — улыбнулся я, — спасибо, я останусь. На софе.

Она вдруг оживилась, стала разговорчивой и рассказала во всех деталях, как выглядело на экране интервью.

— В начале программы он заявил, мол, он полагает, что твое имя на табло появилось по ошибке, потому что он слышал, будто ты не приедешь, и я испугалась, не попал ли ты по дороге в аварию. Но ты приехал... и потом вы оба выглядели как самые закадычные друзья, он обнял тебя за плечи, и ты улыбался ему так, будто солнце сияло из его глаз. Как тебе удалось? А он старался подколоть тебя, разве нет? Может, это мне показалось, потому что я знаю... — Она замолчала на середине фразы и потом совершенно другим голосом, полным слез, спросила: — Что ты собираешься с ним сделать?

Я рассказал ей. Наступила долгая пауза.

Она была потрясена.

— Ты не сможешь! — воскликнула она.

Я улыбнулся, но ничего не ответил.

Она вздрогнула:

— Он не догадывался, что ты все знаешь, когда подкалывал тебя.

— Ты мне поможешь? — спросил я. Ее помощь была очень важна.

— Может, лучше обратиться в полицию? — серьезно спросила она.

— Нет.

— Но то, что ты планируешь... это жестоко.

— Да, — согласился я.

— И сложно, и много работы, и дорого.

— Да. Ты позвонишь один раз. Хорошо?

Она вздохнула:

— Если он перестанет вредить, наверное, ты тоже успокоишься?

— Безусловно. Но ты позвонишь?

— Я подумаю. — Она встала и забрала поднос. Джоанна не позволила помочь ей вымыть посуду, и я подошел к мольберту посмотреть, над чем она работала весь день: я почувствовал смутную тревогу, обнаружив, что это портрет моей матери за роялем.

Я все еще разглядывал портрет, когда она вернулась.

— Боюсь, что он мне не удался, — заметила она, становясь рядом. — Видимо, что-то неправильно с перспективой.

— Мать знает, что ты рисуешь ее?

— Ох, нет.

— Когда ты начала?

— Вчера днем.

Мы помолчали. Потом я сказал:

— Нет никакого смысла убеждать себя, что ты испытываешь ко мне материнские чувства.

Она вздрогнула от удивления.

— Я не хочу вторую мать, — продолжал я. — Я хочу жену.

— Я не могу... — проговорила она, и у нее перехватило дыхание.

Я отвернулся от портрета, понимая, что надавил слишком сильно и слишком рано. Джоанна взяла измазанную краской тряпку и начала стирать еще не высохшие мазки, уничтожая свою работу.

— Ты видишь слишком многое, — сказала она. — Больше, чем я понимаю сама.

Я улыбнулся, и немного спустя она тоже с усилием улыбнулась, вытерла пальцы тряпкой и повесила ее на мольберт.

— Я позвоню... Ты можешь начинать... то, что запланировал.

На следующее утро, в понедельник, я взял напрокат машину и отправился к Гранту Олдфилду.

Ночью ударил мороз, и скачки были отменены, поля и деревья сверкали свежим снегом, и я ехал в прекрасном настроении, хотя меня и ждал холодный, как нынешний день, прием.

Я оставил машину за воротами, прошел короткую дорожку и позвонил.

Мне бросилось в глаза, что медный колокольчик сиял, начищенный до блеска, и в эту минуту дверь открыла приятная молодая женщина в зеленом шерстяном платье и вопросительно посмотрела на меня.

— Я приехал... Я хотел... мм... Не могли бы вы мне сказать, где я могу найти Гранта Олдфилда?

— Тут, — ответила она. — Он живет здесь. Я его жена.

Минуточку, я позову его. Как ваше имя, что мне сказать ему?

— Роб Финн.

— О, — удивленно воскликнула она и тепло улыбнулась. — Входите. Грант так обрадуется.

Я очень сомневался в этом, но вошел в узкую прихожую, и она закрыла за мной дверь. Нигде ни единого пятнышка, все сияло чистотой, будто я попал в другой дом, не в тот, что помнил. Она провела меня в кухню, тоже ослепительно чистую.

Грант сидел за столом и читал газету. Он взглянул на входившую жену, и, когда увидел меня, на лице у него появилась удивленная приветливая улыбка. Он встал. Грант похудел, выглядел постаревшим и как-то внутренне съежившимся, но он стал или скоро собирался стать вполне нормальным человеком.

— Как вы, Грант? — спросил я, немного растерявшись и не понимая их дружелюбия.

— Гораздо лучше, спасибо. Я дома уже две недели.

— Он был в больнице, — объяснила жена. — Они забрали его вечером следующего дня после того, как вы привезли его сюда. Доктор Парнелл написал мне, что Грант болен и нуждается в помощи. И я приехала. — Она с улыбкой посмотрела на Гранта. — Но теперь все будет хорошо. Грант уже получил работу. Через две недели он начнет продавать игрушки.

— Игрушки? — Самое несоответствующее его натуре дело, подумал я.

— Да, — подтвердила жена. — Врачи считают, что ему лучше заниматься тем, что не имеет отношения к лошадям.

— Мы вам очень благодарны, Роб, — сказал Грант.

— Доктор Парнелл объяснил мне, — продолжила его жена, заметив мое удивление, — что вы имели полное право сдать Гранта в полицию.

— Я хотел убить вас, — произнес Грант с удивлением в голосе, как если бы не мог понять, откуда такая мысль возникла. — Я действительно хотел убить вас, понимаете?

— Доктор Парнелл сказал, что, если бы вы были человеком другого типа, Грант вполне мог бы закончить дни в тюремном сумасшедшем доме.

Мне стало неловко.

— Доктор Парнелл, — пробормотал я, — по-моему, слишком много говорит.

— Он хотел, чтобы я поняла, — улыбаясь, возразила жена Гранта, — вы дали ему шанс выздороветь, и я тоже должна внести свою долю.

— Вы не будете возражать, Грант, — спросил я, — если я задам вопрос: как вы потеряли работу у Эксминстера?

Миссис Олдфилд подвинулась к мужу, словно защищая его.

— Не будем ворошить прошлое, — озабоченно сказала она.

— Все нормально, любимая, — успокоил ее Грант, обнимая за талию. — Задавайте ваш вопрос.

— Я убежден, что вы сказали Эксминстеру правду и вы не продавали информацию профессиональному игроку Лаббоку. Но Лаббок получал информацию и платил за нее. Вопрос такой: кто на самом деле получал деньги, которые якобы предназначались вам?

— Вы не знаете дела, Роб, — начал Грант. — Я сам вертелся и крутился, чтобы узнать. Я ходил к Лаббоку и очень разозлился на него. — Он виновато улыбнулся. — И Лаббок сказал, что, пока он не поговорил с Эксминстером он вообще не знал, кому он платит за информацию. После слов Эксминстера он догадался, что это я. Так Лаббок сказал. Еще он сказал, будто я передавал ему информацию по телефону, а он посылал деньги на почту в Лондоне для передачи Робинсону. Он не поверил, что я ничего не знаю. Он считал, мол, я не сумел прикрыться как надо и теперь пытаюсь увернуться. — В его голосе не было заметно горечи. Или пребывание в нервной клинике, или болезнь изменила его до самых корней.

— У вас есть адрес Лаббока?

— Он живет в Солигулле, — медленно проговорил он. — Я мог бы узнать дом, но не помню ни улицы, ни номера.

— Я найду.

— А зачем он вам понадобился?

— Если я сумею доказать, что вы говорили правду, будет в этом для вас смысл?

Вдруг его лицо оживилось, будто осветилось изнутри.

— Я бы сказал — будет. Вы не можете представить, каково мне было: потерять работу из-за того, чего я не делал, и никто мне не верил, никто и никогда.

Я не стал говорить, что хорошо понимаю, каково ему было.

— Я сделаю все, что смогу, — заверил я.

— Но ты не вернешься к скачкам? — встревоженно спросила миссис Олдфилд. — Ты не начнешь все снова?

— Нет, любимая, не беспокойся. Я буду с удовольствием продавать игрушки. Кто знает, может, на будущий год мы откроем свой магазин, когда я научусь торговать.

Я проехал тридцать миль до Солигулла, нашел в телефонной книге номер и позвонил Лаббоку. Секретарь сообщила, что его нет, но, если он срочно нужен, возможно, я застану его в Бирмингеме в отеле "Куин", где у него ленч.

Я дважды заблудился в улицах с односторонним дви-

жением и чудом нашел место, чтобы поставить машину на площади перед отелем "Куин". На листке с грифом отеля я написал мистеру Лаббоку записку с просьбой уделить мне несколько минут. Заклеив конверт, я попросил старшего портье передать с рассыльным записку.

— Дикки, отнеси записку мистеру Лаббоку. Он несколько минут назад вошел в салон для ленча, — сказал портье.

Дикки вернулся с ответом: мистер Лаббок будет ждать меня в холле в два пятнадцать.

Он оказался полнеющим человеком средних лет с пушистыми усами и редкой прядью, зачесанной на голый череп. Я угостил его двойной порцией бренди и толстой сигарой, и он с ироническим удивлением разглядывал меня. Конечно, он привык сам угощать жокеев, а не принимать от них угощение.

— Я хочу узнать подробности о Гранте Олдфилде, — прямо приступил я к делу.

— Олдфилд? — пробормотал он, попыхивая сигарой. — Да, да, Олдфилд, помню. — Он проницательно посмотрел на меня. — Вы... вы работаете для той же фирмы? Вы хотите знать, как это делается? Ну что ж, не вижу причины, почему бы не рассказать вам. Я буду давать вам плюс двадцать пять фунтов за каждого победителя, о котором вы мне сообщите заранее. Никто вам не даст больше.

— Столько вы платили Олдфилду?

— Да.

— Вы давали ему деньги в руки?

— Нет. Но он и не просил давать ему лично. Он сообщал информацию по телефону и просил по почте посылать ему чек на предъявителя в конверте на имя Робинсона.

— На какое отделение?

Он сделал глоток бренди и неодобрительно взглянул на меня:

— Зачем вам знать?

— Хорошая идея, почему бы не воспользоваться.

Он пожал плечами:

— Не помню. По-моему, совершенно не важно, какое отделение. Где-то в пригороде Лондона. Не помню, прошло столько времени. Может быть, Н.Е.7? Или Н.12? Что-то в этом духе.

— У вас не записано?

— Нет, — твердо сказал он. — Почему бы вам не спросить у самого Олдфилда?

Я вздохнул:

— Сколько раз он передавал вам информацию?

— Он назвал мне имена примерно пяти лошадей, так

мне кажется. Три из них выиграли, в этих случаях я посылал ему деньги.

— Вы уверены, что Олдфилд звонил вам?

— Все зависит от того, что вы подразумеваете под "уверен", — задумчиво проговорил он. — Пожалуй, я не был "уверен", пока Эксминстер не сказал мне: "Я знаю, вы покупаете информацию у моего жокея". И я подтвердил, что покупаю.

— А до этого вы никому не говорили, что Олдфилд продает вам имена претендентов на победу?

— Разумеется, нет.

— Никому? — настаивал я.

— Совершенно точно, никому. — Он осуждающе посмотрел на меня. — В моем бизнесе это не проходит даром, и особенно если я вообще не уверен. Ну, хватит об этом?

— Понимаете... — начал я. — Мне очень жаль, что пришлось обманывать вас. Я не продавец информации. Я просто хочу немного очистить от грязи имя Гранта Олдфилда.

К моему удивлению, он добродушно рассмеялся и стряхнул пепел с сигары.

— Знаете, если бы вы согласились продавать мне информацию, я бы воспринял это как ловушку. Есть жокеи, которых можно купить, а есть — которых нельзя. И у человека моей профессии должен быть инстинкт, кого нельзя купить. И вы... — он ткнул сигарой в мою сторону, — вы не того сорта человек, которого можно купить.

— Спасибо, — пробормотал я.

— И очень глупо, — добавил он. — Многие так делают, и мой бизнес легален.

Я усмехнулся.

— Мистер Лаббок, — сказал я, — под именем Робинсона скрывался не Грант Олдфилд, но его карьера и его здоровье рухнули из-за того, что вас и мистера Эксминстера заставили поверить, будто он продавал информацию.

Лаббок удивленно посмотрел на меня и погладил большим пальцем левой руки усы.

— Олдфилд теперь отбросил мысли о скачках, — продолжал я, — но для него много значит вернуть свое честное имя. Вы поможете ему?

— Как?

— Только напишите, что у вас не было доказательств в поддержку предположения, что под именем Робинсона, которому вы платили, скрывался Олдфилд, пока мистер Эксминстер не подтвердил ваши подозрения, кто такой Робинсон.

— И это все?

— Да.

— Пожалуйста. Не вижу в этом вреда. Но думаю, вы лаете не на то дерево. Кто же, кроме жокея, станет так тщательно скрывать свое имя. Только тот, кто потеряет работу, если секрет раскроется. Уверяю вас. Но я напишу, что вы просите.

Он достал ручку, взял листок бумаги с грифом отеля и написал все, что я просил. Подписал, поставил дату и еще раз прочел.

— Вот, пожалуйста. Но все равно не понимаю, какая от этого польза.

Я прочел написанное, сложил листок и положил в бумажник.

— Кто-то сказал мистеру Эксминстеру, что Олдфилд продает вам информацию, — объяснил я. — Если вы никому не говорили, кто мог знать?

— О! — У него расширились глаза. — Да, да. Понимаю, тот, кто сам продавал. Но Олдфилд никогда лично не приходил... Так значит, Робинсон не Олдфилд.

— В этом все дело, — подтвердил я. — Я вам очень благодарен, мистер Лаббок, за вашу помощь.

— В любое время к вашим услугам. — Он помахал укоротившейся сигарой и широко улыбнулся. — Увидимся на скачках.

16

Во вторник утром я купил еженедельник "Лошадь и собака" и начал обзванивать людей, давших объявление о продаже верховой лошади. С двумя из них я договорился, что в течение пары дней приеду посмотреть.

Потом я позвонил одному из фермеров, с лошадью которого работал, и уговорил одолжить мне на несколько часов в четверг "лендровер" и автоприцеп.

Затем я достал из рабочего столика Джоанны сантиметр — она была на репетиции — и на взятой напрокат машине поехал в конюшни к Джеймсу. Он сидел в кабинете и занимался бумагами.

— Сегодня опять нет скачек, — заметил Джеймс. — Но нам все-таки удивительно везло этой зимой, по крайней мере до сих пор.

Он встал, потер руки и подержал их над плохо греющим огнем.

— Звонили некоторые владельцы, — сказал он. — Они снова хотят вас. Я сказал им... — нижние зубы сверкнули, когда он исподлобья взглянул на меня, — что я удовлетворен вашей работой и что вы будете участвовать с Темплейтом в Золотом кубке.

— Что?! — воскликнул я.

— Да. — Глаза у него сверкнули.

— Но... Пип...

— Я объяснил Пипу, что не могу снять вас с лошади, если вы выиграли на ней и Королевские скачки, и Зимний кубок. И Пип согласился. Я договорился с ним, что он начнет через неделю после Челтнема, у него останется время провести несколько скачек до Большого национального приза. Он будет работать с тем скакуном, с которым участвовал в прошлом году в "Грэнд нэшнл".

— Он финишировал шестым, — вспомнил я.

— Да, правильно. У меня теперь достаточно лошадей, чтобы загрузить работой Пипа и вас, и у меня нет сомнений, что между вами все будет хорошо.

— Не знаю, как и благодарить вас!

— Благодарите себя. Вы заслужили. — Он нагнулся и подбросил совок угля в камин.

— Джеймс, — сказал я, — вы напишете для меня, что я попрошу.

— Напишу? А, конечно. Вы получите контракт на следующий сезон, такой же, как и Пип.

— Нет, я не это имел в виду, — смущенно возразил я. — Совсем другое... не напишете ли вы, что Морис Кемп-Лоур сказал вам, будто Олдфилд продает информацию о ваших лошадях и что Кемп-Лоур узнал это от Лаббока.

— Это написать?

— Да, пожалуйста.

— Не понимаю... — Он недоуменно посмотрел на меня и пожал плечами. — Ну что ж... — Он сел, взял листок бумаги, где вверху было его имя и адрес, и написал, что я просил.

— Подпись и дату? — спросил он.

— Да, пожалуйста.

— Какой смысл? — с сомнением проговорил он, протягивая мне листок.

Я достал из бумажника написанное мистером Лаббоком и показал ему. Он прочел эти строчки три раза.

— О боже! — воскликнул он. — Невероятно. Предположим, я сам осторожно бы проверил все у Лаббока? Какой риск для Мориса.

— Никакого риска, — возразил я. — У вас бы не возникло сомнений, что он просто дружески предупредил вас. Но предупреждение сработало. Грант был уволен.

— Мне очень жаль, — медленно проговорил Джеймс. — Я хотел бы как-нибудь исправить ошибку.

— Напишите Гранту и объясните, — предложил я. — Он оценит ваше письмо выше всего на свете.

— Напишу, — согласился он и сделал пометку на календаре.

— В воскресенье утром, — начал я, забирая заявление Лаббока и вкладывая в бумажник, — эти документы выпа-

дут из почтового ящика на стол старшего распорядителя. Конечно, их мало, чтобы начать дело в суде, но вполне достаточно, чтобы столкнуть нашего друга с пьедестала.

— Я бы сказал, что вы правы. — Он мрачно взглянул на меня. — Но зачем же ждать воскресенья?

— Я... мм... Я не буду готов до воскресенья, — уклончиво ответил я.

Он не настаивал. Мы вышли вместе во двор и осмотрели некоторых лошадей. Джеймс давал инструкции, делал критические замечания и хвалил окруживших его конюхов. И я понял, насколько сроднился с этим прекрасно организованным бизнесом и как много для меня значит быть частью его.

На округлых, поросших травой холмах в миле или чуть больше от конюшни стоял заброшенный домик сторожа, принадлежавший Джеймсу. Он мне как-то рассказал, что в этом доме жил служащий, следивший за галопировавшими на тренировках лошадьми. Но в доме не было ни электричества, ни водопровода, ни канализации. И потом пришел новый служащий, и он, естественно, предпочитал жить в деревне со всеми удобствами и приезжать сюда на мотоцикле.

Попрощавшись с Джеймсом, я поехал к коттеджу. Я увидел четырехкомнатное строение с маленьким огороженным садом и узкой тропинкой, ведущей от ворот к входным дверям. В каждой комнате было по окну, два смотрели в садик, два — в противоположную сторону.

Войти без ключа не составило труда, потому что стекла в окнах были выбиты. Я забрался внутрь и нашел, что стены и пол еще в хорошем состоянии. Все четыре двери выходили в маленький холл перед входной дверью. Я закончил осмотр, решив, что ничего более подходящего не мог бы и представить.

Я вынул сантиметр, взятый у Джоанны, измерил оконные рамы, три фута высотой, четыре фута шириной, затем сосчитал, сколько окон разбито, и измерил одно из них. Потом вернулся к Джеймсу и попросил одолжить мне коттедж на несколько дней, чтобы сложить кое-какие вещи, для которых нет места в моей берлоге.

— Ради бога. Делайте что хотите, — сказал он.

Я поблагодарил и поехал в Ньюбери, там я подождал, пока торговец стройматериалами выполнит мой заказ: десять оконных стекол, замазку, несколько отрезков водопроводной трубы, корзину, немного гвоздей, тяжелый висячий замок, мешок цемента, банку зеленой краски, кисть, мастерок для цемента. Нагрузившись, я вернулся в коттедж.

Я покрасил входную дверь, выбрал комнату с окном на противоположную от садика сторону и выбил оставшиеся стекла. Замешал цемент, набрав воды в бочке с до-

ждевой водой, и вставил в окно без стекол шесть отрезков водопроводной трубы длиной в три фута. Затем вернулся в холл и накрепко привинтил петли для висячего замка к дверям той же комнаты. На внутренней стороне двери я отвинтил ручку и выбросил ее.

Оставалось только вставить стекла в окна по фасаду. С целыми окнами и свежепокрашенной дверью коттедж уже казался обитаемым и приветливым.

Я улыбнулся, поглядев на дом, вывел машину из-за кустов, где спрятал, чтоб не привлекать внимания, и поехал в Лондон.

Когда я вошел, шотландский доктор пил с Джоанной джин.

— Ой, нет, — бесцеремонно воскликнул я.

— Ой, да, дружище, — передразнил он меня. — Предполагалось, что вы вчера придете ко мне показаться, помните?

— Я был занят.

— Я только посмотрю на ваши запястья, если вы не возражаете.

Я вздохнул, сел за стол, он развязал повязки. На них снова была кровь.

— По-моему, я говорил вам, чтобы вы не делали пока никакой работы, — проворчал доктор. — Так они никогда не заживут.

Рассердившись, он затянул новую повязку слишком сильно, я поморщился, он хмыкнул, но со второй рукой уже обращался нежнее.

— Ну вот и все, — сказал он, закончив перевязку. — Дайте им отдых хотя бы на пару дней. И приходите показаться в пятницу.

— В субботу, — возразил я. — В пятницу меня не будет в Лондоне.

— Тогда в субботу утром. И не забудьте, что надо прийти. — Он допил джин и попрощался исключительно с Джоанной.

Она проводила его и, вернувшись, засмеялась:

— Он не всегда такой несимпатичный. Но, боюсь, он подозревает, что ты участвуешь в каких-то отвратительных садистских оргиях, ведь ты не сказал ему, откуда у тебя такие травмы.

— Черт возьми, а ведь он прав, — мрачно согласился я.

Я пошел спать на софу в третий раз и лежал без сна, слушая в темноте мягкое, сонное дыхание Джоанны. Каждый день она неуверенно спрашивала, не хочу ли я остаться еще на ночь в ее квартире. И я не уходил, пока оставался хоть какой-то шанс сломить ее сопротивление. Видеть знакомые очертания Джоанны, входившей в ванную и выходившей оттуда в красивом халате, и наблю-

дать, как она ложится в постель в пяти ярдах от меня, — это абсолютно не то, чего бы я хотел. Но я легко мог убежать и, не испытывая соблазнов, спокойно спать в квартире родителей в полумиле отсюда. Если я этого не делал, что ж, это моя вина. И я показывал это всем своим видом, когда она каждое утро с искренним раскаянием извинялась за свои предрассудки.

Утром в среду я поехал в большое фотоагентство и попросил показать мне фотографии сестры Кемп-Лоура, Алисы. Мне показали кипу фотографий Алисы в самых разных видах. Я купил один портрет, где она наблюдала за какой-то охотничьей процедурой, в жакете для верховой езды и с шарфом вокруг головы. Затем поехал к импресарио родителей, поговорил с "нашим мистером Стюартом" и попросил его разрешения воспользоваться пишущей машинкой и ксероксом.

Я напечатал сухой отчет об обвинениях Кемп-Лоура в адрес Гранта Олдфилда, отметив, что Эксминстер поверил им, считая бескорыстными, и в результате Олдфилд потерял работу, пережил тяжелый нервный срыв и три месяца находился в клинике для психически больных.

Сделав десять копий этого отчета и заявлений Лаббока и Джеймса, я поблагодарил "нашего мистера Стюарта" и вернулся на квартиру Джоанны.

Когда я показал ей фотографию Алисы Кемп-Лоур, она воскликнула:

— Но сестра совершенно не похожа на брата. Не может быть, чтобы это ее видел контролер в Челтнеме.

— Конечно, — согласился я. — Это был сам Кемп-Лоур. Ты сможешь нарисовать его с шарфом вокруг головы?

Она взяла кусок плотной бумаги и углем набросала лицо, очень похожее на то, которое я, не желая, постоянно видел во сне. Потом несколькими штрихами она нарисовала шарф и пару локонов, упавших на лоб, выделив губы, они стали полными и темными.

— Губная помада, — объяснила она. — А костюм? — Ее рука с углем остановилась у шеи.

— Брюки для верховой езды и такой же жакет, — ответил я. — Одежда, которая одинаково подходит и мужчине и женщине.

— Какой пустяк, — сказала она, глядя на меня. — Совсем не трудно: шарф вокруг головы и помада, и никто не узнал в нем Кемп-Лоура.

— Да, — кивнул я. — Но все же люди улавливали сходство.

Она нарисовала воротник, галстук и плечи жакета. Сходство девушки, одетой для верховой езды, с Кемп-Лоуром усилилось. Я почувствовал, как у меня стянуло кожу.

Джоанна сочувственно взглянула на меня.

— Ты даже смотреть на него не можешь, да? — спросила она. — И во сне разговариваешь.

Я скрутил в трубочку рисунок и похлопал им Джоанну по макушке:

— Мне придется купить тебе затычки для ушей.

Я вложил в десять больших конвертов свой отчет и заявления и написал адреса: старшему распорядителю и четырем другим влиятельным членам Национального охотничьего комитета, председателю "Юниверсл телекаст", Джону Боллертону и Корину Келлару, чтобы показать им грязные делишки их идола, Джеймсу и самому Морису Кемп-Лоуру.

— А он не может предъявить тебе иск за клевету? — спросила Джоанна, заглядывая через плечо, пока я писал.

— Не беспокойся, он не подаст на меня в суд.

Я положил девять конвертов на книжную полку, десятый без марки сверху.

— Мы пошлем их в пятницу, а один я вручу сам.

В четверг полдевятого утра Джоанна позвонила, как я ее просил.

На лондонской квартире Кемп-Лоура автоответчик предложил передать сообщение. Джоанна посмотрела на меня, я покачал головой, и она повесила трубку, ничего не сказав.

— Проклятье, — вырвалось у меня.

Я дал ей номер телефона в доме отца Кемп-Лоура в Эссексе, она соединилась и с кем-то поговорила. Закрыв трубку рукой, Джоанна сказала:

— Он там. Пошли его позвать. Надеюсь, я не испорчу дело.

Я ободряюще кивнул. Мы столько репетировали. Она облизывала губы и озабоченно глядела на меня.

— О? Мистер Кемп-Лоур? — Она умела говорить как кокни, не подчеркивая выговор, а очень естественно. — Вы меня не знаете, но мне бы хотелось вам что-то сказать. Вы можете использовать это в своей программе. Я так восхищаюсь вашей передачей, это моя самая любимая, понимаете? Она такая хорошая. Я всегда думаю...

Стал слышен его голос, перебивший поток восторгов.

— Какую информацию? — повторила Джоанна. — Ну знаете, все эти разговоры о спортсменах, что они используют таблетки, уколы и все такое, ну вот, я подумала, а может, вы захотите узнать о жокеях, они тоже... вообще-то один жокей, которого я знаю, но я думаю, они все это делают, если правда раскроется... Какой жокей? Мм... ох... Робби Финн, вы его знаете, он говорил по телевизору в субботу, после того как выиграл в скачках. Нашпигованный таблетками до бровей, разве вы не догадались? Вы стояли так близко к нему, что я думала, вы должны... От-

куда я знаю? Я все знаю... Вы хотите знать откуда... ну тут немножко дело нечестное, я как-то раз доставала для него... Я работаю у доктора в аптеке... убираю, понимаете... и он сказал мне, что взять, и я взяла. Но теперь послушайте, я не хочу неприятностей, ну, чтобы все знали, что я... Тогда, наверно, мне лучше дать отбой... Не вешать трубку? Вы не будете говорить, что я взяла?..

Почему я позвонила вам?.. Ну... он больше не ходит ко мне, вот почему. — В ее голосе явно звучали ревнивые, мстительные нотки. — После всего, что я делала для него... Я хотела позвонить в какую-нибудь газету, но потом решила, а вдруг вы захотите. Я могу рассказать им, если вы не... Проверить, что значит — проверить? А, вы не можете по телефону? Хорошо, да, вы можете приехать и встретиться со мной, если хотите, приезжайте в... нет, не сегодня, я весь день на работе... да, ладно, тогда завтра утром.

Как вы найдете? Ладно, слушайте. Вы доедете до Ньюбери, потом повернете к Хангерфорду... — Она медленно объясняла, как проехать, чтобы он мог записать. — И там только один коттедж, вы не можете не заметить его. Да, я буду ждать вас около одиннадцати. Ладно. Как меня зовут?.. Дорис Джонс. Да, правильно. Миссис Дорис Джонс... Ну пока.

Он положил трубку, и послышались частые гудки.

— Рыба проглотила крючок, леску и грузило, — вздохнула Джоанна.

Когда открылись банки, я пошел и взял сто пятьдесят фунтов. Как сказала Джоанна, мой план был сложный и дорогой, но именно потому, что сложный и дорогой, он давал результат высшего класса, и, в конце концов, я делал комплимент Кемп-Лоуру, копируя его метод. И вообще зачем нужны деньги, если я не могу получить за них то, что хочу, сами по себе они мне вовсе не нужны. А я хотел отплатить ему его собственной монетой.

Когда я в полдень приехал к фермеру, который обещал одолжить мне "лендровер" и автоприцеп, они уже стояли готовые во дворе, я купил у фермера два тюка соломы и тюк сена, и мы погрузили их сзади в "лендровер". Пообещав вернуть машины вечером, я поехал к владельцу лошади, с которым договорился встретиться по объявлению в еженедельнике "Лошадь и собака".

Крупная двенадцатилетняя каурая кобыла выглядела совсем неплохо. Амбициозный хозяин продавал ее только потому, что она не могла бегать так быстро, как ему бы хотелось. Он сказал, что ее имя Баттонхук. Я заплатил ему восемьдесят пять фунтов и погрузил кобылу в автоприцеп.

Тремя часами позже, полпятого, мы прибыли на лу-

жайку перед коттеджем. Я спрятал машину и прицеп с Баттонхук в кустах позади дома. Кобыла спокойно ждала в автоприцепе, пока я носил солому в комнату с отрезками водопроводной трубы, зацементированными в оконный проем, наполнил для нее ведро дождевой водой из бочки и принес охапку сена.

Симпатичная старушка, подумал я, когда она осторожно вышла из автоприцепа и, не сопротивляясь, без шума, прошла по тропинке к входной двери, потом через холл в комнату, приготовленную для нее. Я дал ей немного сахара, почесал за ушами, и она игриво положила голову мне на грудь. Убедившись, что Баттонхук как будто довольна необычным и не очень просторным стойлом, я закрыл дверь в комнату и повесил замок. Потом обошел коттедж и проверил, крепко ли держатся в окне трубы. Они держались крепко.

Кобыла подошла к окну и пыталась просунуть морду в раму без стекол, но трубы мешали ей. Я протянул руку и погладил морду, ее ноздри раздулись от удовольствия. Потом она вернулась в угол, где лежало сено, и доверчиво принялась есть.

Я перенес остальное сено и солому в комнаты по фасаду, закрыл входную дверь, с трудом развернул на маленькой лужайке "лендровер" с прицепом и направился к фермеру. Вернув ему машину, я поблагодарил и на взятом напрокат автомобиле вернулся к Джоанне.

Когда я вошел, она соскочила с софы, где сидела и читала, и радостно поцеловала меня в губы. Это был совершенно неосознанный поступок, без мысли, и он удивил нас обоих. Я положил руки ей на плечи и недоверчиво смотрел в темные глаза, удивление в них сменилось смущением, а смущение перешло в панику. Я повернулся спиной, чтобы дать ей время прийти в себя. Снимая куртку, я спокойно сказал:

— Коттедж принял жильца. Большую каурую кобылу с добрым характером.

— Просто я рада... что ты вернулся, — чересчур громко сказала она.

— Прекрасно, — спокойно согласился я. — Можно мне пожарить яичницу?

— В кухне есть немного грибов для омлета, — более естественно сообщила Джоанна.

— Потрясающе, — обрадовался я и пошел в кухню. Потом она принялась готовить для меня омлет, а я рассказывал о Баттонхук, и трудный момент миновал.

Позже Джоанна сказала, что утром поедет со мной в коттедж.

— Нет, — запротестовал я.

— Да. Он ждет, что миссис Дорис Джонс откроет ему дверь. И гораздо лучше, если она откроет.

Я не смог переубедить ее.

— Я уверена, что ты не подумал о занавесках на окна. Если ты хочешь, чтобы он вошел в твою гостиную, она должна выглядеть нормально. Вероятно, у него острый нюх на такие вещи. — Она вытащила из шкафа какой-то цветастый ситец. — Мы возьмем булавки и сделаем из него занавески. — Она деловито укладывала в коробку булавки и ножницы, затем скатала легкий старый ковер, на котором стоял мольберт, и сняла со стены картину, изображавшую цветы.

— Это зачем?

— Чтобы украсить холл. Так он будет лучше выглядеть.

Мы сложили вещи, которые она собрала, в аккуратный сверток и положили к дверям, я добавил две коробки сахара, большой электрический фонарь, который она держала на случай, если перегорят пробки, и веник.

После того порывистого поцелуя софа показалась мне безводной пустыней.

17

Мы встали рано и приехали в коттедж, когда не было еще девяти. До приезда Кемп-Лоура предстояло много работы.

Я спрятал машину в кустах позади дома, мы внесли ковер и другие вещи в холл. Баттонхук прекрасно себя чувствовала и, когда мы открыли дверь, встретила нас восторженным ржанием. Пока я набросал ей свежей соломы и принес сена и воды, Джоанна решила вымыть окна с фасада.

Свежепокрашенные рамы, занавески, ковер и картина, видные сквозь полуоткрытую дверь, создавали впечатление ухоженного, обжитого дома. Закончив работу, мы вместе стояли в воротах и любовались своим мастерством.

Я обнял ее за талию. Она не отодвинулась.

— Ты ведь будешь осторожен, правда?

— Конечно, — заверил я и посмотрел на часы. Двадцать минут одиннадцатого. — Нам лучше войти в дом, вдруг он приедет немного раньше.

Мы закрыли дверь и сели на сено в комнате с окном на ворота. Минута или две прошли в молчании. Джоанна вздрогнула.

— Тебе холодно? — озабоченно спросил я. Ночью опять был мороз. — Надо было бы затопить плиту.

— Это от нервов, не от холода, — проговорила она и снова вздрогнула.

Я обнял ее за плечи, она уютно прижалась ко мне, и я поцеловал ее в щеку. Темные глаза мрачно и тревожно глядели в мои.

— Это не кровосмешение, — пояснил я.

Глаза у нее расширились, как от удара, но она не отодвинулась.

— Правда, наши отцы братья, но между нашими матерями нет никакой родственной связи.

Она ничего не ответила. У меня вдруг возникло чувство, что, если я упущу этот момент, я потеряю ее навсегда, и свинцовый холод отчаяния сдавил мне желудок.

— Никто не запрещает браки между кузенами, — медленно начал я. — Закон разрешает, и церковь разрешает. Если в этом было бы что-то аморальное, разве бы они разрешали? И в таких случаях, как наш, медики тоже не видят никаких препятствий. Если бы были убедительные генетические основания, разумеется, мы бы не поженились. Но ведь их нет. И ты знаешь, что их нет. — Я замолчал, она мрачно смотрела на меня и ничего не говорила. — Я не понимаю, — потеряв надежду, продолжал я, — откуда у тебя это чувство?

— Инстинкт, — ответила она. — Я сама не понимаю. Но я всегда думала, что для кузенов брак невозможен...

Наступило молчание.

— Наверное, сегодня мне лучше ночевать в моей берлоге, в деревне, и завтра утром начать тренировки. Я пренебрегаю работой уже целую неделю.

Она высвободилась из моих рук.

— Нет, — резко сказала она. — Возвращайся на квартиру.

— Я не могу. Я больше не могу.

Она встала и подошла к окну. Прошло несколько минут. Она повернулась, облокотилась спиной на подоконник, загородив свет, и я не мог видеть выражение ее лица.

— Это ультиматум? — спросила она дрожащим голосом. — Или я выйду замуж за тебя, или ты опять исчезнешь? И больше у нас не будет таких дней, как на этой неделе...

— Это вовсе не ультиматум, — запротестовал я. — Но мы не можем остаться навсегда так, как сейчас. По крайней мере, я не могу. Не могу, если у тебя нет сомнений, что ты когда-нибудь переменишь свои взгляды.

— До конца прошлой недели не было никаких проблем, вернее, они меня не трогали. Ты был чем-то запретным для меня.. вроде устриц, от которых у меня несварение... что-то приятное, но запрещенное. И теперь, — она попробовала засмеяться, — и теперь будто я жить не могу без устриц. И я как раз посередине...

— Иди сюда, — требовательно сказал я.

Она подошла и снова села рядом на сено. Я взял ее руку.

— Если бы мы не были кузенами, ты бы вышла за меня замуж? — Я затаил дыхание.

— Да, — просто ответила она. — Без колебаний.

Я обнял ее голову и повернул лицо к себе. В глазах на этот раз не было паники. Я поцеловал ее. Нежно, с любовью.

Губы у нее дрожали, но в теле не было ни сопротивления, ни слепого, инстинктивного страха, как неделю назад. Я подумал: если за семь дней такие изменения, то что же сделают семь недель?

Во всяком случае, я не потерял ее. Холодок в желудке растаял. Мы сидели на тюке сена, я держал руку Джоанны и улыбался.

— Все будет хорошо, — заверил я ее. — Пройдет немного времени, и тебе не будет мешать, что мы кузены.

Она удивленно поглядела на меня и потом неожиданно засмеялась.

— Я верю тебе, — сказала она, — потому что я в жизни не встречала такого упорного человека. Ты во всем такой. Ты не останавливаешься перед неприятностями, лишь бы добиться чего хочешь... вроде участия в скачках в прошлую субботу или ловушки в этом коттедже... и когда ты жил эту неделю у меня, инстинкт против родственных браков стал во мне замирать, я привыкаю к мысли, что не права... как Клаудиус Меллит проводит психоанализ и очищает мозги от ненужных идей, или что-то в таком роде, так и ты действуешь на меня... Я постараюсь, — закончила она уже серьезно, — не заставлять тебя ждать слишком долго.

— В таком случае, — начал я, подхватывая ее шутливый тон, — я буду приходить ночевать на твою софу как можно чаще, чтобы быть под рукой, когда случится прорыв обороны.

Она весело засмеялась:

— И начнешь с нынешней ночи?

— Хорошо бы, — согласился я. — Берлога никогда мне не нравилась.

— Уф! — с ироническим облегчением вздохнула она.

— Но все равно я должен вернуться сюда в воскресенье вечером. Раз Джеймс снова берет меня на работу, должен же я проявить интерес к его лошадям.

Мы сидели на тюке с сеном и спокойно разговаривали, будто ничего не случилось, и ничего не случилось, подумал я, кроме чуда, от которого зависит вся моя жизнь, чуда, что рука Джоанны нежно прижалась к моей, и у нее нет желания отодвинуться.

Минуты проходили, и время близилось к одиннадцати.

— А если он не приедет? — спросила Джоанна.

— Он приедет.

— Я почти хочу, чтоб он не приехал, — выдала она себя. — Хватит и тех писем.

— Не забудь бросить их в почтовый ящик, когда вернешься.

— Конечно. Но почему ты не хочешь, чтоб я осталась?

Я покачал головой. Мы сидели и смотрели на ворота. Минутная стрелка на моих часах подошла к двенадцати и пересекла цифру.

— Он опаздывает, — заметила она.

Пять минут двенадцатого. Десять минут двенадцатого.

Двадцать минут двенадцатого.

Джоанна вздохнула и пошевелилась. Минут десять мы не говорили ни слова. В полдвенадцатого она опять сказала:

— Он не приедет.

Я не ответил.

В одиннадцать тридцать три гладкий кремовый нос "астон-мартина" затормозил перед воротами, и Морис Кемп-Лоур вышел из машины. Он потянулся и оглядел коттедж. Уверенность и грация сквозили в каждом его движении.

— Какой он красивый, — выдохнула Джоанна мне в ухо. — Какие черты! Какие краски! Телевидение делает его хуже. Трудно подумать, что человек, который так благородно выглядит, может делать гадости.

— Ему тридцать три, — заметил я. — А Нерон умер в двадцать девять.

— Ты знаешь такие неожиданные вещи, — пробормотала она.

Кемп-Лоур отодвинул задвижку в воротах, прошел по короткой дорожке и постучал в дверь.

Мы встали, Джоанна отряхнула сено с юбки, сглотнула, чуть улыбнулась и не спеша пошла к входной двери, я последовал за ней и встал у стены, где меня не будет видно, когда откроется дверь.

Джоанна облизала губы.

— Иди, — шепнул я.

Она открыла дверь.

— Миссис Джонс? — проговорил медовый голос. — Простите меня, что я немного опоздал.

— Вы не войдете, мистер Кемп-Лоур? — сказала Джоанна с выговором кокни. — Такая радость видеть вас не на экране.

— Спасибо. — И он переступил порог. Джоанна сделала два шага назад, и Кемп-Лоур вошел за ней в холл.

Захлопнув ногой дверь, я схватил его сзади за локти, скрутил их за спину и вынудил его дернуться вперед, в

это время Джоанна открыла дверь в комнату Баттонхук, и я ногой дал такой пинок Кемп-Лоуру, что он влетел в дверь и упал лицом на солому. В ту же минуту я закрыл дверь и повесил замок.

— Оказалось, все очень легко, — удовлетворенно констатировал я. — Спасибо за помощь.

Кемп-Лоур начал бить ногами в дверь.

— Выпустите меня, — кричал он. — Что вы собираетесь делать?

— Он не видел тебя? — мягко спросила Джоанна.

— Не видел, — подтвердил я. — наверное, лучше оставить его в неведении, пока я отвезу тебя в Ньюбери и посажу в поезд.

— Это безопасно? — Она выглядела озабоченной.

— Я скоро вернусь, — пообещал я. — Пойдем.

Прежде чем отвезти Джоанну в Ньюбери, я поставил машину Кемп-Лоура к кустам, где ее не было видно. Меньше всего мне хотелось, чтобы какой-нибудь местный житель из любопытства решил обследовать коттедж. Я отвез Джоанну на станцию, минут через двадцать вернулся и опять спрятал машину в кустах.

Я спокойно обошел дом и подошел к окну.

Кемп-Лоур ухватился за трубы и яростно тряс их. Крепко зацементированные, они не дрогнули.

Когда он заметил меня, он тут же замер, и злость на его лице сменилась явным удивлением.

— Кого вы ожидали увидеть? — спросил я.

— Я не понимаю, что происходит, — начал он. — Какая-то проклятая дура заперла меня здесь около часа назад, а сама уехала. Выпустите меня быстро. — Дыхание с хрипом вырывалось из горла. — Тут лошадь, — продолжал он, — от нее у меня астма.

— Да, — спокойно согласился я. — Знаю.

Это поразило его.

— Так это были вы...

— Да.

Он стоял и смотрел на меня через решетку из труб.

— Вы намеренно заперли меня с лошадью? — Он возвысил голос.

— Да, — подтвердил я.

— Почему? — закричал он. Должно быть, он догадался, но я не отвечал, и он спросил еще раз почти шепотом: — Почему?

— Даю вам полчаса подумать над ответом, — сказал я, повернулся и пошел.

— Нет, — воскликнул он. — Мне плохо, у меня астма. Выпустите меня. — Я вернулся и подошел ближе. Дыхание со свистом вырывалось из груди, но он даже не рас-

слабил галстук и не расстегнул воротник. Опасности не было.

— Стойте у окна и дышите свежим воздухом, — посоветовал я.

— Холодно. Тут просто ледяной дом.

— Может быть, — улыбнулся я. — Но вы счастливчик... вы можете двигаться, чтобы согреться, на вас теплый пиджак... и я не вылил три ведра холодной воды вам на голову.

Он открыл рот и быстро задышал. Наконец-то, подумал я, он начал понимать, что ему так запросто не выбраться из своей тюрьмы.

Я вернулся, посидев на сене полчаса и слушая, как он попеременно то пинал дверь, то звал на помощь. Кемп-Лоур отталкивал Баттонхук, которая ласково положила голову ему на плечо. Я рассмеялся, и он чуть не лопнул от злости.

— Заберите ее, — застонал он. — Она не отходит от меня. Я не могу дышать.

Он схватился за трубу одной рукой, а другой отталкивал Баттонхук.

— Если вы не будете так шуметь, она вернется в угол к сену.

Он посмотрел на меня через барьер из труб, и лицо его исказилось от злости, ненависти и страха. Астматический приступ усиливался. Он расстегнул рубашку и бросил на пол галстук, я заметил, как тяжело он дышит.

Я положил коробку с сахаром на подоконник и быстро отдернул руку, которую он попытался схватить.

— Положите немного сахара ей на сено. Ну кладите же, — добавил я, видя, что он колеблется. — Он без допинга.

Его голова резко дернулась. Я с горечью посмотрел в его испуганные глаза.

— Двадцать восемь лошадей, начиная с Шантитауна. Двадцать восемь сонных лошадей съели сахар из ваших рук перед скачкой.

Он схватил коробку, нервно разорвал ее и высыпал кубики на сено в другом углу комнаты. Баттонхук последовала за ним и, опустив голову, начала хрупать сахар. Он подошел к окну.

— Вы так не отделаетесь. Вы пойдете в тюрьму. Я увижу, как вас пригвоздят к позорному столбу.

— Поберегите дыхание, — перебил я его. — А если хотите пожаловаться полиции на то, как я обращаюсь с вами, ради бога.

— Вы так скоро попадете в тюрьму, что даже не догадаетесь, кто посадил вас, — грозил он, и дыхание со свис-

том прорывалось сквозь зубы. — Торопитесь, говорите, что вы хотели.

— Торопиться? — медленно повторил я. — Нет, спешить некуда.

— Вы должны выпустить меня не позже полвторого, — настороженно заявил он. — У меня в пять репетиция.

Я улыбнулся. По-видимому, это была неприятная улыбка.

— Вы очутились здесь в пятницу не случайно.

У него отвисла челюсть.

— Программа... — пробормотал он.

— Придется обойтись без вас.

— Но вы не можете, — закричал он, хватая ртом воздух, — вы не можете так поступить.

— Почему? — кротко спросил я.

— Это же... Это же телевидение, — закричал он, как если бы я не знал. — Миллионы людей ждут передачу.

— И миллионы людей будут разочарованы, — равнодушно подтвердил я.

Он перестал кричать и со свистом набрал воздух.

— Я уверен, — начал он, с видимым усилием стараясь говорить спокойно, — вы не собираетесь держать меня здесь долго, чтобы я не смог вовремя попасть на передачу. Так и быть. — Он замолчал, чтобы сделать пару свистящих вдохов. — Если вы отпустите меня на репетицию, я не стану сообщать о вас в полицию. Я прощу вам эту ловушку.

— Вам лучше сохранять спокойствие и слушать, — сказал я. — Боюсь, вам трудно понять, что мне плевать на пьедестал, на который британская публика вознесла вашу синтетическую личность. Они все обмануты. Под маской скрывается отвратительная смесь из зависти, отчаяния и злобы. Но я не стал бы разоблачать вас, если бы вы не дали допинг двадцати восьми лошадям, с которыми я работал, чтобы потом говорить каждому, будто я потерял нерв. И вам придется провести этот день, размышляя над тем, что вы не пропустили бы сегодняшнюю передачу, если бы не пытались помешать мне участвовать в скачках на Темплейте.

Теперь он стоял окаменев, его лицо побледнело и покрылось пóтом.

— Вы имеете в виду... — прошептал он.

— Да, именно это я имею в виду.

— Нет, — воскликнул он. У него начала дергаться щека. — Нет, вы не можете... Ведь вы же выиграли на Темплейте... вы должны отпустить меня на передачу.

— Вы больше никогда не будете делать передачи. Ни сегодня вечером, ни в какой другой вечер. Я позвал вас

сюда не ради личной мести, хотя не стану отрицать: в прошлую пятницу ночью я готов был убить вас. Я позвал вас сюда от имени Арта Метьюза, и Питера Клуни, и Гранта Олдфилда. Я позвал вас сюда, потому что вы вредили Дэнни Хигсу, и Ингерсоллу, и любому жокею, кому только могли. Вы делали все, чтобы они потеряли работу, и теперь вы потеряете свою.

Первый раз он не нашел слов. Его губы двигались, но никаких звуков, кроме астматического свистящего дыхания, не издавали. Глаза у него запали, нижняя челюсть отвисла, и на щеках появились морщины. Он стал похож на карикатуру, где череп изображает красивого мужчину.

Я вынул из кармана большой конверт, адресованный ему, и протянул сквозь решетку. Он достал три листа ксерокса и прочел их. Прочел дважды, хотя по лицу было видно, что с первого раза понял: это катастрофа. Глаза ввалились еще больше.

— Как видите, это копии. Первые экземпляры по почте придут к старшему распорядителю, и к вашему боссу на "Юниверсл телекаст", и еще к некоторым лицам. Они получат их завтра утром и перестанут удивляться, почему вы не явились на передачу сегодня вечером.

Казалось, он потерял способность говорить, и его руки судорожно тряслись. Я просунул через решетку скатанный портрет, который нарисовала Джоанна. Он развернул его, и стало ясно — он получил еще один удар.

— Я принес его показать вам, чтобы вы наконец поняли, я знаю все о ваших делах. Однажды вы открыли, что иметь мгновенно узнаваемое лицо вовсе не преимущество, когда вы собираетесь сделать гадость, например перегородить старым "ягуаром" дорогу Питеру Клуни.

Голова у него точно от удара откинулась назад.

— Контролер в Челтнеме, — спокойно добавил я, — сказал про вас: "Хорошенькая девушка".

Я слегка улыбнулся, в этот момент его вряд ли бы назвали хорошеньким.

— Ваши грязные слухи, — продолжал я, меняя тему, — вы распространяли через Корина Келлара и Джона Боллертона, вы поняли, что они тупо будут повторять каждую мысль, которую вы вобьете им в голову. Надеюсь, вы хорошо знаете Корина и понимаете, что он никогда не стоит за своих друзей. Когда содержание письма, которое он завтра получит, дойдет до его крысиных мозгов и он услышит, что и другие получили такие же письма, никто не будет изрыгать столько опасной для вас правды, как он. Например, он начнет каждому рассказывать, что это вы поссорили его с Артом Метьюзом. И ничто не остановит его. Возможно, — закончил я после пау-

зы, — это всего лишь восстановление справедливости: вы испытываете страдания, на какие сами толкали других.

Наконец он заговорил.

— Как вы узнали? — недоверчиво спросил он. — Вы не могли догадаться в прошлую пятницу, ведь вы ничего не видели...

— Я сразу же догадался, потому что знал, как далеко вы можете зайти, например, чтобы сломать карьеру Питеру Клуни. Я знал, что вы так ненавидите меня, что готовы страдать от астмы, давая снотворное моим лошадям. Я знал, что попытка с допингом не удалась с Тэрниптопом в Стрэтфорде. А вы не подумали, что Джеймс Эксминстер не случайно толкнул вашу руку и наступил на кусочки сахара. Это я попросил его так сделать. Я знал все о вашей ненормальной, одержимой ненависти к жокеям. Мне не нужно было видеть вас в прошлую пятницу, чтобы догадаться.

— Вы не можете все это знать, — тупо упорствовал он, будто, вцепившись в эти слова, мог изменить суть дела. — Когда я вас интервьюировал после скачек, вы ничего не знали...

— Не только вы умеете улыбаться и ненавидеть одновременно, — равнодушно заметил я. — Ваши уроки пошли мне на пользу.

Он издал звук, похожий на писклявый стон, повернулся спиной ко мне, обхватив руками голову, и раскачивался из стороны в сторону, словно в отчаянии. Может, подобное зрелище и вызывает сочувствие, но у меня не было жалости к нему.

Я отошел от окна, снова сел на тюк сена и посмотрел на часы. Четверть второго.

Кемп-Лоур снова стал звать на помощь, но никто не пришел; тогда он попробовал открыть дверь, но с его стороны не было ручки, да и сама она была очень прочной. Баттонхук встревожилась от шума и начала бить копытами по соломе.

Джоанна больше всего боялась, что астма разыграется и ему всерьез станет плохо, она несколько раз предупреждала меня, чтоб я был осторожен. Но я считал, если у него хватает дыхания так шуметь, опасности пока нет, и я сидел и слушал его крики, не испытывая никаких угрызений совести. Время медленно тянулось, заполненное взрывами ярости из комнаты с решеткой. Я удобно растянулся на сене и в полудреме мечтал о свадьбе с Джоанной.

Часов в пять он надолго успокоился. Я встал, обошел коттедж и заглянул в окно. Он лежал лицом вниз на соломе и не двигался.

Я понаблюдал за ним несколько минут и позвал по

имени, но он не шелохнулся. Я встревожился и решил проверить, все ли с ним в порядке. Плотно закрыв входную дверь, я отпер замок, Баттонхук приветствовала меня тихим ржанием. Я опустился на одно колено, чтобы посмотреть, в каком он состоянии, и тут сильным ударом он повалил меня на солому и молнией кинулся к дверям. Я схватил его за ботинок, который мелькнул в трех дюймах от моего лица, и втащил назад. Он тяжело упал на меня, и мы покатились по полу к ногам Баттонхук, я пытался прижать его к полу, а он, как тигр, боролся, чтобы освободиться. Кобыла испугалась, она прижалась к стене, чтобы освободить нам пространство. Комната была маленькая, и мы дрались между ног лошади и у нее под животом. Она осторожно перешагнула через нас и вышла в открытую дверь.

Левая рука Кемп-Лоура вцепилась в мое правое запястье, и это сильно мешало мне. Я бил его в лицо и шею левой рукой, но на таком близком расстоянии не мог вложить весь свой вес в удар, и, кроме того, мне приходилось отражать его удары.

Когда он потерял преимущество неожиданности, он, наверно, решил, что сможет освободиться, если вцепится в волосы и будет бить меня головой об стену. Это он и пытался сделать. Я бы никогда не поверил, что он такой сильный при его астме. Злость и отчаяние довели его до сумасшествия, и глаза у него горели, как огонь в топке.

Если бы у меня волосы были не такими короткими, может, ему и удалось бы послать меня в нокдаун, но его пальцы скользили, когда я вырывался, вертя головой. Наконец с третьего раза мне удалось порвать повязку на запястье, в которую он вцепился, и я высвободил правую руку. Прямой правой я ударил его под ребро, и воздух со свистом вырвался из легких, как из железнодорожного экспресса. Он стал серо-зеленым и вяло свалился на меня.

Я подтащил его к окну, чтобы свежий воздух обдувал лицо. Минуты через три-четыре цвет лица улучшился, тяжелое дыхание стало ритмичнее, и сила вернулась в подкашивавшиеся ноги. Он немного пошатывался, но пальцы крепко обхватили трубы. У меня немного кружилась голова, я вышел и запер дверь на замок.

Баттонхук нашла дорогу в комнату и теперь мирно жевала сено. А я прислонился к стене и, глядя на нее, ругал себя за глупость, из-за которой чуть не запер себя в самим же устроенную тюрьму. Мне было нехорошо не только из-за драки с Кемп-Лоуром, но главное — из-за последнего удара: надо бы знать, что против астматиков нельзя применять такие приемы.

Из комнаты не доносилось ни звука. Я снова пошел к

окну. Он так и стоял, как я его поставил, и держался за трубу, слезы бежали у него по щекам.

Он дышал почти нормально, и я подумал, что ему не станет плохо, потому что Баттонхук больше не было в комнате.

— Будьте вы прокляты, — сказал он и еще сильнее заплакал. — Будьте прокляты. Будьте прокляты.

Мне нечего было сказать.

Я вернулся назад к Баттонхук, оседлал ее и вывел из дома. Мы поднялись на холм. Проехав с милю, я свернул с дороги, вскоре мы были возле ограды поля одного фермера, для которого я иногда работал. Я открыл ворота, завел ее и отпустил.

Она была очень милое существо, и я с сожалением расставался с ней, но я не мог держать ее в коттедже, не мог привести в конюшню для старых скакунов у Джеймса, не мог найти покупателя на нее в шесть часов вечера, и я откровенно не знал, что с ней делать. Я погладил ее по морде, потрепал по шее, дал целую пригоршню сахара. Потом я шлепнул ее по спине и смотрел, как мои восемьдесят пять фунтов взбрыкивают и несутся галопом, будто двухлетний жеребенок. Фермер, конечно, удивится, найдя на своем поле каурую кобылу, но не в первый раз так бросают лошадей, и, я не сомневаюсь, он приютит ее.

Когда я подошел к дому, стояла полная тишина, через сад я тихо приблизился к окну. Увидев меня, он спокойно сказал:

— Выпустите меня.

Я покачал головой.

— Хорошо, тогда позвоните на телевидение и скажите, что я заболел. Вы не можете заставлять их ждать до последней минуты.

Я ничего не ответил.

— Идите и позвоните, — требовательно повторил он.

Я молчал.

Он протянул руки сквозь решетку и прижался к оконной раме.

— Выпустите меня. Ради всего святого, выпустите меня.

Ради всего святого.

— Сколько времени вы намерены были держать меня в сбруйной? — спросил я.

Он отпрянул, будто я ударил его, втянул руки и ухватился за решетку.

— Я приехал, чтоб развязать вас, — начал он быстро, стараясь убедить меня. — Сразу же, как передача кончилась, я приехал, но вы уже ушли. По-видимому, кто-то быстро нашел и освободил вас, ведь на следующий день вы смогли участвовать в скачках.

— Вы вернулись, нашли сбруйную пустой и поняли, что со мной все в порядке. Так?

— Да, — страстно подтвердил он. — Да, именно так. Я бы не оставил вас там долго, потому что веревки мешали кровообращению.

— Вы считали, что долго висеть на крюке опасно? — невинно спросил я.

— Да, конечно, очень опасно, потому я и приехал. Если бы кто-то не освободил вас почти сразу, я бы вовремя освободил вас. Мне нужна была небольшая травма, чтобы вы никогда больше не могли ездить верхом. — У него был такой обманчиво убедительный голос, как если бы он сообщал совершенно обычные вещи.

— Вы лжец, — холодно сказал я. — Вы не приезжали после передачи. Фактически я освободился только к полуночи. Потом я нашел телефон и вызвал машину. И к тому времени, когда машина нашла меня, было два часа ночи, а вы еще не возвращались. Когда на следующий день я приехал в Аскот, все удивлялись, увидев меня, и говорили, что прошел слух, будто я бросил скачки. Вы даже упомянули по телевидению, что мое имя на табло попало по ошибке. Хорошо... Ни у кого, кроме вас, не было никаких оснований считать, что я не приеду, и, когда я услышал эти разговоры, я понял, что даже утром вы не появились в сбруйной, чтобы развязать меня. Вы полагали, что я все еще болтаюсь там на крюке, бог знает, в каком состоянии... и, как я понял, вы собирались оставить меня там навсегда, пока кто-нибудь случайно не найдет меня... или пока я не умру.

— Нет, — слабо возразил он.

Я посмотрел на него, ничего не говоря, и пошел.

— Ладно, — закричал он и начал бить кулаками в решетку. — Ладно. Мне было наплевать, останетесь вы в живых или умрете. Это вас устраивает? Вы это хотели услышать? Меня не пугала ваша смерть. Я представлял, как вы висите там, как руки разбухают и чернеют... как агония длится и длится... и меня это не трогало. Я даже не страдал бессонницей. Я лег спать и сразу же уснул. Ваше состояние меня не интересовало... Надеюсь, вы довольны теперь?

Голос у него дрогнул, он сполз вниз, я мог видеть в свете поднимавшейся луны его светлую макушку и руки, вцепившиеся в решетку, с побелевшими суставами пальцев.

— Нет, не доволен. Ни капельки. Меня тошнит от ваших слов.

Я медленно отошел и снова сел на сено. Пятнадцать минут седьмого. Еще три часа ждать: три часа, за которые ужасная правда наконец дойдет до коллег Кемп-Лоура,

три часа озабоченных предположений и срочная переделка программы: чем заполнить пустые пятнадцать минут и куда поместить рекламу.

Мороз стоял весь день, а в сумерках стены нежилого дома, казалось, испускали холод. Кемп-Лоур начал бить ногами в дверь.

— Мне холодно, — кричал он. — Мне холодно. Выпустите меня.

Я сидел на сене не двигаясь, запястье, в которое он вцепился в драке, неприятно саднило, и кровь снова показалась на повязке. Что скажет доктор, когда увидит? Три бородавки затрясутся от негодования, я улыбнулся, представив эту картину.

Кемп-Лоур пинал дверь довольно долго, хныкал и кричал, что он хочет есть, что ему холодно и чтобы я выпустил его. Через час крики и удары в дверь прекратились, он сел у дверей и зарыдал от отчаяния.

Я тихо сидел, и слушал его стоны и рыдания, и не испытывал ни малейшего сострадания: я тоже плакал в сбруйной.

Четверть десятого, когда уже ничего больше не могло спасти программу и даже объясняющий его отсутствие звонок запоздал, Кемп-Лоур перестал стонать и рыдать, в коттедже наступила тишина.

Я вышел в сад с чувством облегчения, глубоко вдохнул свежего воздуха. Кончался трудный день, и звезды ярко горели в морозном небе. Красивая ночь. Я завел машину Кемп-Лоура, развернулся и поставил ее перед воротами. Последний раз я обошел дом, чтобы поговорить с ним через окно, его лицо уже белело там за оконной рамой.

— Моя машина, — истерически выкрикнул он. — Я слышал шум мотора. Вы хотите уехать на моей машине и оставить меня здесь.

Я засмеялся:

— Нет. Вы сами уедете на своей машине. На вашем месте я бы поехал в ближайший аэропорт и улетел куда-нибудь подальше.

— Вы хотите сказать... Я могу уехать? Всего лишь уехать? — В его голосе звучало удивление.

— Всего лишь уехать, — кивнул я. — Если вы поторопитесь, вы сможете избежать расследования и обвинения, которое выдвинут против вас распорядители. Вы можете уехать в какую-нибудь далекую страну, где вас не знают, и, легко отделавшись, начать все снова.

— Думаю, у меня нет другого выхода, — пробормотал он. Приступ астмы почти прошел.

— И найдите страну, где нет стипль-чеза, — закончил я.

Он громко застонал и ударил кулаком по оконной раме.

Я вошел в коттедж и при свете фонаря Джоанны отпер дверь. Он неуверенно пошел по соломе ко мне, пряча опустошенное лицо от света. Не взглянув, он прошел мимо меня и, спотыкаясь, заспешил к машине. Я повесил фонарь на ворота, чтобы освободить руки на случай, если они понадобятся. Но, видимо, в нем не осталось воинственности.

Он сел в машину, помолчал и, не закрывая дверь, взглянул на меня.

— Вы не понимаете, — дрожащим голосом начал он. — Когда я был мальчиком, я хотел участвовать в Большом национальном кубке, как отец. И потом я упал... Я видел землю, которая взлетала под копытами лошади, и ужасная судорога свела мне все кишки, я весь покрылся пóтом. И с тех пор я заболел.

Он застонал, лицо сморщилось, и вдруг с неожиданной злобой он сказал:

— Я был горд, когда видел несчастные лица жокеев. Ничего, я многим из них перебил хребет. Я чувствовал себя великим.

Он посмотрел на меня с прежней яростью, и голос у него источал яд.

— Я ненавидел вас больше всех: вы слишком хорошо работали для новичка и слишком быстро шли в гору. Все говорили: "Какую бы плохую лошадь вы ни дали Финну, он не знает, что такое страх". Такие разговоры бесили меня. Я пригласил вас на свою передачу, помните? Я собирался представить вас дураком. С Метьюзом получилось, а почему бы не получилось с вами? Но Эксминстер взял вас, когда Пэнкхерст сломал ногу... Я так хотел уничтожить вас, что не мог ни о чем другом думать. В вас чувствовалась такая спокойная уверенность, будто вам гарантированы сила и смелость... поговаривали даже, что в будущем вы обязательно станете чемпионом...

Я подождал, пока вы упадете и людям покажется, что травма опасна. И тогда я применил сахар. Это сработало. Вы знаете, что сработало. Я почувствовал себя на десять футов выше, глядя на ваше бледное лицо и слушая, как все говорят, будто вы конченый жокей. Я ждал, как вы перенесете это, когда все будут вас жалеть, я хотел видеть, как вы будете корчиться от стыда, когда каждый говорит вам... как мой отец своим друзьям... такая жалость... такая жалость, что ты маленький хныкающий трус... такая жалость, что вы потеряли нерв...

Голос постепенно затих, глаза были широко раскрыты, смотрели куда-то вдаль, будто он заглянул назад, в невыносимое прошлое.

Я стоял и смотрел на осколки того, кто мог быть великим человеком. Такая жизненная сила, подумал я, такой великолепный талант растрачен на то, чтобы вредить людям, не сделавшим ему ничего плохого.

Клаудиус Меллит говорил: "Понять, лечить и простить".

Наверное, я мог понять, потому что сам в семье словно подкидыш. Но отец ласково забраковал меня, и я не испытывал необходимости причинять музыкантам страдания.

Лечить... Лечение, которое я провел сегодня, наверно, не излечило пациента, но теперь от его болезни не будут страдать другие, а мне больше ничего и не надо.

Не говоря ни слова, я захлопнул дверцу машины и махнул рукой, чтобы он уезжал. Я надеялся, что он поедет осторожно. Я хотел, чтобы он жил. Я хотел, чтобы он жил долгие годы, размышляя о том, что он оставил позади. Иначе он бы слишком легко отделался, подумал я.

Последний раз я увидел знаменитый профиль, потускневший отвергнутый профиль, и он исчез в темноте.

Я снял с ворот фонарь и пошел в тихий коттедж — привести его в порядок.

Простить, подумал я. Самое трудное.

Понадобится много времени, чтобы простить.

Ласло Дюрко

ПОД СЕНЬЮ СМЕРТИ

Йован Киш знает, что такое сень смерти. Очень хорошо знает. Хотя сам он любит солнечный свет.

— Йован, — говорит ему Дьявол.

У Дьявола острый подбородок, и нос, и пальцы. Даже глаза у него колючие.

Йован Киш ухмыляется.

— Друг ты мой закадычный, — говорит Дьявол.

На лице Киша вовсе не ухмылка, а волчий оскал. Товарищи некогда называли его Волк-одиночка.

Резким, внезапным взмахом Киш выбрасывает правую руку вперед. Острие ножа впивается Дьяволу в поддых.

Оглушительный звон разбитого стекла — словно камнем запустили в витрину.

Йован Киш просыпается. Он лежит, не шевелясь. Вглядывается в полумрак. Настороженно прислушивается. Все тело его покрыто липким пóтом.

Он включает ночник. Настенные часы показывают полчетвертого. За окном занимается июньский рассвет. Время от времени налетает ветер. Волны с тихим плеском ударяются о борт лодки.

Йован Киш закуривает сигарету и гасит лампу. Кругом тишина и серый полумрак. Во рту горечь от сигареты. Киш мнет ее в пепельнице. Поворачивается лицом к стене и натягивает ворсистый плед до самого подбородка.

Он забывается крепким сном без сновидений. В семь часов его поднимает звон будильника. Сквозь щели зана-

---

вески пробивается солнце. Одурманенный сильным снотворным, Киш чувствует себя вялым. Как каждое утро.

К десяти часам он добирается до югославо-венгерской пограничной станции. Нещадно палит солнце. Дунай стремительно мчит свои воды.

В ста метрах от плавучей пристани Йован Киш тянет на себя рычаги скорости. Вздыбленный нос "Ласточки" послушно погружается в воду. Киш облачен в застиранные джинсы, голубую полосатую майку и спортивные тапочки.

Когда белый корпус моторки оказывается вровень с пристанью, Киш убирает скорость и поворачивает руль вправо.

Встречное течение гасит ход моторки. Нос ее прижимается к понтону.

Несущий службу пограничник уже наготове. Он следил за приближающейся лодкой в бинокль и издали определил, что это "Ласточка".

— Эгей, капитан! — приветствует Киша сержант Булатович. Свой бинокль и автомат он оставил на выкрашенной в белый цвет скамейке.

Булатович хватает лодку за причальный канат. Йован Киш бросает конец. Сержант захлестывает его вокруг тумбы на понтоне.

— Эгей! — отзывается на приветствие Йован Киш и проходит на корму в рулевой отсек. Поворачивает ключ зажигания. Негромкий рокот обоих моторов "вольво" смолкает. Воцаряется тишина. Лишь плещут волны, разбиваясь о понтон.

— Давненько вы в наши края не заглядывали.

— В других местах тоже воды хватает, — усмехается Йован Киш.

Загорелое, обветренное лицо, ястребиный профиль. Безукоризненный ряд зубов. Жесткие, черные, с едва наметившейся проседью волосы. Глаза — невероятной голубизны, будто фарфоровые. Эти голубые фарфоровые глаза придают лицу необычное выражение.

В Йоване Кише сто девяносто сантиметров роста и восемьдесят семь килограммов веса. Сложен он на редкость пропорционально. Ни за что не скажешь, что ему пятьдесят один год.

— Это верно, — отвечает Булатович. — Воды и в других местах хватает. Только вода не та.

Сержант родом из ближнего села на берегу Дуная. Речник, как и его отец и дед, как добрая половина односельчан. Девушкам в корчме у пристани он кружит головы разговорами, будто собирается перейти на морскую службу. Сдаст экзамен в мореходку и станет разгуливать

в белом кителе с золотыми позументами. Булатович — кавторанг на капитанском мостике, все шторма и бури ему нипочем, а в южных приморских гаванях его поджидают пышнотелые красотки.

Сам-то Булатович знает, что уйдет на пенсию рулевым баржи, но его это ничуть не огорчает. Он любит Дунай. Со временем будет у него свой дом с садом, жена, двое детишек — мальчик и девочка. Мальчика он воспитает настоящим моряком.

Сержант — парень крепкий, мускулистый. Гимнастерка туго охватывает его плечи. Но рядом с Йованом Кишем он кажется хлюпиком.

— На отдых собрались? — спрашивает Булатович.

— Ага.

Йован Киш угощает сержанта сигаретами "Мальборо", и Булатович шарит по карманам в поисках спичек. Киш подносит ему свою газовую зажигалку. Царит полный штиль. Язычок пламени даже не вздрагивает. Мутно-бурая вода плещет под настилом понтона. Припекает солнце.

— Возьмите себе, — Киш протягивает сержанту пачку сигарет.

— Да что вы! — смущенно отказывается тот.

— Я ведь тоже когда-то был солдатом, знаю, почем фунт лиха. Можете мне верить.

Такие речи Булатовичу по душе.

— Спасибо. Так я позову товарища капитана.

С приглашением он опоздал. Капитан Трокан, прихрамывая, спускается от погранзаставы к понтону. Погранзастава — двухэтажное здание из красного кирпича. Капитан Трокан хромает с 1943 года, когда ему автоматной очередью в четырех местах перебило кость левой голени. Вместе со своим взводом он должен был подорвать железнодорожный мост, и партизанам пришлось вступить в перестрелку с охраной. Тем, что ему не ампутировали ногу, Трокан обязан профессору Бергу.

До войны Милован Берг больше времени проводил за границей, чем в своем фешенебельном частном санатории в Белграде. От Нью-Йорка до Токио находилось достаточно миллионеров, которые могли себе позволить роскошь послать отдельный самолет за одним из знаменитых хирургов мира.

В 1943-м профессор Берг работал в том партизанском лазарете, куда боевые товарищи принесли раненого ефрейтора Трокана. Там же профессора и прикончила пулеметная очередь, выпущенная с "мессершмитта". Профессор Берг погиб в палатке полевого госпиталя, во время очередной операции. Было это в 1944 году.

— Привет, Йован! — капитан жмет руку Киша.

Йован Киш усмехается. Взгляд его фарфоровых глаз холоден.

— Зайдете? — Он делает приглашающий жест в сторону кабины.

— Я на посту, — говорит Булатович.

Йован Киш внутренне настораживается. Он чует опасность. Зрение и слух его моментально обостряются, движения становятся предельно выверенными.

Он увидел, как капитан глазами сделал знак сержанту, и знает, что обычно здесь к службе относятся без особых строгостей.

Йован Киш расслабляет мускулы.

Булатович разочарованно бредет к скамье, где он оставил свое оружие. Черт бы побрал две пары чужих, бдительных глаз наверху, на погранзаставе! Худо ли дело опрокинуть сейчас стаканчик виски со льдом и содовой.

Йован Киш достает из шкафчика два высоких бокала. Извлекает из холодильника бутылку белого кубинского рома. Добавляет к нему апельсинового сока и десять капель какой-то жидкости из небольшой восьмигранной темно-зеленой бутылки. На сосуде этом нет этикетки.

Киш кладет в бокалы кубики льда и размешивает напиток яркой ложкой с длинной ручкой. Холодильник работает на аккумуляторах.

Коктейль имеет горьковатый, слегка вяжущий вкус. Капитану Трокану ни разу не доводилось пробовать такого.

— Что это? — спрашивает он, и в голосе его звучит одобрение.

— Секрет фирмы. "Коктейль а-ля Киш", если угодно. Твое здоровье!

Йован Киш напряжен, как пружина. Однако лицо его остается равнодушным, голубые фарфоровые глаза застыли.

Капитана Трокана приятно пьянят уже первые два глотка. Он выпивает весь бокал до дна. В такую жарищу нет ничего лучше леденящего напитка со столь необычным букетом.

Трокан ценит хорошие напитки, как заботливо ухоженное оружие. Или как лодочный мотор, который в умелых руках всегда безотказен.

Пол в каюте "Ласточки" устлан мягким ковром ядовито-зеленого цвета. Такого же оттенка обои на потолке. Занавеска на окне темно-зеленая. Мебель — красного дерева. Изысканный интерьер ничем не напоминает грубую пластмассу, из которой изготовлен корпус лодки. Для Киша это предмет особой гордости. Обстановка делалась

им на заказ, он сам трудился над ней вместе с корабельным плотником из Нови-Сада.

— На летний отдых? — спрашивает капитан Трокан. Губы, обожженные диковинным напитком, плохо повинуются ему.

Киш бдительно вслушивается не только в слова, но и в интонацию капитана.

— Ага. На отдых.

Он смешивает новую порцию коктейля. Протестующий жест Трокана вызывает у него лишь ухмылку.

— В какие края?

Голос капитана не выражает никаких особых эмоций. Да и вопросы его естественны.

— В Венгрию. А потом, пожалуй, и в Австрию. Может, поднимусь к Линцу.

Капитан Трокан знает, что "Ласточке" ничего не стоит покрыть расстояние от Будапешта до Линца. Велика важность — шестьсот километров. Полдня неспешного хода.

— Как получится. Ну и, смотря по тому, какой будет клев.

Всяк встречный-поперечный знает, что Йован Киш — заядлый рыболов, хотя и не самый удачливый.

Вот это жизнь, думает капитан. Хочешь — в Будапешт, хочешь — в Линц, как твоя душа пожелает.

При этом Трокан совершенно не испытывает зависти. Не только потому, что симпатизирует Кишу. Йован Киш заслуживает хорошей участи.

Вот бы здорово, если бы рано или поздно кто-нибудь мог сказать: капитан Трокан заслуживает хорошей участи.

— Вчера получен приказ, Йован, — наконец решившись, произносит он. — Мы должны трое суток самым тщательным образом обыскивать все моторки.

Глаза у Йована Киша голубые, как небо. И смотрят твердо, не мигая.

— Прислали двух ребят из Белграда. Большие доки по этой части.

Опасность — для Йована Киша жизненная стихия. Он жаждет этого ощущения, как наркоман — морфия.

Сейчас он всем нутром чувствует опасность.

— Леший их знает, чего они ищут.

Капитан Трокан и в самом деле не знает. Киш верит ему. Осознанное чувство опасности приятно щекочет нервы.

— Должно быть, наркотики. Последнее время газеты только об этом и пишут.

Или меня, думает Йован Киш.

Он не берется ни за бокал, ни за сигареты. Любое дви-

жение рук выдает нервозность — Киш это знает. Он хорошо усвоил это правило. Такова его профессия.

Трокан, конечно, ничего не заметил бы. Ведь он солдат, и вообще далек от подозрений. Но Йован Киш не имеет права расслабляться. Никогда. Ни при каких обстоятельствах.

Неукоснительное выполнение этого закона вошло у него в плоть и кровь и до сих пор спасало его в любых обстоятельствах.

Ну и удача, конечно, думает он и про себя усмехается.

— Никак не возьму в толк, почему именно эти трое суток, — говорит Трокан. — Наверное, настучал кто-нибудь.

К этому моменту Киш успевает прикинуть, кому было известно, что он в этот день пересечет границу.

Знали многие. Киш не делал из своих планов секрета.

Капитан чешет в затылке.

— Ты мог бы вернуться и снова приехать завтра. Тебе ведь не к спеху. А я объясню этим парням, что ты просто наведывался в гости. Они знают, что мы с тобой добрые приятели.

Капитан Трокан выдает служебную тайну. Он не считает нужным строго придерживаться инструкций, когда дело касается Йована Киша. В конце концов Йован Киш — это не первый встречный. Так он и сказал белградским коллегам.

Теперь Йован Киш закуривает сигарету — спокойно, неторопливо.

— По мне, так пусть обыскивают.

— Ясное дело. Только уж больно они дотошные. Вчера одну моторку часа три потрошили, разве что двигатель на части не разобрали. Вряд ли тебе охота торчать тут полдня.

Киш знает: как ни прячь, все можно найти. Только и требуется, что профессиональный навык да терпение. Ну и время. И своего рода талант.

— Твое здоровье! — весело говорит он, чокаясь с капитаном. Лед в коктейле уже растаял. — Мне и правда не к спеху. А коллеги за это жалованье получают.

Он одним глотком опорожняет бокал.

— По крайней мере, у нас с тобой будет время потолковать.

Трокан рад такому повороту дела. К Кишу он относится с почтением, а служба — дело унылое и однообразное.

— Конечно, если пригласишь на чашку кофе.

Оба сыщика — люди молодые. Один — худой и высо-

кий, как телеграфный столб. Они обосновались в кабинете капитана.

— Лодка в вашем распоряжении, — говорит Киш. — А я пока побуду у товарища капитана.

Он не оставляет им времени заговорить.

— Если что понадобится, тогда позовете.

Киш разговаривает с ними так, словно они его подчиненные.

Худющий, как палка, сыщик берет со стола сумку из черной искусственной кожи.

Просвечивающий аппарат, думает Киш.

Второй берет сумку с прочим инструментом.

Кишу любопытно, знают ли сыщики, что или кого они ищут.

Этого они не знают. Их дело — обшарить каждую моторную лодку. Самым тщательным образом. И искать не стиральный порошок.

Йован Киш тоже понимает, что они ищут не стиральный порошок. Для этого не станут отряжать из Белграда двух сыщиков.

Знает он также, что на "Ласточке" нет ни золота, ни валюты, ни наркотиков. Нет и оружия.

Во всяком случае того, что они ищут, там нет.

— Дело было в декабре сорок третьего. А может, в январе сорок четвертого, дьявол его упомнит. Холодина был страшный, сопли к щекам примерзали. Вызывает меня командир. Местные жители сообщили, что в округе околачивается четверка неизвестных. Говорили, будто от немцев сбежали и ищут партизан. Вещей у них при себе никаких, только рюкзак.

Терраса погранзаставы выходит на Дунай. Напротив зеленой стеной стоят леса. Внизу, под ними — пристань. Вдоль красной кирпичной стены змеится трещина в палец шириной. Мощные моторы буксиров непрестанно сотрясают причал.

Йован Киш и капитан Трокан успели выпить по второй чашке кофе. Варит кофе какая-то пожилая женщина. Готовит прямо в чашечках, по-турецки. Капитан Трокан родом из долины Неретвы.

Сыщики вот уже битых четыре часа потрошат "Ласточку".

Да, ребята основательные, думает Йован Киш.

— На другой день нам удалось напасть на их след. Накануне ночью выпал свежий снег, и стало видно, что все четверо обуты в башмаки на рифленой резиновой подошве. Таких отпечатков обуви мне еще не доводилось встречать. Значит, они сбежали от немцев... В этаких шикарных ботинках? Конечно, пару ботинок они могли ото-

брать у немцев. Но чтобы все четверо были обуты в одинаковые? Велел я ребятам рассыпаться цепочкой. Дистанция — двести метров. Двигаться — как можно быстрее и без шума. И ни в коем случае не стрелять. Если это наши — чтобы своих не поубивать. Если не наши — все равно поостеречься. Трупы нам не нужны. И без того хватает закопанных в этом растреклятом лесу — и наших, и немцев. Нам нужны живые, чтобы говорили. А мертвые — они молчат.

Йован Киш откидывается в кресле. Ему доставляет удовольствие рассказывать о прошлом. Капитан Трокан поудобнее устраивает ноющую ногу. Теперь мало с кем поговоришь о былых временах. А там его молодость. Его жизнь. Сейчас ему ясно, что в ту пору он был счастлив. Тогда он этого не понимал. Только чувствовал голод и холод и знал, что необходимо победить.

К Йовану Кишу он относится с уважением.

— Я обнаружил их в бинокль. Они шли гуськом — не спеша, как школьники на прогулке. Одеты были в рваное тряпье. Лишь ботинки на них были новые. В лохмотьях можно прошагать и сотни километров, если обувка на тебе крепкая да рюкзак набит съестным. Правда, что у них там, в рюкзаке, я не знал. Так они дотопали до Сливовой долины. Тут я прокаркал. Сперва два раза, потом еще четыре. Такой у нас был условный сигнал. Один из чужаков обернулся, а остальные спокойно шагали дальше. В тех краях полно воронья. Сливовая долина растянулась на шесть километров. По обеим сторонам ее — крутые скалы, и вдоль одной идет узкая тропа. Но там пройдешь, если только ты свой человек в здешних местах.

Пятерку ребят я послал по тропе вперед, чтобы перекрыть выход из долины, а сам с Милодаром пустился вдогонку по долине. Проделать это не составило труда. Тропу окаймлял молодой ельник, лучшего укрытия и не придумаешь.

Капитан Трокан вновь чувствует себя молодым. В такие минуты он понимает, что жизнь его была прекрасной.

— Нас разделяло метров четыреста, когда они достигли устья долины. И тут мой сержант — как его звали, из головы вылетело — вышел им навстречу. Спрашивает, кто, мол, такие. В руках у него автомат. Заряжается со ствола. Дисковый, как и у меня.

— У меня тоже когда-то был "томпсон", — вставляет слово Трокан. — Ну и ловкая, скажу я тебе, штуковина. Только уж больно капризная.

— Смотрю, один из них с распростертыми объятиями кидается к сержанту. "Браток, — кричит, — браток!" А остальные безо всякой указки рассыпаются цепью. Тут я

сразу смекнул, что дело нечисто. Припустились мы с Милодаром со всех ног, благо внимание этой четверки обращено было не на нас. Ребята наши тоже высыпали из-за деревьев. Все до единого, черт бы их побрал! Еще бы: купились на слово "браток". Какой с них спрос, ведь они были партизаны, а не разведчики. У каждого в руках автомат.

Йован Киш бросает взгляд вниз — туда, где стоит у причала "Ласточка". Сыщики все еще трудятся в поте лица.

— Сержант, бедолага, тем временем выскользнул из объятий и упал на снег. "Браток" пырнул его ножом в самое сердце. Двое других нацелились в партизан из пистолетов, а четвертый торопливо развязывал рюкзак.

Да, думает Трокан, вот это была жизнь. Тогда даже солнце, и то светило по-другому.

— Двоих ребят скосило с первых же выстрелов. Они даже ничего толком не сообразили. Другие двое, к счастью, успели плюхнуться плашмя. Одной очередью я прикончил того типа, который обнимался с сержантом. Второй — порешил его дружка, что стоял слева. Когда они упали, я увидел подошвы их ботинок. Толстая рифленая резина.

Тем временем из рюкзака был вынут ручной пулемет. Небольшой, вороненой стали, что бьет трассирующими пулями. Я угодил пулеметчику в левую ногу — чуть выше колена. Он упал, сволочь, но стрельбу не прекратил. Ну, думаю, эти тоже не новички в нашем деле. А у меня стало еще одним человеком меньше: парень подскочил и рухнул навзничь, раскинув руки. Будто в кино. Четвертого Милодар ранил в ногу, а после кто-то из нас вогнал ему пулю в лоб, так что он ткнулся головой в снег.

Остался один-единственный — тот, что строчил из пулемета. Бил короткими очередями, теперь уже в нашу с Милодаром сторону. Меня так и подмывало зарыться в землю. Однако пулеметчику не повезло. Пули только порошили снег вокруг нас, да срезанная выстрелом сосновая ветка упала мне на голову. А потом вдруг затвор щелкнул вхолостую. Я только того и дожидался. Вскочил и бросился бежать к нему. Милодар — за мной. Враг уже успел вытащить увесистый пистолет — крупнокалиберный "вальтер". Надежное оружие. Я на бегу метнулся в сторону, чтобы он в меня не попал. Но у него и в мыслях не было стрелять в меня. Сунул в рот дуло "вальтера", и, прежде чем мы добежали, ему выстрелом снесло череп.

Трокан забыл про больную ногу.

Йован Киш бросает взгляд вниз, на пристань. Его голубые глаза холодны, как у мертвеца.

— Результат ничего себе: у нас четверо убитых, у них — все до одного. Можешь представить, какую взбучку устроил мне командир. У них при себе не оказалось никаких документов и вообще ничего, что могло бы навести на след.

"Если хотите получать "языков", то давайте мне разведчиков, а не партизан", — заявил я командиру. А он бил себя по голове кулаками, топтал ногами фуражку. "Где я их тебе возьму, поганый твой бог?! — орал он. — Чтоб тебя в дышло, черта-дьявола-сифилитика! Ему людей доверили, а он их под пули подставил! Чтоб тебе, выблядку, до конца дней со своей бабкой, старой курвой, валандаться, если уж с таким пустяком справиться не можешь! Разложи ты в зад того недоумка, который тебя на свет породил!" Ругаться он был большой мастак.

Конечно, командира можно понять: он любил ребят, которые в той стычке полегли. Ведь они второй год вместе сражались бок о бок.

С пристани поднимаются к погранзаставе оба сыщика. Длинный несет футляр с просвечивающим аппаратом.

Йован Киш ухмыляется.

Он видит, что рубашки на них взмокли от пота.

Жара стоит невообразимая.

— Да и откуда ему было взять разведчиков? — говорит Киш, обращаясь к капитану Трокану. — Нас и всего-то было раз-два и обчелся.

— Прошу прощения, что заставили ждать, — говорит худющий сыщик. Белым носовым платком с синей каемкой он вытирает потное лицо.

— Такая уж служба, — замечает в их оправдание Трокан.

Йован Киш хотел бы знать, позвонят ли они в Белград после его отъезда.

Он смотрит на пристань. Сержант Булатович сидит на белой скамейке. На шее у него болтается бинокль.

— Естественно, — говорит Йован Киш.

Для Йована Киша смерть так же естественна, как и жизнь.

Смеркается, когда Киш приплывает в Будапешт. Пообедал он в Байе: две порции ухи по-венгерски и лапша с творогом. Он любит рыбу.

"Ласточка" плавно скользит под мостами. Кишу нравится этот город. Вена ухоженнее, элегантнее. Будапешт напоминает красивую женщину, которая в своей манере одеваться допускает небрежность. В этом секрет ее обаяния.

Лишь Белград он любит больше. В Белграде он дома.

Позади остается остров Маргит. На Римском берегу, у мотеля для водников, "Ласточка" трижды подает музыкальный сигнал: несколько тактов из увертюры к "Кармен" Бизе оглашают округу.

Когда Киш причаливает, на берегу его уже поджидают комендант мотеля "Дружба" и его жена. Мотель служит будапештским местом отдыха для иностранцев, приплывающих своим ходом.

— Наконец-то к нам пожаловал добрый старый постоялец, — приветствует Киша комендант.

Весом в центнер, комендант рядом с Йованом Кишем производит впечатление гнома. Он страдает астмой, дыхание из груди его вырывается со свистом. Супруга его тянет килограммов на девяносто. Волосы она красит в черный цвет, а ногти — в красный.

— Худой грош скоро с рук не сбудешь, — усмехается Киш.

Йован Киш родом из Нови-Сада. Отец у него венгр, мать — хорватка, двоюродные братья — немцы. Киш в совершенстве владеет этими тремя языками.

Коменданту он привез в подарок бутыль домашней сливовицы. Жене его — духи в шикарном флаконе. Обоим детишкам — большущую коробку шоколада.

Такие жалкие подачки окупаются. Йован Киш это прекрасно понимает.

— Правила у вас прежние?

Киш каждый год наведывается в Будапешт.

— Все у нас по-прежнему, — отвечает комендант. — Впрочем, на вас никакие правила не распространяются. Вам, господин Киш, здесь все дозволено.

Йован Киш ухмыляется. Голубые фарфоровые глаза его безжизненны.

— Таких слов мне не говорите. А то вздумаю приударить за вашей почтенной женушкой.

Черноволосая женщина визгливо смеется. В ушах ее подрагивают золотые серьги-колечки. У коменданта от смеха колышется живот.

Оба они симпатизируют Йовану Кишу.

Киш принимает в мотеле душ. Затем у себя в каюте открывает банку консервированной ветчины. Режет кружками помидоры, огурцы, лук. Посыпает солью, заправляет уксусом и растительным маслом. Наливает себе большой стакан красного вина.

Сгущаются сумерки. На берегу загораются огоньки. Йован Киш долго наблюдает за набережной. Берет бинокль и тщательно обшаривает взглядом каждый дом. Под ивой целуется молодая пара.

Киш не обнаруживает ничего подозрительного. И все же нутром чует опасность.

Почему его обыскали на границе?

С последним стаканом вина он принимает снотворное. Вот уже двадцать лет он засыпает только со снотворным.

Киш закуривает сигарету. У противоположного берега ярко светится зеленый огонек буя, отмечающего границу судоходного фарватера.

В девять вечера Киш укладывается на двуспальной кушетке в каюте и забывается до утра глубоким сном без сновидений.

Просыпается он оттого, что "Ласточка" пляшет на волнах. Рядом проходит большая баржа. С натугой тащит она свой груз против течения.

Уровень воды в Дунае высокий. Течение сильное. Волны играючи швыряют "Ласточку" вверх-вниз.

Йован Киш смотрит на корабельные часы. Времени — полдевятого. Он проспал почти двенадцать часов.

Киш потягивается так, что трещат суставы. Отшвыривает в сторону легкий ворсистый плед. Сбрасывает с себя шелковую пижаму. Распахивает люк на потолке. В каюту врываются солнечный свет и запахи реки.

Ртутный столбик барометра поднялся на один миллиметр. Влажность — тридцать четыре процента. Погода обещает быть безветренной и жаркой.

Йован Киш заваривает чай и пьет его без сахара, чуть забелив сливками.

Прихлебывая обжигающий напиток, он не сводит глаз с полоски берега. Прощупывает взглядом каждый дом.

Ничего подозрительного, как и с вечера.

Впрочем, на другое он и не рассчитывал.

Облачившись в тренировочный костюм и кроссовки, Киш делает трехкилометровую пробежку вдоль берега. Проверяет сердце. Биение пульса не участилось.

Киш принимает душ. Жарит себе яичницу на сале и ест ее с маринованным перцем.

Затем одалживает у коменданта его неказистую "шкоду". Ему приходится дважды обернуться до бензоколонки и обратно. Бак "Ласточки" вмещает триста литров.

Дорогой он время от времени посматривает в зеркало заднего вида. Слежки за ним не ведется — это уж точно.

По возвращении на судно он убирает постель и моет посуду. Затем минут десять изучает судоходную карту.

Киш направляет "Ласточку" в тот рукав Дуная, что примыкает к Сентэндре. Оба рычага скорости выжимает вперед до отказа. Лодка подскакивает на гребне волны. Прибор показывает четыре с половиной тысячи оборотов. Корпус лодки сотрясается от напряжения. Два таких мощ-

ных мотора — многовато для семиметрового суденышка. Но Йован Киш так и проектировал "Ласточку". Полицейским моторкам за ней не угнаться.

По дороге попадается каноэ и несколько байдарок. Рыболовов — ни единого. Стоит начало июля. Рыболовный сезон еще не начался.

Церковные шпили Сентэндре, как пухлые указующие персты, вздымаются над невысокими домами. Городок напоминает сдобную булочку — такой же пышный и ароматный.

Йован Киш любит этот построенный на холме город. Он медленно проплывает вдоль высокого выложенного камнем берега.

По мере того как церковные шпили уходят назад, берег становится ниже. Киш всматривается в карту. Отводная дамба вдается в Дунай под прямым углом. В десяти метрах от конца ее — красный буй.

Вода стоит высоко. Дамба выступает всего лишь на метр.

Непосредственно за дамбой Йован Киш поворачивает к берегу. Эхолот показывает глубину три метра. Каменная дамба сдерживает течение Дуная. За нею вода стоит почти недвижно.

В двадцати метрах от берега глубина уменьшается до двух метров. Но "Ласточке" достаточно и одного.

Лодка ударяется днищем о камень. Киш тем временем оказывается уже на носу и спрыгивает на дамбу. Причальный конец он захлестывает вокруг квадратной тумбы, а с кормы спускает в воду пятикилограммовый якорь.

"Ласточка" мирно покачивается на воде. Киш удовлетворенно смотрит на нее.

Из ящичка, где хранятся карты, достает план Сентэндре. Несколько минут изучает его, затем складывает и прячет в карман.

От конца каменной дамбы к высокой насыпи ведет тропинка, поросшая крапивой. Она едва различима в зарослях ивняка.

Йована Киша это вполне устраивает.

Он взбирается на насыпь. Шоссе отсюда метрах в ста. Тропинка исчезает бесследно.

Йован Киш поднимает с земли сухую ветку. Усаживается на насыпи и выжидает пять минут. За это время две легковушки проносятся по направлению к Сентэндре: зеленый "вартбург" и голубая "шкода".

Киш кладет ветку в придорожную канаву. В этом месте он должен свернуть на насыпь.

Добравшись до городка, он поворачивает вправо. Взбирается на холм. Извилистая улочка ведет к главной

площади. Пообок небольшой площади — выкрашенная желтой краской церковка в стиле барокко. В этом городе все маленькое и уютное, как в приморских городках Далмации.

На вывеске ресторанчика две гончие преследуют оленя. Здесь Киш сворачивает влево. Карту города он так и не вытаскивает из кармана.

Пятый дом от угла — музей. Тоже покрашенный в желтый цвет и тоже в стиле барокко. Длинное одноэтажное здание. На улицу выходит восемь окон, забранных железной решеткой в виде пузатой корзины. В конце дома высокая кирпичная стена, выкрашенная той же краской. Зеленые сводчатые ворота в стиле барокко. Справа и слева от входа плакаты в застекленной витрине объявляют о выставке: "МАЛЕНЬКИЕ СКУЛЬПТУРЫ БОЛЬШОГО МИРА".

Йован Киш не останавливается у музея. Здесь пока что много прохожих. Он неспешно проходит до конца улочки и поворачивает назад. Закуривает сигарету. С интересом осматривается по сторонам. Как все туристы. Ему не хватает лишь болтающегося на шее фотоаппарата.

Он идет обратно. Поравнявшись с музеем, нажимает у наручных часов кнопку секундомера. Неторопливо прогуливается вдоль улиц, мощенных булыжником.

На окраине города он выбирается на шоссе. Движение стало оживленнее.

Издалека видна одиноко стоящая на опушке леса ива. В тридцати шагах от нее в придорожной канаве ветка.

Возвратясь на каменную дамбу, он останавливает секундомер. Сорок четыре минуты пятьдесят секунд.

Жара стоит нещадная. Киш сбрасывает брюки и майку. Солнце палит кожу. Плавки у Киша — темносинего цвета.

Карту Сентэндре он рвет на мелкие клочки и сжигает в пепельнице.

Достает судоходную карту Дуная и долго изучает ее, отгибая и загибая квадраты.

Киш поднимает якорь. Лодка медленно скользит вдоль дамбы. Минуя красный буй, выходит на судоходный фарватер. Киш отжимает рычаги скорости. Вот "Ласточка" уже поравнялась с мысом острова Сентэндре. Слева на горе возвышаются руины вышеградского замка. Широкой дугой Киш огибает круглый буй, обозначающий мель, и сворачивает в основное русло Дуная.

Берега отдаляются, водный простор становится шире. Теперь уже течение помогает моторам. За "Ласточкой" тянется ровная полоска пены.

Киш принимает на себя рычаги скорости. Волны с умеренной силой ударяют о корпус лодки.

У отметки 1685-го речного километра черные буйки оттесняют суда к левому берегу. Йован Киш сбрасывает скорость до двух тысяч оборотов и пересекает русло, направляясь к правому берегу. Прибор показывает четырехметровую глубину. Затем трехметровую.

Лодка находится в пятнадцати метрах от острова Компкётэ. Согласно карте, у его южной оконечности большая глубина. Берег вздымается из воды почти отвесно.

У мыса острова Киш поворачивает лодку и снова идет против течения. Моторы натужно пыхтят.

Киш внимательно осматривает берег. Деревья, плотные заросли кустарника, бурьян по пояс.

В бинокль он дважды прочесывает остров.

Ни души.

Течение здесь сильное.

В одном месте у берега острова над водой свисает огромная ива. Подмытые корни ее словно цепляются за Дунай. Йован Киш привязывает причальный конец к корню ивы толщиной в руку.

Он выжидает десять минут. Время от времени подносит к глазам бинокль. Метр за метром исследует остров. И противоположный берег тоже.

Нигде ни души.

Киш достает две удочки. Насаживает приманку. Удочки прикрепляет к бортовым перилам лодки.

Облачается в комбинезон и спортивные кеды. Лицо густо смазывает средством против комаров. На руки натягивает бумажные перчатки. Из ящика с инструментами берет саперную лопатку.

Крапива и сорняки доходят до пояса. Киш осторожно раздвигает кусты, чтобы ненароком не сломать ветку.

Потревоженные его появлением комары тучами вьются над головой и нещадно кусают. Не помогают ни комбинезон, ни противокомариное средство.

Йован Киш не пытается их отгонять: знает, что это бесполезно.

В пятидесяти метрах от берега стоит клен в обхват толщиной.

Йован Киш снова подносит к глазам висящий на шее бинокль и пядь за пядью прощупывает взглядом весь остров.

Нигде ни души.

Бинокль он кладет у подножия клена.

Теперь, если кто-то пойдет, Киш услышит шаги. Со стороны реки его не видно.

Киш начинает копать. Работает спокойно, не спеша.

Комары впиваются в кожу. Пот струится по лицу, стекает из-под мышек, едко щиплет в паху.

За полных четыре часа Киш управляется с работой. Каждые десять минут делает короткий перерыв. Не передохнуть, а прислушаться.

Лишь комары звенят над ухом, да где-то размеренно стучит дятел.

Яма получилась правильной формы. Киш дважды вымеряет ее. Вынутую землю он складывает кучкой.

Теперь место это можно будет отыскать даже в темноте.

Пот разъедает кожу, нестерпимо зудят комариные укусы.

Киш прикидывает направление от клена до ивы на берегу.

Ориентиры эти он запоминает накрепко.

Комбинезон, спортивные туфли, лопату и перчатки он складывает в полиэтиленовый мешок. Посреди Дуная останавливает моторку. Киш опускает в воду прикрепленную к корме лесенку и погружается в волны по пояс. Ждет, пока охладится разгоряченное тело.

Минут двадцать он плавает вокруг медленно дрейфующей на воде "Ласточки".

Когда он вновь поднимается в лодку, кожа зудит уже не так сильно. Правда, комариные укусы все еще дают о себе знать. Киш не притрагивается к болезненным местам.

Рано пополудни он переодевается в неяркие голубые джинсы, темно-синюю шелковую рубашку и синие парусиновые туфли.

В переброшенную через плечо холщовую сумку Киш складывает плавки, полотенце, мыло, расческу, одеколон, пляжные сандалии, купальный халат.

Тело все еще горит.

Автобус набит битком. Киш не любит толкучку. Его раздражает запах пота.

Он забивается в угол на площадке автобуса. Здесь тоже очень душно.

Недалеко от него стоит рыжеволосая девушка. Шею ее охватывает тонкая золотая цепочка с крошечным рубином.

Девушка смотрит в окно.

Взгляд Йована Киша неотрывно прикован к затылку девушки. Глаза у него голубые, как фарфор.

Он знает, что девушка чувствует его взгляд.

Девушка оборачивается. В глазах ее любопытство.

Йован Киш ухмыляется. Девушка потупляет глаза, затем отвечает Кишу взглядом.

Их разделяют три шага.

Йован Киш не двигается. В упор смотрит на девушку. Глаза у него — фарфоровой голубизны.

Девушка пробирается к двери. Нажимает кнопку, давая понять, что намеревается выходить.

Йован Киш не двигаясь стоит в углу площадки.

Рыжеволосая дважды оборачивается и смотрит на него. На остановке она всех пассажиров пропускает вперед. Сойдя на ступеньку, девушка оглядывается еще раз.

Йован Киш ухмыляется.

Автобус едет дальше.

Киш доволен своей шуткой.

Он выходит из автобуса у острова Маргит и пешком идет до бассейна. По обеим сторонам дороги бордюр пунцовых цветов.

Перед кассами бассейна змеится очередь в сотни людей. Солнце печет безжалостно.

Йован Киш огибает одну из очередей. Подходит к кассе как раз в тот момент, когда человек у окошечка получает билет. Следующему посетителю Киш преграждает дорогу. Он просовывает в окошко продолговатое удостоверение в черной обложке. Раскрывает его. Лежащая там стофоринтовая банкнота падает на колени кассирше.

— Кабинку, пожалуйста.

Киш с ухмылкой машет удостоверением перед удивленной кассиршей.

У стоящих в очереди не остается ни секунды времени, чтобы возмутиться.

Йован Киш расстилает свой синий купальный халат на чахлой траве. Вот уже третью неделю нет дождя. Трава вся пожухла.

Он кладет мешок под голову и засыпает на четверть часа. Только по ночам он не может спать без снотворного.

Когда Киш просыпается, времени ровно четыре часа.

Жара почти не спала. Из репродукторов гремит оглушительная танцевальная музыка. Пляж переполнен до отказа. В бассейне — яблоку негде упасть.

Йован Киш потягивается. Халат перебрасывает через плечо. Сует ноги в сандалии и направляется к северо-восточному концу пляжа. Идет, осторожно переступая, чтобы не задеть загорающих. Движется он мягко, как кошка.

Нужного ему человека он замечает издали. Тот устроился в самом углу у забора, на широченной желтой

купальной простыне. Весь он с головы до пят блестит, густо намазанный кремом для загара.

Йован Киш останавливается. Смотрит по сторонам, долго и внимательно. Изучает каждого, кто расположился поблизости от коренастого мужчины с пролысиной.

Киш расстилает свой синий халат возле желтой простыни.

— Разрешите?

— К сожалению, я не знаю венгерского, — отвечает коренастый по-сербски.

Йован Киш ухмыляется.

— В таком случае мы с вами соотечественники. Йован Киш, из Белграда.

— Милан Давчек. Тоже из Белграда.

Несколько минут они беседуют о погоде. До чего же невероятная жара, даже к ночи не спадает. Для июня это необычно.

И надо же быть такому любопытному совпадению, чтобы два белградца встретились именно здесь, в Будапеште, на острове Маргит. На пляже бассейна "Палатинус".

Справа от них развлекается парочка: молодые люди щекочут друг друга. Девица взвизгивает. Слева похрапывает на циновке мужчина лет семидесяти. Он лежит на спине, живот его равномерно вздымается и опадает.

Милан Давчек с готовностью соглашается распить за знакомство стаканчик-другой в ресторане "Гранд-отеля" поблизости. Тем более, что выясняется: Йован Киш — заядлый рыбак. А для Давчека рыбная ловля — услада жизни.

— Я ведь с этим делом, начальник, давно завязал, — заявил Милан Давчек, когда четыре месяца назад Йован Киш подсел к нему в одном белградском кафе.

Было утро. В зале, оклеенном желтыми обоями, были заняты всего два столика.

Киш шел вслед за Давчеком от самого дома.

— Я тоже, — сказал Йован Киш. — Вам это хорошо известно.

Коренастый лысеющий Давчек считался у полиции техническим гением по части охранной сигнализации.

Посадить его удалось всего три раза.

Сейчас Давчеку было пятьдесят два года. Все в городском управлении полиции понимали, что на его счету далеко не три взлома.

К тому времени, когда Йован Киш подсел к нему за мраморный столик, Давчек уже четыре года гулял на свободе. Квалифицированный электротехник, он зарабаты-

вал на инструментальном заводе больше, чем любой из специалистов одной с ним профессии. Работу его ценили очень высоко.

— Судя по всему, завязал, — удивлялся капитан Ловчен.

Он никак не мог поверить, что Милан Давчек ступил на стезю добродетели. Время от времени приставлял к нему агента последить.

Но тщетно.

Давчек отрабатывал на заводе свои восемь часов, ходил на футбольные матчи и в кино, пропадал на рыбалке. Каждый день по полчаса прогуливал свою мамашу. Два раза в неделю ужинал в корчме "У старого баркаса". Со знанием дела выбирал для себя рыбные блюда.

Ни с кем из преступного мира связей не поддерживал.

Йован Киш тоже не верил, будто Давчек окончательно исправился. Он знал, что при ограблении, за которое Давчек получил пять лет, пропали драгоценности на сумму десять миллионов динаров. Поймали тогда сопляка мальчишку, который стоял на стреме. Он-то и заложил Давчека. Однако добыча исчезла бесследно.

Йован Киш знал также, что три недели назад у Давчека умерла мать. Лысый взломщик в матери души не чаял. Каждый день покупал ей в кондитерской пирожные. Старуха обожала сладости и была не в меру толста.

Все это, разумеется, знала и полиция. Только не сумела прийти к выводу, какой сделал Йован Киш.

— Кругленькая сумма дожидается вас в Австрии, — сказал Киш, когда они сидели в кафе.

Давчек и глазом не моргнул, лакомясь рисовым пудингом со взбитыми сливками. Он тоже любил сладкое.

— Не пойму, о чем это вы толкуете, начальник.

Киш должным образом оценил такую невозмутимость.

— Я мог бы сказать: в Италии. Но я говорю: дожидается в Австрии.

Милан Давчек не удостоил его ответом.

— Я раздобуду вам паспорт.

Давчек вскинул на него глаза. Лицо его было спокойно.

— Если подать прошение, вероятно, я получу паспорт.

— Вероятно. Ну, а если нет?

Давчек снова погрузил ложку в рисовый пудинг.

— Завязал я, начальник.

Йован Киш взял у него ложечку. Зажал между большим и указательным пальцами и стиснул. Стальная ложка со звоном переломилась.

— Когда попадешь в Австрию, тогда и завяжешь.

Доля Давчека составляла два миллиона. Плюс проценты. Знал Киш и название банка. Информация у него была точная.

У Милана Давчека была одна слабость: юные мальчики.

Такая страсть стоит денег. И траты эти с годами растут.

Разумеется, полиции об этом тоже было известно. Однако гомосексуализм не карается законом. И Давчек тратил не больше, чем зарабатывал.

Правда, сам Давчек понимал, что скоро его заработка не будет хватать на мальчиков.

— И какова цена?

— Небольщая помощь. По пути. В Венгрии.

— Сейф?

— Это уж не твоя забота. Дело — абсолютный верняк, а провернуть его для тебя пара пустяков.

— Каждому кажется, будто его дело — абсолютный верняк, — возразил Давчек.

Йован Киш согласно кивнул.

— Только на сей раз парадом командую я.

Милан Давчек встал. Подошел к столику с приборами. Взял себе ложечку. Снова сел за столик и принялся доканчивать пудинг.

— Я хочу покоя.

Йован Киш охотно поверил.

— Если мы поладим, покой тебе обеспечен.

— Заметано, — кивнув, сказал Милан Давчек.

Он не выказал ни тени удивления. А между тем про банковский счет в Вене, кроме него, знали только двое. И еще этот, что сидел рядом с ним. Майор уголовной полиции. Бывший.

Милан Давчек немало повидал за свою жизнь. Он привык ничему не удивляться. И держать язык за зубами. Это умение было неотъемлемой частью его профессии.

— Все в порядке? — интересуется Давчек, когда они уже сидят на террасе ресторана "Гранд-отель".

Даже лысина у него вспотела. Клетчатым носовым платком он вытирает лицо.

Жара по-прежнему не спадает.

Йован Киш утвердительно кивает. Рассказывать Давчеку о досмотре на границе он считает излишним.

Киш заказывает кампари. С лимоном, содовой и со льдом. Давчек берет лимонад. Он не пьет алкогольные напитки.

— А у вас?

Давчек кивает. Печать в его паспорте пограничники шлепнули механически, как и всем прочим пассажирам.

По дороге с пляжа до "Гранд-отеля" Киш несколько раз оборачивается.

Слежки за ними нет.

Народу на террасе полно. Столики затенены пестрыми тентами. Йован Киш внимательно изучает соседей.

Ему не хочется переходить на шепот.

Если кто-нибудь прислушается к их беседе, он услышит следующее:

— У меня имеются запасные удочки. Охотно одолжу их вам.

— Вы очень любезны.

— Я всегда прихватываю с собой про запас. Лодка большая, места хватает.

— Правда, я ехал сюда не на рыбалку, а просто отдохнуть. Но посидеть с удочкой... такое удовольствие ни на что не променяешь.

— Однако не хочу обнадеживать. В этих местах клев неважный.

— Как-то раз у Земуна я поймал шестнадцатикилограммовую щуку. Даже фотография была в газете для рыболовов.

— Так я заеду за вами в гостиницу?

— Спасибо.

— Можем осмотреть музей в Сентэндре. Знаете, это небольшой городок в двадцати километрах от Будапешта. В газетах пишут, выставка интересная.

— Я не очень-то разбираюсь в искусстве. Там что, картины?

— Мелкая пластика. "Маленькие скульптуры большого мира" — так называется выставка. Свезли отовсюду: из Египта, Мексики, Индии... Если верить газетам, каждая статуэтка не больше двух вершков.

— Что ж, можно взглянуть.

— За городом, вверх по течению, есть каменная дамба. Пожалуй, на закате что-нибудь да и попадется на крючок.

— А я люблю рыбачить в Грочке. Рыбаки говорят, там живет старый сом. Килограммов сорок, не меньше. Я за ним два года охочусь.

— Стоит разок попробовать закинуть удочки на пару.

В одиннадцать часов Йован Киш и Милан Давчек подходят к музею. За дверями небольшой вестибюль. В дальнем углу за обшарпанным столом — седенькая служительница. На столе разложены каталоги, цветные открытки с изображением художественных достопримечательностей городка.

— По два форинта с человека, — женщина протягивает входные билеты.

На плечи ее наброшена ручной вязки шаль. Несмотря на палящий полуденный зной, в музее царит приятная прохлада.

— Сначала пройдите налево. Там выставлено собрание индийской пластики.

В зале налево в стеклянных витринах красуются золоченые статуэтки Будды, Вишну, Кришны. В двух других залах египетские скульптурки из терракоты. Скульптурные изображения животных — реликвии цивилизации инков. Малайская резьба по слоновой кости. Изъеденные древоточцем средневековые распятия. Японские фигурки из полудрагоценных камней.

Ориентироваться в здании легко. Слева от вестибюля находится один зал, справа — два другие. Окна выходят на улицу. Двустворчатая дверь за спиной служительницы наверняка ведет во двор. Йован Киш знает, что квартира администратора расположена в глубине двора.

Вся эта выставленная дребедень не для Милана Давчека. Он изучает стены, систему электропроводки, выключатели.

Над дверями укреплены маленькие коробочки. Должно быть, самая примитивная конструкция.

Двенадцать лет назад Давчек размонтировал охранную сигнализацию в одном из загребских банков. Он провозился с ней шесть часов. А между тем у него была схема подключения. Чертеж тот до сих пор стоит у него перед глазами.

Полиции так и не удалось собрать против него улики. Лишь профессиональный почерк указывал на Давчека.

Милан Давчек чувствует себя оскорбленным. С такой ерундовой работой справится любой электромонтер. Это не его, Давчека, профессиональный уровень.

В углу дальнего зала горбится пожилой мужчина — в пиджаке, при галстуке. Пышные усы его с сильной проседью. Похоже, что он дремлет.

Йован Киш знает эту породу музейных смотрителей. Пенсионеры устраиваются на подобные должности ради приработка.

— Простите, где тут уборная?

Старик вовсе не дремлет. Просто голова у него свешена на грудь.

— Здесь, к сожалению, нет. На площади есть общественный туалет.

Йован Киш хотел попасть во двор, чтобы осмотреться. Ну да неважно. Наводчик вполне надежный.

Он еще раз осматривает витрины. Статуэтки прикрыты

пластинами из плексиглаза, привинченными к деревянным столам.

Ему еще ни разу не приходилось иметь дело с музеями.

Эти баснословной ценности безделушки заслуживали бы более тщательной охраны.

Осведомитель дал точную наводку. Не работа, а детская забава.

Киш оглядывается по сторонам.

Давчека уже и след простыл.

Конечно, есть некоторый риск в том, что они появились в музее на пару. Но Давчек не знает венгерского. Мужчину, говорящего по-сербски, легче запомнить.

— Всего наилучшего, — раскланивается он с седоволосой служительницей.

— До свидания, — кивает та.

Женщина даже глаз не поднимает от книги. "Война и мир" Толстого. От сцены, где описывается ранение Болконского, невозможно оторваться.

Книга взята в местной библиотеке.

— Детская забава, — говорит Давчек.

За "Ласточкой" тянется узкая полоска пены.

Йован Киш не отвечает. Он наслаждается быстрой ездой и негромким равномерным урчанием моторов.

— Тебе надо выспаться. Можешь спать днем?

— Спать я всегда могу.

— Со снотворным?

— Отродясь не глотал никаких таблеток.

Слева "Ласточку" обходит болгарский буксир. Он толкает впереди себя четыре баржи, груженные дровами. Поравнявшись с капитанским мостиком, Киш делает приветственный жест рукой. Рулевой машет в ответ.

Где-то этот буксир будет завтра, думает Киш.

Теперь он спокоен. Как всегда в предвкушении опасности.

— Зря заносишься. Двадцать лет назад я тоже не знал, что такое снотворное. А теперь принимаю каждый вечер.

Лицо Давчека блестит от крема для загара. У него очень чувствительная кожа.

— Со мной это исключено. Стоит мне ткнуться головой в подушку, и я готов.

Киш высаживает Давчека на берег. Затем выпивает три стакана красного вина. Жадно опрокидывает их один за другим. Ему необходимо выспаться.

Сейчас Киш предельно собран. Он любит это ощущение обостренной опасности.

Терпкое вино дурманит голову. Киш не закусывает.

Выпивает еще стакан. Дунай с монотонной стремительностью мчит свои воды. Киш откидывается на сиденье и смотрит на воду. Он выбросил из головы все мысли. Мускулы его расслаблены.

Таким вот и был прежний Йован Киш. Молодой. Тот, кого товарищи звали Волк-одиночка.

Он спит до шести вечера. Просыпается раньше, чем звонит будильник. Чувство времени не подводит его даже во сне.

Киш варит себе кофе. Двойную порцию. Распечатывает пачку "Мальборо". Прихлебывает горячий кофе. Глубоко затягивается сигаретой.

Приближается байдарка. Ребята усиленно работают веслами. Тренер на моторке надрывно выкрикивает команды.

После дневного зноя воздух приятно свежит.

Киш ест сыр и салями, ломоть за ломтем отрезает хлеба. Он проголодался.

Крошки бросает в воду.

Йован Киш достает рюкзаки. Из-под досок днища извлекает два легких алюминиевых ящика. Ящики выстланы толстым сукном.

Затем он вынимает из шкафа нейлоновый мешок. В другом мешке — приготовленные для Давчека комбинезон, спортивные туфли, перчатки. Все снаряжение новенькое, с иголочки.

В комбинезон Йована Киша вшиты два кожаных чехла. На бедре справа и под мышкой слева. Он рассовывает по чехлам ножи. Их остается про запас еще шесть. Лезвие у каждого ножа особой формы.

Любым из этих ножей Йован Киш с десяти метров может попасть в середину игральной карты. Десять попаданий из десяти.

Он очень долго отрабатывал бросок, чтобы добиться такой точности.

Капитана Кула с парашютом сбросили в партизанский лагерь. Тогда минул уже третий месяц, как Йован Киш ушел в горы. Даже настоящего обмундирования у него не было. Только убогое ружьишко. Ну и пилотка со звездочкой.

Четыре месяца назад он узнал, что все его родные расстреляны в Нови-Саде. Отец, мать, младшая сестра. Их выстроили на самом берегу Дуная, чтобы тела потом падали в ледяную воду. Но прежде их заставили раздеться. В пятнадцатиградусный мороз. Йована Киша бросало в озноб, когда он думал об убитых родственниках.

Отец его был человек покладистый. А мать — гордяч-

ка. Стоило детям чуть провиниться, и она по три дня не разговаривала с ними. И чтобы выпросить прощение, надо было поцеловать ей руку.

Йован Киш думал, что уж мать-то не дрожала, когда их расстреливали.

Разве что от холода.

Киш учился тогда на первом курсе белградского университета. Изучал право. Мертвых он увидел впервые, когда немцы бомбили Белград. Соседний дом накрыло прямым попаданием. Йован Киш откопал из-под развалин шестилетнюю девочку. Левая рука у нее была оторвана напрочь. У одной погибшей старухи не было головы. Тела покойников складывали в ряд вдоль мостовой.

Тридцать два трупа. Из всего дома никого не осталось в живых.

У Йована Киша было одно желание: убивать. Во сне его преследовали широко открытые голубые глаза погибшей сестренки. Товарищи трясли его за плечи, чтобы разбудить, — так страшно он кричал. Разбуженный, он лежал в темноте, дрожал от холода и видел перед собою глаза сестры.

Его одолевала потребность убивать.

Впоследствии он отправил на тот свет немало людей. Тогда ему уже перестала сниться сестра. Изредка он видел во сне застывшее лицо матери, красивое даже в смерти. Понапрасну Киш окликал мать во сне, она не отзывалась. В такие ночи он плавал в поту. Но кричать он перестал.

Роту выстроили на поляне. Капитана Кула сопровождали командир и переводчик. Волосы у капитана были светлые, а голова маленькая, птичья.

Он был легче Киша килограммов на десять. Но их первое единоборство длилось минуты две. Йован Киш не успел опомниться, как удар ребром ладони сразил его.

На мгновение в глазах у него потемнело.

Капитан Кул был одет в форму британской армии. На видавшем виды мундире — ленточки наград. Поговаривали, что до этого он орудовал в пустыне. Как зародился этот слух, не знал никто. Капитан Кул никогда не рассказывал о себе.

Он отобрал из их роты пять человек. Из других рот он тоже отбирал людей. Прищурясь, долго вглядывался в человека. Затем шел дальше. Или делал знак избраннику выйти из строя.

Йовану Кишу долгие месяцы не представлялось возможности убивать. Они тренировались по четырнадцать часов в сутки. Капитан Кул обучал их распознаванию сле-

дов, шифрованию, умению маскироваться, подрывному делу, приемам рукопашного боя.

Первым делом он выбивал из них чувство страха.

— Солдату бояться можно, — говаривал капитан Кул. — Это не мешает ему быть хорошим солдатом. Но если трусит разведчик, ему конец.

— Двое с пистолетом против тебя одного — это ерунда. При достаточной сноровке даже троим или четверым с тобой не справиться. Никогда не забывай: перед тобой солдаты. Они только и умеют, что нажимать на спусковой крючок.

Пистолет он ни во что не ставил. Так, забава. Годится разве что припугнуть. Или стрелять в упор.

То ли дело винтовка или карабин с оптическим прицелом! Из такого оружия можно за пятьсот метров прострелить плечо.

Тот, у кого прострелено плечо, не сможет обороняться.

В ту пору на весь партизанский отряд не было ни одного карабина с оптическим прицелом.

С автоматом надо держать ухо востро, учил капитан Кул. Из автомата в вас может влепить заряд даже самый бездарный вояка. Ну, разумеется, на небольшом расстоянии. Ваша задача — провоцировать его, заставить расстрелять всю обойму. Тогда он на тридцать секунд окажется беззащитным. А за это время разведчик управится с ним даже голыми руками.

— Но то разведчик, — подчеркивал капитан Кул. — Не вам чета.

Он усадил на поляне троих бойцов. У каждого — кобура у пояса. К тому времени Йован Киш тоже обзавелся обмундированием по всей форме.

Парни заметили Кула, когда он был от них в четырех шагах. Первого он сразил ударом по затылку. Молодой македонец свалился, как подкошенный. Глаза его невидяще уставились в небо. Йован Киш выхватил было пистолет, но получил удар по руке. Рукой он больше не владел: точно на ней повис тяжелый мешок с песком. У третьего Кул вышиб из рук пистолет, ударив бойца головой в поддых.

— Быть разведчиком — это профессия, господа, — поучал капитан Кул. — Это ремесло. Ему надо учиться. А для этого необходимо все время упражняться. Постоянно. Как в скрипичном искусстве. Если скрипач перестает упражняться, ему конец.

После того на поляне уселся сам капитан Кул. Оружия у него не было. Он сидел и покуривал.

Йован Киш подкрался к нему сзади на расстояние

прыжка. И тут с головы у него слетела пилотка со звездочкой.

Киш не видел, откуда у капитана появился нож. Да и движение, каким тот метнул его, было почти неуловимым.

— Конечно, при других обстоятельствах нож пойдет ниже, — сказал капитан Кул.

Он безоговорочно высказывался за нож.

— Оружие бесшумное. С десяти метров попадание гарантировано. Целить нужно в поддых. Чтобы нож не скользнул по ребру. Ну и еще одно немаловажное преимущество, — добавил капитан. — Если в случае провала найдут пистолет, считай тебе крышка. Ну а если найдут нож... Господи, тут всегда можно вывернуться. Мало ли для чего человеку нужен нож!

Боеприпасов к нему не требуется. И упражняться в метании можно где угодно.

Впрочем, у капитана тоже был пистолет. Длинноствольный "кольт". Но он никогда им не пользовался.

На первую операцию он взял с собой четверых из них. Шестьдесят километров они отшагали за полтора дня. По горным тропам, напрямую. И скрытно, стараясь не оставлять следов.

Склад с боеприпасами был обнесен колючей проволокой. У ограды нес вахту часовой с автоматом.

Капитан сделал Кишу знак глазами.

В руках у него был автоматический пистолет.

Йован Киш за пять минут подобрался к часовому. Полз на животе, чуть двигая локтями и коленями.

Он ощутил обостренное чувство опасности — с тех самых пор развилась в нем неистребимая тяга к этому чувству. Словно бы и не по земле он тогда полз, а пробирался сквозь Опасность.

Когда часовой отвернулся, он ударил его по затылку. Тем самым движением, которое они отрабатывали сотни раз. Немец упал; Киш наступил ему на горло. Под толстой подошвой башмака хрустнула гортань.

Йован Киш не раздумывал. Он работал, профессионально делал свое дело. Вонзил нож в сердце и почувствовал, как тело конвульсивно дрогнуло у него под ногой.

Капитана Кула прикончила ручная граната, когда он вместе со своей группой напал на штаб немецкой дивизии. Из развороченного живота вывалились кишки.

Партизаны принесли его тело в лагерь.

Похоронили его, как других. Без гроба. Зарыли в каменистую землю.

После победы останки капитана Кула выкопали и отправили на родину. В Англию.

Йован Киш ни разу не был в Англии. Могилы капитана Кула не видел. Он даже не знал его подлинного имени.

В планшете капитана Кула нашли завещание. Свой "кольт" он оставил Йовану Кишу. К нему было четырнадцать патронов.

Из этого длинноствольного "кольта" Киш убил четырех немцев. Но вообще он предпочитал действовать руками. Или ножом.

К музею они подходят после полуночи.

Небо заволокло тучами.

Погода подходящая, думает Киш.

В темноте у него обостряется слух.

Где-то поблизости, в одном из домов бьют часы.

Когда они карабкаются на холм, Давчек с хрипом втягивает воздух в легкие.

Навстречу ни единого человека. Света в окнах не видно. Городок погрузился в сон.

Киш и Давчек оба в серых комбинезонах, в темно-синих спортивных туфлях.

Подойдя к музею, они надевают черные нитяные перчатки. На голову натягивают черный чулок, а поверх туфель — нейлоновые мешочки. У щиколоток их стягивают резинками.

С замком входной двери Давчек справляется за двадцать секунд. Петли ходят без скрипа.

Молодцы хозяева, думает Киш.

Давчек закрывает за ними дверь.

Вдоль стены они пробираются к квартире администратора. Киш нажимает на ручку двери. Дверь открывается. Бесшумно.

Ах, молодцы хозяева, думает Киш.

Йован Киш включает фонарик. Справа от прихожей, должно быть, находится кухня. Рядом с кухней — ванная. Следующая дверь ведет в столовую. Или в спальню.

Киш не знает, сколько комнат в квартире.

Пол скрипит у него под ногами, но он не обращает внимания. Он входит в комнату. Стол, четыре стула, буфет. В дальней стене еще одна дверь.

Значит, спальня там.

Узкий луч фонарика выхватывает из темноты коричневую двуспальную кровать. Киш слышит позади взволнованное сопение Давчека.

С левой стороны в постели спит седовласая служительница, у которой они покупали входные билеты. Лицо ее безмятежно.

Йован Киш направляет луч фонарика в сторону окна. Жалюзи опущены.

Он включает электрический свет.

Администратор, подслеповато моргая, садится в постели. Сонно трет глаза. На нем белая ночная рубашка.

Женщина не встает. Она натягивает одеяло до самого подбородка.

— Молчать! — цыкает Йован Киш. — Будете вести себя тихо, никакого вреда вам не причиним.

Он достает из кармана комбинезона капроновый шнур и связывает женщину, стараясь не слишком сильно затягивать узел. Рот женщины он залепляет лейкопластырем.

Давчек тем временем становится рядом с администратором. Киш знает, что на него нельзя рассчитывать. Работа не по его профилю.

У старика рот, как у сома. Усы провисли книзу. Редкие волосы взъерошены со сна.

Киш приставляет ему к горлу нож.

— Где находится охранная сигнализация?

Старик молча моргает. Киш нажимает на нож. Глаза администратора округляются от ужаса.

— Где сигнализация?

Старик взвизгивает и в страхе сдергивает с Йована Киша черный чулок.

Киш ударяет администратора по горлу. Ребром ладони.

Старик хрипит и плашмя валится в постель.

Йован Киш хватает его за горло. Обеими руками. Сдавливает шею. Вполсилы. Минуту спустя ослабляет хватку. Старик со свистом втягивает воздух.

Киш слышит пыхтение Давчека.

— Где сигнализация?

— В прихожей, — сипит старик.

Голос у него пропал.

Щит сигнализации Милан Давчек обнаруживает у двери. Отверткой вывинчивает шурупы, удерживающие крышку. Минуты две изучает устройство.

Такой простой схемы он сроду не встречал.

Это обстоятельство заставляет его нервничать.

Работает он очень осторожно.

Впрочем, он всегда работает осторожно.

Киш тем временем связывает администратора. Точно так же, как его жену. Залепляет ему пластырем рот.

Черный чулок он больше не натягивает на голову. Теперь уже бесполезно.

За два часа они извлекают из витрин все статуэтки. Киш бережно обертывает каждую из них ватой и укладывает в алюминиевый ящик. Ящики запихивают в рюкзаки.

— Жди у входной двери, — он протягивает свой рюкзак Давчеку.

Лысый весь взмок. Йована Киша передергивает от запаха пота.

Он хватает Давчека за плечо. Сдавливает так, что суставы хрустят. И с силой толкает к выходу.

Лысый, зажав в руках оба рюкзака, спотыкается. Йован Киш снова хватает его за плечо. Но на сей раз просто чтобы тот не упал.

Милан Давчек выходит.

Согласно инструкции, полицейскому разрешается убивать лишь в случае крайней необходимости.

Йован Киш усвоил в горах другое правило.

Там убивать было нужно, как только представлялась такая возможность.

Йован Киш убил немало людей. Целил из автомата в живот. Левой рукой придерживал диск, чтобы ствол не подбрасывало при стрельбе.

Нож — другое дело. Тогда он кончиками пальцев чувствовал конвульсии. Слышал предсмертный хрип.

Жандармы, должно быть, не слышали предсмертного хрипа его сестренки. Говорят, они были пьяны. Расстреляв обойму, всякий раз отхлебывали из бутылки.

Йован Киш никогда не убивал спьяну.

Вдоль берега Дуная выстроилась цепь вооруженных жандармов. Перед ними — раздетые донага жертвы.

Йован Киш всегда убивал только вооруженных людей. Тех, кто мог бы убить его самого.

Стопроцентная гарантия, говорил капитан Кул. Всегда старайтесь действовать наверняка.

— Хотя, конечно, сто процентов удачи — всего лишь идеал, — добавлял он.

С тех пор как кончилась война, Йован Киш порешил одного грабителя-убийцу — тот первым выстрелил в него, но попал в ватный подплечник пиджака.

Ну, и еще двоих.

Если бы существовала стопроцентная гарантия, то не существовало бы опасности.

Йован Киш выключил в спальне электричество. При свете фонарика он видит старческое лицо администратора. На губах у него сбился пластырь: он явно пытался кричать.

Киш набрасывает одеяло на голову старика.

Накрывает с головой и женщину.

Ему легче будет, если они не увидят.

Киш знает это.

Знает очень хорошо.

Сердце женщины бешено колотится. Одеяло на груди судорожно вздымается и опадает.

Йован Киш ударяет ножом.

Тело женщины выгибается дугой. Затем обмякает.

Йован Киш вытаскивает у нее из груди нож. Обходит двуспальную кровать. Сдергивает с головы администратора одеяло. Ребром ладони рубит по сонной артерии.

Он знает, что старик сейчас ничего не чувствует.

Не чувствует, как нож входит под ребра.

Киш сдергивает одеяло с лица женщины.

Глаза ее остекленели.

Она так и не узнает, что сталось с Болконским.

Киш огибает постель.

Старик лежит, уставясь взглядом в потолок. Морщины на его лице словно бы разгладились.

Йован Киш знает, что глаза старика уже слепы.

За свою жизнь он перевидал немало мертвецов.

Данило Вуичич прятался вместе с ним за скалой. Они замерли, ничком уткнувшись в землю. Их хлестали очереди двух вражеских автоматов.

Пули пестрили скалу мелкими выбоинами.

Естественным желанием было втиснуться, зарыться в землю.

Дзынь — дробью осколков отозвалась на выстрелы скала.

Похоже, опять пронесло, подумал Киш.

Поднять голову он не решался. Осторожно повернулся лицом в ту сторону, где укрылся Вуичич.

Данило Вуичич неподвижным взглядом уставился в небо. Погода стояла ветреная. Тучи гнались по небу друг за дружкой.

Но Данило туч уже не видел.

Ничего он больше не видел.

В лоб ему впился осколок камня. Край осколка торчал наружу.

Йован Киш тщательно вытирает нож об одеяло. Затем прячет нож в карман на кожаной подкладке.

С отцом он ни разу не встречался во сне. Отец преподавал географию в гимназии. Фамилия у него была венгерская, но сам он считал себя сербом. По законам географии, родина человека там, где он живет.

Йован Киш всегда следил за глазами противника, которого убивал. Он знал, в какой момент застывает взгляд.

Пускать в дело автомат он не любил. Тогда не видишь глаз жертвы.

Йован Киш шесть раз был ранен. И всякий раз пуля задевала его по касательной.

Но боль была нестерпимой.

Киш берет свой рюкзак у Давчека.

Он чувствует, как лысый взломщик весь обливается пòтом.

Киш головой делает ему знак в сторону двери.

Давчек не двигается с места.

Облака на небе рассеялись без следа. Светит луна.

Лицо Милана Давчека покрыто крупными каплями пота. Глаза испуганные.

— Что вы с ними сделали?

Йован Киш молча указывает на входную дверь.

Давчек открывает дверь.

Теперь руки его не дрожат.

За сорок четыре минуты они добираются до берега Дуная. Киш высчитал время по секундомеру.

Городок спит крепким сном. Дует слабый ветерок. Северо-западный.

— Надо запаять ящики! — говорит Киш.

К тому времени они уже успевают выбраться на речной простор.

Давчек подключает паяльник к аккумулятору. Йован Киш видит, как пальцы его ходят ходуном.

— Поторапливайся.

Паяльник негромко потрескивает.

— Готово?

— Вы не имеете права впутывать меня в такое дело.

Пот с Давчека льет в три ручья.

Он срывает провода с аккумулятора и бросает в воду.

Йован Киш резко дергает на себя рычаги скорости. Нос лодки задирается кверху. Давчек, не удержавшись, падает ничком.

Киш поворачивается на вертящемся сиденье у штурвала.

В ноздри шибает резкий запах пота.

Киша с души воротит.

Фарфорово-голубые глаза его холодны.

— Тридцать лет я занимаюсь этим ремеслом, — хрипит Давчек. — Но крови не нюхал. Ясно?

Йован Киш закуривает сигарету. Глубоко затягивается. Ему хорошо видно искаженное страхом лицо Давчека.

— Знаешь, скольких людей я отправил на тот свет?

Лысый не отвечает. Пот с него катится градом.

Йован Киш ухмыляется.

— Сам сбился со счета.

Он переводит вперед рычаги скорости. Медленно, постепенно, как и положено по правилам.

— Вот что я тебе скажу...

Йован Киш встревожен. Но голос его звучит спокойно.

— По-моему, тебе нет смысла увеличивать число безвестных покойников.

Когда в Белграде после войны открывали памятник Неизвестному солдату, Йован Киш стоял в почетном карауле.

Сверкающие сапоги, новехонькая, с иголочки, форма. Левая рука опущена на диск автомата, правая — на приклад.

Не шелохнувшись, замер он у сине-желтого языка пламени.

Многие тысячи людей проходили мимо него.

Советский буксир тащит за собой шесть барж.

Его прожектор ярко высвечивает "Ласточку".

Йован Киш отвечает музыкальной фразой из "Кармен".

Буксир отзывается ревом сирены.

Горы гвоздик, роз, хризантем.

Киш, не шелохнувшись, стоял в почетном карауле.

Оба ящика как раз помещаются в вырытой яме.

Йован Киш вымерял точно.

Рукой в перчатке Киш поправляет холмик. Словно на могиле своих боевых товарищей.

Следы свежевыкопанной земли легко различимы. Но маловероятно, чтобы кто-нибудь забрел сюда ненароком.

Комары ночью не докучают.

Прежде чем сесть в лодку, они раздеваются. Йован Киш складывает в нейлоновый мешок комбинезоны, обувь, перчатки, чулки. Нож бросает в воду. Мешок пропарывает в нескольких местах. Перед тем как завязать его, сует внутрь отработанный генератор. Теперь мешок пойдет ко дну.

На середине реки он швыряет мешок в воду. Тот моментально уходит вглубь.

Волосок, отпечаток обуви, комок земли — все может навести на след. Это вещественные доказательства.

Стопроцентная гарантия, говаривал капитан Кул.

Если бы существовала стопроцентная гарантия, капитан остался бы в живых.

Йован Киш прекрасно понимает это. И все же требует с самого себя стопроцентной гарантии.

Чуть светает, когда Йован Киш направляет "Ласточку" к берегу.

Он не включает бортовые огни, не пользуется прожектором. Приглядываясь к контурам деревьев, он словно бы ощупью подбирается к берегу. Когда Киш был здесь в первый раз, он в точности запомнил это место.

Киш бросает якорь. В бинокль долго изучает берег,

после чего ложится в каюте рядом с плавающим в поту Давчеком. Запах пота вызывает в нем отвращение.

Во время войны они зачастую не мылись неделями.

Нечем было мыться.

А как-то раз он целую ночь просидел, зарывшись в навозной куче.

Он знает, что Давчек не спит на другом краю широкой постели. Знает, что тому не терпится поговорить с ним.

Но Йовану Кишу не хочется говорить с Давчеком.

— Начальник, — окликает его Милан Давчек.

Киш не отзывается.

— Я же знаю, что вы не спите.

— Чего тебе?

— Смываемся сегодня?

— Смоешься, когда я скажу.

— Какого черта тянуть? Пока тут очухаются, мы уже будем в Австрии.

Йован Киш планировал именно так. К утру добраться до австрийской границы. Расследование к тому времени только-только начнется.

Но он убил двоих.

Это не входило в его планы.

— Спи давай.

Самому Кишу не до сна.

— Скажите хотя бы, чего мы ждем.

Йован Киш закуривает сигарету. Пепельница желтой меди стоит на полочке у него над головой.

— Ты ведь не собираешься возвращаться.

Это не вопрос — утверждение.

— А я намерен вернуться домой.

Йован Киш глубоко затягивается. Огонек сигареты высвечивает лоснящееся от пота лицо Давчека.

— Полиция первым делом заинтересуется теми, кто махнул через границу сразу после убийства.

Сейчас бы не помешало опрокинуть стаканчик. Но ему не хочется выходить из каюты.

— Я не желаю оказаться в этом списке. И вообще не желаю фигурировать в каком бы то ни было списке.

Киш вынужден говорить. Необходимо успокоить Давчека.

— Через два дня мы снова отправимся на рыбную ловлю. Затем порыбачим еще разок. Мы нигде не наследили. Ты и сам это знаешь. А через неделю смоемся. Тогда я не попаду ни в какой полицейский список.

Сигарета догорает до самых ногтей. Ночной сумрак за окном редеет. Йован Киш нервничает. Если бы они управились часом раньше, у него сейчас вовсе не было бы забот с Давчеком.

— Я лично смываюсь, — заявляет Давчек.

Кишу хотелось бы закурить еще одну сигарету. Но он не закуривает. Лежит, не двигаясь.

— Твоя воля. Но и я волен позвонить в Управление полиции Белграда. По коду. И назвать им номер счета в одном венском банке.

Давчек садится в постели. Пот с него льет градом.

Каждый человек перед казнью потел. Одни кричали. Другие принимали смерть молча. Но каждый обливался пóтом.

— Я ведь тоже могу назвать им одно интересное имечко.

Йован Киш улавливает в голосе Давчека упрямство. И бьет не задумываясь. Из лежачего положения, назад, метя Давчеку в шею.

Давчек валится на постель. В глазах у него темно.

— Возможен и такой вариант: однажды на рассвете тебя найдут в каком-нибудь закоулке Вены, — слышит он голос Йована Киша. — С перерезанной глоткой.

Милан Давчек вырос в преступном мире. Отец его был знаменитым белградским карманником.

Вся жизнь его прошла среди уголовников.

Он не знал, что такое страх.

А сейчас он боится.

— Внимательно присмотрись к окрестностям, — говорит Йован Киш.

Он выходит из спального отсека. Наливает себе стаканчик белого рома.

Занимается рассвет.

"Ласточка" стоит в десятке метров от берега. Киш не случайно выбрал это место. С берега нельзя подобраться из-за густых камышей, а суда по ночам не ходят через этот узкий рукав Дуная.

Конечно, это не алиби. Но зато нельзя и опровергнуть, что они были здесь.

Если вообще полиция нападет на их след.

Йован Киш уверен, что это невозможно.

Хотя он прекрасно знает, что невозможного не существует.

— Ночь мы провели здесь. Ловили рыбу. Клева не было, и на рассвете мы пару часиков покемарили.

Давчек внимательно осматривается вокруг, стараясь запечатлеть в памяти все детали.

Ему страшно.

Профессией Йована Киша долгое время была охота на людей.

За ним тоже охотились.

Но вот уже несколько лет охота идет только за ним.

Киш чувствует, что стареет.

И все же необходимо вернуться домой. Без чувства опасности ему жизнь — не жизнь.

Йован Киш не может допустить, чтобы существовал хоть один человек, способный доказать, что стариков в музее убил он.

Йован Киш не намерен подыхать на виселице. Или в тюрьме.

Умирать в постели он тоже не хочет. На жесткой казенной койке. В белых больничных стенах.

Семья. Жена, дети... Тогда он согласился бы умереть дома. Если бы был близкий человек, проводивший его до порога смерти.

Все чаще он думает о смерти.

Прежде, когда он изо дня в день смотрел смерти в лицо, такие мысли его не занимали.

По этому признаку он и определяет, что стал стареть. Нет, он сам решит, когда и как ему умирать.

Закрывая глаза Данило Вуичичу, он осознал, что смерть бывает хорошая и плохая.

Осколок камня впивается в лоб. Одна секунда — и конец.

Смерть на виселице — тоже какие-то секунды.

Данило умер хорошей смертью.

Во второй половине дня Йован Киш отсыпается.

В шесть часов открывает глаза. Голова тупая, одурелая. Киш наливает себе стаканчик рома. Снова ложится в постель, выкуривает сигарету.

Бреется, принимает в мотеле душ. Вызывает по телефону такси.

Жена коменданта варит Кишу кофе. Мочки ее ушей оттягивают крупные золотые кольца серег. Киш целует ей руку.

Такси приезжает в восемь часов.

— Куда-нибудь в приличное место, — говорит Йован Киш. — Поразвлечься.

— Вас понял.

Шофер не гонит машину. Ведет спокойно, ровно. Дорогу окаймляют ряды тополей.

— Бар открыт до двух ночи. Программа — что надо.

Киш откидывается на сиденье. Он чувствует себя усталым.

— Есть там у меня одна знакомая девочка, — продолжает таксист. — Можно сказать, первый класс. Если желаете, познакомлю.

Киш не отвечает.

В баре работает воздушный кондиционер и царит по-

лумрак. Метрдотель провожает Йована Киша к столику в углу. Разумеется, в обмен на сотенную бумажку, сунутую ему в карман.

Отсюда виден весь зал. И танцевальная площадка, и эстрада.

Киш заказывает кампари со льдом и содовой.

Программа еще не началась. Оркестр под сурдинку ведет мелодию. Ударник, исполняя соло, подбрасывает вверх барабанные палочки.

Его награждают аплодисментами.

Глаза Йована Киша быстро привыкают к полумраку.

За соседним столиком сидит толстобрюхий господин средних лет в безукоризненно сшитом костюме с белым платочком в нагрудном кармашке. Справа от него стареющая дама с ниткой жемчуга на шее. Через проход — двое парней в джинсах. Они по-немецки обсуждают между собой предстоящую на завтра экскурсию в Хортобадь.

Позади них — в одиночестве за круглым столиком — платиновая блондинка. Наманикюренными пальцами она держит длинный мундштук слоновой кости.

Бар пока что заполнен не весь.

Метрдотель подводит к столику по соседству с Кишем молодую пару. На девушке белое платье с глубоким вырезом. Юбка едва прикрывает бедра. На юноше белая рубашка и белые брюки.

Йован Киш усмехается.

На нем тоже белая рубашка и белые брюки.

Остановившись перед девушкой, он сдержанно кланяется.

Развлекаться так развлекаться.

Девушка в белом платье улыбается ему. Перед тем как встать из-за столика, она делает глоток из своего бокала.

Юноша в белом тоже улыбается.

— Вы красавица, — говорит Йован Киш.

Музыка медленная, тягучая. Киша клонит в сон.

— А вы любезны. Или учтивы.

— Решайте же: любезен я или учтив?

— Пока еще не знаю.

— Жаль.

Сейчас следовало бы крутануть девицу. Или прижать ее к себе.

Йован Киш вяло держит ее в объятиях.

— Жаль, — повторяет он. — Я думал, что я вам любезен.

— Ведь это не одно и то же: любезны вы мне или любезны со мной.

Усталость как рукой сняло.

— Вам придется обучить меня подобным тонкостям. Я не до такой степени владею вашим языком. Ведь я не венгр.

Девушка удивлена. У нее карие глаза и темные волосы.

— Я — югослав. Точнее: отчасти хорват, отчасти венгр, а отчасти шваб.

— Ну а я отчасти венгерка, отчасти еврейка, а отчасти австрийка.

Оба смеются.

Йован Киш рад, что он способен смеяться.

Ударник опять подбрасывает вверх палочки. Судя по всему, он гордится этим своим умением. Вот он ударяет по тарелкам, и оркестр взрывается рок-н-роллом.

Йован Киш останавливается.

— Ну, для этого я слишком стар.

Девушка в белом смеется.

— Стар? Да вы могли бы пройтись в рок-н-ролле вокруг всего экватора.

— Возможно. Но я не хочу.

— Так бы и сказали.

Киш провожает девушку к столику.

— Мой старший брат, — говорит девушка в белом.

Йован Киш кланяется. Сухо, сдержанно, как метрдотель.

— Вы что, сговорились одинаково вырядиться? — смеется девушка.

— Присаживайтесь, если желаете, — улыбается юноша.

— Если желаю? Так ставить вопрос оскорбительно по отношению к твоей сестре, — говорит Йован Киш.

— Все же вы скорее любезны, а не просто вежливы, — отзывается девушка.

Оркестр грохочет во всю мощь.

— Кстати, вовсе не факт, что Йоцо мой старший брат. Возможно, он младше меня. Доктор утверждает, будто он родился на двадцать минут раньше. А мама запамятовала.

Йован Киш заказывает себе еще кампари. Близнецы пьют вино.

На эстраду выбегают шесть танцовщиц. Оркестр исполняет туш. Девицам удается почти синхронно задирать ноги.

Снова туш. Фокусник во фраке связывает узлом пестрые шелковые платки. Рывок, и платки разлетаются в разные стороны. Фокусник извлекает из цилиндра белого кролика и усаживает его на плечо, как попугая.

Туш.

Черный пудель вращает носом мяч в горошек.

Мария тоже танцевала в трико с блестками. В сорок

третьем, в одном из белградских увеселительных заведений.

Йован Киш ни разу не видел, как Мария танцует. Они познакомились в лесу. В командирской землянке.

Три дня она была его возлюбленной. Деревья кружились, как пьяные. От страсти плавились кости. Небо даже среди белого дня казалось усеянным звездами.

Затем Мария вернулась в Белград. В бар, где танцевала по вечерам.

Через две недели ее арестовало гестапо. И с тех пор она сгинула.

Все это Йован Киш узнал лишь после войны.

Киш опрокидывает пятый бокал кампари. Теперь он не чувствует усталости.

— Не желают ли друзья покататься на лодке?

Он уже перешел с ними на "ты", даже с девушкой.

Счет оплачивает Киш, такси — юноша в белом.

— Ах, какое чудо! — восхищается девушка. — Это и вправду твоя?

Киш открывает дверь каюты. Включает свет. Смешивает коктейль.

— Такой лодки я еще не видывал, — вторит юноша.

Близнецы удобно расположились на кормовом сиденье. В бокалах у них позвякивают кубики льда.

Киш медленно выбирается задним ходом от причала. Затем резко дает газ. "Ласточка" всем корпусом подскакивает.

Девушка в белом заливается смехом.

Лодка скользит под мостом Маргит. Справа — подсвеченная Будайская крепость. Слева — на куполе Парламента — рдеет звезда. Впереди сверкающая гирлянда Цепного моста.

Девушка стоит позади Киша, держась за его плечи.

— Ты ведь волшебник, я угадала?

Киш бросает взгляд на освещенную приборную доску.

— Да, конечно.

Он целует девушке руку.

Седовласая женщина под его рукой билась в конвульсиях.

Он не желает отгонять воспоминания. Если жить, так уж жить с воспоминаниями.

— Конечно же, я — волшебник, — кивает головой Йован Киш.

Майор Сабадош откидывается на спинку кресла за столом директора музея.

Жара стоит невероятная.

Рубашка у майора на спине вся пропиталась пóтом.

Врач и эксперты-техники уже закончили свою работу. Тела увезли.

Майор Сабадош не надеется найти отпечатки пальцев. Собака не взяла след. Жертвы были связаны рукой профессионала. Обоих прикончили одним-единственным, точным ударом ножа. Охранная сигнализация размонтирована.

Здесь поработали профессионалы. А профессионалы следов не оставляют.

— Знать бы только, почему их убили?

Старший лейтенант Гали не отвечает на вопрос. Он тоже не знает.

Майор Сабадош всегда докапывается до необъяснимого. То, что не поддается объяснению, означает ошибку в расчетах преступника.

Совершено ограбление музея. Администратор и его жена связаны. Рты залеплены пластырем.

До сих пор все понятно.

Но почему они были убиты?

Это не понятно.

Сабадош интуитивно чувствует: вся надежда на то, что преступники совершили ошибку.

— Возможно, жертвы увидели что-то, чего не должны были видеть, — рискует высказать предположение старший лейтенант Гали.

Старшему лейтенанту тридцать один год. Он настолько смуглый, что многие принимают его за цыгана. Хотя он не цыган. Отец у него — философ.

Майор Сабадош качает головой.

Нет, здесь работали так, что старики ничего не могли увидеть.

Сабадошу пятьдесят четыре года. Он даже при желании не сумел бы перечесть все случаи грабежей и убийств, расследованные им за долгую жизнь.

По всей вероятности, преступник действовал не в одиночку. Даже более чем вероятно, что он был не один.

В таких случаях начинайте расследование "от печки", поучал их старший группы. Если понадобится, проделайте это пять или десять раз. Сабадош тогда был новичком.

Майор Сабадош весит шестьдесят один килограмм. Его тонких светлых волос пока еще не коснулась седина. За день он выкуривает до полусотни сигарет. Иной раз даже больше.

Фактор времени. За то время, пока они заново проделают рутинное расследование, глядишь, что-нибудь еще произойдет.

Однако майор Сабадош на сей раз не верит в спаси-

тельный фактор времени. Сам не знает почему, но не верит.

— Кто там, в коридоре?

— Директор музея и эксперт, приглашенный из Будапешта. И музейный смотритель. Этот утверждает, будто заметил нечто подозрительное.

— Сколько ему лет?

— Под семьдесят.

Майор вытирает потный лоб.

Когда на улице машиной сбивает человека, десяток очевидцев по-своему излагают происшествие, и все говорят вразнобой.

А тут семидесятилетний старик, который, видите ли, что-то заметил.

— Начнем с музейных работников.

Директор музея — сухощавый молодой человек. Носит очки в четыре диоптрии, поэтому движения его неуверенны.

Шесть лет назад он окончил университет.

Директор просит извинить, что говорит сбивчиво и что голос у него срывается. Это он обнаружил трупы.

Столичный эксперт, несмотря на жару, в пиджаке и при галстуке. Этот не видел трупы убитых.

Майор Сабадош задает вопрос относительно ценности похищенных статуэток.

Директор в отчаянии разводит руками. Он не искусствовед, а археолог. Оценить стоимость похищенного не берется.

Эксперт поправляет галстук. Ощущая лежащее на нем бремя ответственности, откашливается, прежде чем заговорить.

— Я принимал участие в подборе экспонатов выставки. Поэтому материал мне более-менее знаком. Разумеется, необходимо проконсультироваться с коллегами. Сам-то я специалист по египетской терракоте.

— Тогда скажите о том, в чем сведущи.

— Полагаю, не будет большой ошибки прибегнуть к обобщениям. И, разумеется, я должен буду проверить свои утверждения.

Он снова откашливается.

— Характерная особенность выставки заключается в том, что ни один из экспонатов не представляет собой уникальной ценности. К примеру, терракотовых скульптурок существует великое множество. Отдельные экземпляры нелегко отличить друг от друга. Это ведь не "Мона Лиза" или полотно Рембрандта. Пользуясь современной терминологией, их можно назвать произведениями декоративно-прикладного искусства. Хотя в сущности это

не так. Думаю, сказанное можно отнести также к индийскому, бирманскому и мексиканскому разделам. Конечно, категорически утверждать я не берусь.

— Иными словами, сбыть эти предметы значительно проще, чем всемирно известное произведение живописи.

— Предположительно так.

Сержант передает майору Сабадошу отпечатанное на машинке донесение.

С рассвета нынешнего дня более шестисот иностранных граждан покинули пределы Венгрии. Подробный список прилагается.

Майор Сабадош знает, что похищенные экспонаты весят по меньшей мере сорок килограммов. Почти исключено, чтобы их попытались вывезти из страны самолетом или поездом. Даже на машине и то слишком рискованно.

— И все же, какова, по вашему мнению, хотя бы приблизительная стоимость похищенного?

Сабадош намеренно адресует свой вопрос к обоим, хотя и знает, что директор здесь некомпетентен. Ему жаль молодого человека. Он хорошо помнит, каково это впервые в жизни увидеть убитого.

Столичный эксперт поправляет галстук.

— С моей стороны было бы безответственно называть какую-то конкретную цифру. Я ведь говорил, что моя специальность — египетская терракота.

— А прочие скульптуры?

Эксперт привычно откашливается. Его иногда приглашают читать лекции в университет.

— Видите ли, эти предметы имеют скорее духовную ценность. На аукционы они попадают редко и являются собственностью музеев или известных частных коллекций.

Рубашку на майоре Сабадоше хоть выжимай. История становится все более запутанной.

Как ему хотелось бы сейчас иметь дело не со специалистом! Хотя сам он тоже специалист. И ему нужна помощь именно специалиста.

— Назовите примерную сумму.

— Аукционные каталоги мы, как правило, получаем... Итак, двадцать одна египетская статуэтка. Что вам сказать? Даже если я и назову сумму оценки, я ведь все равно не могу поручиться за точность.

Да ты не ручайся, только назови, твердит про себя майор Сабадош.

— Ну хотя бы приблизительно.

— Пожалуй, четыре миллиона. Но никакой ответственности за свои слова я не несу.

— А остальные скульптуры?

— Для этого требуется мнение специалистов. Я не вправе высказываться от имени коллег.

— Восемь музеев доверили нам свои экспонаты! — горестно качает головой директор. — Такого мне не простят.

Майор Сабадош не спрашивает, кто именно не простит.

Директор проклинает тот миг, когда он соблазнился этой идеей. Никому невдомек, что он позаимствовал ее из одного английского журнала. "МАЛЕНЬКИЕ СКУЛЬПТУРЫ БОЛЬШОГО МИРА".

Зной терзает нещадно.

— Прошу учесть, — говорит Сабадош. — Здесь вам не аукцион и не оценочная комиссия. Совершены грабеж и убийство. Необходимо хотя бы ориентировочно знать стоимость похищенного.

Эксперт сознает, что он тут первостепенное лицо.

— Но только подчеркиваю еще раз: юридической силы моя оценка не имеет.

Он выдерживает паузу.

Майор Сабадош ждет.

Эксперт словно бы и не страдает от жары.

— Пожалуй, миллионов тридцать...

Майор Сабадош вздыхает.

— Подчеркиваю, это, так сказать, цена по каталогу. А уж как они идут на черном рынке, понятия не имею.

— Двое убитых, — стонет директор, стискивая пальцы. — Вы можете это понять, товарищ майор?

Директор точно так же обливается пóтом, как и Сабадош.

— Музейный смотритель дожидается, — напоминает старший лейтенант Гали.

Директор и эксперт уже ушли.

— Давайте его сюда.

Низенький, коренастый человечек лет семидесяти. Зачесанные набок редеюшие волосы его тронуты сединой. Густые усы.

На вид он вполне спокоен.

— Имеете что-то сообщить? — интересуется майор Сабадош.

— Разве вы не занесете мои показания в протокол?

— Не сейчас. Пока что у нас предварительная беседа.

— Это неправильно, — говорит служитель. — Я требую занести в протокол мое сообщение.

— Как вам угодно.

Майор Сабадош устал. Как видно, жара доконает его.

— Накануне совершения убийства в музее побывали

два субъекта, привлекшие мое внимание необычным поведением. По-моему, их с полным основанием можно подозревать в содеянном преступлении.

Майор Сабадош откидывается на спинку неудобного директорского кресла. За свою практику он довольно часто сталкивался со свидетелями, которым казалось, будто ключ к разгадке преступления у них в руках.

Впрочем, некоторым так казалось не зря. Но это бывало слишком редко.

— Как подрабатывающий пенсионер я нахожусь на службе с десяти утра до двух часов пополудни. С двух часов и до шести вечера на посту коллега Гёце. Тоже подрабатывающий пенсионер. Разрешите закурить? — перебивает себя смотритель.

Сабадош рассеянно кивает. Что-то в словах свидетеля заставило его насторожиться.

— Оба подозреваемых лица вошли в музей ровно в одиннадцать часов.

Майор обращает внимание на официально-протокольный язык старика.

— Один вызывает подозрение тем, что на витрины даже не глянул. Зато доскональнейшим образом изучал стены, двери, окна.

Майор Сабадош ждет продолжения.

— Видите ли, суть изобразительного искусства составляют форма и цвет. Так вот второй подозрительный субъект заявился в музей в солнцезащитных очках. Темные стекла в пол-лица.

Чувствуется, что смотритель в особенности возмущен этими очками.

— Могли бы вы описать их внешность?

— Разумеется. Один из них коренастый, с наметившейся лысиной, лет пятидесяти с небольшим. Одет был в белую нейлоновую рубашку, бежевые брюки из камвольной ткани и коричневые сандалии. В верхней челюсти слева золотая коронка.

Майор Сабадош забыл про усталость.

— Тот, что в темных очках, — высокого роста, этак под метр девяносто, с тренированной, спортивной фигурой, волосы темные с легкой проседью, характерный орлиный нос. Одет в джинсовые брюки, голубую водолазку и кроссовки.

Майор Сабадош набирает номер главного управления полиции.

— Срочно, дежурной машиной, шлите рисовальщика!

— Выходит, вы все подметили? — адресуется он к свидетелю.

— Рад стараться. Это мой долг.

Майор Сабадош кивает. Чувство долга — великая сила.

— За это я получаю жалованье, — добавляет смотритель.

Оказывается, все дело в жалованье, думает Сабадош.

— Ну и надо же как-то убить время.

— Где вы работали, прежде чем выйти на пенсию?

— Охранником территории на газовом заводе.

— А до того?

— Шофером, там же. До сорок шестого — старший инспектор в главном управлении полиции.

Усатый смотритель держится по-прежнему спокойно.

— В мою компетенцию входили только уголовные дела. К политике я не имел никакого отношения. В свое время прошел проверку на благонадежность.

Жара терзает невыносимо.

Майор Сабадош считает момент неподходящим для классового анализа хода истории.

— Давно вы работаете в музее?

— Восемь лет. Как вышел на пенсию. Но до сих пор здесь никаких нарушений не наблюдалось.

Майор Сабадош дважды попадал в полицейскую централку. В ту пору он был еще учеником наборщика. Его так зверски избили, что он долгое время заикался.

И все же сейчас он не жалеет, что судьба свела его с бывшим детективом.

Йован Киш велел Давчеку каждый день с четырех до пяти ждать его на пляже "Палатинус". В случае плохой погоды — в ресторане "Гранд-отеля".

В первый день Киш не появляется на острове Маргит.

Он знает, что Давчек в любой момент может махнуть за границу. Ведь паспорт у него в кармане.

Но знает также, что Давчек его боится.

Хуже нет ждать. Киш нервничает, однако держит себя в руках.

С утра устраивает получасовую пробежку, принимает душ и мчится на "Ласточке" прочь из города. Насаживает приманку на удочки, подолгу плавает, часами валяется на солнце.

Когда он возвращается в мотель, нервозность его лишь возрастает.

Киш покупает газеты. Об ограблении музея и убийстве — ни строчки.

Йовану Кишу вдруг представляется, что трупы до сих пор никто не обнаружил: они так и лежат на коричневой двуспальной кровати.

На второй день, чтобы занять себя, он проветривает матрацы и постельное белье. Тщательно протирает мото-

ры. Медные части надраивает тряпкой, смоченной в машинном масле. Затем в течение полутора часов изучает карту Дуная.

Смеркается. Киш наливает в стакан двойную порцию рома. Смешивает коктейль. Откидывается на спинку сиденья, обтянутого зеленой искусственной кожей.

Возле самого причала проплывает байдарка. Двое парней сидят на веслах, девушка у руля. На носу лодки в нейлоновом мешке — их одежда.

Посередине Дуная пыхтя тащится советский буксир. Он толкает перед собой четыре баржи. Волны раскачивают "Ласточку".

Девушка в белом появляется на помосте после семи.

Киш обещал ей позвонить, но звонить не стал.

К ее приходу Йован Киш уже допил коктейль. Нервное напряжение отпускает. Но Киш понимает, что это всего лишь действие спиртного.

— Привет, — говорит девушка.

— Привет, — отзывается Киш.

Вдоль берега аккуратной шеренгой выстроились тополя.

— Может, я некстати?

Девушка застывает на помосте. Киш и не думает подняться ей навстречу.

— Я изо всех сил стараюсь напиться.

— В одиночку?

Прежде чем отчалить, Киш смешивает еще один коктейль.

Он так резко выжимает рычаги газа, что "Ласточка" круто задирает нос.

Девушка смеется, держа в руке стакан.

Киш разворачивается на месте и мчит навстречу поднятым "Ласточкой" волнам.

Лодка взлетает на гребень волны, затем проваливается вниз. Вновь взбирается кверху и снова падает вниз.

Напиток выплескивается на платье девушки.

Она — как и в прошлый раз — в белом платье.

В детстве Йован Киш мечтал иметь хоть самую плохонькую, но собственную лодку. А потом разразилась война.

Киш смешивает еще один коктейль.

Ночное небо усеяно звездами. Светлым пятном виднеется платье девушки. Луна еще только восходит на небосклоне.

— Так и не удалось установить, кто убил моего отца.

Девушка вздрагивает всем телом, хотя ночь стоит теплая.

— Я просил поручить расследование мне. В те годы я

был старшим лейтенантом полиции, но специализировался по уголовным делам. Отказали мне в просьбе.

Киш чувствует, как спиртное ударило в голову. Иначе зачем бы ему говорить о прошлом?

Во мраке угадывается дыхание большой реки.

— Выпьешь еще?

Девушка смеется.

— Так и опьянеть недолго.

Йован Киш усмехается.

— Сегодняшний вечер тем и хорош, что можно напиться.

— Ну, тогда налей.

Кубики льда позвякивают в стаканах.

— Не дали мне отыскать убийц моего отца!

Йован Киш с размаху швыряет в воду стакан.

Этой девушке ни разу в жизни не доводилось видеть убитых.

— Немцы схватили Стояна в декабре. Я ничего не мог поделать, меня прижали к земле очередями из двух пулеметов.

Свист пуль вокруг. Запах прелой листвы, куда он зарылся лицом.

— Нас было двое против целого взвода. Мы угодили в засаду.

Откуда этой девчонке знать, что такое взвод!

— На труп Стояна наткнулся один старый крестьянин. На груди была вырезана пятиконечная звезда. Зубы выбиты. Мошонка раздавлена.

— Перестань, — умоляет девушка.

— Через три дня мы схватили двух фрицев. Один из них скулил, что он, мол, социал-демократ.

Откуда этой девчонке знать, кто такие социал-демократы!

— Я выколол ему глаза. Ножом.

— Замолчи!

Девушка в белом склоняется над перилами. Ее сотрясает приступ рвоты.

Йован Киш глушит моторы. Смачивает водой полотенце и вытирает девушке лицо.

Смешивает очередной коктейль.

Он уже протрезвел.

Девушка с отвращением отталкивает стакан.

Киш ударяет ее по щекам. Расслабленной ладонью, чтобы не было больно.

— Пей. Вот увидишь, полегчает.

Девушка пьет. Взгляд у нее невидящий, остекленелый.

Йован Киш легко поднимает девушку и несет в каюту.

Расстегивает молнию на спине. Стаскивает с нее мятое белое платье.

Девушка засыпает. Киш укрывает ее пледом.

Он сбрасывает с себя одежду. Ночь стоит теплая. Киш ставит лодку на якорь и головой вниз прыгает в воду. Течение здесь стремительнее, и его далеко относит. Лишь с трудом ему удается добраться до "Ласточки".

Он растирает тело полотенцем. Принимает снотворное. И ложится в постель рядом с девушкой.

Девушка кажется бесплотной.

Киш мгновенно проваливается в сон.

— Один из преступников — Милан Давчек, — докладывает старший лейтенант Гали. — Пятьдесят два года, югославский подданный, проживает в Белграде. Здесь остановился в гостинице "Мир".

— Вы уверены, что это он?

— Уверен. Портье опознал его по рисованному портрету. А потом мы показали портрет смотрителю музея. Тот клянется-божится, что это он.

— С Белградом связались?

— Я продиктовал установочные данные. Белградские коллеги обещали ответить в течение часа.

В комнате душно. Даже вентилятор не помогает. Обстановка стандартная: письменный стол, диван и кресла для посетителей, несгораемый шкаф для документов. На стене картина маслом: вид Балатона. Майор Сабадош большой любитель живописи.

— Какой образ жизни ведет этот Давчек?

— Не отличается от большинства туристов. Прогуливается по городу, щелкает фотоаппаратом, валяется на пляже.

— Сколько людей его пасут?

— Трое. С машиной.

— Удвойте "эскорт".

Из Белграда звонят через двадцать минут.

— Я говорю по поручению подполковника Вукетича, — раздается в трубке венгерская речь. — Милан Давчек трижды судим за кражу со взломом. Но за последние годы компрометирующих данных на него не имеем.

— Профессионал?

— Да. Он всегда попадал под подозрение в крупных делах. Даже когда его участие оставалось не доказанным. Он — специалист по особо сложным системам охранной сигнализации.

Для того чтобы проникнуть в музей в Сентэндре, не нужно быть техническим гением.

— Давчек никогда не участвовал в преступлениях с применением насилия.

В музее Сентэндре убиты двое. Рецидивист, которому уже за пятьдесят, не меняет своих привычек. Напротив, он привержен им больше, чем человек любой другой профессии.

Ведь преступления — это и есть его профессия.

Майора Сабадоша не смущает, что многие детали не вписываются в общую картину. Со временем все станет на свои места. Если бы не смотритель музея, они до сих пор блуждали бы в потемках.

— А второй?

— По имеющемуся описанию нам не удалось установить его личность. Мы продолжаем поиски.

Это не совсем правда.

Подполковник Вукетич знает человека, который соответствует описанию. Очень хорошо знает. Ведь Йован Киш был его подчиненным.

Подполковник знает также, что Киш пересек венгерскую границу. Он сам дал указание обыскать лодку Киша.

Вукетич вот уже четыре года как установил слежку за Йованом Кишем. И без всякого результата.

Он полагает, венгров об этом пока что не стоит информировать.

— Придайте группе наблюдения не две, а три машины, — говорит майор Сабадош старшему лейтенанту Гали. — И среди задействованных агентов должны быть женщины.

Через два дня Йован Киш снова отправляется на пляж.

Жара не спадает. Пляж переполнен до отказа. Меж деревьев подрагивает разогретый воздух.

Киш приветствует Давчека как старого знакомого. Расстилает рядом с ним свой синий купальный халат. Лицо Давчека лоснится от крема для загара. Он очень взвинчен.

— Я на пределе. Надо смываться, пока не поздно...

— Тихо! — одергивает его Киш.

Давчек не решается высказать свои подозрения: ему кажется, что за ним следят.

Минут двадцать они лежат молча. Давчек обливается пóтом.

Затем Киш приглашает Давчека выпить с ним за компанию.

Они идут к "Гранд-отелю" по асфальтированной, окаймленной кустами дорожке. Киш замечает увязавшегося за ними молодого человека. Джинсы, голубая майка, в руке — свернутая трубочкой газета.

Отойдя от пляжа метров двести, Йован Киш внезапно останавливается.

— Взгляните, какой великолепный платан!

Давчек не может взять в толк, с чего это Киш вдруг заинтересовался платаном.

— В Нови-Саде к Дунаю вела платановая аллея. В войну топить было нечем, и все платаны повырубили.

Киш видит, что молодой человек тоже останавливается. Похлопывает по ноге свернутой газетой, с безразличным видом осматривается по сторонам.

Не ахти какой находчивый, думает Киш.

— Все-то у вас война на уме, — буркает Давчек.

Йован Киш согласно кивает.

Что правда, то правда. Он сжился с воспоминаниями о войне.

У очередного перекрестка молодой человек сворачивает. Из-за кустов появляется средних лет женщина в темных очках.

Пройдя еще двести метров, Киш снова останавливается. Роется в своей холщовой сумке, отыскивая сигареты. Проходит довольно много времени, прежде чем ему удается их выудить.

Женщина в темных очках тоже останавливается и принимается что-то искать в сумочке.

Эта будет половчее, думает Киш.

Теперь уже нет сомнений: за ними установлена слежка.

Все мускулы его напряжены.

У "Гранд-отеля" женщина в темных очках испаряется. Зато появляется какой-то новый тип: приземистый, с наметившимся брюшком. На шее у него болтается фотоаппарат.

Киш выбирает столик с таким расчетом, чтобы мужчина с фотоаппаратом не мог присоседиться.

Он теряется в догадках, пытаясь сообразить, где была допущена ошибка.

За ним самим слежки не было — в этом он уверен.

Значит, выследили Давчека.

Кто-то дал описание их внешности. Причем предельно точное. Благодаря этому и засекли остановившегося в гостинице Давчека.

Где же они засветились? И когда?

Киш мучительно размышляет.

Вряд ли это результат обычного рутинного прочесывания. Правда, на Давчеке висят прошлые судимости, но это еще не резон для плотной "опеки". И почему именно сейчас возник этот интерес к Давчеку?

А ведь Киш для того и убил двоих, чтобы никто не

смог дать описание их внешности. Он вне себя от бешенства. Лицо его окаменело. Фарфорово-голубые глаза холодны, как неживые. Уж ему-то доподлинно известно, что убийцу разыскивают совсем не так, как взломщика.

Сказать о слежке Давчеку — значит перепугать его насмерть. Если не сказать, то лысый чего доброго наделает глупостей.

Пожалуй, лучше будет его припугнуть.

— В нас вцепился "клещ", — небрежно роняет Киш.

Разговор у них идет о том, где и в какую пору года лучше клюет сазан...

Глаза Давчека расширяются от страха.

— За тобой увязался "хвост".

— Так я и знал, — говорит Давчек и еще сильнее обливается пóтом.

Йован Киш готов прихлопнуть его на месте. "Знал" и не счел нужным предупредить!

— Я выхожу из игры, — заявляет Давчек. — Сил моих больше нет.

— Кто мешает, — говорит Йован Киш. — Выходи. Отправляйся в Вену. Посмотрим, далеко ли уедешь.

Давчек судорожно хватает ртом воздух.

— Что же нам делать?

В голосе его подобострастные нотки.

— Пей-ка ты свой кофе, а я пока подумаю.

Коренастый тип с фотоаппаратом пристраивается метрах в десяти от их столика. Ему не расслышать, о чем они говорят.

— Сейчас отправляйся к себе в гостиницу, заплати по счету, возьми такси и поезжай на Восточный вокзал. "Клещей" даже и не пытайся стряхнуть. Вещи свои сдай в камеру хранения. Купи билет на завтра, на венский экспресс. А затем правь ко мне, на "Ласточку".

— Но ведь они дадут знать пограничникам.

— И пусть их. Ты отправишься не в Вену. И не поездом.

Киш закуривает.

— Ночью мы на "Ласточке" тихо-мирно отчалим в Югославию. А там разживемся новыми документами.

Милан Давчек восхищенно смотрит на Киша.

Лицо Йована Киша неподвижно застыло. Он затягивается сигаретой.

— Личность второго преступника установлена, — сообщает майор Сабадош через переводчика.

Он звонит в белградскую полицию подполковнику Вукетичу.

— Йован Киш, пятидесяти одного года, гражданин

Югославии, житель Белграда. Прибыл в Будапешт на собственной моторной лодке. Там же и ночует.

Вукетич долго молчит. Он никак не может решить, не допустил ли он ошибку, скрыв при первом телефонном разговоре с венграми свои подозрения относительно Киша.

— Передайте товарищу майору, мы немедленно выезжаем машиной. Просим встретить нас у погранично-пропускного пункта.

Переводчик передает его слова.

— Что они сейчас делают? — спрашивает Вукетич.

— Давчек расплатился за номер в гостинице, сдал чемоданы в привокзальную камеру хранения и купил билет на венский экспресс. Затем отправился в мотель к Кишу. Полчаса назад они вместе с Кишем отплыли на его лодке.

Вукетич готов взвыть не своим голосом. Теперь он понимает, что допустил промах.

— Задержите их! Под любым предлогом!

— Невозможно. Их лодка быстроходнее наших полицейских моторок. Они скрылись.

— Киш прикончит его, — говорит подполковник Вукетич.

Сабадош молчит. Ему хорошо знакомо чувство собственного бессилия.

Вукетич открывает сейф. Достает две коробки патронов. Рассовывает их по карманам.

— Вы тоже прихватите с собой оружие. И патронов с запасом. Да поторапливайтесь! — кричит он капитану Стоичу.

Капитан удивлен. Ему никогда не доводилось видеть, чтобы подполковник Вукетич терял самообладание.

Майор Сабадош тоже выбит из равновесия.

— Выходит, преследовать их невозможно? — адресуется он к старшему лейтенанту, сидящему в углу кабинета.

Старший лейтенант отряжен сюда речной полицией.

— Разве что быстроходным катером, на каких проводят спортивные соревнования. Днем можно на вертолете. А ночью только с помощью службы наблюдения.

— Каким образом?

— Вдоль обоих берегов через каждые пять километров расставляются посты. Дозорный прислушивается к звуку моторов. Тогда с относительной точностью можно определить, на каком участке остановилось интересующее нас судно, и по служебной радиосвязи сообщить полицейским моторкам.

— Ну а если они не остановятся?

Старший лейтенант пожимает плечами.

— Организуйте посты наблюдения, — приказывает Сабадош старшему лейтенанту Гали.

— У нас нет нужного количества людей.

— Утром я договорюсь с руководством... А если задействовать радар? — спрашивает он речника-полицейского.

— Если они будут держаться под прикрытием берега, то никакой радар не достанет.

К утру подоспеют югославы, думает майор Сабадош.

Киш прикончит его, сказал подполковник Вукетич.

Избавится от единственного свидетеля.

Сабадош понимает, что надеяться можно лишь на счастливый случай.

Но в счастливый случай он не верит.

И предпринять что-либо ночью не в его силах.

В чем майор Сабадош отдает себе полный отчет.

До момента совершения преступления слежки за ними не было. Йован Киш даже мысли свои формулирует так, словно составляет протокол допроса.

Ведь он очень долго был офицером полиции.

Их засекли либо во время "ознакомительного визита" в музей, либо той самой ночью.

Киш прокручивает в памяти ленту событий и изучает каждый кадр.

Ночью им никто не попадался навстречу. Может, их заметили из окна какого-нибудь дома?

Совершенно исключено. Если бы их заприметили ночью, то не сумели бы описать их внешность настолько точно, что Давчека выявили в течение одного дня.

Ну а когда они ходили осматривать музей? На улицах было полно народу.

Нет, тогда за ними слежки не велось.

В музее было всего несколько человек.

Йован Киш напряженно вспоминает.

Хорошо бы сейчас пропустить стаканчик! Но Киш не позволяет себе таких вольностей.

Американцы, супружеская пара. Тощий молодой человек, норовивший каждый экспонат непременно отыскать в каталоге. Женщина с двумя непоседливыми ребятишками. Еще одна супружеская пара, оба средних лет. Муж с энтузиазмом давал пояснения. Явно из породы всезнаек.

Значит, кто-то другой?

Киш усиленно размышляет.

Билеты им продала жена администратора. Но ее уже нет в живых.

Музейный смотритель? Неприметный старикашка. К тому же он, похоже, дремал.

По сути, не все ли равно, кто?

Йовану Кишу хотелось бы дознаться.

Но как тут дознаешься?

Вероятнее всего, смотритель.

В былые времена ему достаточно было малейшего подозрения, чтобы отправить к праотцам.

Стопроцентная гарантия безопасности...

Что может знать о них полиция?

Ничего определенного. Иначе бы их уже взяли.

Двое убитых. В таких случаях ни в одной стране мира полиция не церемонится.

Описанием внешних примет полиция располагает. Теперь и он, Киш, там известен.

Зато доказательств у них нет.

Ящики им не найти. А если даже и найдут, — отпечатков пальцев там не обнаружат. И следов обуви тоже.

Подозрение еще не есть доказательство.

Даже самое обоснованное подозрение.

Имеется лишь одно-единственное доказательство: Милан Давчек.

Давчек подъезжает к мотелю после наступления темноты. На берегу не видно ни души.

Впрочем, это ровным счетом ничего не значит. Наблюдение могут вести из любого дома поблизости.

— Следили за тобой?

— По-моему, да. "Хвосты" сменялись трижды.

Лихо за них взялись, думает Киш.

Такой переполох его не удивляет.

Сейчас его волнует не полиция.

Киш запускает моторы. Отвязывает причальный канат.

И тотчас же вслед за ними устремляются две моторки без бортовых огней.

Йован Киш усмехается.

Он тоже не зажигает бортовые огни.

За какие-то двадцать минут он отрывается от преследователей. Даже тарахтения моторов не слышно.

Милан Давчек обливается пóтом.

Йован Киш не видит его, но чувствует. Сам он не отходит от руля. Гонит лодку на полной скорости.

Но вот он замедляет ход, и наступает тишина. Слышен лишь плеск воды.

— Хочешь выпить?

У Милана Давчека во рту пересохло. Язык как терка.

Он стократ проклинает тот день, когда Йован Киш подсел к нему в белградском кафе.

— Только не спиртное.

— Подержи руль.

Йован Киш встает с сиденья.

— Выдерживай направление на зеленую вспышку. И хватит праздновать труса. К утру будем дома.

Давчек облегченно вздыхает.

Протиснувшись, опускается на сиденье. Берется за рулевое колесо.

Согнутой рукой Йован Киш обхватывает его сзади за шею. Запястьем упирается Давчеку в горло и надавливает.

Другой рукой ударяет ножом. Тело Давчека сотрясают конвульсии.

Он обмякает.

Голова его падает на рулевое колесо.

Йован Киш стопорит моторы.

Нож пока что оставляет торчать из груди Давчека...

Из аптечного шкафчика достает тампон.

Осторожно вытаскивает нож из груди Давчека. И прижимает к ране тампон. Зубами отрывает лейкопластырь.

Киш не хочет, чтобы на лодке оставались следы крови.

Он догола раздевает Давчека.

Лодка послушно дрейфует по течению.

Киш тоже сбрасывает с себя одежду и обувь.

Извлекает очередной целлофановый мешок. Сложив одежду, плотно завязывает его, затем прокалывает в нескольких местах. Грузилом служит шестикилограммовая свинцовая труба.

Вытаскивает из моторного отделения якорь весом в четверть центнера.

Толстым капроновым шнуром привязывает якорь к голому телу Милана Давчека.

Вновь запускает моторы.

На середине Дуная сбрасывает в воду мешок с одеждой. Течение здесь стремительное.

Киш сгребает в охапку тело Милана Давчека вместе с якорем. Рывок дается ему с натугой.

А ведь прежде он играючи поднимал сто килограммов.

Годы дают себя знать.

Он переваливает свой необычный груз через борт. Тело Давчека с шумным всплеском падает в воду.

Тяжелый якорь тянет его ко дну.

Йован Киш провожает его взглядом.

Получилось не так, как было задумано.

Еще затемно Киш возвращается в мотель. Бортовые огни лодки включены.

Он не оглядывается по сторонам, и без того зная, что за ним следят.

Теперь он смешивает себе коктейль. Запить снотворное.

Раздевается донага и ложится в постель.

Ночь стоит теплая. Значит, день снова обещает быть жарким.

Майор Сабадош самолично выезжает на границу встретить подполковника Вукетича. Таким образом удастся выиграть три часа.

Вукетич — мускулистый, двухметровый гигант, на редкость проворный. Череп у него гладкий, точно биллиардный шар.

— Йован Киш — сложная личность.

Вукетич закуривает толстую кубинскую сигару.

— Он воевал в партизанах. Был профессиональным разведчиком. Аттестация в его послужном списке отличная. Единственная оговорка, что он излишне рискует. При опасности хладнокровен. В ближнем бою обезвредил более сотни немцев. Всю семью Киша истребили в Нови-Саде.

После победы поступил работать в полицию. И здесь действовал в точности так, как указано в характеристике. Только ведь уголовная полиция — это не партизанская разведка, а карманники — не чета эсэсовцам.

Схватить вооруженного убийцу — это было ему по душе. Но работал он не в группе расследования убийств.

Все свободное время Киш проводил в спортивных залах. Тренировки в плавании, дзюдо, в тяжелой атлетике, в стрельбе. На спор мог выступить один против четверых. И одолеть его не удавалось.

Первый сердечный приступ случился с ним у меня в кабинете. На утренней летучке. Я думал, он умрет прямо на месте. Лицо посерело, пот с него лил градом. От нестерпимой боли он в кровь искусал себе губы. Год спустя с ним случился второй инфаркт. Пришлось его демобилизовать.

Вукетич вновь зажигает сигару.

— Примерно год о нем не было ни слуху ни духу. Лишь изредка мы встречались на тренировках. Затем в связи с ограблением банка в Загребе всплыл некий субъект по кличке Инспектор. Сведения о нем дал один

из наших осведомителей. Судя по описанию, это был Йован Киш.

Мы установили за ним наблюдение, однако не добились никаких результатов.

Тогда же он выиграл главный приз в лотерее и на эти деньги приобрел моторную лодку. Затем последовали ограбления банка в Нови-Саде и ювелирного магазина в Загребе. И никаких улик против Йована Киша. Всякий раз дело ограничивалось подозрениями. На очереди было похищение с требованием выкупа.

Вукетич давит остаток сигары в пепельнице. Табачный лист хрустит под пальцами.

— Похитили итальянского фабриканта, который вместе с семьей проводил летний отпуск в Задаре. Ночью позвонили в гостиницу жене фабриканта. Выкуп — пятьсот тысяч долларов. Больше не было сказано ни слова.

На следующий день женщина эта получила письмо. В конверте была прядь волос ее мужа. Волосы у него были черные, курчавые и жесткие, как проволока. С другими не спутаешь. С очередным телефонным звонком последовал ультиматум, чтобы женщина с деньгами выехала на Муртер и остановилась в гостинице "Звезда". Разговор был настолько коротким, что мы не успели засечь абонента.

Ночью женщине позвонили в номер и велели на гостиничной моторке немедля отправляться на один из безлюдных Корнатских островов. Если хоть кто-то увяжется за ней следом, муж ее будет убит.

Подполковник Вукетич вздыхает.

— Знаете, что собой представляют Корнаты? Это даже не группа островов, а скорее целый лабиринт больших и малых бухт.

Мы следовали за моторкой на отдалении двадцати километров. В группе преследования были также четыре вертолета. В указанной бухте подали сигнал карманным фонариком. Водителя лодки, когда тот спрыгнул на берег, оглушили ударом. У женщины отобрали деньги, а затем прижали к лицу смоченную хлороформом вату.

Когда мы туда прибыли, она спала. Ее муж — тоже. Он был связан и находился под действием наркотика. Фабрикант ничего не помнил. Сознавал только, что его время от времени кормили. Ну и смутно припоминал гул мотора, шум моря и колыхание волн. Глаза его были заклеены лейкопластырем.

Вукетич закуривает очередную сигару.

— Знаете, что общего у Загреба, Нови-Сада и Задара?

Майор Сабадош молча ждет.

— Все они расположены у воды. На берегу Савы, Дуная и Адриатики.

В двух случаях нам удалось установить, что во время преступления Йован Киш со своей лодкой находился в плавании. Во время похищения фабриканта — тоже. Лодку свою он поездом отправил в Дубровник.

— Сентэндре ведь тоже находится на берегу Дуная, — говорит майор Сабадош.

Вукетич кивает. Он успел изучить карту.

В столичном управлении полиции их поджидает старший лейтенант Гали.

— Йован Киш возвратился в мотель в три часа ночи. Вернулся один. С тех пор не выходил.

— А Давчек?

— Исчез. В гостиницу он не вернулся. Вещи свои из камеры хранения не брал. За венским экспрессом установлена слежка.

— Пустой номер, — говорит подполковник Вукетич. Переводчик переводит его слова.

Майор Сабадош видит, как побледнел подполковник Вукетич. Ему не видно, что у него самого тоже в лице ни кровинки.

Он не спрашивает, почему наблюдение за венским экспрессом "пустой номер".

— Что вы намерены предпринять? — спрашивает подполковник Вукетич.

— А вы что посоветовали бы?

У Сабадоша и в мыслях нет спихнуть ответственность на другого. Просто он проникся доверием к этому спокойному гиганту.

— Милан Давчек исчез. В последний раз его видели в обществе Йована Киша. Надо доставить Киша в полицию и допросить.

Он вытирает потный лоб. Жара невыносимая.

— Киш вам подробно расскажет, где, когда и почему он высадил Давчека на берег. Свидетелей у него не будет. Но и у вас не будет свидетелей против него.

Какое-то время оба молчат.

— Дайте мне карту Дуная, — наконец нарушает молчание подполковник.

Старший лейтенант Гали тотчас выполняет его просьбу. С момента обнаружения убийства карта Дуная постоянно находится на столе Сабадоша.

Подполковник Вукетич долго изучает карту, затем складывает ее по сгибам.

— Чтобы отыскать статуэтки, вам придется обшарить береговой участок на протяжении двухсот километров.

Метр за метром. Конечно, при условии, если они пока что еще в стране. Найдется у вас достаточное число людей для такой операции?

Вопрос представляется риторическим.

Оба знают, что для этого понадобилась бы целая армия.

— И даже если вы найдете статуэтки, вы всего лишь вернете похищенное. Готов поспорить на что угодно — на них не будет ни малейшего следа, ведущего к Кишу.

— Обнаружить какие-либо следы в его лодке тоже не реально?

Подполковник Вукетич кладет в пепельницу потухшую сигару.

— Я раз десять обыскивал моторку Киша. Попытайте счастья, обыщите, пока он будет у вас на допросе. Рано или поздно и он может допустить промах.

Эти слова по долгу службы произносит полицейский офицер, а не Вукетич. Вукетич не верит, что Йован Киш допустит промах.

— Вы будете присутствовать на допросе?

Вукетич отрицательно качает головой.

— Нет, я возвращусь в Белград. Надо посоветоваться с руководством.

— О чем именно?

Подполковник Вукетич пожимает плечами.

— Там видно будет.

Йован Киш просыпается в тот момент, когда двое сыщиков вступают на причал.

Киш следит за ними через щелку в зашторенном окне.

Снова ложится в постель.

Он ждал их.

Знал, что за ним придут.

Старший лейтенант Гали пребывает в некоторой растерянности, не зная, как предупредить о своем приходе. Наконец шагает на палубу и стучит в дверь каюты.

— Кто там? — раздается через какое-то время сонный голос Йована Киша.

Старший лейтенант толкает дверь в каюту. Дверь не заперта.

Йован Киш садится в постели.

— Что вам здесь нужно?

Старший лейтенант Гали вытаскивает удостоверение.

— Полиция. Вы Йован Киш?

— Обождите немного.

Киш сбрасывает с себя мягкий плед. Как был, обна-

женный, выходит в передний отсек. Словно бы и не было здесь двух чужаков.

Открывает шкаф. Достает купальный халат. Набрасывает его на себя.

Теперь можно изучить удостоверение старшего лейтенанта Гали.

— Я Йован Киш. Что вам угодно?

— Прошу следовать за нами в главное управление полиции.

— По какой причине?

— На эту тему мы побеседуем в управлении.

Йован Киш усмехается. Старший лейтенант Гали поражен голубизной его глаз.

— Вам наверняка известно, что я — подданный Югославии. Я имею право связаться с посольством.

— Разумеется. Но, по-моему, не стоит из-за обычного допроса излишне усложнять положение.

— А вот это уж предоставьте решать мне, — голос Йована Киша звучит резко. — Пока я не узнаю, по какому делу намерены меня допросить, я не могу судить, стоит мне связываться с посольством или нет.

Старший лейтенант Гали в нерешительности.

— Связаться с посольством вы можете и из управления полиции.

Йован Киш заранее продумал этот разговор от начала до конца. Он парирует тотчас.

— При условии, если я поеду с вами.

Старший лейтенант Гали молчит.

— Обождите на палубе, пока я оденусь, — говорит Йован Киш.

Дальнейшие препирательства он считает излишними, однако такое вступление, с его точки зрения, было необходимо.

— Вы допрашиваетесь по делу об исчезновении Милана Давчека, — говорит майор Сабадош.

Окно в кабинете третьего этажа забрано прочной решеткой. Снизу, с улицы, доносится шум уличного движения.

Фарфорово-голубые глаза Йована Киша встречаются с карими глазами майора Сабадоша.

— Прошу сообщить, когда и где вы впервые увиделись с Миланом Давчеком.

— Примерно дней пять назад. На пляже "Палатинус".

— Если можно, пожалуйста, поподробнее.

Йован Киш морщит лоб. Делает вид, будто припоминает.

Он оценивающе оглядел кабинет. Здесь его бить не станут.

Трудно сказать, боится ли он, что его будут бить. Ведь он столько лет провоевал и отслужил, не давая никому возможности и пальцем тронуть его.

— Сегодня у нас вторник? Тогда, значит, в четверг. В прошлый четверг, после обеда.

— Прежде вы не были знакомы?

— Нет.

— Точно?

— Совершенно точно.

Это первая ложь Йована Киша.

Ему приходилось допрашивать сотни и сотни людей. Не так-то легко определить, когда человек врет. Если, конечно, у тебя нет доказательств.

Йован Киш ухмыляется.

У этого следователя нет доказательств.

— Каким образом вы познакомились?

— Я спросил, свободно ли место рядом с ним. Естественно, по-венгерски. Давчек ответил по-сербски. Оказалось, мы оба из Белграда.

Я пригласил его в "Гранд-отель" распить по стаканчику. В разговоре выяснилось, что Давчек — страстный рыболов. Я предложил ему свои запасные удочки. Мы условились следующим вечером отправиться вместе на рыбалку.

— Почему только на следующий вечер?

— На тот день у Давчека был билет на концерт рок-музыки.

— Давчек любил рок-музыку?

От внимания Йована Киша не укрывается прошедшее время — "любил".

— Понятия не имею. Я не настолько близко его знаю.

Сам он говорит о Давчеке в настоящем времени.

— И до вечера следующего дня вы не встречались?

— Нет.

— Точно?

— Совершенно точно.

Сейчас Киш солгал второй раз. И отметил про себя, что оба раза его переспросили.

— Что было потом?

— Рыбалка оказалась неудачная.

— Где вы рыбачили?

— В разных местах. У острова против Сентэндре. И на другом берегу.

— В каком из рукавов?

— В ближайшем к Сентэндре.

— И возле самого города тоже?

Йован Киш делает паузу, словно пытается вспомнить.

— Да. И там тоже.

— На берег вы сходили?

— Нет.

— Вы знаете город?

— Бывал там пару раз.

— За последние дни тоже?

— Нет.

Йовану Кишу любопытно, переспросит ли следователь и на сей раз: "Точно?"

Но майор Сабадош на сей раз не переспрашивает.

Сценарий допроса у него в голове. Он знает, что иной раз следует прибегнуть к экспромту.

— Когда вы встретились снова?

— Вчера.

— В какое время?

— Во второй половине дня.

— Вы условились о встрече?

Киш словно бы обдумывает ответ. Он ведь тоже заранее наметил сценарий своих показаний.

— Нет. Но Давчек упоминал, что каждый день после обеда бывает на пляже "Палатинус". Я подумал, может, у него не пропала охота порыбачить еще разок.

— Вы предпочитаете рыбачить по ночам?

— Когда как.

Йован Киш вновь ухмыляется.

— Правда, бывали случаи, когда и по ночам клев был хороший.

— Вчера вы с Давчеком опять выезжали к Сентэндре?

— Нет. Мы были у Надьтетеня.

— А почему вы шли с потушенными огнями?

Йован Киш знает, что за ним следили, и не хочет казаться наивным.

— Выходит, вы следили за Давчеком.

Майор Сабадош пожимает плечами и закуривает очередную сигарету.

— Можно и так сказать. Но вы не ответили на мой вопрос.

— Предохранитель полетел. Я лишь позже заметил, что огни не горят, и сразу сменил предохранитель. Кстати, — добавляет Йован Киш, — сгоревший предо-

хранитель остался на моторке. По-моему, лежит на столе.

Майор Сабадош чувствует, что в эту игру ему Киша не переиграть. Во всяком случае, не с такими козырями.

Сабадош ни разу в жизни не ударил допрашиваемого. Сейчас он, пожалуй, пошел бы на это, если бы верил в действенность подобного метода.

Но он не верит, что из этого человека можно выбить показания.

— И на сей раз вы снова ничего не поймали?

Йован Киш достает из кармана рубашки сигареты. Не спрашивает, можно ли закурить. Ведь он не обвиняемый.

Он глубоко затягивается сигаретой. Откидывается на спинку стула.

— Может, скажете наконец, куда вы гнете?

Оба пристально смотрят в глаза друг другу. Йован Киш и майор Сабадош.

— Полагаю, вас интересует вовсе не мой улов.

Майор Сабадош понимает, что этого человека не застанешь врасплох.

Он решает приоткрыть карты.

Конечно, в пределах возможного.

— Милан Давчек пропал.

Фарфорово-голубые глаза Йована Киша неподвижны.

— С чего вы взяли? Еще на рассвете он был со мной.

— У нас есть основания предполагать. Равно как и то, что вы были последним, кто его видел.

Сабадош тоже закуривает сигарету.

— Именно поэтому мне хотелось бы знать, где и когда вы видели его в последний раз.

— Я высадил его на берег у шлюза Квашшаи. Под утро, часов около трех.

— Почему вы не довезли его до мотеля?

Йован Киш делает паузу. Затем ухмыляется.

— Давчек заявил, что терпеть не может баб. Потом взял меня за руку. А я этого на дух не переношу. Вот и высадил его у первых же мостков. Пусть топает на своих двоих, педераст поганый!

Майор Сабадош приглядывается к Кишу. Изучающе смотрит ему в глаза. Наконец решает все же попробовать.

— Что вы скажете, если я вам сообщу: у нас есть свидетели, готовые подтвердить, что в пятницу утром вас с Давчеком видели в музее Сентэндре?

Взгляд фарфорово-голубых глаз Йована Киша неподвижен.

— Я скажу, что ваши свидетели ошибаются.

Майор Сабадош пока не сдается.

— Вас трудно с кем-либо спутать, господин Киш.

— Трудно, но можно. Если судить по вашим вопросам.

Сабадош понимает, что ему не взять верх.

— И вам, разумеется, неизвестно, что музей в Сентэндре ограблен?

Майор ждет. Всегда есть надежда на чудо.

— При этом были убиты два человека.

— Боже мой! — говорит Йован Киш.

Он сроду не верил в Бога.

И майор понимает, что надеяться на чудо не стоит.

— Преступление совершено той самой ночью, когда вы с Миланом Давчеком ловили рыбу невдалеке от Сентэндре.

Йован Киш облегченно вздыхает.

— Тогда это не может быть Давчек. Он всю ночь никуда не отлучался.

Не подкопаешься, думает Сабадош, и чувствует, как к голове приливает кровь.

— Возможно, убийца вовсе не Давчек. Во всяком случае я вынужден вас просить не уезжать из Будапешта. Даже на моторке.

Майор более не в силах владеть собой.

— И, если угодно, можете связаться с посольством и выразить официальный протест.

Подполковник Вукетич сидит у начальника. Кабинет размерами напоминает просторный зал.

Вукетич пьет коньяк. Он докладывал сорок минут. Рассказал все, что он знает или предполагает о Йоване Кише.

Теперь он чувствует страшную усталость. И не только потому, что двое суток не спал.

Коньяк сейчас очень кстати.

Шеф открывает стоящий на столе серебряный ящичек с толстыми сигарами. Тщательно выбирает себе по вкусу.

Ящичек он оставляет открытым.

В этом кабинете все большое.

Должно быть, поэтому Вукетичу так уютно здесь.

Огромному телу его покойно в огромном кресле.

Вукетич пока что не закуривает.

— Что ты предлагаешь?

— Ничего я не предлагаю.

Вукетич все же берет из ящичка сигару.

— Я знаю только, что Йован Киш снова будет убивать.

Шеф закуривает сигару. Вукетичу огня он не дает.

Для раскуривания сигары требуется целая спичка.

— Какие планы у венгров?

— Они ничего не могут поделать. Как бы ни были они уверены в своих подозрениях, улик-то ведь никаких.

Подполковник Вукетич тоже закуривает сигару.

— Против Йована Киша есть одна-единственная улика: он сам.

Вукетич вдыхает сигарный дым, наслаждаясь ароматом табака.

— Йована Киша ничем не заставишь признаться.

— Точно?

Шеф тоже немало повидал в жизни.

— Точно.

— Как же теперь быть?

Вукетич наливает себе коньяку.

— Можно извлечь из архива его прежние дела. Последнее из них полуторагодовалой давности. Но расследование ведь уже тогда зашло в тупик.

Он делает глоток.

— Можно установить за Кишем наблюдение. Для этого понадобится не меньше десятка человек, да и то их придется чередовать.

Он допивает остатки коньяка.

— Но если Киш захочет, он все равно избавится от слежки.

Шеф задумчиво тянет сигару. В кабинете царит полумрак. Лишь на письменном столе горит лампа.

— А ты не переоцениваешь его способности?

— Нет, — качает головой подполковник Вукетич. — Не переоцениваю.

Шеф недвижно сидит в кресле, продолжая курить.

— Можно подождать, пока обнаружатся статуэтки. Но они не всплывут. А если все же это случится, они не выведут нас на Киша.

— Ты уверен, что это его рук дело?

— Абсолютно.

— Как ты думаешь, что его толкает на преступление?

Вукетич выпил уже четыре рюмки коньяку. Над этим вопросом — почему Киш идет на преступления — он задумывался сотни раз.

— Не знаю.

— Что ты предлагаешь?

— Нашими обычными методами мы ничего не добьемся. А Киш продолжит свое черное дело. Но теперь он не остановится и перед убийством. Будет убивать всякий раз, когда сочтет, что так вернее обрубить концы.

Шеф встает из-за стола. Подходит к широкому окну.

Ярко освещенная улица пустынна. Нигде ни души.

Шеф оборачивается к Вукетичу.

— Помнишь, что я тебе сказал во время октябрьского отступления?

Во время войны Вукетич служил под его началом — командиром батальона.

Подполковник молчит.

— Бывают ситуации, когда возможен только один приказ. Любое другое решение означает безответственность.

Вукетич поднимается с кресла. Сигару оставляет в пепельнице.

Чудовищной тяжестью наваливается усталость.

Во время октябрьского отступления он получил приказ действовать по собственному усмотрению.

Всю дорогу от Белграда до Будапешта он проспал в машине.

— У меня к вам просьба такого рода... — говорит он майору Сабадошу. — Как только я подъеду к мотелю, отзовите своих людей из группы наблюдения.

Вукетич закуривает сигару. Майор попыхивает сигаретой.

— Предупредите пограничников, что я и мой коллега сегодня ночью пересечем границу на моторке Йована Киша.

— А Йован Киш?

Подполковник Вукетич не отвечает.

Затем, после долгого молчания, роняет.

— У вас больше не будет забот с ним.

Глаза майора Сабадоша воспалены с недосыпа.

— Я обязан доложить руководству.

— Разумеется.

"Ласточку" между тем подвергли обыску.

Никаких улик не обнаружено.

Ножи забрали в лабораторию. Следов крови нет ни на одном из них. Ножи могли послужить орудием убийства, хотя размеры их и не вполне совпадают с характером ранений на жертвах.

Майор Сабадош знает, что он в любой момент может арестовать Йована Киша.

Только ни один суд его не осудит.

Ведь улик никаких.

Возвратясь из управления полиции, Йован Киш в каюте сбрасывает с себя одежду и надевает плавки. Минут двадцать он плавает.

Он знает, что здесь купаться запрещено.

Его это не волнует.

Вода приятно холодит тело.

Не вытираясь, Киш прямо мокрым укладывается на крыше каюты.

День опять жаркий.

На берегу стоят белые "Жигули" с распахнутыми настежь дверцами. Внутри машины трое мужчин.

Киш не обращает на них внимания.

Он снова и снова прокручивает в памяти события, вынуждая себя припомнить все до мельчайших подробностей.

Горшки с геранью в окне одного из домов.

Смеющаяся девушка у здания церкви.

Продавец мороженого.

Олеандр в зеленой кадке.

Значит, все-таки музейный смотритель.

Следователь упомянул свидетелей во множественном числе.

Блеф чистой воды.

Будь у них два свидетеля, ему бы устроили очную ставку.

Если его сведут на очной ставке с этим смотрителем, он будет все начисто отрицать.

Что еще известно полиции? Что той роковой ночью он был вместе с Давчеком. И что они были вместе перед тем, как Давчек исчез.

Это уже больше чем подозрение.

Но еще не улика.

Алиби у него нет.

Единственный человек, кто мог бы подтвердить или опровергнуть его алиби, теперь уже больше ничего не скажет.

В музее они следов не оставили — это точно, а ящики полиции не найти.

Ну а если даже найдут?

Нож, одежда, паяльный инструмент покоятся на дне Дуная.

Ящики не дадут показаний. Статуэтки тоже.

Солнце палит нещадно. Купальные трусы быстро сохнут на теле.

По лесенке он спускается в воду. Долго плавает. Затем снова ложится на крышу кабины.

Белые "Жигули" по-прежнему торчат на берегу.

Если его арестуют, он откажется давать показания. Не проговорится. Не запутается в противоречиях.

Йован Киш уверен в себе.

А улик у полиции нет.

Дома, на родине, за него, конечно, возьмутся.

До сих пор две недели были рекордным сроком, когда он находился под круглосуточным наблюдением. На сей раз он попадет под колпак месяца на два. А то и на полгода.

Абсурд.

Йован Киш знает, какой аппарат потребовался бы для этого.

Но даже если они не слезут с него в течение года, он преспокойно проживет этот год на свою пенсию. Сберкнижка оформлена на его имя.

Он будет много плавать. Всерьез займется дзюдо. Станет ходить на футбольные матчи.

Ну а подходящая девица всегда подвернется.

Потом, когда все утихнет, он встретится кое с кем. Кое-кто съездит в Австрию, кое с кем потолкует в Вене. Кое-кто уладит дело так, чтобы ящики были вывезены из Венгрии. Кое-кто реализует статуэтки.

Опасности тут никакой.

Если контрабандист или продавец статуэток завалится, он и понятия не будет иметь, что проживает в Белграде некий полицейский офицер в отставке по имени Йован Киш.

Конечно, все это лишь теория. Йован Киш знает, что в любой момент можно сломать себе шею из-за какого-нибудь пустяка.

Кто способен был предугадать бдительного музейного смотрителя?

Йована Киша душит ярость.

Все надо предугадывать.

Риск всегда остается. Иначе все это дело вообще не стоило бы затевать. Но ошибок допускать нельзя.

Смотритель — это ошибка.

Киш плохо спит. Ему снится сон. Проснувшись, он не может вспомнить, что это был за сон.

Нервы дают себя знать.

Он открывает моторный отсек. Тщательно прочищает моторы. Проверяет контакты. Надраивает свечи. Заливает аккумуляторы дистиллированной водой.

Во всех этих действиях нет никакой необходимости, но надо же как-то убить время.

Киш не любит ждать. А между тем в жизни ему приходилось очень много ждать.

Белые "Жигули" по-прежнему маячат на берегу. Сыщики даже не скрывают, что следят за ним.

Йован Киш ухмыляется всякий раз, когда запускает моторы.

Пусть ребятки понервничают.

Он не знает, что на другом берегу позади поставленных на якорь барж затаились две полицейские моторки. Что из одного из домов на берегу за ним следят в бинокль сквозь неплотно закрытые жалюзи. На острове против Сентэндре поджидает вертолет. По обоим берегам Дуная подстерегают две машины с вооруженными сыщиками. И каждый агент снабжен ультракоротковолновой рацией.

Всего этого Йован Киш не знает. Но даже знай он, это не взволновало бы его.

Сейчас он вынужден ждать.

Это единственное, что ему остается.

Девушка в белом платье появляется на причале после обеда.

Йован Киш лежит на крыше каюты. Читает книгу Чичестера о том, как тот в одиночку на "Джипси Мотон" обогнул земной шар.

Киш уже в третий раз перечитывает эту книгу. Безумец этот Чичестер. Отважиться на кругосветное путешествие в корыте.

Но безумец симпатичный.

Девушка машет ему с причала. Она и на сей раз в белом платье.

Йован Киш отвечает ей приветственным жестом.

Один из сыщиков, сидящих в белых "Жигулях", подносит ко рту микрофон передатчика.

Киш не видит оснований щадить девушку. Зла ей не причинят, разве что повыспрашивают о нем.

— Если я сама не приду, ты даже не сделаешь попытки встретиться.

— Как знать, — говорит Йован Киш.

— Ты всегда такой противный?

— Всегда.

— Наговариваешь на себя.

— Возможно.

Киш смешивает коктейль. Протягивает стакан девушке. Та протестующе трясет головой.

— Не хочу опять напиваться.

— Ты и не напьешься.

Девушка чувствует, что голос у него какой-то странный. Ею овладевает растерянность.

— И кататься мы сегодня не поедем.

— У тебя другие планы?

Киш отрицательно качает головой.

— Тогда в чем дело?

— Вон те господа запретили мне отлучаться.

Он делает кивок в сторону белых "Жигулей". Девушка провожает взглядом это его движение.

— Кто они?

— Полицейские.

Девушка в белом молчит. Она чувствует, как ее бросает в жар.

— Что им от тебя нужно?

— Сущую ерунду.

Глаза Йована Киша отливают фарфоровой голубизной.

— По их мнению, я ограбил музей.

Он закуривает сигарету и предлагает девушке закурить.

— И убил троих человек.

Зрачки девушки расширяются.

— Спятил ты, что ли?

Йован Киш качает головой.

— Ты — убил?!

— Я за свою жизнь убивал немало.

— Опять начинаешь?

Голос девушки срывается на крик.

Йован Киш пожимает плечами.

— Тебе лучше уйти.

Девушка молчит.

— И без того тебя теперь будут трясти на допросе.

— Плевать!

— Станут допытываться, откуда ты меня знаешь, давно ли и насколько хорошо.

— Я вообще тебя не знаю.

О борт монотонно бьет волна.

— Жаль, что я не знаю тебя, — говорит девушка в белом.

— Меня никто не знает. А кто знал, все мертвы.

— Опять ты о смерти! — Лицо девушки искажает страдальческая гримаса. — Всегда она с тобой.

Йован Киш ухмыляется.

— Пожалуй, я и есть смерть во плоти.

— Сумасшедший ты!

— Не думаю, — говорит Йован Киш.

Налетает ветер, морща поверхность воды. Прибрежные деревья гнутся под его порывами.

С утра барометр упал на четыре деления.

Йован Киш заходит в каюту. Облачается в купальный халат.

Девушка недвижно застыла на кормовом сиденье.

Йован Киш пристально смотрит на нее.

— Я все думала, смогла бы я жить с тобой? — говорит девушка.

— Тебе лучше уйти.

— Что с тобой будет?

— Ничего.

— Арестуют тебя?

Йован Киш пожимает плечами.

Он и правда не знает.

— Позвонишь мне?

— Быть может.

— До сих пор ни разу не звонил.

Йован Киш смотрит на воду. Под ветром поверхность ее идет рябью.

— Обещай, что позвонишь.

Девушка и сама понимает, что сморозила глупость.

— Ничего не обещай. Лучше поцелуй меня.

— За нами следят.

— Пойдем в каюту, — в голосе девушки звучит отчаянная решимость. — Я хочу быть с тобой.

— Терпеть не могу, когда за мной подсматривают, — говорит Йован Киш.

— Плевать я на них хотела!

— Я тоже. Но неприятно, когда подсматривают.

Девушка чуть не плачет.

— Мне кажется, я тебя люблю.

— Чепуха! — Йован Киш намеренно груб. — Тебя будут допрашивать.

— Ну и пусть!

— Заберут в полицию.

— Ну и пусть! — она опять срывается на крик.

— А теперь ступай, — бросает Йован Киш.

— Что мне им сказать? — спрашивает девушка.

— Правду.

Йован Киш не провожает девушку. Смотрит, как фигурка в белом удаляется вдоль причала.

Многие ушли из его жизни.

Выйдя на берег, девушка машет ему на прощанье.

Йован Киш поднимает руку в ответном жесте.

Ветер проносится вдоль набережной.

Из "Жигулей" вылезает сыщик. Подходит к девушке в белом.

Я никогда ее больше не увижу, думает Йован Киш.

Он просыпается от грохота шагов по причалу. Смотрит на часы. Полпервого ночи.

Киш слегка отодвигает занавеску.

Вдоль причала шагают двое мужчин. Различимы лишь контуры фигур.

Вплавь еще можно улизнуть. Но что он будет делать — мокрый с головы до пят, в одной пижаме, без денег и документов?

И почему он должен бежать?

Йован Киш снова ложится в постель.

Под рукой — рядом, на полочке, — нож.

Дверь каюты с треском распахивается.

У Йована Киша вырывается ругательство.

Эти не дают себе труда стучать в дверь.

Резкий свет ударяет в глаза.

Киш вынужден зажмуриться.

— Выходи! — командует кто-то по-сербски.

Йован Киш узнает этот голос.

— Руки на затылок! Ладони разжать!

Кишу ясно, что он имеет дело с подполковником Вукетичем.

Ясно также, что игра приняла новый оборот.

Он вылезает из-под пледа.

Поднимает руки.

Выходит в передний отсек.

Каждый мускул его напряжен.

В тесной каюте Вукетичу трудно будет применить оружие.

И лодку качает на волнах.

Подполковник тотчас пятится к выходу. Йован Киш видит в руках у него пистолет.

Должно быть, "беретта". Но в точности не разглядеть. Резкий свет слепит глаза.

— Выходи! — повторяет Вукетич.

Киш выходит из каюты. На затылок его обрушивается удар дубинкой.

Заметив мелькнувшую тень, он вздергивает кверху руки.

Ему удается отчасти самортизировать удар. Но в голове все кружится.

На запястье защелкивается наручник. Кто-то резко дергает его за руку, и Киша обжигает боль. Наручник щелкает, приковывая его к стальным перилам возле рулевого сиденья.

— Обыщи его, — слышит он голос Вукетича.

Голова все еще тупая после удара.

Кто-то рывком втаскивает его на рулевое сиденье. Чьи-то руки тщательно прощупывают каждую складку пижамы.

— Ничего нет.

Судя по голосу, человек молодой.

— Скажи водителю, что мы его отпускаем.

Это Вукетич.

Кишу становится легче. Туман в голове проясняется. Только ноет от удара затылок и болит рука, которой он перехватил дубинку.

— Положи руку на руль, — говорит Вукетич. — И смотри сюда, на свет.

Йован Киш медленно поворачивает голову к свету. Веки его полуопущены, словно он еще не окончательно пришел в себя.

Можно не опасаться человека, движения которого столь медленны и неуверенны.

Подполковник усаживается на сиденье рядом с ним. В левой руке у него карманный фонарик, в правой пистолет.

— Все, отыгрался, — говорит Вукетич. — На этом точка.

Йован Киш считает иначе.

Фонарик направлен ему в глаза, оставляя в тени руку.

На лице его тупое выражение. Достаточно он в своей жизни насмотрелся на людей, оглушенных резиновой дубинкой по затылку.

За кожаной обшивкой штурвала спрятано лезвие — в палец шириной.

Голова Киша безвольно падает на грудь. Он поднимает ее медленно, с трудом. Фарфорово-голубые глаза его тусклы. Мизинцем и безымянным пальцем он осторожно, сантиметр за сантиметром, вытаскивает лезвие.

Шаги на помосте затихли.

Киш валится головой вперед.

И вонзает лезвие в плечо Вукетичу.

Подполковник не успевает вскрикнуть. Пистолет выпадает у него из руки.

Йован Киш бьет его в сердце. Вукетич заваливается грудью вперед.

Киш запускает руку к нему в левый карман: там спрятан ключ от наручников.

На берегу слышится гул включенного автомобильного мотора.

Йован Киш достает из бокового ящичка возле руля нож. Откидывает на спинку сиденья грузное тело Вукетича. Луч фонарика направляет на причал.

Левую руку он сует в раскрытый наручник. Правую

кладет на штурвальное колесо. Тремя пальцами сжимает нож.

Напарник Вукетича спокойным шагом возвращается на причал. Он не торопится. Свою задачу он выполнил.

Так ему кажется.

Когда полицейский попадает в полосу света, Киш видит в руке у него пистолет.

Йован Киш замахивается правой рукой.

Тысячи раз он отрабатывал это движение.

Острие ножа вонзается в поддых — туда, где ему не скользнуть по кости.

Офицер, схватившись за живот, падает на колени.

В то же мгновение Киш оказывается возле него. Валит жертву ударом ноги в голову и наступает на горло.

Он видит, как сыщик судорожно хватает руками нож, и всей тяжестью надавливает ему на горло. Хрустит переломанная гортань.

Киш вытаскивает из поверженного тела нож и вонзает его в сердце жертвы.

Стопроцентной гарантии ради.

Йован Киш оглядывается по сторонам. На берегу тускло светятся огни фонарей. Белых "Жигулей" и след простыл. Ночь выдалась теплая.

Киш обыскивает карманы убитого. Труп сталкивает в Дунай.

Включает моторы.

Поднимает пистолет, выпавший из мертвой руки Вукетича. Вытаскивает из внутреннего кармана пиджака бумажник. Из правого наружного кармана извлекает запасную обойму и патроны.

Йован Киш бросает взгляд на приборную шкалу. Стрелки отмечают, что моторы прогрелись.

Он отвязывает причальный канат. Бортовые огни не включает.

Выбравшись на середину Дуная, он глушит моторы.

Долго выжидает, напряженно прислушиваясь.

Тишина царит абсолютная.

Ни малейших признаков слежки.

Киш сгребает в охапку тяжеленное тело Вукетича и с натугой взваливает его на бортовое ограждение.

Голова Вукетича клонится к плечу. Киш бросает взгляд на его лицо. Таким оно было и при жизни.

Он переваливает тело за борт.

Включает бортовые огни. Дает газ. "Ласточка" режет темную толщу воды.

Ночь стоит безлунная. Небо усеяно звездами.

"Ласточка" летит, рассекая корпусом воду.

Нельзя было поступить иначе, и нечего теперь об этом думать.

Вукетичу досталось поделом.

Его, Киша, смерть они, наверное, списали бы на "попытку к бегству".

А может, даже такой мотивировкой не стали бы себя утруждать.

Рано или поздно прибило бы к берегу вздутое тело. В затылке или во лбу у трупа — пистолетная пуля.

Следствие через какое-то время зайдет в тупик.

Как все просто!

Искать Йована Киша никто не станет. Некому.

Возможно, его собирались прикончить здесь, в Венгрии. Возможно, дома, на родине.

Теперь их мертвые тела уносит темной водой.

Врач велел ему беречься. Предписал покой, размеренный образ жизни.

Йован Киш тогда ухмыльнулся.

Он не стал говорить доктору, что смерть его не волнует. Врачи полагают, будто все люди боятся смерти.

Для Йована Киша невыносимее жизнь.

Со смертью он сталкивался много раз. И вот теперь она проникла к нему в грудь и стиснула сердце.

Левая рука его омертвела.

Киш видел смерть. Она была белой. Не в пример черным дулам винтовок.

Киш равнодушно взирал на нее. Не кланялся смерти.

Он не знал, что лицо его посерело. Пот лил с него градом.

Это случилось на летучке в понедельник. За столом их сидело шестеро.

— Что с тобой? — спросил Вукетич.

Ничего, хотел сказать Киш, но из груди его вырвался стон.

— Выкарабкался, — сказал врач, вытаскивая из вены иглу.

Он думал, что Киш не слышит.

Йована Киша не интересовало мнение врача. Максимум, что тот может сделать, — чуть продлить ему жизнь.

Изменить его жизнь — убогую, скучную, постылую — ни один врач не в силах.

"Ласточка" летит вдоль судоходного фарватера, меж красных и зеленых огоньков буев.

В десяти километрах от погранзаставы он выключит огни.

Правда, гул моторов пограничники все равно услышат.

Начнут палить ракетами.

Киш ухмыляется. Сколько раз доводилось ему видеть белые снопы ракетных вспышек! Они всегда служили предвестниками каких-то событий.

Пока на венгерской заставе очухаются и пошлют вдогонку катер, его и след простынет.

Тогда венгры известят югославских пограничников.

Йован Киш знает, что в распоряжении капитана Трокана две моторки, но по ночам дежурит лишь один экипаж. И моторке той не угнаться за "Ласточкой".

Пограничники попытаются преградить ему путь. Но еще не родился стрелок, способный из лодки на полном ходу поразить цель в другой стремительно мчащейся моторке.

Значит, начнут стрелять из автоматов наугад.

Йован Киш проверяет показания приборной шкалы. Аккумуляторы заряжены. Разогрев моторов нормальный. Глубина пять метров. Количество оборотов — четыре тысячи.

Измеритель горючего показывает, что бензина хватит только до границы.

У Йована Киша вырывается ругательство. Как он мог упустить это из виду!

Он достает карту. Раскладывает ее на выдвижном столике у приборной доски. Включает подсветку над столиком.

На всем протяжении Дуная до границы — ни одной бензоколонки.

А бензин нужен во что бы то ни стало. Иначе ему не добраться домой.

Домой?

Ведь придется покинуть все: квартиру, Дунай, Саву, Адриатику. И "Ласточку". Лодку ему жаль больше всего. Он не может простить Вукетичу, что тот так грубо взломал дверь каюты.

Однако сейчас не время гадать, что его ждет дома. Нужно думать, как прорваться через границу.

Киш не жалел, когда после второго инфаркта его отправили на пенсию. Осточертело ему возиться с мелкими жуликами, аферистами, карманниками.

Тогда еще он не представлял себе, что значит быть пенсионером.

Киш долго изучает карту. Все бензоколонки находятся в стороне от Дуная.

Он всегда учитывал, что рано или поздно окажется в проигрыше. Но по сути никогда не верил в это.

Его не интересовало, какой его ждет конец. Он намеренно гонялся за опасностью. А ставкой в игре была его жизнь.

Йован Киш знал, что живым его не возьмут. Он понял это еще в горах. Когда был партизанским разведчиком.

Живите, как все здоровые люди, сказал ему врач, полковник медицинской службы. Только осторожнее, с оглядкой.

Два инфаркта — не шутка.

По утрам он спускался в сквер. Сидел на скамейке. Как другие пенсионеры. Служебный пистолет ему разрешили оставить. По крайней мере, будет возможность покончить с собой.

Невыносимое существование.

Целый год он разрабатывал план ограбления банка в Загребе. Жизнь его вновь обрела смысл. Когда ему приходилось встречаться с бывшими коллегами в зале для тренировок, они видели, что Киш снова ухмыляется. И радовались этому.

Старый Волк-одиночка.

Вверх по Дунаю натужно пыхтит баржа. Йован Киш направляет на нее рефлектор.

Йован Киш знает, что в пятьдесят лет трудно начинать жизнь заново.

Неважно. Есть у него банковский счет в Милане. Есть несколько человек, на которых он может положиться. И два запаянных ящика на острове против Сентэндре.

Таких капиталов, чтобы хватило до конца жизни, у него нет.

Ну а если бы и были? Не желает он вновь очутиться на положении пенсионера.

Все, что угодно, только не это.

И тут ему вспоминается мертвый рукав Дуная под Байей; рукав подходит прямо к селу. А в селе есть бензоколонка.

Это единственное, что его в данный момент волнует.

Йован Киш не включает прожектор. В темноте он ориентируется лучше, чем при слепящем свете.

Мертвый рукав он находит без труда.

Вдоль берега выстроились рыбацкие хижины.

Узкий серп луны отражается в воде.

Возле хижин развешаны для просушки сети.

Эхолот показывает глубину в два метра.

Мертвый рукав пяти метров шириной. Слева, на крутом берегу, к воде спускаются ивы. Справа — болотистые кочки и камыш. Там мельче.

Через десять минут "Ласточка" добирается до опор взорванного во время войны моста.

Лодка идет как бы ощупью.

Эхолот показывает полтора метра.

Киш нажимает кнопку. Лопасти гребного винта поднимаются.

Мотор хрипит.

В бинокль вырисовываются контуры лодок, уткнувшихся носом в берег.

Йован Киш направляет "Ласточку" к лодочному причалу.

Эхолот фиксирует всего один метр.

Йован Киш резко поворачивает руль влево и стопорит моторы.

Под днищем "Ласточки" скрежещет речная галька.

Киш перебегает на нос лодки и спрыгивает в воду. По колено в воде, по каменистому дну он выбирается на сушу. Захлестывает причальный канат вокруг ствола ивы.

Пистолет Вукетича он засовывает в задний карман джинсов. В боковой карман, специально обшитый кожей, прячет нож. Из ящика с инструментами достает молоток и лом.

Киш прихватывает с собой две канистры. Сорока литров хватит с лихвой, да и тащить нетяжело.

Собаки встречают Йована Киша лаем. Маленькие улочки без единого фонаря.

Бензоколонка находится на главной площади. Пыльные трубки неонового освещения не в силах разогнать мрак, царящий на площади.

Киш ставит канистры на асфальт. Поддевает ломом крышку колонки. Наваливается на него всей тяжестью тела.

Просовывает в замок металлическую пластину. Через тридцать секунд язычок замка щелкает.

Йован Киш открывает одну из канистр. Прилаживает к ее горлышку кран резинового шланга. Нажимает кнопку подачи.

Его не раз преследовали, много раз преследовал он сам.

Теперь он только преследуемый.

Стоит ли сейчас над этим задумываться? У него еще будет время.

Одна канистра наполнена доверху. Йован Киш переставляет шланг в другую. Гулко ударяет тугая струя.

Киша настораживает легкий шум.

Чьи-то осторожные шаги по асфальту.

Киш, не выпрямляясь, выглядывает из-за колонки.

У здания бензоколонки стоит полицейский. В руках у него пистолет.

Йован Киш уменьшает подачу бензина. Ему не хочется, чтобы канистра была слишком тяжелой.

Полицейский, крадучись, выходит из-за здания бензоколонки.

Киш выжидает.

— Руки вверх! — кричит полицейский.

Он стоит шагах в пяти.

Йован Киш ухмыляется.

Этот сопляк только еще проходит азы, а у него, Киша, за плечами университеты.

Полицейский Имре Вереш в марте этого года был произведен в младшие сержанты.

— Руки вверх! И не шевелиться, иначе стреляю!

Йован Киш вновь ухмыляется. Либо ему поднимать руки, либо замереть, не шевелясь.

Он медленно выпрямляется.

Левую руку поднимает над головой. Правой сжимает ручку канистры.

Полицейский в трех метрах от него. Пистолет он выставил перед собой.

Киш видит, как дрожит дуло пистолета.

— Очень прошу вас, — говорит Йован Киш.

В жизни он ничего не просил. Ни у кого.

Киш бросает канистру в полицейского. Ему нужна лишь доля секунды, пока полицейский отскочит в сторону.

Пистолет есть и у него самого, да и нож тоже. Но ни то ни другое оружие ему не потребуется.

Младший сержант Имре Вереш настолько напуган летящим в него темным предметом, что даже не пытается отскочить в сторону. Со страху он нажимает на спусковой курок.

Канистра бьет его в грудь.

Полицейский падает навзничь и, защищая лицо, выбрасывает вперед руки.

В селе тишина. Даже собаки брехать перестали.

Вор лежит, уткнувшись в землю ничком. Руки раскинуты в стороны.

Младший сержант в ужасе. Пистолет его прыгает в

трясущихся руках. Он с трудом переворачивает на спину безвольное тело.

Во лбу у Йована Киша маленькая дырочка. В самой середине, между глаз. Как на мишени — попадание в десятку. Оттуда сочится кровь.

К горлу младшего сержанта подступает тошнота. Он не целил в голову. Он вообще никуда не целился. Полицейский осторожно хлопает лежащего мужчину по щекам.

Голова Йована Киша перекатывается на сторону, глухо ударяясь об асфальт. У полицейского в лице ни кровинки. Из-за канистры бензина он убил человека.

Йован Киш лежит, уставя фарфоровые глаза в пустоту.

Смерть снизошла к нему.

Феликс Розинер

ЛИЛОВЫЙ ДЫМ

Уже скоро год, как стали ко мне приходить эти письма — судья в Чикаго, адвокат из Кливленда, иерусалимская полиция, Данька Варшавский из Филадельфии, — идут конверт за конвертом, и в каждом — Владас, Владас, Владас!.. Не помню я, не знаю никакого Владаса! Они хотят, чтоб я приехал и рассказывал, чтоб отвечал на их вопросы, как отвечает робот, — где был Владас, когда был Владас, почему был Владас, а я не помню, не знаю, не понимаю, я не хочу ничего, не могу ничего, да я и не должен рассказывать им ничего, потому что всего-то и осталось у меня в сознании — столб дыма, столб лилового дыма, туманная пелена по низу лесной опушки, над самой травой, и тусклый огонь сквозь туман, как глубоко в печи, когда уже догорает, и над туманом этот лиловый столб дыма, перед березами и чуть выше, а там, наверху, столб сломан и лежит уже на самых верхушках деревьев, лежит и движется, клубится, дышит... Только это одно и осталось — слабый огонь сквозь туман и дым лиловый над пеленой тумана...

Бомбили Палангу, нас вывезли наспех, родители, наверно, и не успели узнать, что стало с их детьми, персонал санатория поразбросало кого куда, в Смоленске поезд расформировали, часть вагонов пошла на юг, а нас повезли на Урал и дальше, в Казахстан. Мне было четырнадцать. Стал фэзэушником на военном заводе, работал, ходил в какие-то классы, дали мне аттестат за всю школу, и я уже вот-вот готовился идти по призыву — в офицерское училище, как думал, и потом на фронт. Но войну как раз кончили, а на радостях, поглядев на бумажку из детского легочного санатория, меня доктора прослушали и

написали "не годен". С завода я уже, как призывной, уволился, с документами все было чисто. Двое суток провел на вокзале, сел в поезд и через Москву и мимо того же Смоленска — обратно, в Литву. С Данькой Варшавским познакомился там же, в вагоне, он уговорил сойти в Вильнюсе, и я остановился у него. Он же потащил меня в приемную университета. Был сорок пятый год, студентов не хватало, прошли мы испытания, и нас обоих зачислили, мне нужно было добиваться общежития, но я все оставил на Даньку и выехал в Шяуляй. Данька и его отец, работавший в исполкоме, повторяли, что я сумасшедший. В Шяуляе, хоть я говорил по-литовски чисто и по виду не напоминал еврея, меня никто не принимал за своего. Смотрели подозрительно, отмалчивались и отходили. Я называл Укшчяй и говорил, что еду разыскивать родителей, и, конечно, тут, в Шяуляе, все знали про Укшчяй, что там жили до войны евреи, и никто не хотел говорить о плохом, да и было опасно, — со всех сторон было опасно помогать приезжему, кто его знает, кто он, этот городской, говорит-то одно, а на уме у него, должно быть, другое. И верно, оперативники, милиция, следственные группы кочевали с места на место, гнались, вылавливали, арестовывали, судили, а истребительные отряды вели по всей Литве войну с зелеными. Тут мира не было, тут смерть еще не поделила с жизнью полюбовно свои владения, то есть мне тяжелых больных, стариков, случайных неудачников, тебе — остальных, кто здоров и молод. Нет, здесь смерть ходила легко, по-хозяйски, и если не в открытую совсем, как на войне, то разве что чуть припрятываясь по лесам и рощам, хуторам и нелюдным дорогам. Мне и предстояло ехать так — из города в глубинку, сначала по тракту, а там и в сторону, в места, судя по отзывам, гибельные совсем. Я толкался на шяуляйском рынке, заводил разговоры. Никто и думать не хотел меня повезти, хоть я и предлагал и деньги хорошие и из пайковых запасов натуру. Наконец были у меня и американские сигареты. На них посмотрел мужик — неповоротливый, толстый, с небритой рыжей щетиной, довольно страшно он выглядел, да и пьян был изрядно, от него несло кислым, брагу, наверно, пил, — посмотрел, сглотнул слюну, молча взял мои пачки, сунул их в карман мехового жилета, одну же, подумав, вынул и надорвал. Еще я ждал, пока он закурит и втянет первую затяжку.

— Герай. Поедешь под сеном.

Так я и не знаю, нарочно ли меня взял этот мужик, чтобы привезти горожанина прямо в руки лесным братьям, или же мы сами наткнулись на них уже почти на окраине Укшчяй. Я дремал, телега скрипела и тряслась, от сена, лезущего в ноздри, в уши, в глаза, разболелась голова, я

знал, что спустились сумерки, что скоро приедем, но все уже тогда, наверное, было в бреду, в полусне, в наваждении, которое как началось с дурмана тряской телеги или раньше еще, с дымом американской сигареты, так и продлилось в виденье лилового дыма, надломленного дымного столба, продлилось в четыре безумных года меж смертью и жизнью в Укшчяй, где жил я в комнате с окном, выходящим к выгону, в земле которого лежали моя мать и мой отец,и где, как мне обещано было, буду лежать и я. Очнулся я от того, что телега остановилась. Вокруг говорили — спокойно, вполголоса. Сказал ли им мой возчик, что под сеном человек? Где-то около груди отворотили сено в сторону, и я увидел сквозь его поредевшие переплетения, что ходит рядом с моим телом штык, я сказал, стараясь слова выговаривать ровно: "Не надо, подождите, я выхожу", — и стал отгребать от себя траву. Снаружи мне помогли, я соскочил с телеги, отряхиваясь и понимая, как это смешно, — весь в сене, вылезает вот так, будто леший, — улыбался им. Я поздоровался, но ответа не было. Мой мужик стоял молча, его не трогали. Мне же тот, что стоял ближе всех, сказал:

— Пойдем. Туда.

И он показал подбородком, куда мы пойдем.

Там-то и был, метрах в ста от дороги, этот теплившийся огонь, перекрытый вечерним туманом, и над ним, на серой зелени берез стоял плотный, округлый, как колонна, столб из дыма, и почему он сразу же, невысоко, ломался и тянулся вбок, над кромкой рощи, не объяснялось никак. Что там горело, да и было ли на самом деле виденное мной, — не помню и не знаю ничего, ведь я видел смерть, я стоял перед ней, а она предо мной, и я не должен был разбираться, что вокруг живое и сущее, а что лишь туман и дым. И они тоже видели смерть, когда стояли и смотрели на меня, и сквозь лицо мое читался им мертвый череп. Один из них вздохнул и переступил с ноги на ногу.

— Э-эх, — протянул он. — Скольких поубивали... Сколько еще, командир?

Командир их, тот, что звал меня за собой к лесочку, ответил, и я увидел, кто он, этот человек, готовивший мне смерть:

— Мы его не знаем. Он чужой, — сказал командир, и я закричал:

— Владас!!! Владас, это ты!!! Владас, помнишь, Даугела?! Помнишь, Даугела хотел твою Марге?! Камнями, Владас?! Это ты, ну Владас, это же ты!!!

— Не кричи. Может, едут за тобой, кто тебя знает! — прошипел он со злобой. — Ты Иошке.

— Здравствуй, Владас, — сказал я, отер со лба прилипшие травинки и успокоился.

— Зачем сюда?

— Разве он не сказал? — посмотрел я на моего мужика. — Родители. Пять лет, Владас, меня тогда отвезли в санаторий, все оборвалось. Я писал уже в Укшчяй, не отвечали, вот и еду.

— Ладно, не болтай! — прикрикнул он, и я увидел опять, как плохи с ним шутки. Его и прежде боялись. Я был еще ребенком, когда он, подросток лет пятнадцати, успел восстановить против себя всю округу. Он дрался насмерть и уже портил девок, и отцы искали случая прибить его однажды. У Даугелы, в чьем доме мы жили, старшая дочь тоже путалась с Владасом, и наш хозяин захотел как-то раз сорвать зло на его собаке и стал камень за камнем швырять в несчастную Марге. Я кинулся с крыльца, рыдая, обнял собачью шею, и очередной увесистый камень угодил мне в бок. Два ребра было сломано. Даугела вечером напился, плакал и просил прощения у моего отца, стоя перед ним на коленях, как в костеле. Владас объявил, что "этот жидас под моей защитой", и меня ни в школе, ни на улице никто не смел тронуть.

— Пойдем, — сказал он. И добавил, чтоб я был уверен: — Мы в Укшчяй. Пойдем с нами. И с нами же переночуешь. У Даугелы. Утром чтоб вони твоей здесь не было.

Пришли к Даугеле, и сразу стало понятно, почему эти шестеро из отряда зеленых братьев остановились у него: Яня, младшая дочка нашего хозяина, с которой я когда-то играл в песочек, теперь темноволосая, с сильным телом красавица, кинулась на шею к Владасу. Он обнял ее, не оставляя винтовки, и поцеловал Яню при отце и при всех остальных так, что никакого сомнения быть не могло: она его женщина.

— Иошке, — сказал Даугела. — О, Езус-Мария. Иошке, Иоселе приехал. Пан Лейбл и пани Бронислава. Вон там, видишь, Иоселе? У края выгона? — Он указывал в окно, и я смотрел. — Видишь, неровно там? Тридцать восемь душ, Святой Отец, прости всех нас. — И он еще смотрел в окно и туда, не мне, а в стекло как будто проговорил: — И тебя они там закопают, вспомнишь меня.

Я с удивлением на него глянул, увидел, что и остальные молча смотрят на нас. Даугела скривился, пугливо усмехаясь, и стал суетиться, чтобы принять дорогих гостей как положено, с водкой и салом, с окороком и луком, с дымящимся картофелем и соленьями. Хозяйки у Даугелы не было — умерла в войну. Старшая дочь на хуторе замужем. А Яня, значит, как и сестра, приглянулась Владасу, и дом Даугелы — его теперь, Владаса, дом. Вот я и попал!

Если власти знают о том, что Владас наведывается сюда, меня в два счета могут забрать, хотя бы завтра же, едва я появлюсь на глаза кому-нибудь из милиции. Один вопрос — у кого вы остановились? — и меня ведут в участок. Уйти надо затемно, думал я, выпивая рюмку за рюмкой вместе со всеми — с хозяином, у которого прожил полдетства, с Яней, с которой купался на речке в одних трусах, а то и без них, если мы убегали из дому без спросу, с Владасом, который некогда взял меня, жидаса, под опеку, а теперь едва не пристрелил. Все уже были пьяны. Но ружья стояли прямо и твердо между коленями мужчин, и они обсуждали что-то свое, лесное, бубнящими голосами, так, чтоб не было слышно не только из-за дверей, но даже и здесь, на том краю большого стола, где сидели, как бы чуть отделясь от других, мы с Даугелой. Дочь его сидела рядом с Даугелой, и лицо ее было замкнуто.

Я не чувствовал хмеля — оттого, что весь был как одна, из нервов скрученная пружина, но нарочито распускал свои мокрые губы, неуверенно тыкал вилкою, ронял на пол куски, притворяясь для безопасности пьяным вконец. Даугела же сникал совсем, валился на мое плечо, и свесившись однажды так, что длинными своими потными волосами закрыл мне лицо, захрипел шепотом, плюя и ударяя дурным дыханием прямо в самое ухо:

— Убьет тебя... Бояться будет... Он в той команде был... когда кончали их... всех ваших... и твоих...

Меня забила дрожь. Он не заметил и понес что-то дикое:

— Или мы его... Один не справлюсь. Ты молодой... Да только Янька, сука... Обоих убьет, отца не пожалеет... Или они. Вернутся. Советские тоже.

Это длился все тот же бред, начавшийся еще утром, — все тут собрались, чтоб смотреть друг на друга и видеть смерть, простреленные черепа, разбросанные кости, кто кого, кто первый и последний, и кто кому брат и муж, тот тому же убийца и мститель, сидят за столом и как будто сменяют друг друга в жутких ролях — тот и этот, и так поглядел и не так промолчал, и нет исхода — или убивать или быть убитым.

На ночь Владас ушел в спальню к Яне, Даугела к себе, меня положили на кухне, а в той большой передней комнате, где мы сидели за столом, улеглись на полу остальные. Я лежал с закрытыми глазами и ждал рассвета. Когда забрезжило, встал и прошел, переступая через спящих, к входным дверям. Полусидя, спиной к косяку, там подремывал один из братьев, оставленный на охрану. Я тронул его за плечо и даже потряс легонько, чтобы он очнулся. Вскинувшись, он мутно взглянул на меня, подтянул к себе винтовку и покачал головой: "Нет. Иди обратно. Сначала

уйдем все мы", — сказал он. Я вернулся в кухню, снова лег. В большой комнате зашевелились, негромко заговорили. Открывалась и закрывалась дверь, они уходили по одному, выжидая каждый минут по пять и слушая, как видно, тихо ли снаружи. Дождался, когда все затихло, и я, потом снова вышел из кухни. За столом сидел Даугела.

— Пей, — протянул он стакан.

Я сел напротив, выпил теплую водку и стал есть. Страх отпустил меня, голова прояснилась. Я впервые подумал о том, что сижу-то я в доме, который прежде называл своим, — и мы жили на половине его, отгороженной от хозяйской, от этой, где был я сейчас, внутренней стеной. И значит, я могу пройти в наши комнаты и увидеть... Что я мог там увидеть? Тут стал я вдруг замечать, что предметы, меня окружавшие, — вон там на стене резная — мама звала ее "итальянская" — полка, а рядом большие часы, в одном углу мраморный умывальник, в другом — застекленный шкаф-горка, — все они из того, утерянного мира, в котором некогда и я, как эти вещи, имел свое место и назначение. Рука моя, тянувшаяся с вилкой за картошкой, замерла: на краю тарелки темнела щербина в виде парусного кораблика — "мне с корабликом, мне с корабликом!" — требовал я, когда мать разливала суп. У Даугелы ели из нашей посуды! И я ел из нее. Я молча жевал и пытался примерить к себе, как скажу ему: "Это наше, мое, отдай", — и чувствовал, что это невозможно. Не из-за страха, — не то я представлял, что скажет, что сделает Даугела в ответ, а то, как покинет меня ощущение сладко саднящей, тревожащей и приятной несильной боли, какая бывает в мышцах тела, в общем-то здорового, когда нескончаемо долгий путь с поклажей, давящей на спину, окончился наконец, и ты свалился, недвижимый, и уже не хочешь ничего иного, а лишь переживать, едва ли не наслаждаясь, боль и покой, которые могут тянуться столь же нескончаемо, что и тот, позади оставленный путь. Дом Даугелы, и сам Даугела, обстановка, посуда с корабликом, вот монограмма на вилке, а это окно, за которым на выгоне, слева, у самого леса, поросшая травой неровная грядка, — и я со вчерашнего вечера здесь, и это мое, пока я все еще здесь, но станет уже не моим, если даже, сложив на телегу, свезу куда-нибудь вещи, потому что боль и покой будут тут, а вещи где-то еще, и выгон останется тут, а я буду где-то, и может, не буду нигде, не знаю, кто буду, где буду, зачем, почему, для кого...

— Подстрелят тебя, — сказал Даугела и покосился на коридорчик, туда, где были две спальные комнаты. Вот почему не вышла Яня! — там все еще оставался Владас. — Как выедешь, тут и подстрелят. А кто повезет? Никто. Тебе не выбраться.

— Зачем? Я не понимаю, — сказал я ему. — Зачем им меня убивать?

— Га, парень. Ты можешь донести.

— Зачем мне на них доносить?

— Глупец. Ты их видел. И ты знаешь Владаса. Пей еще.

Мы выпили еще.

— Меня будут искать. В Вильнюсе знают, что я поехал сюда, — сказал я. И тут же спохватился: может, этого не надо было говорить?

Даугела подумал.

— Так. Но ты знаешь, — тут своего убьют, ищут, ищут и никогда никого не находят. А чужого — тьфу! Кому ты нужен?

Он встал, прошел в кухню и стал шумно пить там, черпая из ведра. Я действовал как по наитию: беззвучно и быстро достиг входной двери, открыл ее, вышел и двинулся через выгон. Если бы выгон был шире, то моя кожа, стянувшаяся на спине от страха так, что во мне гудело, могла бы и лопнуть, а плоть под кожей — рассесться, как брошенный оземь бочонок. У гряды я остановился. Теперь стрелять в меня было удобно: из лесочка в грудь, почти в упор, а из дома через окно, прицелившись между лопаток. Холод пронизывал до костей. Я прошел вдоль гряды, повернул обратно. Потом я сел в мокрой траве, прямо на возвышение, вытащил сигарету. Я курил и размазывал слезы. Из-за поворота дороги выехала подвода с людьми, они, наверно, ехали на работы в поле, и опять меня что-то быстро сдвинуло с места, я пошел в их сторону, сообразив, что вряд ли меня убьют на виду у людей. Около домов, на улице, было совсем уже не опасно, я шел, узнавая и не узнавая все то, что прежде видел ежедневно: тут ходил я в школу и обратно, здесь вот через переулок спускался к реке, теперь уже близко площадь перед костелом, напротив него управа — бывшая, конечно, сейчас в ней местный совет депутатов трудящихся... Мне повезло: милиция находилась в этом же здании. Я вошел.

Час был ранний, и за конторкой в приемной сидел лишь дежурный. Я протянул ему паспорт и сказал, что хочу говорить с начальником. Паренек-дежурный знал свое дело:

— А прописка? Смотрите, вот тут, — вас выписали. А штампа с пропиской нет.

Я объяснил, что прописываюсь в Вильнюсе, что еще не успел все оформить. Он снял трубку и, прикрывая ее ладонью, с кем-то начал говорить, долго и почти неслышно. Положив трубку, встал, сказал: "Пройдите со мной", — и ввел меня в комнатушку. На окне была решетка.

— Здесь подождите. Начальник придет — вас вызовут.

Паспорт он оставил у себя. Отлично, думал я. Все идет как надо. Задержали — отпустят, я попрошу связаться с Вильнюсом, отец Даньки меня быстро вызволит, и, конечно, надо будет так устроить, чтоб на милицейской машине отправили в Шяуляй. Все как надо, радовался я. Бессонная ночь и выпитое утром сморили меня, и, сидя на стуле, склонившись к столу, я заснул. Потом меня окликнули, тот же дежурный проводил меня к начальнику. Это был небольшой белесый человек с маленькими красными глазками. Может, и он не спал этой ночью. Заговорил он было по-литовски, потом перешел на русский.

— Иосеф Янкелявичюс, верно?

— Да.

— До войны ваша семья жила здесь, в Укшчяй. Так? Видите, мы вас знаем. Теперь вернулись?

— Да, то есть нет, я приехал в Вильнюс, а сюда.. Я не знал, что с родителями.

— Понимаю, товарищ. Но что поделаешь, товарищ, война, много жертв, много жертв... — Он умолк и сочувственно покачал головой.

— Там надо хотя бы оградку сделать, — сказал я. — Коровы ходят.

— Это в исполкоме, обратитесь к ним, — указал он пальцем за стену. — Сегодня принимают после обеда, с двух часов.

— Я не смогу. Мне надо обратно, в Вильнюс.

Тут он встал, обошел вокруг стола, принес мне стул и велел сесть. Вернувшись на свое место, он медленно заговорил. Я слушал его, и мне становилось жутко.

— Вы останетесь здесь, — сказал он с самого начала. — Не поедете никуда. Здесь идет борьба. С классовым врагом, — сказал он. — Пособники буржуазии, кулачество, военные преступники, скрывающиеся от правосудия. Но скоро с врагами будет покончено. Навсегда. Можете считать, что вы, как местный житель, мобилизованы на фронт этой борьбы с нашим классовым противником Вы нам нужны здесь. Университет? Вы молодой. Учиться сможете позже, когда советская власть укрепится и мы их всех ликвидируем. Я уже связался с Вильнюсом, с республиканскими органами. Ваш вопрос решен положительно, в соответствии с моей просьбой. Ваше место жительства — дом Казимираса Даугелы. Нам нужен свой человек, этот дом на подозрении. У нас не хватает кадров. Мы требуем помощи в нашей работе от всех — от учителей, от врачей, от всех советских работников. Устроим вас в школу. Нужен учитель русского языка. Образование? В наших условиях это второстепенный вопрос. Подучитесь, приобретете опыт. Пока отдыхайте. Вам оформят отпуск

до сентября. А там приступите к работе. Будем с вами поддерживать связь.

Он открыл ящик стола, достал печать, раскрыл мой паспорт и аккуратно поставил штамп. Что-то вписал и размашисто расписался.

— Товарищ Янкелявичюс, вы прописаны по старому месту жительства ваших родителей. В соответствии с инструкцией о прописке. Поздравляю с возвращением в родные места.

Он встал, я встал тоже. Как во сне, я ответил на его рукопожатие.

— Теперь идем.

И он привел меня к Даугеле.

— Кто? — послышался из-за дверей его голос, когда мой провожатый постучал.

— Открой, Даугела. Жильца тебе привел.

Не открывали долго. Когда мы входили, Даугела шумно дышал, и пот стекал по его лицу. Яня, глядевшая на нас внимательно, словно ждала, что мы вот-вот набросимся на нее, медленно, боком, переступала вдоль стены, отходя в глубь комнаты, все ближе и ближе к коридорчику, ведущему дальше, в спальни. Я понял: Владас еще спит, сейчас она его разбудит, он схватится за винтовку и... За спиной начальника милиции я сделал Яне знак: показал на него глазами и приложил палец к губам. Она остановилась.

— Так, Даугела, — говорил начальник. — Поселишь товарища учителя. Школа будет тебе платить за предоставленную ему жилплощадь. Ну, ты это знаешь, оформишь, как положено. Прописку он имеет.

Начальник снова пожал мне руку и ушел. Мы стояли неподвижно. И я увидал, как в конце коридора появился узкий просвет и стал расширяться, — это плавно и бесшумно поворачивалась дверь, и, когда она открылась, за ней стоял Владас — в исподней рубашке и в подштанниках, белый, всклокоченный, напряженный, и из подмышки его торчала винтовка. Ствол ее поднимался и дулом смотрел на меня. Владас, расставляя неторопливо босые ноги, пошел вперед, и глаза наши встретились.

— Доброе утро, Иошке, — хрипло сказал он.

— Доброе утро, — ответил я.

Левой рукой он налил себе стакан водки, выпил и так, в подштанниках, сел, прислонив винтовку к столу.

— Ты не знал, что я еще здесь, верно, жидас? — сказал он мне.

— Знал, — сказал я и взглянул на Яню. Она смотрела на Владаса.

— Врешь, — покачал он головой, зевнул широко и,

взяв бутыль с водкой, стал разливать по трем стаканам. — Садись, Даугела. И ты садись. Выпьем.

Меня мутило, но я сел и выпил вместе с ними.

— Что? — мрачно уставился он на меня. — Вчера надо было прикончить? Но не поздно и сейчас. — Он захохотал, закашлялся. — А если знал, — сказал ему? Я буду уходить, а они в засаде? — опять уставился он тягостным, злобным взглядом.

Я ждал, что он толстым своим кулаком ударит меня по лицу.

— Он не сказал про тебя.

Это произнесла все еще стоявшая у стены Яня. Владас повернулся к ней, и можно было подумать, что теперь он готов поднять кулак на нее.

— Пусть он расскажет, — поспешно проговорил Даугела и налил Владасу. — Ну-ка, Иошке, рассказывай все.

И я рассказал им все, начиная с того, как боялся выстрела из лесочка. Владасу был приятен мой страх, он ухмылялся и кивал, как бы подтверждая, что я не зря опасался его дружков. Я пересказал разговор в милиции и закончил так:

— Я только одного хочу: уехать отсюда. Помоги мне, Владас. Помоги, Даугела. Приеду в Вильнюс, у меня знакомый в исполкоме, он эту прописку аннулирует, я же в университет зачислен. Владас?

Он не ответил. Ни слова не говоря, он встал и, взяв винтовку, ушел в спальню.

— О, Езус-Мария, — шептал Даугела. — Езус-Мария...

Владас вернулся уже одетый. Винтовки не было. Он сел напротив меня и заговорил.

Ты останешься здесь, сказал он. Никто тебе не поможет выехать. Ты думаешь, война окончилась? Они хотят загнать нас к себе, всю Литву сделать своим советским дерьмом. Но мы воюем, и мы умрем, и Бог нам судья. Ты хочешь мне сказать, что твои отец и мать, пан Лейбл и пани Бронислава, уже давно мертвы, что их убили раньше, чем меня, а теперь было бы хорошо, чтобы поскорее пришел мой черед, так, Иошке? Герай. А я говорю, что думаю наоборот, лучше тебе умереть сейчас, а мне когда-нибудь потом. Потому что вот как я вам скажу, драугас Юозас: когда тебя в это дело втягивают — убивать, — никто не должен помнить ни о чем, а о том только, чтобы не быть убитым. Бог не смотрит. Он потом разберется, у него есть для этого суд на небе. А здесь суд один: стреляй, Владас! Когда тебя в это дело втягивают, никто не помнит, кто ты такой, хозяин или батрак, немец или жидас, литовец или русский, профессор или наш дурачок, сумасшедший Юргис. Ты его помнишь? Русские хотели его поймать за то, что он просил милостыню, Юргис бросился вниз с

костела. Твои отец и мать сейчас, может быть, в раю, я этого не знаю. Спросил бы у ксендза, да его убили русские месяц назад. А вашего реба Рубинаса — немцы, вместе с пани Иодвалькене, которая его два года прятала. Мы жили тихо, ты помнишь, Иошке. Один я, может быть, шумел. Чтобы скучно не было. Ты скажешь, вас не любили. А я скажу, никто никого не любит. Литовец не любит жидаса, а оба вместе поляка, дзукас не любит жемайтиса, и еще говорят, что и тот и другой не настоящие литовцы. И брат не любит брата, когда они делят отцовский хутор. Никто никого не любил, но мы тут жили спокойно, неплохо жили, ты помнишь, Юозас, пока не пришла советская власть со своими порядками. И жидас хороший пошел доносить на плохого литовца и на своего же плохого жидаса, хороший литовец-батрак — доносить на поляка-хозяина, и всех, кто не пошел в коммунисты, — в грузовики, в Сибирь, не помнишь, в мае сорок первого? — ты был еще сопляк, и твою семью не выслали только потому, что твой дядя был коммунист еще при Сметоне, но немцы и его убили. Когда закапывали там, на выгоне, кое-кто и плакал, но таких было мало, тогда наши уже не плакали, и многие смеялись, а теперь плачут все, а те, кто зарыты, могут смеяться. Их души на небе, пусть их защитит Святая Мария, хоть вы в нее не веруете, какая разница.

Ты останешься, Иошке. Вон их могила. И это твоя могила, если сделаешь что-нибудь не так. Зря ты ехал сюда. Лучше бы я приехал однажды в Вильнюс, и ты бы увидел меня на улице, и мы бы выпили где-нибудь. Но теперь ничего не изменишь. Ты и я — мы каждый на своей короткой сворке, да только держит-то нас одна рука, ты понял? — смерть. Слушай меня внимательно. Ты нам нужен. Они хотят, чтобы ты был их человек, но ты будешь нашим человеком. У нас тут становится все меньше и меньше своих людей, каждый дом под наблюдением. Но пусть они смотрят за этим домом, а мы будем смотреть за тобой. И если что-то случится, — знай, с тобой первым расправимся. Не вздумай отсюда бежать. Надо будет, достанем тебя даже в Вильнюсе. Я слишком долго с тобой говорил, Юозас. Но ты должен запомнить одно: ты жив, пока мы живы, — там, в лесу, или здесь, в Укшчяй. И еще запомни: я не буду тебе доверять. И ты мне тоже не доверяй. Думай о себе, что лучше для тебя. Я видел оттуда, в щель, как ты подал ей знак. Я это учел, Иошке. Пока ты себя спас. И поэтому ты все еще сидишь за этим столом, и мы можем выпить еще.

Он налил — мне, себе, Даугеле и Яне. Она подошла и выпила с нами, перекрестив себя.

Близко к полуночи он ушел. Назавтра Даугела отомкнул замок в дверях той внутренней стены, что вела в дру-

гую половину дома и выходила в небольшую, с узким оконцем комнатку, прежде служившую нам кладовой. В ней была еще одна дверь, за которой и располагались наши жилые комнаты, кухня и коридор, кончавшийся отдельным входом с улицы. Но Даугела ту, вторую дверь из кладовки в глубь квартиры не открыл, в пустую же кладовку поставил принесенную из сарая кровать, и я понял, что тут мне и жить. На мой вопрос, удобно ли это будет, чтоб я ходил через его прихожую, Даугела мрачно ответил: "Молчи, Иоселе. Командир так решил". И я признал, что решил он не глупо: я все время оставался на виду, а второй, заколоченный вход не позволял мне уйти или вернуться откуда-то незамеченным. По видимости свободный, я оказался как в тюремной камере, а сама моя тюрьма имела двойную охрану — из зеленых и милицейских.

Улегшись впервые спать на своей кровати, я провел, однако, бессонную ночь. Ужас положения, в котором я внезапно оказался, теперь, в тиши и уединении, настолько был ощутим, что я лежал им скованный, как мумия в саркофаге, — неподвижной окостенелой колодой, и если б кто-нибудь в эти ночные часы мог за мной наблюдать, то он увидел бы остекленевший взгляд мертвеца и отвисшую челюсть, он не услышал бы бесшумного, короткого моего дыхания, и он сказал бы себе — это труп, в нем давно нет живого тепла, он скоро начнет разлагаться, и надо его поскорей схоронить в земле, там, за выгоном. Столб темно-лилового дыма над пепельной лентой тумана, подпыхивавшего из глубины своей огнем, стоял предо мной, стоял, клубился, сламывался и шел вбок, и я смотрел на это всю ночь. Я не знаю, заболел ли я. Утром я не встал с постели. Возможно, инстинкт подсказал моему организму, что в эти первые дни мне лучше всего пребывать в неподвижности, быть безгласным, беспомощно-слабым, не годным ни на какое действие и, значит, никому не нужным и ничем не подозрительным. Это длилось недели две. Яня молча приносила мне еду. Однажды пришел бухгалтер из школы, дал Даугеле деньги за мое жилье и оставил мне отпускные. Из них я то же потом, когда поднялся, отдал большую часть Даугеле за то, чтоб он меня кормил, отдал и карточки на продовольствие. Хозяин был доволен — "мы с тобой всегда сговоримся, а с ними..." — сказал он и выругался, но кого он имел в виду, понять было трудно, может быть, он, как я, проклинал и тех и других, не дававших ему жить по-своему, без помех. Я стал помогать ему по хозяйству. Мне не хотелось томиться бездельем, я быстро понял, что, не занятый работой, я с неизбежностью обращусь к мыслям о своем страшном бытии — в ничейной полосе, на мушке снайпе-

ров, засевших по обе стороны легко простреливаемого пространства. Я понял также, что Даугела, оказавшийся примерно в том же положении, все же в некоторой степени моя защита, в его тени я в большей безопасности, то есть получалось так, что если я с Даугелой, то, значит, не с кем-то еще — ни в милиции, ни с зелеными. И я таскался вместе с ним на покос, раскидывал в сарае сено, пилил двуручной пилою дрова и даже чинил черепичную крышу. Он же пошел со мной в исполком, а затем, нанявши лошадь, перевозил на выгон столбы и штакетник, и вдвоем мы установили там ограду.

Яня сохла по Владасу. Он пробирался в дом под вечер, оставался до рассвета и уходил. Иногда отсиживался в спальне по суткам, видимо, спасался тут, когда где-то еще становилось опасней, чем в этом доме. Даугела без конца бормотал что-то по их поводу, пока до меня не дошло: она беременна. Начались разговоры и с Владасом, Даугела бубнил, Владас обычно молчал или злобно гаркал в ответ, но Яня чем дальше, тем чаще и дольше плакала, и Владаса это злило. Наконец он сдался. Яню повезли куда-то, где ксендз их тайно обвенчал. Вернулась она сияя от счастья, — крупная темноволосая красавица, лицо которой дышало теперь такою полнотою жизни, силою и страстностью, что я поспешно отводил от нее случайные взгляды, а Даугела качал головой и говорил мне: "Смотри, этот Владас — чертова сила, всех нас прибрал, что теперь с девкой будет!"

Той же ночью играли свадьбу. Владас вошел в мою комнату и сказал: "Мы культурные люди. Яня говорит, что тебя полагается пригласить". Пришел весь, я думаю, отряд — в униформе, с винтовками, с заплечными сумками. Все выглядело так, как будто они собрались перебраться куда-то из здешних краев. Последнее время зеленых здорово теснили, их люди гибли, убежища их раскрывали одно за другим. Может быть, свадьба Владаса была их вызовом судьбе. И было что-то, как я сказал бы теперь, мистическое в этом их сборище при закрытых ставнях, в тихом пьянстве зеленого воинства, уставившего между ног винтовки. Им хотелось петь боевые старинные песни. Даугелу послали на улицу — следить и слушать. Все их песни были невеселы. "За высокими холмами, за глубокими морями, — пели они, — лежит солдатик, лежит солдатик, закопанный в поле. И пришла матуля, и принесла рубашку, — вставай, сынуля, вот тебе рубашка, вставай, сынуля, вот тебе рубашка. — Уйди прочь, матуля моя, и унеси рубашку, голова болит — там, где сабля ударила, мается сердце — там, где его ружье прострелило". И еще они пели так: "Растил-лелеял отец сынулю, как Божье деревце в садочке, — и пелось дальше, что пришли солдаты

и ведут его за собою: — Ой, сын-сыночек, сынуля милый, когда приедешь на побывку? — А вот когда камни со дна речного поплывут по водам..." Потом Владас велел, чтобы пела Яня. Все разом умолкли, и я до того еще, как услышал ее, понял, что они ее пению знают цену. Голос у Яни, как и сама она, был красив и полон где-то глубоко затаенной силой. Пела она вполголоса, что придавало странное, мрачное очарование ее песням. "Ой, не кукуй на заре кукушка, не повторяй, что ночь коротка. Ой, не плачь ты так горько, молодушка, не проливай слез тоскливых. И не ломай свои рученьки белые — рута зеленая не зеленеет уже..." После этой песни она запела про девушку-сироту: "Я бедняга-бедняжечка, и привычно мне горе-горькое. Кабы матуля у меня была, матуля-защитница, — матуля моя давно уж лежит на холме высоком, под желтым песочком. Роса утренняя чудно светится на могиле ее серебром". Это был, как видно, ее любимый напев, и я потом много раз слушал, как она, едва проговаривая слова, напевает его.

Среди ночи они все ушли, и Владас тоже, — думали они, что свадьбу отыграли, но была то кровавая свадьба, и длилась она до утра и продолжалась утром, и весь город вышел встречать процессию, много-много подвод, целый свадебный поезд, и в каждой подводе — жених, а невеста у всех — одна-одинешенька, и стара она, беззуба была и костлява, и улыбка ее под убранным флердоранжем челом была безобразна, но всех самых лучших парней она прибрала, уложила в брачные постели — на доски, покрытые сеном, и, как святою водой, окропила каждого алою кровью. На улицах стоял стон и вопль — женщины кидались поперек телег, узнавая сыновей, мужей и братьев, и бились в криках и проклятьях, солдаты их оттаскивали и пытались, выставляя винтовки наперевес, не допускать их к убитым, но таков-то и был жестокий расчет устроителей страшной процессии — выявлять по уликам безумного громкого горя семьи, родственников и друзей перестрелянных ночью зеленых. Яня рвалась со двора, чтоб, как все, опознать своего, мы с Даугелой висели у нее на руках, как псы на волчице, но ее стало рвать, и нам удалось увести ее в дом. Даугела ушел и через час вернулся мрачный. Он приоткрыл дверь к Яне и крикнул из коридора: "Эй, ты там, утрись! — ушел твой, отстрелялся, говорят, еще с одним вместе. До другого раза..." Он выругался, добавил: "О, Езус-Мария!" и положил на себя ровный крест. Мне он за водкой сказал: "Нам обоим капут. Владас, может, и пожалеет меня, я ему тесть, я дед ребенка. Так ведь оперативники, если знают про свадьбу, прикончат. А наши тебя убьют. Им надо пролить чью-то кровь в отместку. Кто-то их предал. Они решат, что ты. Жаль, что

упустили его. Вздохнули бы наконец..." Похоже, Даугела и не задумывался над судьбой своей дочери, о ее страданиях и страсти, — так велика была его ненависть к Владасу и так был велик его страх перед ним.

Две недели стояла в Укшчяй тишина. Люди ждали чего-то. Шел конец августа, и начало занятий в школе уже приближалось, но обо мне как будто забыли. В Укшчяй замерло все. Но двадцать восьмого, дождливым утром, мимо нас к другому краю городка прошли крытые грузовики. Скоро донеслись оттуда вести: жителей вывозят — семьями, со скарбом, который можно унести с собой и который разрешается собрать в течение часа. Под тем же мерно льющимся дождем промокшие фургоны стали проезжать обратно, в сторону Шяуляя. Даугела ходил то и дело к соседям за новостями, возвращался и вновь уходил. "К вечеру будут у нас", — сказал он, рассчитав по времени ход проводившейся операции. Брали тех, кого, вроде бы, подозревали в связях с зелеными, но на двенадцать убитых мужчин уже набралось едва ль не за сотню семей, — и дураку было видно, что, как и четыре года назад, очищали город, оставляя запуганных, затаившихся, тех, кто готов был служить безоглядно советским властям. Даугела заранее стал собираться. Яню решил он отправить к родственнице — старухе, жившей на отшибе в какой-то полуразвалившейся хибаре. Дочь и отец, склонив головы, произнесли молитву, расцеловались, и Яня ушла. Назавтра она собиралась уехать на хутор к старшей сестре. Даугела пил водку и, когда постучали в дверь, уже не слишком-то соображал. Вошли четверо — трое в форме МВД и с ними начальник милиции. Этот сразу махнул им рукой на меня:

— Янкелявичюс, я говорил вам.

— Так, хорошо, — ответил старший, в майорских погонах. — Только, пожалуйста, паспорт. Положено, — добавил он, как будто ему надо было извиняться передо мной.

Я вынес свой паспорт, мельком на него взглянули, и майор сказал официальным тоном, что выселению я не подлежу.

— Гражданин Даугела, вам и вашей дочери Янине — час на сборы, сейчас пять двадцать. В четверть седьмого должны быть готовы.

— Яня, — сказал Даугела и опустился на стул. — Слышишь, Юозас?

— Почему ее тут нет? Приведите, — сказал майор, и двое быстро прошли в коридор. Там стукнули двери, слышно было, как раскрывали шкафы, что-то со звоном упало. Даугела вздыхал, шамкал нечленораздельное и чесал свои патлы. Он был совсем плох, и когда те двое вернулись ни с чем, толком и не мог объяснить, куда ушла

дочь. Может, он придуривался. Я, пока из него вынимали душу, спросил милицейского начальника, почему Янину, он строго сказал: "Вся семья несет ответственность". Даугелу подняли, повели, комната опустела. Моей первой безумной мыслью было бежать. Я один в проклятом этом доме, выстрел через окно, и все кончено. Каким-то особым чувством я знал, что Владас поблизости. Я заставил себя успокоиться и подумать. Мешок и чемоданчик Даугелы остались здесь, на полу. Значит, сейчас все вернутся, доставят Яню и дадут, наверно, ей собраться тоже. Меня это чуть обнадежило, я получал как будто отсрочку. Но когда придет ночь, я впервые за все это время останусь без всякой защиты. Ни Даугелы, ни Яни, теперь уже Владаса ничто не сдержит, он будет рад прикончить наконец меня, это будет удачная акция против советских, вот вам, возьмите еще один ваш труп, вы думали, что перебили нас, а мы живы, мы везде и всюду, и доказательством тому — этот мертвый молоденький жидас, шпион и предатель. Я чуть ли не воочию видел себя лежащим на этом полу. И что с того, что Владаса в конце концов поймают, расстреляют или повесят, мне будет уже все равно. А Янька сгинет где-нибудь в Сибири вместе с его волчонком в утробе, а может, и родит, и тут во мне шевельнулось злорадное: вот, что будет местью Владасу за моих родителей и за меня самого, — этот его ребенок, который будет расти сиротой, как я. Воображение представило младенца, Яню с ним на руках — мне стало нехорошо от того, что я желал зла двум таким же невинным и несчастным существам, каким был я сам. Голова раскалывалась от этого безумия, от всеобщей жути, затоплявшей все вокруг, как дождь, что лил и лил с небес и превращал все в слякоть, и мрак, и мразь, и грязь, и сотрясал, пронизывал меня насквозь, — меня, захваченного этим холодным, мокрым и липким кровавым месивом, — я бежал в прилипшей к телу рубашке, в ботинках на босу ногу, сначала вдоль улицы, потом, срезая путь, по огородным грядкам, и я, задыхаясь в хрипящем, едва слышном крике, ввалился к старухе:

— Не надо, не трогайте Яню, оставьте ребенка, зачем вам, отдайте! — я бросился к ней, схватил ее за руку, начал трясти неизвестно зачем — или чтобы она сказала что-то, или чтобы молчала, — я ничего не соображал, лишь повторял, как в горячке: "Не трогайте ее... ребенок!"

Нас посадили в "виллис". Забрали по дороге вещи Даугелы. Остановились где-то еще раз: Даугела перешел в фургон, и уже я больше его никогда не увидел. Потом подъехали к дому Фишера — врача, недавно, как и я, вернувшегося в Укшчяй, где он практиковал до начала войны и откуда был мобилизован в армию. Вместе с ним при-

ехали в поликлинику. Фишер увел Яню, а я сидел на скамейке, как арестованный, между майором и начальником милиции. Когда они оба, Фишер и Яня, вернулись, ее шатало. Взгляд ее бессмысленно блуждал, затем остановился на мне, и я видел, как ненависть, страх и только что пережитый стыд отразились в нем разом, но было тут же и нечто иное — желание спросить меня о чем-то, попытка что-то высказать? — не знаю. Врач сказал:

— Больше десяти недель. Нет никаких сомнений. — И почему-то посмотрел на меня. Сидевшие по сторонам встали со своих мест, я встал тоже и заметил, что и они смотрели на меня странно — недоверчиво, удивленно, а майор как будто с ухмылкой. И внезапно меня поразила и залила лицо жаром догадка: они решили, что отец ребенка — я, я, кто кинулся к старухе, чтобы отбить Янину, выхватить ее и будущего ребенка из рук оперативников! В этой дикой догадке я непроизвольно глянул на Яню, встретился глаза к глазам с ее расширившимися зрачками, и вдруг, не отрывая взгляда от меня, она принялась истерически хохотать — вперемешку с рыданиями, стонами, криком и душившими ее горловыми спазмами. Ее стало тошнить, от слабости она едва не осела на пол, Фишер поддержал ее и кое-как усадил на скамейку. Она почти теряла сознание. "Надо ее отвезти", — сказал Фишер. Майор пожал плечами и устало, так, как говорят о донельзя осточертевшем деле, произнес: "Ладно, ну их, вычеркнем ее". И опять посмотрел на меня с ухмылкой, в которой — теперь я уже мог понять — сквозила скабрезность.

Как только я и доктор ввели Яню в дом, она, с неизвестно откуда взявшейся силой, вырвалась, опрометью бросилась через переднюю комнату в свою спальню, и оттуда сразу же донесся плач. Доктор ушел. Я запер за ним, вынул ключ и положил его в карман. Засов закладывать не стал. Свет выключил и сел в углу на табуретку. Я боялся лежать у себя на постели, я боялся сидеть у стола, я боялся шевельнуться, боялся даже дышать. Я хотел одного — чтобы скорее все кончилось, и я знал, что ждать остается недолго. Янина затихла. Я был уверен, что она не спит тоже, а, как и я, затихла в ожидании и страхе. Все на мне было мокрым, и меня бил озноб. Я сидел во тьме час и другой и, может быть, еще и еще час за часом, и была, конечно, уже середина ночи. Дождь не переставая лил. И вот сквозь его мерный шум я угадал посторонний звук и на слабых, подгибавшихся ногах поднялся с табуретки. Провернулся, щелкнув, дверной замок, и сама дверь стала медленно поворачиваться. Я стоял так, что, открываясь, она загораживала входившего. Но я не стал дожидаться, пока он выйдет из-за нее.

— Здравствуй, входи, все спокойно, — сказал я и поразился тому, что могу говорить, и тому, что сообразил не назвать его имя и тем показать ему свою осторожность.

Он разом прихлопнул дверь и оказался предо мной с винтовкой, упирающейся мне в живот. Тень его перекрывала слабо видное окно, в моем углу была полная темень, но белки его глаз светились каким-то газовым бледным светом, будто он был оборотень.

— Так я за тобой, Иошке, — зашептал он, задыхаясь. — Я вижу, ты меня ждал. Не бойся винтовки. Я выстрелю, только если вздумаешь пикнуть. Я тебя просто прирежу или удушу, и это не уйдет, жидас, но успокойся пока, не дрожи. Говори, ублюдок, когда их повезли?

— Владас, Владас, она же в спальне, иди к ней скорее! — срываясь, тихо выпалил я ему и всхлипнул — так, будто всего лишь носом шмыгнул.

Он замер и, повернувшись, волчьим движением сгорбленно — тьма в темноте — проскользил туда, к Яне. Я слышал, как она вскрикнула. И я опять сидел на своей табуретке в углу и ждал. И когда увидел его тень, снова встал на подгибавшиеся ноги. Яня тоже вышла — забелела ее ночная рубашка. И тут мне привиделось — я был уверен, что это привиделось, — Владас опустился на колени предо мной. Я отшатнулся.

— Прости, — сказал он глухим полушепотом, который ударил так, как если б мне крикнули в самые уши. Я стоял пред ним немой и одеревеневший. — Видно, Бог послал тебя.

Он сделал быстрый крест и встал. Сбивчиво, как в полузабытьи, он забормотал:

— Кто знает, чем все кончится. Живым я им не дамся. Спаси Яню. Ребенок родится. Пусть твой Бог благословит тебя. Когда-то мы жили в мире, — ты помни! — будь оно все проклято! Смотри, Янина, все с тебя спросится, если жив останусь! — вдруг метнулся он к Яне. — И с тебя, Иошке, помни. Ну, помолитесь за меня!

И он скрылся за дверью. Мы с Яней стояли во тьме. Дождь все шумел и шумел.

Лило и наутро. В дверь застучали: меня вызывали в милицию. Я отправился туда, вошел к начальнику, и он стал задавать мне вопросы. Как это получилось, что у меня с Яниной любовные отношения? Я подумал и ответил ему, что мы знаем друг друга с детства. Странно, сказал он. А разве нет у нее жениха? Я ответил, что нет, не знаю. А кто такой Владас? Тоже не знаю, сказал я. Как же так, сказал начальник, если вы помните то, что было с вами до войны, то должны помнить Владаса. А, тот Владас, что был до войны? — переспросил я его. Был такой, помню. А вы его здесь не видели, у Даугелы, например?

Нет, не видел, ответил я, и тут же он, наклонившись резко через стол, спросил: "Говорите! Что вы знаете о свадьбе?" Ничего я не знаю ни о какой свадьбе, сказал я. "Ночью, у Даугелы, две недели назад?" — допытывался он. Я смотрел на него, с усилием делая вид человека непонимающего, но это вряд ли получилось убедительно. Сердце колотилось. Они знают все! — стучало в мозгу. Свадьба или не свадьба, начал я, стараясь говорить равнодушно, откуда же мне знать? Я чужой. Даугела меня боялся. А ночью я сплю. Тут начальник подсказал: "С его дочкой, да?" — и в голосе его была издевательская ирония. Я весело посмотрел на него и ответил игриво: "Иногда". И нагло улыбнулся.

Ну что же, сказал начальник. Пеняйте на себя, Янкелявичюс. Мы не торопимся. Продолжайте жить, как живете. Через неделю откроем школу, начнете работать. И мы тоже будем работать. И не думайте, что вам удастся оставаться в стороне. Мне не нравится ваша история, ох не нравится! — И в этот момент, продолжая по-идиотски играть свою роль, я, вместо того чтобы промолчать, спросил: "Какая история?"

— Янкелявичюс! — Начальник снова подался вперед и сказал с презрительной миной: — Врач записал: "Беременность десять недель". А вы здесь меньше двух месяцев.

Я сидел и молчал. Почему он не арестовал меня, не знаю. Возможно, ему ни к чему уже были новые сложности после сделанного вчера и еще раньше, две недели назад. И потом, он же сам меня здесь, в Укшчяй, оставил, и, значит, обвинив меня в обмане властей и пособничестве зеленым, он расписался бы в своей ошибке. Скоро его сменили. Говорили, будто он пошел на повышение. А может, постарался избежать расправы.

По утрам я стал уходить на работу в школу. Возвращался к обеду, и Яня ставила на стол еду. Днем она обычно избегала есть вместе со мной. Но наступало время ужина, я сидел в своей комнате, проверяя тетради или читая, и ей приходилось звать меня. "Ужин", — говорила она под дверьми, я шел в общую комнату, садился на свое место на одном краю стола, она садилась на противоположном, и так, в видимом отчуждении и в тишине, мы совместно вкушали вечернюю пищу. Потом я говорил: "Спасибо. Доброй ночи", она мне отвечала тем же пожеланием, и я уходил к себе. В воскресные дни я что-то делал по хозяйству. Все же у меня была рабочая квалификация, и я умел орудовать инструментом. Я чинил и кое-что пристраивал в сарае, на дворе и в доме, и тогда мы, случалось, переговаривались, решая то или иное дело. И это было по-крестьянски. В мужицких семьях много не го-

ворят. Наверно, мы и жили, как живут в других, таких же как наш, домах мужья и жены, с той только разницей, что спали мы не в двойной семейной постели, а порознь, каждый в своей комнате, и не имели положенных брачных ласк. То, что мы сторонились друг друга, было естественным. Не только ее беременность, не только страстная и мучительная тоска ее по Владасу стояли между нами. Стояла целая стена, нагроможденная из страхов, крепко сцементированных кровью. Это жена убийцы моих родителей, и его ребенок у нее под сердцем, напоминал я себе, когда замечал, что смотрю на нее. И она, конечно, тоже помнила об этом. Но у нее был свой счет ко мне: с моим приездом начались несчастья — гибель отряда Владаса, а может, и его гибель тоже, высылка Даугелы — все это связано со мной, и никто никогда не докажет ей, что нет тут моей вины. Я мог бы сколько угодно твердить, что не был доносчиком, хотя бы потому, что все время нарочно был у них на виду, и потому еще, что не желал им зла и даже бросился спасти ее, а это уж, конечно, шло мне во вред, — но любые доводы остались бы напрасны — потому лишь, что я имел право на месть, я нес возмездие самим своим существованием, и мой приезд в Укшчяй уже был знаком Божьей кары, и потому-то Владас чувствовал потребность от меня избавиться и, уничтожив меня, тем избавиться от виденья карающего меча, который нависал над ним с тех пор, как он стал убивать. Я вспоминал, что, когда он стоял предо мной на коленях и, крестясь и глядя на меня, говорил, что это Бог меня послал, в глазах его трепетал настоящий ужас. Он ощутил тогда — не в первый, может быть, раз, но теперь особенно, — что не может убить меня, что ему не избавиться, что есть властная сила, ставящая перед ним запрет, и я, беспомощное существо, огражден этой силой, а он, напротив, уязвим и доступен для гибельной кромки сверкающего в облаках меча. И вот я, оставшись с Яней один на один, занял в ее сознании то же место: я был напоминанием, я был несовершенной местью, угрозой, предупреждением, карой и гибелью. Я был мой убитый отец — и я был спаситель. Я был также детство. Я был началом тайных влечений, там, в кустарниках у реки, где мы невинно сбрасывали трусики. Я был свидетель. Я был соглядатай запретной любви старшей сестры ее с тем мужчиной, кто потом вошел в ее чрево, чтобы зачать в нем ребенка, спасенного мной. И я теперь был тот, кого она кормила, подавая, как жена, еду, и я был тот, кто, как муж, кормил ее и ее ребенка, неся в дом свой заработок кормильца.

Мы прозимовали зиму, я ждал, когда она родит. Не говоря об этом друг другу ни разу, мы оба понимали, что после рождения младенца я должен буду сделать попыт-

ку уйти. Она родила, и старшая ее сестра встречала Яню, вынесшую мальчика. Она вернулась в дом и слегла с воспалением легких. Фишер где-то дней через пять сказал, что Яня может не выжить. Молоко не появилось, да и в состоянии жара и бреда кормить она не могла. Я ходил за бутылочками и кормил из рожка. Мальчик был тоже готов умереть. И, конечно, она звала его "Владас, Владас" — его или мужа? И я говорил себе, за что мне это? И говорил еще, да пусть они сгинут, она и ее ребенок, этот сосущий, грязнящий, крикливый кусок их совместного с Владасом мяса, — почему мне выпала мука жить их страданием, пусть это окончится, вот я не дам ей лекарства, не дам ей питья, не поставлю примочку на лоб, а ребенка не покормлю, — ведь не кормит же сестра, уехавшая к своим детям, и не кормят сторонящиеся нас соседи, — и пусть будет что будет, само по себе, вне участия моего и соучастия, — и когда я так воображал, меня начинало мутить, и я хватал рожок и, лепеча в стыде и в отвращении к себе бессмысленные ласковые звуки, принимался выпаивать и выхаживать это двухнедельной жизни существо.

Она не выкормила своего ребенка, а выкормил его я. И непоправимость этого случившегося с ней придавила в ней что-то. Уже совсем выздоровев, она подолгу недоуменно смотрела на Владаса, а когда наступало время дать ему бутылочку с молоком, легко уступала мне роль кормящего, тем более что младенец лучше, привычней сосал у меня на руках. Теперь я боялся предпринять что-либо для попытки вырваться отсюда. Да и не кончилась еще весна, а после того, что я из-за болезни Яни и младенца пропустил много дней на работе в школе, приходилось нагонять с учениками нужное по программе. Так что до лета не о чем было и думать. Но лето пришло, а с ним пришло и другое.

Мы были с Яней в сарае, на верхнем настиле, где сгребали в кучу последнее сено, чтобы спустить его вниз и отдать корове. Мы немало потрудились, и, отдыхая, опершись на грабли, я стал смотреть в проем, во двор, где на солнышке спал в коляске младенец. Обернувшись, я увидал, как Яня глядит на меня — с тоской и еще с каким-то невыразимым чувством, понимать которое можно было всяко. Она сделала шаг ко мне, мы соприкоснулись, жар и слабость охватили нас, мы здесь же, где стояли, опустились в сено, и от истомы страсть перешла в такое неожиданное буйство, что мы потом в страхе смотрели один на другого. Мы оба испугались происшедшего. И позже нам ни разу не было свободно и легко. Все, что нас разделяло, — не только тот, третий, кто был ее мужем, но и все остальное, что было запретом, кровью и страхом, — стояло почти что зримым надсмотрщиком наших греховных

ласк, и это делало их горькими, неизбывными, отталкивающими и влекущими. Мог пройти месяц, весь наполненный ее тоской и нежеланием принять меня; но могла наступить и неделя безумств, когда она кусала пальцы, не давая утоленной мною страсти вырваться наружу стоном. К своим девятнадцати я не был девственником. Но Яня стала первой женщиной, открывшей мне познание того, что есть чувственность и какова бывает сила мужского влечения. Сдержанность и как будто скрытый в глубине ее существа огонь, которые горделивой красой всегда проступали сквозь облик Яни, в любовных ласках вдруг, сметая ее волю, проявлялись такой разительной бурей чувства, что я немел, благоговел и забывал себя. Я не мог уже этого потерять. А она бежала меня, или бывало по вечерам, глаза ее, когда она ловила на себе мой жаждущий взгляд, сверкали совсем не любовью, а ненавистью, и я знал, что это опасно. Волк, повторял я тогда себе, он, ее Владас, волк, и бродит где-то по лесам неподалеку, и она его чует и может в любую минуту ему отозваться призывным воем. И она не меня с такой страстью любит, а любит эту дикую собаку и вспоминает его, когда лежит в моих объятиях, и она, как волчица, меня преследует и манит, я в ее логове, и моя с ней любовь — это лишь средство обессилить и обескровить жертву. А когда Яня вновь отдавалась мне, и я бывал ею пьян и счастлив, то твердил себе, что она принесла себя мне в благодарность, в награду и в искупление, что она доверилась мне сама, как доверила мне своего ребенка, и я вправе взять этот подарок и могу наслаждаться ее любовью без страха и тяжелых мыслей. На самом же деле ненависть и благодарность бродили в ней дикой смесью, и я это знал. И знал я лучше того, что меня-то, меня самого, юного Иошке, такого, каким я мог бы вырасти на ее глазах и вместе с нею в этом дворе, если б не было ни войны, ни немцев, ни русских, ни красных и ни зеленых, а была бы обычная длинная тихая жизнь в Укшчяй, — никогда бы Яня не стала любить меня.

Подрастал мальчишка. Я возвращался из школы, и он летел, иногда расшибаясь с разлету, навстречу папе. Он звал меня папой, ее звал Яней. И в этом было неопровержимое значение. Чем больше я повторял ему: "Это мама", — тем упрямей он держался своего: Яня. Все, чего не хватало ему в его матери, он жаждал взять от меня. Он почти не шел на руки к ней. Он лез в мою постель спать. Он видел, чувствовал вернее, нашу отчужденность и делал выбор: если эти двое около него не вместе, то он поневоле должен быть с кем-то из них, и мальчик постоянно выбирал одно и то же — папу. А я любил — и ее и его, и чем дальше, тем все легче забывал все бывшее в прош-

лом. На выгоне перед окнами, где ходила наша корова, вырастали мной посаженные вдоль ограды кустарники, и они закрывали могилу, и это подтверждало, что все плохое уходит куда-то, жизнь берет свое, и что, может быть, счастье возможно на этой несчастной, истерзанной и избитой, но такой мне близкой и ставшей теперь совсем родной земле — с этим выгоном и домом, с ребенком и женщиной, с детьми в той школе, где я учил их писать и говорить по-русски "ра-бы не мы — мы не ра-бы"... Я на многое закрывал глаза. Зеленых и к сорок девятому году еще не смогли уничтожить, хотя было ясно всем, что их судьба давно предрешена. В мае заговорили, что в наших краях опять неспокойно. Однажды, войдя в учительскую, я услыхал в дверях: "Владас" но, увидев меня, говорившие смолкли. Придя домой, я не придал значения тому что Яня была беспокойней обычного хватала и прижимала ребенка, потом отставляла его на вытянутых руках и напряженно смотрела в детское личико. То и дело она напевала свое "Я бедняга-бедняжечка". До вечера я сидел в своей комнате, проверяя тетрадки учеников. Потом мы сели за ужин. Как всегда, Яня сидела на дальнем конце стола, трехлетний Владас справа от меня. Была кружка — большая глиняная кружка с петухами на боках, — из которой пил только я. Она стояла наполненная молоком. Владас, хитро взглянув на меня, потянулся к ней, осторожно взял двумя ручонками, начал пить и, сделав несколько глотков, стал шумно переводить дыхание. И я услышал дикий воющий крик — его испускала Яня, кидавшаяся к нам с разверстым ртом, с огромными, вперед протянутыми пальцами, она ударила по кружке, я вскочил, она, казалось мне, хотела задушить ребенка — трясла его и прижимала голову книзу, — я что-то заорал и услыхал в ответ:

— Я отравила!.. Твое!.. Отравлено!

Я ударил ее в живот, и, выпустив ребенка, рыдая, она привалилась к столу. Я знал, что Фишера в городе нет, что час поздний и что в поликлинике пусто. В поселке за семь километров — больница, там есть врачи и ночью — кого звать на помощь? кто с лошадью? кто с машиной? кто поедет со мной? — я побоялся терять драгоценное время на поиски и уговоры и побежал по дороге. Мальчишка был совсем плох, лицо его стало землистым, он плохо дышал. Было нехорошо и мне — мое правое легкое слабо работало с той поры, как Даугела вмял в него два ребра, — и, добежав до цели, сказав врачам, что мальчика отравили, я потерял сознание.

Его спасли. Я переночевал в больнице и утром ушел. Я шагал по той же дороге, где бежал вчера вечером, но дойдя до развилки, повернул не в Укшчяй, а в сторону

Шяуляя. Вот тут это было четыре года назад: я вылез из-под сена и соскочил с телеги. Я подумал: а могут меня и сейчас подстрелить. Я глянул в сторону — у лесочка, понизу стлался свежий утренний туман, в нем перепыхивало багровым, и колонна лилового плотного дыма шла вверх и ломалась там, над кронами, и тянулась вбок.

И было еще так, что, закончив университет и уже два года отработав в Вильнюсе, ехал я по той же дороге: нас, молодых специалистов, рассылали по Литве, в глубинку, с лекциями, и я как раз направлялся в районной машине куда-то, где меня ждали в клубе. Я не знал, как меня повезут, и не сразу понял, что мы будем вот-вот в Укшчяй, но когда въехали в городок, я сказал шоферу: "Зайдем в закусочную?" Мы остановились у закусочной, вошли и попросили у подавальщицы пиво. Через минуту вернувшись, глядя на меня с испугом, она сказала: "Вас просят подойти", — и кивнула по направлению к стойке. Там кто-то стоял. Я поднялся и пошел туда. Большой, растолстевший и почти совсем лысый человек в промасленной телогрейке, не поднимая головы и не показывая мне лица, а глядя в сторону и вниз, сказал:

— Не называй меня. Ты зачем появился здесь? Не знаю, где ты живешь и кому ты служишь. Мне наплевать. И я не знаю, ты тогда выдал нас или нет. И на это мне наплевать. Чего ты хочешь снова? Она с тобой спала — вот что я знаю, ублюдок. И если ты сейчас не сгинешь навсегда, если еще хоть однажды ты здесь появишься...

Я отошел, кивнул своему шоферу, и мы поехали дальше...

Не знаю, как он оказался в Америке. И теперь, читая эти письма и слушая красивые слова о правосудии, которые плетет мне офицер полиции святого Иерусалима, я думаю: пусть осудят его другие. Я думаю, что, если я приду и буду показывать против него, он скажет себе: "Да, зря я не убил его, зря я оставил его; он такой же, как и я, он и теперь мне мстит, он и теперь желает мне смерти". В его глазах я окажусь на одной с ним доске. Потому что и в самом деле: не убитый им, я прихожу для того, чтобы он оказался расстрелянным. И если все эти годы я служил опровержением, то, придя на суд, я стану подтверждением его слов: "Убей, чтоб не быть убитым". И тогда, как ни решили бы судьи, — он себя оправдает. Поэтому пусть суд в Чикаго идет без меня. Пусть там снова клубится лиловый столб дыма. Но без меня.

Апрель 1984
Таль-Эль, Галилея

Алекс Слонби

ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ АФРИКИ В МОСКВУ

"...По физиономиям этих путешественников я сужу об их стране... Приезжая из России, они веселы, радостны, довольны. Это — птицы, вырвавшиеся из клетки на свободу. Мужчины, женщины, старые и молодые счастливы, как школьники на каникулах. И те же люди, возвращаясь в Россию, становятся мрачными, их лица вытянуты, разговор резок и отрывист, во всем видна озабоченность и тревога..."

Маркиз де Кюстин,
"Николаевская Россия"

Когда я вошел в салон самолета, неулыбчивая стюардесса уже раздала газеты и вместо лиц я увидел с десяток "Правд". Лишь еще один, кроме меня, не читал — дерганый какой-то, в черном драповом пальто и черном же под ним костюме, нейлоновой рубашке и неярком галстуке. Он все время порывался встать и куда-то уйти, а стюардесса его останавливала: "Вот подождите, взлетим, тогда..." "Ну как же, — страдальчески морщился пассажир, — ведь он — там, а я — здесь!"

Я вспомнил, что в аэропорту один товарищ, тоже в черном драповом пальто, хотя и в сером костюме, ругался с кем-то, что вот, мол, заказывали первый класс, а теперь что получается? А этот стоял рядом и так же нервничал. Видимо, начальника обидели, а подчиненный про-

сто не мог себе позволить лететь классом выше. Вот и переживал, рвался поменяться.

Завыли моторы, пассажиры, быстро покончив с "Правдой", открывали лица. Все без исключения были серьезны, ни тени улыбки не мелькнуло на их сжатых губах, в глазах застыло что-то определенно тоскливое. Самолет набрал высоту, пришел начальник моего соседа, степенно занял его место, даже не сказав спасибо, а тот, склонившись: "Еще раз извините за накладочку", не дождавшись ответа, исчез. Видимо, разговор продолжится дома, в родных стенах.

Начальник сел, взял "Правду" и закрылся.

Стюардесса тем временем разнесла аэрофлотовскую пищу: кусок курицы, которую все летавшие называют "мертвой", возможно, из-за цвета, вареное мясо, копченую колбасу. Предложила напитки: водка, коньяк, сухое вино, пиво.

Сосед убрал "Правду", вытребовал пузатую рюмку коньяку и стакан пива и, получив все это, выпил в том же порядке, после чего приступил к курице.

Процесс приема алкоголя в салоне был синхронизирован до такой степени, что самолет даже слегка качнулся от одновременного движения рук, возвративших на столики пустые стаканы.

Но и после этого попутчики остались молчаливы, сосредоточенны. Они набирали калории перед возвращением домой.

Через два часа мы должны были приземлиться в "Шереметьево". В голове кинопленкой прокручивались назад города и страны. Большое, длинное путешествие. Десятки тысяч километров. И везде я встречал эти лица, как бы изначально лишенные положительных выражений лица соотечественников. Их легко распознать в самой сложной толпе, в любом городе. В глазах у них стоит постоянное ожидание неприятного. Они все время думают о том, что настанет момент и придется возвращаться домой. И эта мысль мешает им радоваться жизни.

...Водитель держал тайну, проинструктированный заранее. Похоже, что на всем маршруте африканский тамтам выстукивал предупреждение: "Не болтать лишнего! Не болтать!" И привычные наши люди замолкали, когда их спрашивали об обычных вроде бы вещах. Руководитель совучреждения в одной из стран откровенно признался: "Я всех своих предупредил: если спросят, как дела, отвечать, что все хорошо, всем довольны. А то, знаете, сморозят чего-нибудь, потом век не отмоешься".

Водитель работал на далекой стройке, сооружал огромный завод в центре Африки.

— Как работается? — спросил я его.

— Работа у нас идет отлично, — убежденно и правдоподобно начал он. — Мы всем довольны. Все у нас хорошо.

— А трудности какие-нибудь есть? — кинул я ему спасательный круг.

— Нет, трудностей у нас никаких нет, — так же солидно отвечал он. — Всем довольны.

— Скажите, — переменил я тему. — А как у вас с местными отношения? Не обижаете?

— Да что вы! — воскликнул он, как студент, которому попался счастливый билет. — Живем душа в душу! Мы к ним, как к родным, а они к нам — еще лучше!

В этот момент с нами поравнялось нечто желтое, ржавое и помятое и попыталось обойти, резко сменив ряд.

— Ах ты, паразит, черномазая сволочь! — автоматом взвился водитель. — Куда прешь, кретин, совсем ослеп, козел! Вот ведь гады, только с дерева, а туда же...

Он вдруг страшно побледнел, осекся и надолго замолчал.

Этот невольный промах, видимо, здорово его задел, и потом, вновь обретши голос, он стал врать намного меньше. Более того, он теперь говорил не переставая, рассказывая о непростой жизни советских специалистов.

Я узнал, что недавно "привезли семьсот советских жен", и жить стало намного легче и веселее. И вообще жить можно, если только по-тихому, не как один, который взял и переманил одну жену, а той понравилось, и она назад уже ни в какую, хоть и партком просил, и муж в дверь стучал. Пришлось отправить, а то ведь жили бы себе тихо, никто и слова бы не сказал, а как же иначе, ведь без баб мужику никуда, и местных приходится, а как же? И платим им тушенкой, а некоторые ребята обнаглели, вместо тушенки подсовывают зеленый горошек, а те, понятно, утром приходят к их женам, жалуются, что, мол, за мужики у вас такие, не нужен нам ихний зеленый горошек. А наши что, они экономят, банку тушенки на целый день поделят и живут, да еще луковицу с куском хлеба, а то и без хлеба, зато тачку потом привозят, а я не такой, а я ем, ну их, шмотки-то, я поем лучше, да с бабой погуляю, за хорошую бабу, веришь, две сотни выложил бы, а то и три, смотря какая баба. А на строительстве, там чё, там, как везде, сами знаете: того нет, сего нет, а где возьмешь, негры работать не хотят, за ними с кнутом надо ходить, а наши почти все вкалывают, ну а раз того нет, сего нет, как вкалывать-то, вот и поддают ребята...

Честный монолог шофера сразу напомнил множество историй о наших специалистах в Африке. Об "искусственном голодании" в течение всей командировки, об их детишках, ворующих из чужих холодильников, о жестоких болезнях, которые они зарабатывают таким образом жизни. О попытках толкнуть на местном рынке — столь же жадном, как и наш, — утюг или керосинку, привезенные с Родины. Лет десять назад вместе с корреспондентом центральной газеты мы залетели в лагерь советских военных специалистов на северо-западе Эфиопии. Первое, что мы увидели, были две собаки, яростно вырывавшие что-то друг у друга. Сначала мы подумали, что спор возник из-за кости или даже куска мяса. Но подойдя поближе, обнаружили, что псы дерутся из-за куска дерна.

И тогда еще у нас возникла идея создать памятник нашему специалисту в Африке, голодающему не в знак интернациональной солидарности с борющимися народами, а ради заветной тачки или видака.

И дома и за границей мы остаемся такими же, как и прежде. Мы пытаемся убежать от себя, показаться лучше, добрее, свободнее, но проклятая природа выдрессированного десятилетиями организма вставляет нас обратно в задуманную форму.

И по-прежнему одна часть того большого организма за границей, который по-сталински все еще именуют "совколонией", следит за другой частью, пытаясь изобличить ее в тех грехах, которыми сама порой занимается совершенно открыто, никого не боясь, так как грех и работа у нее часто совпадают.

Поэтому известный наш спортсмен, играющий за классную западную команду, уверяет, что "враги устроили провокацию", когда его вместе с женой застукивают на краже товаров в магазине. Дома у него находят целый склад ворованного, но он повторяет: "Это мне подбросили!" И что самое поразительное, наши пытаются его защитить, выгородить.

"Простые" граждане, попадающие в теплые места благодаря все тому же неистребимому ни при какой власти, не поддающемуся никакой перестройке блату, думают не о приобщении к мировым источникам культуры, а главным образом о накоплении капитала, что, впрочем, полностью согласуется с учением Маркса.

— Да что ты, парень! — удивлялся моей наивности дежурный комендант в одной стране. — Да на одно такое место человек двадцать претендентов, а поедет тот, у кого лапа толще.

— И что, даже в Африку?

— Да и в Африку. В Африку даже лучше, бабки целее будут — там тратить не на что.

В компании таких носителей культуры страны победившего социализма ощущаешь себя как в московском дворе после пары пива.

"Здесь все инотачки берут. А вы не берете? Зря, возьмите. Один недавно "мерседес" взял. Задешево. Я тачку через два года меняю".

"Вчера в волейбол играли. Один говорит: "А у меня день рождения". Мы ему: "Давай ставь". А сегодня голова как чугунная".

"С женой разве хороший видак купишь? Одну-другую шубу ей надо? Ну и то-се, одно-другое-третье. Она говорит: "Ищи за три". — А за три не разгонишься".

"Мне в Африку тоже предлагали. Но я не поехал. Моя бабушка говорила: "Не уезжай далеко, надо чтоб вагончик ходил". Какой вагончик? А это, чтоб контейнер назад привезти можно было. Что хочешь можно загрузить. А так — только диван, если из мебели".

"Наш местком экскурсию в одну страну делает, а там мужик живет. Ему позвонишь: "Пригони за две". Гонит за две. Скажешь: "За три с половиной". Гонит за три с половиной. Тачки у него — что надо".

Мы остаемся такими же. Облегченный доступ к Западу делает многих еще жаднее, грубее. Они торопятся нахапать побольше, неясное предчувствие катастрофы подстегивает их.

В тех африканских столицах, где можно принимать наши телепрограммы, вся колония ежедневно смотрит "Время", постоянно ожидая "важного сообщения", которое может перевернуть всю их жизнь. Что ж, и это в нашей природе — ожидать такого сообщения, чуда, которое все изменит, причем обязательно радикально изменит. Может быть, по этой причине они и бросаются так на вещи? Заглушают страх?

Пугает то, что мы настолько свыклись с мыслью о грядущей катастрофе, что не удивимся, если она действительно произойдет. Мы легко привыкаем к самому плохому. Нам не интересно, когда хорошо.

Нас вполне устраивает самая убогая нищета — когда все равны. И это позволяет "более равным" пробиваться за границу и сразу чувствовать себя важнее и нужнее других. Или же преобразовывать свою власть в материальные блага, недоступные простым смертным. Это — все та же однолинейная программа нашего деревенского компьютера.

Но подождем осуждать нашего специалиста. Его жизнь в Африке небезопасна. Ему угрожают не только многочисленные болезни. Нестабильность режимов, гражданские войны ставят нашего соотечественника в очень трудное порой положение. За кажущееся благополучие ему иногда приходится платить здоровьем, а то и жизнью.

За опасность принято доплачивать в любом обществе. Кроме нашего. Наш специалист получает по сравнению со своими коллегами не только из европейских, но даже африканских стран жалкие гроши. Может быть, и в этом надо искать причину позорных историй с голоданием?

Причем государство не спешит прийти к нему на помощь, если его жизни грозит опасность. Главная забота у государства — не испортить отношения с тем режимом, по вине которого эта опасность создается.

Неудивительно поэтому, что акцию израильских "коммандос" по спасению пассажиров захваченного террористами "боинга" в угандийском аэропорту наши газеты называли "пиратским актом", "свидетельством чудовищного нарушения суверенитета независимой страны". Характерно, что в том же, 1975 году непредсказуемый диктатор этой страны Иди Амин решил разорвать отношения с СССР и мгновенно под угрозой оказалась безопасность десятков советских граждан, работавших там. Причем Амин намекнул, что советские люди становятся как бы его заложниками, если СССР не выполнит его требования. Несколько дней правительство СССР не реагировало на эту угрозу. В одном городе штурмовики Амина окружили дом, где жили советские, и не выпускали даже женщин с детьми. Посольство молчало, Москва молчала...

Вспомним историю с погибшими советскими геологами в Мозамбике, которая замалчивалась несколько лет под предлогом того, что это "может испортить отношения" с дружественным Мозамбиком.

Мы остаемся такими же, и все больше смыкаемся не с теми, кто идет впереди, а с безнадежно отставшими нашими "классовыми" и "естественными" союзниками. Часто мы смотрим на них с презрением, осуждаем их втихую, пугаемся растущей там нищеты (как бы и нас не захватило), а сами живем ничем не лучше, по-нищенски.

Как странно все в нашей жизни. Все перевернуто с ног на голову. Из наших "почему" можно выстроить целый город вопросительных знаков.

Где то время, когда, как писал Иван Бунин, в каждом россиянине жило чувство собственного достоинства и

гордости за свою державу? Куда все провалилось, измельчилось под какими жерновами, куда унеслось? Бродят по свету нищие, униженные, часто скрывающие свою национальную принадлежность, и при этом пытаются всех учить: как нужно торговать, сеять, строить лучшую жизнь, применять марксизм-ленинизм, бороться с империализмом.

Что поразительно, к их советам долгие десятилетия прислушивались миллионы совсем не наивных, а вполне серьезных людей, которые твердо верили, что та система, которая победила в стране Большого Брата, непременно возьмет верх во всем мире, и надо хорошенько подготовиться.

Ну и, ясное дело, те, кто копировал эту систему, постепенно стали превращаться в некое подобие нас, опровергнув тем самым все теории о национальных генотипах. Образовался как бы единый генотип "хомо сапиенса, строящего социализм"...

* * *

Свет погас, как только я залез в ванну и нажал на переключатель душа. Мне показалось, что липкую, жаркую темноту вызвало именно это мое движение.

Душ, по-видимому, не работал.

Не успели глаза привыкнуть, как свет возник снова, но ненадолго.

Я вспомнил, что где-то внизу, в конференц-зале, проходили правительственные переговоры. Эта мысль меня "согрела", раздражение спало. Тем более что меня ждали, нужно было спешить.

Одевшись, я нащупал дверь и вышел в коридор. Там свет горел, тусклый, неверный, и бушевал ветер, врывавшийся сквозь проем пожарной лестницы, угрожающе завывая, хлопая невидимыми ставнями, забрасывая крики веселого ужаса с улицы, где, как выяснилось, на открытом воздухе крутили кино. Он нес песок, соленые брызги океана и капли начавшегося ливня.

Лифт, похоже, тоже не работал. В шахте кто-то стучал. Минут через пятнадцать зеленая стрелка все же зажглась, и двери лениво раздвинулись. Кабина была пуста. Я еле успел войти, как створки стремительно сомкнулись, и кабина поплыла вверх по собственной инициативе, нашла нужную себе точку и остановилась. Потом снова двинулась вниз и вернулась на мой этаж, встала и больше никуда идти не желала, несмотря на все мои старания. Было

очевидно, что и лифты в этом городе вели себя совершенно независимо от заключенного в них механизма или от воли людей.

Внизу нервно прохаживался мой гид из местных. Некое высокое лицо устраивало прием, и ему было велено проводить меня в ресторан.

— Мы опаздываем, — сказал он. — Поедем на лифте.

— Может, лучше пешком? — великодушно предложил я.

Он не ответил, только осуждающе посмотрел. Белый человек — а пешком, да еще на прием. Он даже покачал головой.

Чувство любопытства заглушило поднявшийся было стыд. Лифт пришел на удивление быстро. Он нажал кнопку второго этажа, и мы поехали.

Это был торжественный, я бы даже сказал, величественный подъем, вполне достойный приема высокого лица. Лифт двигался так, как будто вез нечто чрезвычайно хрупкое или драгоценное. Он боялся доставить мне хоть малейшее неудобство. Мне это нравилось. Проводник же мой, казалось, еще больше почернел от напряжения.

Минут через семь мы уже входили в праздничный, кондиционированный зал, в середине которого под наблюдением белого метрдотеля колдовали проворные официанты, добавляя последние штрихи к великолепию яств на огромном прямоугольнике стола.

Тут были и дары щедрого Атлантического океана, виртуозно приготовленные португальскими кулинарами; прибывшая из далеких краев бледно-розовая лососина, как говорится, со слезой; понятная дорогим гостям икра, ароматный, совершенно экзотический суп, рецепт которого был рожден, как прошептал мне на ухо сосед, еще в колониальную эпоху, но вот сохранился, так мы поддерживаем все хорошее, что досталось нам в наследство от прошлого; шампиньоны, запеченные в тесте с креветками, тонкие вина, которые стоявший за спиной официант наливал каждый раз, когда бокал оказывался пустым.

В середине пира хозяин вытащил несколько листков бумаги и прочитал о дружбе, которая нас издавна связывает, о трудной борьбе его народа против наглого врага, пользующегося помощью одной державы, о необходимости увеличения нашей помощи в этой борьбе, чтобы форпост свободы остался непокоренным.

После обеда хозяева сели в "мерседесы" и унеслись в темноту когда-то блестящей столицы.

— Может, и нам проехаться по ночному городу? — спросил я своего знакомого.

— Мы же ничего не увидим, — возразил тот. — Да и не рекомендуется. Постреливают.

— А какие-нибудь ресторанчики остались? Помнишь, мы как-то нашли на набережной неплохие креветки.

— Запомни: креветки ты видел сегодня в первый и последний раз. Я тоже вижу их нечасто — только на приемах.

— Значит, ничего не меняется?

— Ничего. Только бы хуже не стало.

И мы не поехали по темным душным улицам города, который когда-то считался одним из лучших курортов мира. Новый Лиссабон — так называли португальцы Луанду — столицу своей колонии Анголы. Широкие проспекты, ряды пальм на набережной, выложенной цветной плиткой, небоскребы контор и гостиниц, уютные виллы в зелени и цветах, бесчисленные кафе и рестораны, динамичная экономика, кормившая большинство ангольцев, — все это осталось в далеком прошлом, которое жирной кровавой чертой перечеркнула так называемая война за освобождение. Ангольцы освободились — но от чего? Что они доказали своей свободой? Какое будущее ожидает их потомков?

Увы, те же вопросы можно задать и многим другим африканским народам: ради чего вы сражались? Ради того, чтобы через несколько лет страна оказалась в руинах, а голод и болезни стали собирать куда больший урожай? Чтобы не прекращались ни на день в течение многих лет братоубийственные войны, преследования политических противников, пытки, тайные убийства, геноцид против целых народов? Чтобы время остановилось?

— Все остановилось! — возмущался я. — Ничего не работает. И это называется свободой!

— Ну, ты особенно не волнуйся, — остановил меня мой знакомый. — Они действительно натворили массу глупостей, но все же приспособились. Посмотри, трупы на улицах не валяются. Детишки, вон, даже вечером смеются. Парочки ходят по улицам, заглядывают в пустые витрины. Так что жизнь идет, ты не думай.

— А на что же они живут, если ничего не работает?

— Все довольно просто. Почти как у нас, только еще проще. У них это называется "ишхема", то есть "схема". Они живут по этой "схеме" уже много лет. Секрет в том, что государство закрывает глаза на существование "черного рынка", который постепенно захватывает ведущие позиции во всех сферах. Коррумпирует аппарат и, по существу, становится регулятором не только хозяйствен-

ной, но и социальной, а иногда и политической жизни. Без взятки здесь делать нечего. Пусть у тебя много денег, но не дашь на лапу — сгниют твои деньги, ничего не получишь!

— Так жестко?

— А ты думал! Причем, беря взятку, они неизменно ссылаются на необходимость защиты революционных идеалов, борьбу против диктата неоколониализма, империализма и так далее.

— У нас, слава Богу, уже на это не ссылаются, хотя дерут больше, чем раньше.

— "Схема" действует гениально. Например, вы работаете на сигаретной фабрике. Зарплату вам не платят — денег нет. Но дают натурой. Помнишь, как у Булгакова в "Дьяволиаде" давали спичками и вином? При этом нескольких блоков хватит, чтобы прокормить семью и еще выпить с приятелями в выходной.

— А так сигареты, конечно, не купишь?

— Если под "так" ты имеешь в виду государственные магазины, то, конечно, нет. Ведь государство раздает продукцию рабочим, а те реализуют ее на "черном рынке". И все, заметь, довольны. Рабочие — потому что не надо напрягаться, они ведь еще на карточки покупают разные продукты. Правительство — потому что народ не бунтует. Даже оппозиция довольна! Ей так легче воевать.

— И подпольным дельцам это должно нравиться!

— Еще как! Для них это постоянное военное положение — просто рай! Сегодня они за ящик пива могут купить билет до Рио-де-Жанейро и обратно. Там они закупают дефицит, продают здесь по совершенно диким ценам — и снова едут, в Сингапур например.

— А что же власти?

— Да что власти... Им тоже перепадает немало. Да потом их больше всего тревожит, чтобы политический противник не набрал слишком большого влияния...

Приятель попрощался, обещав, что рано утром приедет снова. Я поднялся в номер. Свет горел, и даже работал телевизор. По внутригостиничному каналу крутили американский боевик.

А потом наступило утро, прохладное, ленивое, с пением петухов. Атлантический океан был тих, ничто не напоминало о вчерашней буре. Из окна открывалась панорама еще спящего луандийского порта.

Массивное здание портовых служб с черепичной крышей. Башня с часами, застывшими на пяти минутах второго. Остатки узорных плит набережной, которые когда-то шли на километры вдоль берега меж двух рядов красавиц пальм, теперь пожухлых, кое-где обезглавленных.

В покрытой нефтяными разводами воде играла рыба, сверкая серебристым телом.

Справа, почти на горизонте, дымились трубы нефтеперегонного завода.

В панораме, где преобладал цвет ржавчины, были еще заметны следы прошлой мощи и красоты Луанды.

Все, что построили португальцы, продолжало служить — но со скрипом, на последнем издыхании.

Я спросил моего провожатого, стоит ли еще знаменитый многоэтажный дом, недалеко от столовой советского торгпредства, в грязно-зелено-черно-коричневых подтеках? Сразу после революции туда въехали многочисленные победители с семьями, и мгновенно прекратили работать канализация, водопровод и электричество. Помои и прочее выливали из окон, благодаря чему в короткое время дом и приобрел свой нынешний вид.

— Стоит! — уверенно ответил тот. — Куда ж он денется?

— И люди живут?

— Живут, куда ж им деться?

Деться, действительно, некуда. За пятнадцать лет независимости население Луанды возросло в несколько раз. Город был рассчитан максимум на 500 тысяч жителей. Сегодня там по меньшей мере два миллиона. А за все эти годы не было построено ни одного жилого дома.

Луанда заполнена такими домами. Когда я впервые увидел все это, мне вспомнились слова Габриеля Маркеса, который назвал Луанду "раковиной, в которой погибла улитка".

Вещи здесь отказываются служить. Они устали. Видимо, и у неодушевленных предметов существует предел сопротивляемости. До какого-то времени они тянут, пока в них сохраняется память прошлого и надежда на возвращение старых добрых времен, но безысходность и безверие все больше овладевают ими, пока наконец не угасает последняя надежда.

Во всем их облике — смерть. Мертвые стены, мертвые глазницы окон, сгнившие подъезды, из темноты которых несет стойким духом могилы. Они шеренгами стоят вдоль умерших проспектов и улиц в тех позах, в которых гибель настигла их.

На их стенах — выцветшие лозунги с так похожими на наших прямоугольными рабочими, колхозницами, защитниками родины с автоматами Калашникова наперевес, что невольно возникала мысль — а не наше ли это творение? Может, экспортируем? И набор лозунгов, звавших поднять, обеспечить, не допустить, проявлять, поддер-

жать, подняться все как один, осудить, — был совершенно наш.

В погибших домах копошатся черные и светлые люди. Они, возможно, думают, что их движения вдохнут жизнь в мертвеца. И даже смеются, бегают, любят, страдают — но все это в безжизненном пространстве, в трупе когда-то счастливого города.

Здесь впору уже производить раскопки. Память потеряла бывшие когда-то знаменитыми места. Как называлась эта площадь раньше? А этот проспект с когда-то гордыми пальмами, который сегодня зовется "проспектом Володья"? Практически ни одной значимой улицы, сохранившей прежнее название. Герои революции, которых мало уже кто помнит, герои вчерашних и нынешних идеологических битв, герои Африки и всего "прогрессивного человечества"...

А во дворе старой крепости, что стратегически возвышается над городом, в круг выставлены оставшиеся в живых статуи португальских времен. Когда-то они украшали город. Но революционная власть посчитала, что они будут оскорблять взоры победившего народа, напоминать ему о тяжелом колониальном прошлом. И их убрали туда, откуда, в сущности, начиналась Луанда и вся Ангола. Суровые воины, мускулистые юноши, гордые мореплаватели, скромные девушки и дородные матроны. Устремленные вдаль взгляды, длани, простертые куда-то в прошлое.

В крепость можно войти, но не всегда, там хозяйничают военные. Краска давно сгорела под жарким солнцем, штукатурка облупилась, обнажив древнюю кладку — крепость построили в 1482 году — уж ее-то бесхозяйственность "молодой власти" победить не в силах, разве что взорвут этот памятник "колониальной эпохи".

Мы спустились к берегу, проехали какими-то заброшенными переулками, где полуголые детишки с визгом бросались к нашей машине. В развалинах старого дома сушилось разноцветное белье. Рядом копался в съеденных ржавчиной остатках автомобиля молодой парень в синем рваном комбинезоне. Тут же искала траву тощая корова. Я подумал, что раньше журналистов, особенно наших, умиляли подобные уличные сценки. Экзотический оживляж — так это, кажется, именовалось на редакционном жаргоне. Без подобных картинок (их еще называли "зарисовками") и без умилений по поводу того, что новая власть, власть рабочих и крестьян скоро покончит с нищетой и построит новое, светлое будущее, не обходился, наверное, ни один репортаж из далекой страны.

Многократное повторение сюжета на фоне быстрого

умирания городов и снижения пульса жизни до предсмертного это умиление сняло. Сегодня подобные картинки откровенной нищеты и беспомощности вызывают сожаление, смешанное с раздражением. Точно так же, как и подобные сцены у себя дома.

Итак, мы спустились к берегу, и вдруг я заметил нечто, мгновенно вызвавшее ассоциацию странной смеси Поклонной горы в Москве, Байконура и Останкинской телебашни.

— Что это?! — изумился я.

— Это памятная стела с пантеоном, где будут захоронены останки первого президента. Высота 102 метра. Сооружают наши строители.

Об этом он мог и не говорить, потому что это было заметно сразу: повсюду разбросан строительный мусор, посреди вдрызг разбитой дороги огромная лужа, скрывающая ямы; горы песка, который ветер разносит по округе.

— Говорят, что во всей Анголе такого куска дороги больше не найти, — усмехнулся мой приятель. — Зато наши говорят, что чувствуют себя как дома.

— Постой-ка, получается, что это — самая необходимая для страны стройка, в то время как который год идет война, все вокруг рушится, в Луанде, ты говоришь, не было построено ни одного жилого дома...

— Ты удивлен?

Мое возмущение улеглось. Действительно, чего я волнуюсь? Разве такое — только в Луанде? Достаточно вспомнить наш знаменитый проект переброски сибирских рек! Или собственную Поклонную гору.

Еще совсем недавно считалось "карьероносным" выдвинуть предложение о строительстве памятника Ленину в столице затерянного в джунглях государства, где и о своих-то вождях знали понаслышке. Это называлось "укрепить влияние Советского Союза и советско-африканскую дружбу". Столь же прибыльными являлись идеи об издании на языке местного племени собрания сочинений Маркса или очередной книги очередного нашего генерального секретаря. Или оказать помощь "прогрессивному режиму" в создании внушительного монумента в честь павших борцов за свободу по типу волгоградского колосса. Или, по крайней мере, отбить медаль, орден, просто значок в память годовщины революции, переворота, прихода к власти нового президента. Помню одно предложение: изготовить в виде дара одному африканскому диктатору несколько недорогих национальных орденов с небольшими бриллиантами и гранатами по золоту.

Ветер перемен иногда долетает и до Африки. Сегодня те, кто выступал с подобными предложениями, испытывают, мягко говоря, неудобства.

Что делать с памятниками Ленину? Вслед за восточноевропейцами и грузинами африканцы начинают задавать вопрос: зачем им памятники Ленину? И уже не только говорят, но и делают. В Бенине только в прошлом году поставили монумент Ильичу. Его предполагали открыть к 120-й годовщине со дня рождения вождя. И что вы думаете? Местные оппозиционеры, по-своему истолковав новое политическое мышление, попытались низвергнуть статую. Сделать им это не позволила полиция, но скульптуре все же нанесли повреждения. Пришлось поставить охрану и закрыть произведение советского автора покрывалом. Так по сей день и стоит в Бенине Ленин, скрытый от народа. Снимать покрывало небезопасно, можно вновь вызвать волнения в этой политически нестабильной стране. Да и, кроме того, уже нужен ремонт. Неужели повезут обратно? И куда его поставят?

В эфиопской столице Аддис-Абебе, где в центре города установлен 12-метровый Ленин (работа скульптора Мурадяна), тоже раздаются требования демонтировать статую. Памятник, надо признать честно, довольно сильно испортил облик этой части города. Поговаривают, что уберут и бронзовую голову Карла Маркса, подаренную правительством ГДР и установленную прямо напротив входа в университет.

Основания для таких действий имеются: в начале 1990 года со стен домов и специальных — тоже "наших" — железобетонных подставок были сняты портреты классиков марксизма-ленинизма, которым местные художники придавали черты эфиопских вождей. Догадаться, где Маркс, а где Энгельс, можно было только человеку с богатым воображением. Не забуду спор, который разгорелся в эфиопском городе Асмара, где в самом центре красовался огромный портрет кокетливого, тонкобрового, хотя и немолодого эфиопа с четырьмя звездами Героя соцтруда на пиджаке. Один из нас, знавший амхарский язык, догадался прочитать надпись. Там значилось: "Леонид Брежнев"...

— Да чего удивляться, — махнул я рукой. — Нам самим-то еще меняться и меняться, а чего ждать от них? Мне недавно рассказали, что наш посол на Мадагаскаре в конце 1989 года прислал предложение соорудить там памятник Ленину!

— Ну, вот видишь! — обрадовался приятель. — А ты нашу стелу обижаешь. Ты посмотри на нее как на неиз-

бежное, хотя, согласен, и неприятное следствие нашей собственной идеологизированной политики.

Он помолчал.

— Знаешь, в Анголе еще ничего, здесь более открытое общество, чем в других бывших португальских колониях в Африке. Например, ты свободно можешь выехать из страны. А это много, согласись. В Мозамбике запретов намного больше, и люди там живут куда хуже.

Я вспомнил, что впервые попал в Мозамбик накануне провозглашения независимости в 1975 году. Тогда столица имела таинственное, с детства волнующее название Лоренсу-Маркиш и была шумным, праздничным городом, где, казалось, перемешались все цвета кожи и все языки. У входа в мою гостиницу днем и ночью веселилось маленькое кафе, с заходом солнца зажигались бесчисленные огни, играла музыка в ресторанах на набережной, толпы гуляющих текли по широким улицам, напоминая наши южные города.

Провозглашение независимости в Африке происходит в полночь на стадионе. В ту ночь мы собрались у португальского журналиста, его звали, если не ошибаюсь, Фернандеш, и всю ночь спорили, что ждет эту страну.

Большинство считало, что все пойдет прахом уже через несколько лет, поскольку программа ФРЕЛИМО — так называло себя движение за освобождение — требовала национализации, экспроприации и правления черного большинства.

— Это все вы их научили, Алекс! — шутливо грозил мне Фернандеш. — Не расхлебать вам эту кашу!

В ту ночь разразился ливень, и мы радовались своей находчивости и поднимали тосты за гостеприимного хозяина.

На следующий день из гостиничного окна я увидел длинную очередь у агентства авиакомпании. Очередь была совершенно "белая". К середине дня народу прибавилось.

Я позвонил Фернандешу.

— Это начало конца, — мрачно бросил он. — Слышал, как будет называться столица? Мапуту. Мне сказали, что они собираются убрать все памятники, закрыть церкви и переименовать улицы. Как только они это сделают, здесь не останется никого. Вот вы с китайцами им и помогайте.

Я позвонил другим знакомым журналистам. Все были столь же мрачны, как и Фернандеш. Лишь одна молодая американка, несколько дней назад вышедшая замуж за активиста ФРЕЛИМО, была полна энтузиазма. Она счита-

ла себя убежденной троцкисткой и верила, что именно в Мозамбике она увидит торжество почитаемых ею идей.

Фернандеш оказался прав. Новая власть действовала так, будто после провозглашения независимости ей стали подвластны законы природы, и с легкостью смотрела на бегство португальцев, у которых она старалась отнять как можно больше. "В пользу угнетенного народа" — эта фраза звучала для меня тогда так нормально, так естественно, что, когда мне говорили, что вся эта экспроприация удивительно напоминает обычный грабеж, я только возмущенно отворачивался.

— Мне ваша реакция понятна, — с горечью говорил Фернандеш. — Они же стараются все делать, как вы.

Некогда белоснежный собор Св. Антония в центре Мапуту несколько раз грабили. Причем преступники действовали средь бела дня — полиция отсутствовала. Меня поразило более всего, что кто-то ухитрился даже погнуть крест на макушке собора.

В те годы партия ФРЕЛИМО объявила себя марксистско-ленинской и утверждала атеизм, пытаясь убрать церковь с дороги.

— А как же, — говорил мне молодой активист партии. — Мы идем по пути вашей великой страны. Вы что, забыли, как Ленин боролся с религией?

Прошло всего несколько месяцев, и от Лоренсу-Маркиша осталось одно воспоминание. В его стены, в его дома пришел Мапуту и завел собственные порядки.

Город быстро опускался. Как и в Луанде, вещи переставали служить. Как и в Анголе, началась ожесточенная борьба за власть между соперничавшими группировками. Вскоре она превратилась в гражданскую войну, которая ускорила деградацию всех сфер жизни. Мозамбик сегодня — одна из самых бедных стран мира. Правительство не контролирует значительную часть своей территории. Экономика практически не работает. В этой стране стало опасно жить.

Выражение "растут цены и налоги" для сегодняшних мозамбикцев имеет убийственный смысл. Казалось бы, дальше некуда, но они все растут и растут. Жизненный уровень продолжает падать. Некоторые говорят, что в общем-то падать уже некуда, уже прощупывается дно. Другие возражают, утверждая, что можно и глубже.

Старожилы Мапуту уверяют, что в последний год "товаров стало больше". Это означает, что в прежде пустовавших витринах кое-где зажигают свет по вечерам и выставляют образцы ширпотреба, от публичной демонстрации которого горожане давно отвыкли.

Правда, они могут только полюбоваться на вернувшиеся предметы: цены такие, что лишь единицы могут себе позволить покупку в таком магазине. Поэтому-то товары и лежат, создавая видимость возвращающегося изобилия и позволяя властям говорить на встречах с иностранными делегациями, что вот, мол, сами видите, положение улучшается, хотя и медленно, поэтому так нужна ваша помощь, особенно финансовая. Если вы не поможете, то нам не удастся выполнить намеченное.

И дают, много дают. Но положение не улучшается. Спрашивается: куда уходят средства? В Мозамбике ответ на этот вопрос не вызывает сомнений. Во-первых, на содержание огромной, но неэффективной армии, на закупку дорогостоящих вооружений. Во-вторых, коррупция сжирает огромную долю средств, в том числе и поступающих из иностранных источников на цели развития.

Но и здесь, в этой нищей, прогулявшей, провоевавшей все стране найдутся люди, которые скажут вам, недоумевающему:

— А что, собственно, вас волнует? Нам все это нравится. Вы со своими европейскими мерками ничего не понимаете в африканской жизни. У нас нет недовольных. Интеллигенты — те недовольны. А простой народ, он всем доволен.

Откровенно недовольных, правда, мало. Они либо в тюрьмах, либо на том свете.

А "простой народ", действительно, поет песни, прославляющие "народную власть" и ее потрясающие успехи в строительстве новой жизни. "Простой народ" требует отдать Африку африканцам и не вмешиваться в ее внутренние дела. В марте по намибийскому телевидению я услышал одного популярного певца из Нигерии. Он пел так: "Кому принадлежит Африка? Я спрашиваю, кому принадлежит Африка? Мне принадлежит Африка... Индийцы правят в Индии... Американцы правят в Америке... Русские правят в России, аргентинцы — в Аргентине. И Африка должна управляться африканцами..."

И всей этой речитативной демагогии аплодировала тысячная толпа, подхватывала, как боевой клич: "Африку — африканцам!"

Да кто спорит? Африка уже тридцать лет как управляется африканцами. И не вызывает вопроса, кому она должна принадлежать, эта богатая, но несчастная, оскорбленная земля. Но вряд ли сейчас именно то время, когда надо выяснять, кто имеет больше прав на проживание в той или иной стране.

Африка сегодня находится на грани катастрофы, и если не начать ее спасения сегодня же, причем в основ-

ном силами самих же ее жителей, то завтра будет уже все равно, "кому она принадлежит"...

У разбитого, как после бомбежки, дома на центральной улице кучей были свалены клетки для птиц. Толстый слой пыли лежал на всем — на клетках, на обшарпанных стенах еще целых домов, на машинах, на людях. Опустившийся, потерявший память город, похожий на старика в лохмотьях. Тут же и этот старик, вернее, старики из черного дерева, бредущие по рваной рогоже торговца экзотикой. Его товар покрыт той же серой пылью. Завидев машину, он подымается с земли, жестикулирует, показывая на скульптуры, что-то кричит, его не слышно — в нашей машине стекла закрыты, шумит кондиционер, и эта немота страшно дополняет и развалины, и пыль, и пустые клетки.

Дар-эс-Салам. "Гавань мира". Когда-то, четверть века тому назад, когда я впервые попал в этот город, он был светел, чист, опрятен, вежлив, провинциально честен и немного лукав. Большинство европейцев знали друг друга и собирались по вечерам на прохладной веранде гостиницы "Ойстер бей" — "Залив креветок", прямо на берегу океана, который, кажется, в те годы был и чище, и голубее. В маленьких ресторанчиках можно было отведать любую кухню, кроме разве что русской. Переполненные пляжи, опрятные, дешевые гостиницы, отлично вышколенная обслуга.

Время от времени я приезжал туда и с печалью в сердце отмечал перемены — явно к худшему. Вот сизалевые плантации утратили свою геометрическую точность, заросли сорняком, деградировали.... Вот перестали чинить дороги... Вот испортилась канализация... Упало промышленное производство. Земля перестала кормить.

Город умирал медленно, тихо, без криков, как умирают брошенные своими близкими, потерявшие надежду.

— Куда мне вас поселить? — задумался местный чиновник.

— "Килиманджаро", "Нью-Эфрикен", "Бахари бич", — перечислил я гостиницы, в которых когда-то останавливался.

Тот удивленно посмотрел на меня.

— Вы сколько лет не были в Даре?

Я быстро подсчитал. Оказалось, что действительно многовато.

— В городе перебои с электричеством. Поэтому кондиционеры вряд ли работают. Водой пользоваться не рекомендую. Завтрак — устраивайтесь сами.

— А как "Кундучи"? — вспомнил я еще одну довольно сносную гостиницу на океанском берегу.

— То же самое, — был ответ. — Да и дорога туда такая, что и на вездеходе не проедешь.

Ночь, проведенную в "Нью-Эфрикен", куда в конце концов меня определили, я буду вспоминать долго. Дверь не запиралась, впрочем, окно тоже. Рядом с ним проходила пожарная лестница. Лампочка свечей в двадцать скрывала грязь на полу, оборванные обои, дыры на плохо стиранных простыне и наволочке. Я повернул водопроводный кран. В ответ, проурчав, вылилось что-то коричневое. Я почему-то вспомнил, как лет двадцать назад мы заблудились в танзанийской саванне и заночевали в глухой деревне, где местный вождь отдал нам свой дом. Там было несравненно чище, если не считать двух скорпионов, поджидавших нас под кисейными пологами. "Не обращайте внимания", — успокоил нас хозяин, снял с ноги туфлю с арабским загнутым концом и ловко пришлепнул одного за другим. Зрелище это настолько нас поразило, что мы решили провести ночь в машине.

В этот раз машины не было.

Танзаниец, устроивший меня в гостиницу, оказался сердобольным человеком и пригласил на обед.

— Ну, и как же дальше? — допытывался я у него. — Неужели вот так все и будет продолжаться?

— Единственное, что я знаю, — отвечал он с улыбкой, — это то, что через год я уйду на пенсию и буду жить на своей ферме. Тут у нас у каждого ферма. Правда, моя ферма — это слишком громко. Земля есть, но нужно еще дом построить, живностью обзавестись. Знаете, сколько денег нужно.

— Сколько?

— Ой, даже сказать трудно, — засмеялся он. — Все равно ничего не выйдет. Я же чиновник. Мы работаем всегда: даже в субботу и воскресенье. Нас могут вызвать ночью. Так что возможностей для "левого" заработка решительно нет.

— Жизнь чиновника в наших системах одинакова, — подбодрил я его. — Но у нас как-то вывертываются. Слышали, наверное, о наших кооперативах?

— И у вас тоже кооперативы? Мы через это уже прошли... Пока мы держимся за однопартийную систему, а государство монополизирует все вокруг — ничего не выйдет.

— А как же социализм, который вы собирались строить? — съязвил я.

— Ну что вы, — отмахнулся он. — Кто сейчас в это верит. Вы же видите, что со страной. Нам бы до колониального уровня вернуться...

"Нам бы вернуться до колониального уровня". Эту

фразу произносят так часто и с такой ностальгией, что становится удивительным, почему же те, кто довел свои народы до нынешнего состояния, не попытаются хотя бы исправить положение радикальными политическими и экономическими реформами?

Я задавал себе этот вопрос, хотя ответ был известен: они не хотят рисковать своей властью, своими привилегиями. Их пугает демократия, которую они называют "ящиком Пандоры".

И, кроме того, их пугает и наш пример. Ведь они пошли по нашей дороге и точно так же заблудились в лабиринтах истории.

Милован Джилас как-то заметил, что "нормальная жизнь не может долго выдерживать революционных порядков". С одной стороны, Африка подтверждает его слова. Но с другой — такое состояние "нищенского социализма" в условиях постоянной напряженности очень многих устраивает. И не только тех, кто стоит у власти. Мы всем довольны, повторяли мне и в Анголе, и в Уганде, и в Мозамбике. Мы всем довольны. Мы — против богатых. И против тех, кто против бедных. И вы должны нам помочь, обычно прибавляли они в таких случаях. Все должны нам помогать, потому что и вы виноваты в том, что мы такие нищие. Дайте же нам денег, технологию, оружие. Мы победим всех врагов, и вы увидите, как будем хорошо жить!

Во всех их ошибках виноват, разумеется, внешний враг. Это он режет скот, пускает под откос поезда с продовольствием, взрывает линии электропередачи, останавливает лифты в домах, напускает ржу на водопроводные и канализационные трубы, выводя их из строя. Он, коварный, в союзе с мировым империализмом, девальвирует национальную валюту, насылает засуху, наводнения.

Враг этот многолик и вездесущ. Поэтому-то и необходима повышенная бдительность и временное — временное, товарищи, как только победим, сразу отменим — подавление гражданских свобод. Кто же угрожает идеологизированным африканским странам?

1. Империализм. Он же неоколониализм, он же транснациональные корпорации, он же несправедливый международный экономический порядок. "Почему — несправедливый?" — "У них есть все, а у нас — ничего". — "Но они же вон сколько лет все создавали". — "А мы сейчас хотим, чтобы как у них".

2. Израиль и мировой сионизм, который принес столько горя африканским народам, отобрав у палестинцев землю.

3. Соседняя страна, которая так и норовит подавить национально-освободительные чувства наших народов.

4. Расизм и апартеид, которые хотят задавить всю Африку, торгуя с нами, подавляя наших братьев и сестер, у которых, правда, жизненный уровень намного выше нашего, — но мы еще им это припомним.

5. Вообще все богатые страны.

6. Перестройка в СССР, которая не дает нам спокойно претворять в жизнь начертанные нашими лидерами принципы однопартийного государства, которые единственно возможны и целесообразны и, кроме того, соответствуют африканской традиции.

Может быть, поэтому многие африканские лидеры так настойчиво рекомендуют Москве быть пожестче с радикалами, которые хотят "ввести в СССР капитализм", с сепаратистами, стремящимися "растащить великую страну по кусочкам".

Любопытно, что их советы совпадают с мнением наших собственных консерваторов. Ни те ни другие не хотят демократии.

— Вы и так уже много отдали, — укоряют они нас. — Восточную Европу, ракеты, которые и нам служили защитой, теперь теряете свою Прибалтику, которая попадет в лапы империалистов. Что же тогда с нами станет?

Африка после независимости переживает то, что я бы назвал "синдромом большинства". В этом термине звучит не только привычное нам всем классовое содержание ("большинство всегда право!"), но и совершенно отчетливый расовый оттенок. Лозунг "Черное — прекрасно!" — "Блэк из бьютифул!", начертанный на знаменах освободительного движения, по-прежнему реет над толпой.

Как и у нас, это большинство создавалось и укреплялось простыми, но надежными способами. Объявляли, например, что все взрослое население обязано вступить в единственную правящую партию. Иначе не получат они приличной работы, не смогут заняться бизнесом — словом, будут неполноценными гражданами. Или создавали "добровольные" осведомительные службы, пронизывающие все общество сверху донизу. Их называли разными революционными именами и говорили, что их задача: бороться с империалистическим врагом, который, разумеется, повсюду. Или разворачивали дикий террор, даже не прибегая к помощи "добровольцев", создавая необходимую для "консолидации здоровых сил" обстановку постоянного страха. Средства массовой информации денно и нощно вели обработку населения, фальсифицируя историю и современность.

Сталинский постулат о "принуждении меньшинства к

подчинению воле большинства" получил неожиданно благодатную почву в Африке. Слова о "воле большинства", "праве большинства", "правлении большинства" произносятся столь часто и воспринимаются так спокойно во всем мире, что возникает вопрос: думаем ли мы о последствиях еще одной **такой** победы большинства? Тем более что пошедшие по этой дороге страны показали, к каким результатам они могут привести свои народы.

Может быть, как раз поэтому не желают и слышать о требованиях белых южноафриканцев, безусловно, составляющих меньшинство, оградить их культуру, язык, традиции от насильственной ассимиляции. Да, это меньшинство. Но какое меньшинство! Благодаря ему Южная Африка стала тем, что она есть сегодня: мощным индустриальным государством, которое по уровню жизни входит в первую половину человечества. Да, в этой стране существовала и продолжает существовать несправедливая система. Ее необходимо отменить, создать равные возможности для всех ее жителей. Но создание **равных** условий не должно обернуться господством большинства над меньшинством. А ведь именно в этом видят свою цель многие черные националисты. Если следовать их принципам, то после введения всеобщего избирательного права в Южной Африке необходимо будет провести "перераспределение" всех богатств — то есть проделать то, через что уже прошел и наш народ в начале века. То, что испытали уже ангольцы и мозамбиканцы, пережили народы еще десятков стран.

Но верно говорят, что чужие ошибки никого и никогда не учат. Каждый старается повторить их сам. Отказ от гарантий интересов и прав меньшинств в Южной Африке будет трагической ошибкой, которая неизбежно приведет к усилению насилия, к еще большей крови.

Африканские диктатуры манипулируют неграмотными и забитыми массами, безнаказанно расправляются со своими противниками. Страх, созданный террором, позволял выдвигать дикие "теории" перехода из родоплеменного строя непосредственно в социалистический. Парализованное общество безропотно позволяло грабить себя, заучивало и повторяло бессмысленные, непонятные им слова о "марксизме", "африканском социализме", "империализме".

"Заблудившиеся" брали пример с нас: Им было приятно, что беззаконие существует и в такой великой стране, как Советский Союз. Поэтому тот, кто вставал у власти, забирал все. А побежденные, зализывая раны, уходили в буш и готовились к новой "освободительной войне".

В некоторых странах произошло так много переворо-

тов, что из народной памяти стерлось, с чего все начиналось. Время до независимости приобрело столь же мифический характер, как и у нас — дореволюционное. И повторяя наши "уроки", пропаганда твердила чернокожим подданным, что при колониализме все было хуже, и жизнь их была чудовищна, потому что "хозяин забирал все, а бедняку не оставлял ничего".

А они, точно мы прежде, хором, заученно отвечали, загибая свои черные пальцы: "Вот, образование дали, сыновей к ремеслу пристроил, спасибо, советские техникумы построили. Дочурка в ясли ходит. Сам вот давеча грыжей мучился, так отходили ваши врачи, дай им Бог здоровья!"

Ну и после такого сочного монолога (в вольном переводе, разумеется) следовала увенчивающая архитектурная деталь, так сказать, фронтон всей мысли: "Да разве при колониализме о такой жизни мы могли думать?! Да тогда колонизатор мог что хошь с тобой сделать. Вот что хошь! И дочку малолетнюю снасильничать, и сынка в рабы продать задешево!"

Не поэтому ли многие африканцы так любят ссылаться на опыт российской революции, ищут сходство с тем или иным периодом Советской власти? Сравнение идет по количеству разрушенного, по количеству ложного опыта. Равенство, пресловутое равенство, так называемая социальная справедливость. Когда эта справедливость приходит естественным путем, в ходе эволюции, то за нее не надо бороться. Когда же ее начинают строить на базе отнятого у других — по существу, награбленного, — начинается то, что имеем мы, что имеют те страны в Африке, которые пошли заманчивым легким путем экспроприации и национализации без выплаты компенсации.

"Мы плохо еще распределяем бывшие латифундии", — жаловался высокопоставленный чиновник правительства. И раньше эта фраза не вызвала бы у нас ничего, кроме сочувствия или даже дружеского совета: мол, действительно, плохо еще, надо поактивнее распределять, а то промедление выйдет на пути строительства светлого будущего.

Лозунг "Грабь награбленное!" неизбежно выходил на первый план, как только такое "распределение" проходило свой первый этап. После него начиналось "перераспределение"; улучшение социальной справедливости одних за счет ущемления своих противников и бывших соратников. Начинался жестокий, кошмарный дележ награбленного между бывшими соратниками. Этот период обычно объявлялся борьбой против фракционизма, против агентов мирового империализма, который не спит и

засылает чуму антиправительственных настроений даже в среду самых верных. Они-то, самые верные, и гибли первыми, потому что захватывали именно то, что обычно нравилось всем, желающих-то ведь много, да и моральные запреты сняты — можно убивать, это уже не считается преступлением и грехом. Напротив, тот, кто больше убил, становился героем, почитаемым человеком.

Его именем называли ту или иную мертвую улицу, мертвый дом.

"Отчего негодяи стоят за деспотизм? — записал в дневнике Лев Толстой. — Оттого, что при идеальном правлении, воздающем по заслугам, им плохо".

Как все похоже в "заблудших странах"! И даже если скорость падения не у всех одинакова, не составляет труда предсказать, что ждет страну, решившуюся на очередной "социально-экономический эксперимент". Пока еще не было примера, чтобы страна так называемой социалистической ориентации смогла накормить своих граждан, поднять их благосостояние, стать примером мудрого правления для других.

У кого оружие — тот и прав. Это аксиома для современной африканской истории. Поэтому всегда старались накопить побольше оружия. Брали у всех, а поскольку в самом начале давали много и охотно, то брали гораздо больше, чем могло понадобиться. В результате во многих странах скопились такие арсеналы, что может хватить на долгие годы вперед. Так и произошло. Войны, начатые после независимости, не сравнимы ни по масштабам, ни по жертвам и разрушениям с тем, что когда-либо знала африканская история. Феодальные войны, истребительные войны, бессмысленные войны. Ведущиеся в то время, когда над всем континентом нависла угроза экономического коллапса, экологической катастрофы. За это прямую ответственность несут сами африканские лидеры, боровшиеся не за "народное счастье", а за собственную власть, и те державы, которые щедро снабжали их оружием и деньгами для ведения войны.

Во многих странах, которые по привычке именуются "прогрессивными", правящие режимы не контролируют значительную часть территории. Между тем они отказывают своим противникам в праве даже называть себя политической силой, не говоря уже о равноправном представительстве на возможных переговорах. Долгие годы нельзя было говорить о том, что перед этими странами стоит цель национального примирения. Сразу начинались обиды: о каком национальном примирении может идти речь? Ведь мы сражаемся против бандитов, против контрреволюционеров!

Себя же они считали истинными революционерами: что же, и в этом они не так далеко ушли от нас. В их понятии "революционер" — это тот, кто крушит все доставшееся ему в наследство, кто ведет нескончаемые войны, подавляет права человека и доводит свое население до первобытного состояния.

И совсем недаром они с радостью повторяли, что именно Октябрьская революция открыла им дорогу к светлому будущему. Это верно — к их личному светлому будущему. О народе в ходе таких революций никто не думает. Народ выступает как некая бесплотная сила, от имени которой вершатся преступления во имя той же бесплотной силы. Народ становится в ряд с языческими идолами, которым нужно приносить постоянные кровавые жертвы. Но сам же он и выступает в роли жертвы, которую его вожди приносили от его же имени и в его же интересах.

Но неизбежно наступает такое время, когда, исчерпав себя, такой режим теряет защитные реакции, и любые самые легкие болезни оказываются для него смертельными. Некоторые испускают дух довольно быстро. Затяжная агония других приносит новые, еще более жестокие испытания народам.

Именно в этот период последних конвульсий режиму приходится отвечать за содеянное. "В наших краях есть поговорка, — говорит один из героев пьесы "Диметос" южноафриканского драматурга Атола Фугарда, — "Кто первый бросит камень, тот должен отвечать и за последний".

Сегодня страх поселился в заблудившихся странах Африки! Он легко узнаваем, он нашей породы, липкий, подлый, раздваивающий, доводящий до безумия!

Именно он заставляет руководителя страны, которая называет себя демократией, выезжать ежедневно из своей укрепленной, как военная база, резиденции в сопровождении десятков до зубов вооруженных солдат и на дикой скорости пронзать улицы. И чем как не страхом объясняется отказ от введения демократических институтов, которые по знакомой нам терминологии там по-прежнему именуются "буржуазными"?

Этот страх я чувствовал и в Анголе, и в Мозамбике, и в Замбии.

Ощутил его и в Зимбабве. В Хараре, который я еще знал в его бытность Солсбери, все было узнаваемо. В отличие от Анголы или Мозамбика здесь не только сохранили все полученное от прошлого режима (если не считать неизбежного переименования улиц и сноса памятников), но и добавили, город украсился новыми зданиями, и

со стороны парка, что за пятизвездной гостиницей "Монаматана", он даже кажется миниатюрным Манхэттеном.

И ритм жизни внешне совсем не замедлился. Но в городе явно что-то изменилось. Ощущалась потеря чего-то очень важного. Я долго не мог понять в чем дело. И только походив по улицам подольше, я понял, что мне мешало: в лицах зимбабвийцев появилась знакомая скованность, озабоченность, какая-то даже мрачность. Улыбок стало явно меньше. Я зашел в клуб, где когда-то состоял членом. Старый знакомый после нескольких кружек пива признался: "Ты знаешь, мы просто боимся громко разговаривать на улицах. Не дай Бог, скажешь что-нибудь не то. Могут взять на заметку". И он добавил: "Иногда нам становится очень страшно".

Местный чиновник доказывал мне преимущества однопартийной системы.

— Это намного лучше, — убежденно говорил он. — Во-первых, нет необходимости в борьбе за власть: если кто-то хочет выдвинуться, он это делает в установленном порядке, через парторганизацию. Во-вторых, не в африканской традиции иметь много партий. Мы в Африке привыкли к власти одного человека, одной силы. Да и кроме того, народ не готов к буржуазной демократии, дай ему волю, он, знаете, что натворит?

И он проиллюстрировал свой монолог лубочным, в стиле пропаганды той страны, рассказом о событиях в Восточной Европе.

Я позволил себе не согласиться (все-таки перестройка и гласность — великая вещь!) и изложил свое видение однопартийной системы, а также причин и целей перестройки у нас и в бывшем социалистическом содружестве. Собеседник поначалу нервничал — точно так же, как и мы в прошлом, когда с нами заводили подобные разговоры иностранцы, а потом стал бурно соглашаться, хотя и шепотом, хотя и озираясь! Он горячо и быстро говорил о том, что однопартийная система им "вот так" надоела, что она все давит, лишает свободы, обкрадывает, что коррупция достигла невероятных размеров...

Сразу стало скучно, как будто встретил соотечественника.

Первые признаки такого страха есть и в Намибии, получившей независимость последней из африканских стран, в марте 1990 года.

Накануне праздника Намибия была похожа на невесту: скоро свадьба, она загадывает желания, неясные предчувствия томят ее, а жених с компанией друзей уже в дверях, и что-то в их облике пугает ее. Ей кажется, что многие из них не скрывают зависти: хоть и позже всех пришла к вен-

цу, а все у нее налажено, все работает, везде чистота, покой. Но сквозь зависть просвечивает злорадство: погоди, милая, и у тебя будет все так же, как и у нас.

Первая волна страха заставила выехать многие белые семьи из Намибии. Затем, после примиряющих выступлений новых властей, отъезды приостановились. Многие выжидали, что будет дальше, пойдет ли Намибия тем же путем, что и ее соседи, или попытается обойтись без ненужных губительных разрушений.

Я попал в Виндхук — главный город страны, еще до провозглашения независимости. Особой нервозности я не заметил, на улицах было много людей, много улыбок. Никакой угрозы внутриполитической стабильности не отмечалось. После четверти века вооруженной конфронтации это было удивительно и внушало надежду.

В провинциально простодушном Виндхуке все настраивало на мирный лад. Пологие холмы, с которых одноэтажная столица спускается к главной своей улице с необычным названием Кайзерштрассе. Светильники алоэ — поэтический символ города. Тенистые парки, уютные рестораны, обилие товаров в магазинах.

Вероятно, Виндхук был единственным в Африке обладателем улицы памяти императора Вильгельма II. Там же, в центре, улица Бисмарка, канцлера германской империи, пересекала проспект имени основателя Виндхука капитана германской армии Курта фон Франсуа.

К Кайзерштрассе было дозволено примыкать только самым благонадежным: Герингу, отцу печально знаменитого маршала фашистской Германии фон Бюлову, тому же фон Франсуа. Дозволено было и Лютеру. Возможно, лишь нехваткой достойных имен можно объяснить допуск к главной артерии улиц имени Ливингстона, вулкана Этны и горы Монблан.

В городе около двадцати улиц носят имена великих композиторов. Наверное, нигде в мире больше не соседствуют улицы Грига и Брамса, Шопена и Вагнера, Генделя и Штрауса. Бах и Бетховен образуют два проспекта, куда вливаются музыканты в соответствии с виндхукской табелью о рангах. Вебер петлей примыкает к Шуберту, который, пронзая Бетховена, почтительно останавливается у Баха. Коснувшись Верди, Гайдн уходит в Вебера, а Глюк соединяет Брамса и Шуберта.

Говорят, что советским дипломатам, обосновавшимся в Виндхуке весной 1989 года, предлагали купить дом на улице Любви в живописном районе на склоне одного из холмов.

Забавный город. Он, кажется, готов примирить всех —

создателей атомной бомбы и великих симфоний, сказочников и коварных политиков, расистов и гуманистов.

Как это должно быть замечательно: жить на улице Любви и каждый день проходить Фрейдом через Моцарта к Брамсу!

Виндхукцы прошлого придумали очень неплохо. Город наполнился образами, приобрел музейность, странную и необычную для африканского города. Местные политики ушедших времен не татили энергию и деньги на переименования улиц при смене правительства. И не пытались использовать свою власть, чтобы обессмертить собственное имя. Политическому деятелю, прежде чем попасть на карту, требовалось делом доказывать свои выдающиеся достоинства. Но, увы, на следующее утро после провозглашения независимости исчезли таблички с названиями центральных улиц...

Вероятнее всего, Виндхук зазвучит по-африкански, повторяя опыт большинства. Хотя, надо думать, у страны есть дела и поважнее, чем переименование улиц. Было бы жаль, если бы композиторов сменили герои освободительной борьбы, а улица Любви превратилась бы в проезд Дружбы народов.

— Нас большинство, — говорил мне молодой активист правящей партии, проживший долгие годы за пределами Намибии. — И мы будем все устраивать так, как считаем нужным. Несогласные могут уезжать, держать за руки никого не собираемся. Пройдет немного времени, и вы увидите, как мы заживем!

В его горящих глазах я прочитал уверенность и в правоте большинства, и в превосходстве черного цвета...

Наивная вера в чудо, в волшебство, которое избавит от напастей, остановит голод, прекратит войны, особенно сильна в "заблудившихся" обществах. Верят, что найдется богатая страна или сверхщедрый миллиардер, которые вдруг подарят несметные суммы. Или спишут все долги и дадут еще. Или геологи обнаружат неисчерпаемые запасы нефти, и деньги потекут рекой, как в арабских странах. Это ожидание чуда охватило всех, не исключая и власти, потерявшие способность к позитивным действиям.

Мартовское утро в Лагосе. Солнце еще не встало. На улице — не выветрившийся со вчерашнего дня смог, который густеет от выхлопных газов. Три проститутки босиком идут от гостиницы к океану. Мелкий чиновник с картонной голубой папкой голосует, опаздывает. Его подхватывает "левак". Из дома напротив слышится однообразный, гипнотизирующий мотив африканской "баблгам мьюзик" — "музыки жевательной резинки". Пляж пуст,

волны накатывают еще по-ночному сонно и тяжело. Очень грязно. На песке под тростниковым навесом лежат местные обитатели — продавцы сувениров, сторожа, просто пляжная шпана.

Продавец счастья уже вытащил из корзины и разложил на большом камне свой товар. И собирался позавтракать — разогревал мясо на огне.

Его ракушки, камушки, корешки, по его словам, обладали разными волшебными свойствами.

— А это для чего?

— Если горло заболит. Натрешь немного, добавишь подсолнечного масла, зальешь кипятком, выпьешь — как рукой снимет.

— А эти ракушки?

— Это для счастья.

— Как это?

Он выбрал три ракушки — две поменьше и одну большую, и сложил их треугольником. Рядом построил еще один такой же.

— Вот и все.

— Что все? — не понял я.

— Вот так разложишь, скажешь нужные слова, и будет у тебя все — дом, машина, слуги.

— Ну хорошо. А вот это что за камень?

— И это для счастья. Вот так надо положить на стол или на полку, и сразу у тебя будет всё: дом, машина, слуги...

Я подумал, что не только этот нигериец и миллионы его соплеменников помешаны на легком счастье, на везении. Вся Африка, весь третий мир, да и мы в придачу — все мы верим в чудо, что стоит только узнать секретные слова, разложить правильно ракушки — и исчезнут наши горести, пропадут, как не бывало, наши ошибки, и мы станем молодыми, счастливыми, сразу будут у нас дом, машина...

Иногда такая вера приводит к трагедиям. В одном нигерийском городке как-то объявился "суперколдун", рекламировавший свои способности оживления мертвых.

В назначенный день на пустыре на окраине собралась довольно большая толпа. На помосте расхаживал здоровый малый с пистолетом.

— Эй, есть добровольцы? — призывал он. — Выходите и испытайте силу моего волшебства! Вот из этого пистолета я застрелю счастливчика, а через несколько минут он встанет живым, и все его болезни навсегда пропадут.

Народ смеялся, но ждал. И в конце концов какой-то оборванец крикнул: "Я!" Сначала подумали, что это — сообщник колдуна, и все кончится цирковым трюком: кол-

дун выстрелит, "жертва" упадет и раздавит ампулу с красной краской, а потом поднимется как ни в чем ни бывало. Послышались крики возмущения.

Появился полицейский, протиснулся сквозь толпу. Но пока ничего криминального не усматривал.

— Эй, эй, фотографировать запрещено, — всполошился колдун, увидев, что некоторые наводят фотокамеры.

Между тем доброволец забрался на помост. Колдун призвал публику к тишине. Медленно поднял пистолет, громко посчитал до трех и выстрелил прямо в лоб...

Теперь уже кричали от ужаса! Все видели, что выстрел снес у бедняги полчерепа.

Только человек с пистолетом сохранял спокойствие.

— Итак, — произнес он, и его слова были слышны далеко в полной тишине. — Теперь остается закопать тело. Ровно через пять минут разроем землю, и он встанет перед вами как новенький!

Люди молчали, однако несколько человек вызвались помочь, опустили тело в могилу, засыпали землей.

Колдун следил за минутной стрелкой. Все, у кого были часы, отсчитывали время. Ровно через пять минут начали разгребать землю. Показалось тело. Задние вытянули шеи, кричали: "Ну как там? Встает?"

Колдун произнес какие-то слова, встал на колени, уткнулся головой в землю, поднял руки вверх, повторил заклинание, посмотрел на труп как бы с укоризной, повторил все движения и снова призвал тело встать.

Но убитый лежал, как и полагается убитому. Народ начал роптать. Полицейский вынимал наручники.

— Не получилось! — признался колдун. — Наверное, нужно было стрелять в сердце. Может быть, повторим?

Толпа ответила ревом. В Африке скоры на расправу. Полицейскому с помощью нескольких человек с трудом удалось пробиться с арестованным сквозь ряды разгневанных невольных свидетелей убийства...

По сравнению со стареньким, опустившимся Дар-эс-Саламом, высушенным болезнями и голодом, Лагос выглядит этаким молодцом, поигрывающим мускулами, крестьянским парнем, уже вкусившим сладость городской жизни и заявляющим на нее свои права. Правда, он еще не обучен манерам, еще не знает, как нужно жить "по правилам", старается нахапать больше, чем отдать.

За последние несколько лет Лагос резко рванулся вверх и вширь, но вдоль прекрасных дорог с почти нью-йоркскими развязками — обычная для всей Африки нищета пригородов, с жестяными, картонными, дырявыми лачугами, полуразвалившимися домами без воды и

канализации. Богатый Лагос с "американским" размахом, с загульной щедростью нувориша, который не знает, куда еще вложить шальные деньги, "нефтедоллары", строит там и здесь стадион, доходный дом, завод, строит быстро, потом бросает, если что-то выходит из строя — дешевле построить новое. Старое постепенно ржавеет, покрывается песком, его заселяют бездомные, коих в этом громадном городе множество.

Кажется, что из всех лачуг, лавочек, домишек текут незримые ручейки денег в далекие небоскребы, или же наоборот — небоскребы высасывают тайной корневой системой соки из нищих районов.

На первый взгляд кажется, что в Лагосе ощущается бурное течение жизни, постоянное обновление, стремление к совершенствованию. Но не покидает одновременно чувство, что в этом движении слишком много шума и холостого хода. Ощущение, что завтра все это может кончиться, остановиться, и небоскребы Лагоса, как мираж, пропадут, сольются с победившей Сахарой...

На званом обеде в одном из дорогих ресторанов Лагоса я оказался в компании трех жен высокопоставленных чиновников. Холеные лица, бархатные обнаженные плечи, дорогие туалеты. С вежливым любопытством они расспрашивали: "Скажите, Алекс, что там у вас происходит? Что вы перестраиваете?" Вежливо выслушав и вежливо откомментировав, они с облегчением перешли к своим делам.

"Что бы они делали без женщин", — сказала одна, указав на сидевших за главным столом представительных мужчин в национальных одеждах. "И не говорите, милая, — поддержала другая. — Если мужчине дать волю, знаете, что получится?" Ее подруги закивали в знак согласия. "Смотри-ка, — сказала третья. — Твой сегодня хорошо говорит". — "Что же ты хочешь, я столько сил в него вложила!" — "Без нас они ничто, — резюмировала первая. — И они знают это. Недаром у нас было столько переворотов".

Помолчали. Полная дама слева погрузилась в размышления по поводу авангардной роли женщин. Молодая быстроглазая слева решительно придвинула свое теплое колено к моему. Сидевшая напротив вдруг встрепенулась: "Да, кстати, а вы слышали, как одна девушка зашла в туалет, а там на нее напал насильник? И представляете, ничего не сделал, только отобрал сумочку!" — "Какой нахал!" — "Раньше было намного спокойнее". — "Нет, что-то у нас все же не так".

Затем перешли к любимой теме: джу-джу. Так в Западной Африке называют колдовство, ворожбу, в общем

все волшебное, что приносит удачу или беду. Оказалось, что все дамы, несмотря на то что объездили полсвета, твердо верят в существование джу-джу.

"Да если бы не было джу-джу, — сказала одна, — разве Нигерия стала бы такой богатой?"

И все дамы снова закивали, а молодая, видимо, осуждая мои сомнения, резко убрала свое колено...

На следующий день я вновь проходил мимо пляжа. Продавца ракушечьего счастья не было. На его месте мальчишка торговал сигаретами.

В жарком мареве предметы теряли стойкость, плыли, превращаясь в бесформенные дрожащие пятна.

Бешеная яркость неба сливалась с ослепительным блеском океана, и это создавало странное ощущение вневременья, зазеркалья, где все — не так и с другой целью.

В этом яростном, торжествующем смыкании двух пространств исчезали голод и кровопролитные войны, жестокие диктаторы и их невинные жертвы, нищие строители нищего социализма с их братской помощью, недостроенными небоскребами, ржавыми танками и самолетами, исполинскими монументами.

Наступила великая тишина. Вокруг была Африка, вечная, дикая, трагически противоречивая, все еще ждущая своего часа.

СВИДЕТЕЛЬСКИЕ ПОКАЗАНИЯ

Джордж Оруэлл

ПАМЯТИ КАТАЛОНИИ

Правда об Испании

Для людей старшего поколения, даже и сейчас полностью не освободившихся от навязанных им лживой пропагандой представлений о "славном, героическом прошлом", гражданская война в Испании и помощь республиканцам, сражавшимся с фашизмом, долго оставались абсолютно честным, праведным делом, нескомпрометированным грязными партийно-чекистскими методами. "Испания — это свято", — мог с чистым сердцем утверждать приверженец "героического прошлого", покуда не вышел в русском переводе хемингуэевский "По ком звонит колокол". Впрочем, пока речь идет о сердечном порыве людей, о бескорыстном стремлении помочь мужественным испанцам, один на один сражавшимся с фашизмом, дело и впрямь было святое. Но революция и гражданская война в Испании, интернациональная помощь СССР и компартий других стран имели и другие, менее светлые, ипостаси. Оказалось, что и революция и гражданская война разыгрываются в XX веке по сходному сценарию, будь то на восточной или на западной окраине Европы, и неизбежно ведут к разрухе, жестокой междоусобной борьбе за власть, кровавым репрессиям. Оказалось также, что наряду с военными специалистами и бойцами интербригад в Испанию устремились из Москвы и спецы совсем иного профиля...

Джордж Оруэлл, тогда еще безвестный писатель и журналист самого левого толка, веривший в революцию, власть рабочих, бесклассовое общество и торжество идеалов социализма, приехал с женой в конце 1936 года в Барселону, столицу Каталонии, чтобы собственными глазами увидеть жизнь и борьбу революционной Испании. Ни в какой партии он не состоял, больше доверяя своей совести и чувству социальной справедливости, нежели партийным "линиям", а совесть повелела ему немедленно отправиться добровольцем на фронт. Регулярная Народная армия только начала формироваться, и фронт держали отряды милиции, созданные профсоюзными объединениями и политическими партиями. По воле случая

Оруэлл записался в милицию ПОУМ — Рабочей партии марксистского единения, отколовшейся от правоверной, просталинской компартии и объявленной бывшими единомышленниками "троцкистской". Этот случайный выбор фатальным образом предопределил все дальнейшее. Приехав на побывку в Барселону после нескольких месяцев на передовой, Оруэлл оказался против своей воли участником вооруженного столкновения между анархистами (они объединялись вокруг Национальной конфедерации труда — НКТ) и ПОУМ, с одной стороны, и политической полицией (гражданскими гвардейцами, штурмгвардейцами), контролируемой коммунистами из ОСПК (Объединенной социалистической партии Каталонии), — с другой. Одержавшие верх коммунисты объявили ПОУМ "бандой замаскированных фашистов", "пятой колонной Франко", "платной агентурой Гитлера", а ее попытку противодействия посягательствам на ее права — "троцкистским путчем".

После барселонской междоусобицы Оруэлл вернулся на фронт, был тяжело ранен в горло, чудом остался жив и потерял (по счастью, временно) голос, валялся в прифронтовых госпиталях, долечивался в санатории близ Барселоны, уволился из армии, для чего ему пришлось совершить многодневное путешествие на фронт за ворохом свидетельств и справок с печатями, без которых его сочли бы дезертиром, и вот, усталый, измученный бессонницей, он добирается до Барселоны. На дворе июнь 1937 года. Трагический 1937-й наступил и в Испании. Потрясенный всем, что ему пришлось увидеть и пережить, Оруэлл пишет по свежим впечатлениям книгу "Памяти Каталонии" — свидетельство очевидца барселонской трагедии. Уже на ее страницах Оруэлл начал тот мучительный пересмотр всей системы своих взглядов, который со временем превратит близорукого энтузиаста в мудрого и прозорливого автора "Скотного двора" и "1984".

Публикуемый фрагмент взят из заключительной части книги "Памяти Каталонии". Полностью книга выйдет в издательстве "Радуга".

В.Воронин

После обычных проволочек — "**mañana, mañana**"* — 25 апреля нас наконец сменил другой отряд; мы передали его бойцам винтовки, собрали свои вещмешки и строем двинулись назад, в Монфлорите. Я без сожаления покидал передовую. Вши плодились в моих брюках гораздо быстрее, чем я успевал истреблять их; целый месяц я ходил без носков, сносив последнюю пару, а ботинки у меня совершенно стоптались, так что я ходил почти что босиком. Я мечтал принять горячую ванну, надеть чистую одежду и выспаться на свежих простынях так страстно, как не мечтал ни о чем, живя нормальной, цивилизованной жизнью. В Монфлорите мы переночевали в амбаре; поднявшись после недолгого сна еще затемно, мы влезли в кузов грузовика, идущего в Барбастро, и поспели к пятичасовому поезду. Удачно пересев в Лериде на скорый, мы прибыли в Барселону в три часа пополудни 26 апреля. А вскоре грянула беда.

---

* Завтра, завтра (*исп.*).

...После нескольких месяцев лишений я жаждал насладиться вкусной едой, вином, коктейлями, американскими сигаретами и прочими благами и, признаться, купался в роскоши, насколько это мне было по карману. В течение первой недели отпуска я предавался нескольким занятиям, которые престранным образом влияли друг на друга. Во-первых, я всячески наслаждался жизнью. Во-вторых, всю ту неделю я слегка прихварывал из-за того, что слишком уж увлекался едой и питьем. Почувствовав себя не вполне здоровым, я ложился в постель, через полдня вскакивал, снова объедался и снова заболевал. Одновременно с этим я вел тайные переговоры о приобретении револьвера. Револьвер мне был нужен позарез: в окопной войне от него куда больше проку, чем от винтовки. Добыть же его было делом чрезвычайной трудности. Правительство выдавало револьверы полицейским и офицерам Народной армии, но отказывалось выдавать их милиции; поэтому нам приходилось незаконным образом покупать их в подпольных арсеналах анархистов. После долгих хлопотливых поисков один мой приятель-анархист сумел-таки раздобыть для меня миниатюрный автоматический пистолет — жалкое оружие, бесполезное при стрельбе на расстоянии больше пяти ярдов, но все же лучше, чем ничего. А помимо всего этого я подготавливал почву для того, чтобы выйти из милиции ПОУМ и вступить в какую-нибудь другую часть, в составе которой меня наверняка отправят на Мадридский фронт.

Я уже давно говорил всем о своем намерении покинуть ряды милиции ПОУМ. Если руководствоваться сугубо личными симпатиями, я предпочел бы записаться к анархистам. Став членом НКТ, можно было вступить в милицию ФАИ*, но, как мне сказали, ФАИ, вероятнее всего, послала бы меня не под Мадрид, а под Теруэль. Для того чтобы отправиться в Мадрид, мне надо было вступить в Интернациональную бригаду, а для этого требовалось получить рекомендацию члена коммунистической партии. Я отыскал приятеля-коммуниста, прикомандированного к испанской санитарной службе, и объяснил ему мою ситуацию. Он, кажется, загорелся желанием завербовать меня и попросил, чтобы я, если будет возможно, уговорил еще кого-нибудь из англичан, связанных с НРП**, перейти вместе со мной. Будь у меня получше со здоровьем, я бы, наверное, тут же согласился. Сейчас трудно сказать, что бы изменилось для меня в результате. Вполне возможно, что меня послали бы в Альбасете еще до начала боев в Барселоне; в таком случае я, не увидев боев собственными глазами, мог бы принять за чистую монету официальную версию событий. С другой стороны, если бы я задержался в Барселоне, находясь уже в подчинении у коммунистов, но по-прежнему питая чувство личной преданности моим товарищам из ПОУМ, я оказался бы в труднейшем положении. Но впереди у меня была еще одна неделя отпуска, и мне хотелось окончательно поправиться перед возвращением на передовую. К тому же — вот такие мелочи всегда решают судьбу человека! — я должен был дожидаться, пока сапожники сошьют мне на заказ новую пару походных сапог. (Во всей испанской армии не нашлось достаточно большой пары сапог, которая пришлась бы мне

---

* Федерация анархистов Испании.

** Народная рабочая партия.

по ноге.) Я сказал своему другу-коммунисту, что окончательно договорюсь с ним позднее. А пока я хотел отдохнуть. Я даже вынашивал идею махнуть с женой на два-три дня куда-нибудь на взморье. Прекрасная идея! Предгрозовая политическая атмосфера должна была бы предостеречь меня от подобных фантазий.

Ведь за внешним фасадом города с его роскошью и растущей нищетой, кажущимся весельем на улицах, цветочными киосками, многоцветными флагами, пропагандистскими плакатами и толпами прохожих безошибочно угадывалось страшное политическое соперничество и ненависть. Люди самых разных убеждений с тревогой предсказывали: "Скоро начнутся беспорядки!" Источник опасности был элементарно прост и виден невооруженным глазом: антагонизм между теми, кто хотел, чтобы революция шла дальше, и теми, кто хотел сдержать или предотвратить ее, то есть в конечном счете между анархистами и коммунистами. В политическом отношении в Каталонии теперь не было иной власти, кроме власти ОСПК и ее союзников из либерального лагеря. Но ей противостояла политически неопределенная сила НКТ, не столь хорошо вооруженная и не столь ясно сознающая свои цели, как ее соперники, но имевшая большую численность и господствующее положение в ряде ведущих отраслей промышленности. Подобная расстановка сил таила в себе угрозу беспорядков. С точки зрения руководимого ОСПК Генералидада* первейшим необходимым шагом на пути упрочения положения являлось изъятие оружия у рабочих — членов НКТ. Как я уже отмечал выше, меры по расформированию партийных милиций были, по существу, маневром для достижения этой цели. Одновременно шло восстановление в прежних функциях, укрепление и вооружение довоенной полиции, гражданской гвардии и подобных им формирований. Это могло означать только одно. Гражданская гвардия, в частности, являлась жандармерией обычного европейского образца, которая вот уже сотню лет исполняла роль охранительницы имущего класса. Наряду с этим был обнародован указ о сдаче частными лицами всего имеющегося у них оружия. Указ, естественно, не был выполнен: оружие у анархистов можно было отобрать только силой. Все это время ходили слухи, из-за цензуры печати всегда туманные и противоречивые, о происходящих по всей Каталонии мелких столкновениях. В некоторых местах вооруженная полиция производила налеты на учреждения, считавшиеся оплотом анархистов. В рабочих пригородах Барселоны произошло несколько стычек и потасовок более или менее неофициального характера. Были убиты несколько членов НКТ и ВСТ** на почве политической розни; порой после убийств устраивались вызывающе грандиозные похороны, совершенно сознательно превращаемые в акцию по разжиганию политической ненависти. Незадолго до моего приезда был убит член НКТ, и сотни тысяч членов НКТ приняли участие в похоронной процессии. В конце апреля, когда я только-только вернулся в Барселону, был убит — предположительно кем-то из НКТ — видный член ВСТ Рольдан Кортада. Правительство приказало закрыть в знак траура все магазины и устроило гигантскую похоронную процессию, которая по большей части состояла из воен-

* Правительство Каталонии.

** Всеобщий союз трудящихся.

нослужащих Народной армии и казалась нескончаемой: последние участники траурного шествия прошли мимо гостиницы, из окна которой я без всякого энтузиазма наблюдал за ним, через два часа после его начала. Было ясно как божий день, что так называемые похороны являются просто-напросто демонстрацией силы; еще немного в этом же духе — и возможно кровопролитие. А ночью нас с женой разбудили звуки выстрелов, доносившиеся со стороны площади Каталонии, от которой гостиница отстояла не более чем на сотню-другую ярдов. На следующий день мы узнали, что застрелили члена НКТ; вероятно, это было дело рук кого-то из ВСТ. Конечно, не исключалась возможность того, что все эти убийства совершались провокаторами. Об отношении иностранной капиталистической прессы к распре между коммунистами и анархистами можно судить по тому факту, что убийство Рольдана широко освещалось на страницах газет, а об ответном убийстве не было сказано ни слова.

Приближалось 1 Мая, и шли разговоры об огромной демонстрации, в которой примут участие и НКТ, и ВСТ. Но в последний момент демонстрация была отменена. Не приходилось сомневаться, что она лишь привела бы к уличным беспорядкам. Поэтому 1 Мая ничего не происходило. Престранная получилась картина. Барселона, которую называли революционным городом, была, по всей вероятности, единственным городом в нефашистской Европе, в котором не праздновался Первомай. Но я, признаться, даже почувствовал облегчение: англичане из НРП должны были идти в колонне демонстрантов ПОУМ, и все ожидали беспорядков. Мне меньше всего хотелось бы ввязаться в какую-нибудь бессмысленную уличную драку. Шагать по улице под красными знаменами и плакатами с воодушевляющими лозунгами, а потом оказаться прошитым очередью, выпущенной из окна верхнего этажа каким-нибудь незнакомцем с пистолетом-пулеметом, — это как-то не вязалось с моим представлением о смерти за правое дело.

В полдень 3 мая один мой знакомый, проходя через комнату отдыха в гостинице, мимоходом сказал: "Я слыхал, что-то случилось на Центральной телефонной станции". Почему-то в тот момент я не обратил на его слова внимания.

Позже в тот же день, между тремя и четырьмя часами, прогуливаясь по Рамблас, я вдруг услышал позади несколько винтовочных выстрелов. Оглянувшись, я увидел кучку парней с красно-черными платками анархистов на шее и с винтовками в руках, которые перебежками продвигались по боковой улице, отходящей от Рамблас в северную сторону. Они, судя по всему, перестреливались с людьми, засевшими в высокой восьмиугольной башне — наверное, это была церковная колокольня — и державшими под обстрелом всю ту улицу. Я сразу же подумал: "Началось!" Но подумал без особого удивления: уже несколько дней все жили в ожидании, что вот-вот "начнется". Первым моим побуждением было вернуться в гостиницу и убедиться, что жена в безопасности. Однако анархисты, что сгрудились на углу Рамблас и улицы с башней, предостерегающе махали прохожим и кричали, чтобы они не пересекали линию огня. Снова загремели выстрелы. Пули, выпущенные из башни, летели вдоль улицы, и охваченная паникой толпа бросилась бежать по Рамблас, подаль-

ше от места перестрелки. Отовсюду слышалось металлическое лязганье: владельцы магазинов закрывали стальные ставни на витринах. Два офицера Народной армии осторожно пятились, прячась за деревьями и держа руку на кобуре. Впереди меня толпа, ища укрытия, хлынула на станцию метро в средней части Рамблас. Я сразу же решил не спускаться в метро: ведь это могло означать, что на несколько часов окажешься в ловушке под землей.

В это мгновение ко мне подбежал знакомый американец — врач, служивший вместе с нами на фронте. Крайне взволнованный, он потянул меня за руку.

— Идемте, мы должны пробираться к гостинице "Фалькон". (Гостиница эта была чем-то вроде пансионата, который содержала ПОУМ и в котором останавливались преимущественно бойцы милиции, приезжавшие в отпуск с фронта.) — Там собираются парни из ПОУМ. Началось. Мы должны держаться вместе.

— Но из-за чего, черт возьми, вся эта пальба?

Доктор тянул меня за рукав. Он был так возбужден, что не мог ответить сколь-нибудь внятно. Как выяснилось, он находился на площади Каталонии в тот момент, когда к Центральной телефонной станции, которую обслуживали преимущественно члены НКТ, подкатило несколько грузовиков, набитых вооруженными гражданскими гвардейцами, которые, спрыгнув на землю, вдруг бросились на штурм здания. Затем туда же подоспела группа анархистов, и между ними произошли столкновения. Я понял из его слов, что ранее в тот же день правительство потребовало передачи Центральной телефонной станции под его контроль; ему, конечно, ответили отказом — это и положило начало беспорядкам.

Мы двинулись по улице; навстречу нам промчался грузовик, битком набитый анархистами, вооруженными винтовками. В передней части кузова лежал на груде матрасов юнец с пулеметом. Когда мы добрались до гостиницы "Фалькон", расположенной в конце Рамблас, в ее вестибюле возбужденно бурлила толпа; царила полная сумятица; никто, похоже, не знал, чего от них ждут, ни у кого не было оружия, за исключением горстки бойцов ударного отряда, которые обычно несли охрану здания. Я зашел в здание местного комитета ПОУМ, находившееся на противоположной стороне улицы почти напротив гостиницы. Поднявшись по лестнице, я увидел, что в комнате, где обычно выдавали жалованье бойцам милиции, возбужденно бурлит толпа. Рослый мужчина лет тридцати с бледным, довольно красивым лицом, одетый в штатское, пытался навести порядок и раздавал ремни и патронташи, сваленные грудой в углу комнаты. Винтовок, похоже, еще не выдавали. Доктор куда-то исчез — наверное, уже были раненые и кому-то потребовалась медицинская помощь, — зато появился еще один англичанин. Вскоре рослый мужчина и несколько его помощников стали охапками выносить из внутренних служебных помещений винтовки и раздавать их собравшимся. Ко мне и другому англичанину отнеслись с некоторым недоверием как к иностранцам и винтовок сперва выдавать не хотели. Но тут появился боец милиции, вместе с которым я был на фронте; он меня узнал, и тогда нам выдали, все еще нехотя, винтовки и обоймы.

Откуда-то издалека доносились звуки выстрелов, и улицы со-

вершенно обезлюдели. Все говорили, что пройти в другой конец Рамблас невозможно, так как гражданские гвардейцы захватили здания, возвышающиеся над улицей, и стреляют в каждого прохожего. Я бы все-таки рискнул возвратиться в гостиницу, но в воздухе носилась смутная идея, что местный комитет может в любой момент подвергнуться нападению и поэтому нам лучше не расходиться. В коридорах, на лестницах и на тротуаре перед зданием кучками стояли люди и возбужденно разговаривали. Ни у кого, похоже, не было ясного представления о том, что происходит. Из всего, что говорилось, я понял только одно: гражданские гвардейцы напали на Центральную телефонную станцию и захватили различные стратегические пункты, откуда простреливались подступы к другим зданиям, принадлежащим рабочим. У всех сложилось впечатление, что гражданские гвардейцы хотят "прижать" НКТ и рабочий класс в целом. После того как мне рассказали, как обстоят дела, у меня отлегло от сердца. Вопрос достаточно прояснился. На одной стороне — НКТ, на другой — полиция. Я не питаю особой любви к идеализированному "рабочему", каким он представляется западному коммунисту, но, когда я вижу реального, живого рабочего, втянутого в конфликт со своим естественным врагом — полицейским, мне не надо спрашивать себя, на чьей я стороне.

Шли часы, а в нашем конце города, похоже, ничего не происходило. Мне даже в голову не пришло, что я могу просто позвонить в гостиницу и узнать, не подвергается ли опасности моя жена; я-то был уверен, что Центральная телефонная станция прекратила работу. В действительности же она бездействовала всего часа два. По самым приблизительным подсчетам, в обоих зданиях собралось человек триста. В основном это были люди из беднейших слоев населения, обитатели района припортовых улочек на задворках города; среди собравшихся попадались и женщины, некоторые из них держали на руках младенцев; под ногами вертелось множество мальчуганов в лохмотьях. По-моему, большинство из них не понимали, что происходит; они просто бежали сюда, в здание ПОУМ, ища защиты. Тут же находилась группа бойцов милиции, приехавших в отпуск, и несколько человек иностранцев. На всех нас приходилось примерно шестьдесят стволов. Служебные помещения наверху постоянно осаждала толпа: люди требовали, чтобы им дали винтовки, а им отвечали, что ни одной не сталось. Бойцы милиции, еще не вышедшие из мальчишеского возраста, которые, похоже относились ко всему происходящему как к какой-то увлекательной игре, так и шныряли вокруг, пытаясь выпросить или украсть винтовку у тех, кто ее имел. Очень скоро один из них обдурил меня: попросил на минутку подержать мою винтовку и тотчас же скрылся с ней. Так что я снова оказался безоружным, если не считать моего миниатюрного автоматического пистолета, к которому у меня была одна-единственная обойма.

Стемнело, я проголодался, а в "Фальконе", судя по всему, никакой еды не предвиделось. Мы с приятелем выскользнули наружу и отправились подкрепиться в его гостиницу, расположенную неподалеку. Улицы были погружены во тьму, безмолвны и совершенно безлюдны. Все витрины магазинов были наглухо закрыты стальными ставнями, но баррикад еще не возводили. Гостиница оказалась запертой на все запоры, и мы наделали перепо-

лоху своим приходом. Когда мы вернулись, я узнал, что Центральная телефонная станция работает, и поднялся наверх в служебные помещения, где был телефон, позвонить жене. Номера гостиницы "Континенталь" я не помнил, а во всем здании — это типичный случай — не нашлось телефонной книги; прослонявшись с час из комнаты в комнату в бесплодных поисках, я наткнулся на справочник, в котором имелся нужный мне номер.

У большинства окон в здании местного комитета были выставлены вооруженные караульные, а на улице перед домом группка бойцов ударных частей останавливала и допрашивала редких прохожих. Подъехала патрульная машина анархистов, ощетинившаяся стволами винтовок. Рядом с водителем сидела красивая темноволосая девушка лет восемнадцати, державшая на коленях ручной пулемет. Я долго бродил по коридорам этого огромного бестолкового здания, географию которого невозможно было постичь. И повсюду меня встречала привычная картина: обломки мебели, клочья бумаги, всяческий хлам, ставшие, казалось, неизбежными атрибутами революции. Во всех помещениях спали люди; прямо в коридоре мирно похрапывали на сломанном диване две женщины из бедного портового квартала. До того как ПОУМ заняла это здание, здесь помещался театр-кабаре. В некоторых комнатах имелись эстрады; на одной из них одиноко стоял рояль. Наконец я нашел то, что разыскивал, — арсенал. Не зная, какой оборот примет дальше эта история, я во что бы то ни стало хотел раздобыть оружие. Я так часто слышал разговоры о том, что в Барселоне все соперничающие партии накапливают на своих тайных складах оружие, что не мог поверить, что в двух главных зданиях ПОУМ оказалось всего пять или шесть десятков винтовок. Комната, служившая арсеналом, не охранялась, дверь была хлипкая, и мне с другим англичанином не составило труда выломать ее. Войдя внутрь, мы убедились, что нам сказали правду: винтовок и впрямь больше не было. Десятка два мелкокалиберок устаревшего образца да несколько дробовиков без единого патрона — вот и все, что мы обнаружили. Я отправился наверх в комнату дежурных и спросил, нет ли здесь пистолетных патронов; нет, пистолетных патронов тоже не было. Впрочем, было несколько ящиков гранат, доставленных нам на одном из патрульных автомобилей анархистов. Я засунул пару гранат в один из своих патронташей. Это были гранаты примитивного образца, у которых запальный фитиль воспламенялся, если чиркнуть по нему чем-то вроде спички, и которые вполне могли взорваться сами по себе.

Всюду вповалку спали на полу люди. В одной из комнат кричал грудной ребенок, кричал не переставая. Несмотря на то что был уже май, ночью стало прохладно. Над одной из эстрад сохранился занавес. Я срезал занавес ножом, закутался в него и на несколько часов погрузился в сон. Помнится, спал я тревожно: меня не оставляла в покое мысль об этих проклятых гранатах, которые могут взорваться, если я слишком придавлю их во сне. В три часа ночи меня разбудил тот рослый красивый мужчина, который, кажется, был тут за главного. Вручив мне винтовку, он поставил меня часовым у одного из окон. Попутно он рассказал мне, что Салас, начальник полиции, отдавший приказ о нападении на Центральную телефонную станцию, взят под стражу. (На самом деле, как нам стало потом известно, его только сместили

с должности. Тем не менее эта новость подтвердила общее впечатление, что гражданская гвардия действовала на свой страх и риск.) Как только стало светать, внизу, на улице, закопошились люди: началось строительство двух баррикад: одну возводили перед местным комитетом, другую — перед гостиницей "Фалькон". Через пару часов баррикады выросли в рост человека, стрелки заняли места у амбразур, а за одной баррикадой развели костер и поджаривали яичницу.

У меня снова отобрали винтовку, да и вообще, похоже, я больше ничем не мог быть здесь полезен. Поэтому мы, я и другой англичанин, решили вернуться в гостиницу "Континенталь". Издалека долетали звуки частой пальбы, но на Рамблас, кажется, было тихо. По дороге мы заглянули на рынок. Торговали лишь в немногих ларьках, их осаждали толпы людей — жители рабочих кварталов, расположенных к югу от Рамблас. Как только мы зашли в павильон, снаружи загремели винтовочные выстрелы, стекла задрожали, и толпа бросилась к выходам. Несколько ларьков, однако, продолжали торговлю; нам удалось выпить по чашке кофе и купить треугольный кусок козьего сыра, который я засунул в патронташ рядом с гранатами. Через пару дней сыр этот пришелся очень и очень кстати.

На том углу, где накануне анархисты на моих глазах начали перестрелку, теперь стояла баррикада. Какой-то человек крикнул мне из-за баррикады (я шел по другой стороне улицы), чтобы я поостерегся: гражданские гвардейцы, засевшие на колокольне, стреляют без разбора в каждого прохожего. Я остановился, а потом рывком перебежал простреливаемое пространство. Ну и, конечно, рядом взвизгнула пуля — ощущение не из приятных. Когда я подходил к зданию Исполкома ПОУМ, все еще оставаясь на противоположной стороне улицы, мне опять крикнули, чтобы я поостерегся; на этот раз меня предупреждали бойцы ударного отряда, стоявшие в подъезде здания, но в тот момент я не понял, в чем дело. От кричавших меня отгораживали деревья и газетный киоск (на улицах такого типа в Испании посредине расположена широкая аллея), и мне не было видно, куда они показывают. Я заглянул в "Континенталь", удостоверился, что все тут в порядке, умылся, а оттуда направился в Исполком ПОУМ (до него было буквально несколько шагов обратно по улице) узнать, нет ли каких приказаний. К этому времени доносившийся с разных сторон треск ружейно-пулеметной пальбы уже мало чем уступал грохоту сражения. Не успел я, поднявшись наверх, найти Коппа и спросить у него, что нам надлежит делать, как вдруг внизу ухнули один за другим несколько мощных взрывов. Грохот стоял такой, что я был уверен: по нам бьют из полевых орудий. На самом же деле это всего лишь рвались ручные гранаты: когда они взрываются среди каменных домов, звук бывает вдвое громче обычного.

Копп выглянул в окно, выразительным жестом заложил за спину трость, бросил мне: "Пойдем разберемся" — и с обычным своим беззаботным видом стал спускаться по лестнице. Я спустился следом. Стоявшие у самого выхода из подъезда бойцы ударного отряда бросали вдоль тротуара гранаты, как шары при игре в кегли. Гранаты рвались ярдах в двадцати с ужасающим грохотом, смешивавшимся с буханьем выстрелов; от всего этого звенело в ушах. Из-за газетного киоска на аллее посреди улицы

высовывалась, привлекая всеобщее внимание, как кокосовый орех в витрине магазина, голова американца, которого я хорошо знал по службе в милиции. Далеко не сразу понял я истинный смысл происходящего. Соседнее с нами здание занимало кафе "Мока" с расположенными над ним гостиничными номерами. Накануне в кафе ввалились человек двадцать-тридцать гражданских гвардейцев, которые, как только началась пальба, внезапно захватили здание и забаррикадировались в нем. Надо полагать, они получили приказ захватить кафе как плацдарм для дальнейшего нападения на служебные помещения ПОУМ. Рано утром они попытались сделать вылазку, и в завязавшейся перестрелке был тяжело ранен один боец ударного отряда и убит гражданский гвардеец. Гражданские гвардейцы ретировались в кафе, но, когда на улице показался американец, они открыли по нему огонь, несмотря на то что он шел без оружия. Американец, укрываясь от выстрелов, нырнул за киоск, а бойцы ударного отряда забрасывали теперь гражданских гвардейцев гранатами, стараясь загнать их подальше в глубину кафе.

Копп мгновенно оценил ситуацию, протолкался вперед и оттащил рыжего немца из ударного отряда, который собирался выдернуть зубами чеку из гранаты. Он велел стоявшим в подъезде отойти назад и на нескольких языках сказал нам, что нужно избежать кровопролития. Затем он вышел наружу и на глазах у гражданских гвардейцев демонстративно отстегнул от пояса свой пистолет и положил его на тротуар. Двое других офицеров милиции, оба испанцы, последовали его примеру, и вот втроем они медленно двинулись к дверям кафе, где столпились гражданские гвардейцы. Это, конечно, был смертельно опасный номер. Они ведь шли, безоружные, к людям, перепуганным до потери сознания и сжимающим в руках заряженное оружие. Из двери кафе вышел навстречу Коппу гражданский гвардеец без куртки и с мертвенно-бледным от страха лицом. Приступив к переговорам, он снова и снова возбужденно показывал на две неразорвавшиеся гранаты посреди тротуара. Тогда Копп вернулся и велел нам взорвать эти гранаты, чтобы на них не подорвался кто-нибудь из прохожих. Боец ударного отряда выстрелил из винтовки в одну из гранат, и она взорвалась. Потом выстрелил в другую — и промахнулся. Я попросил у него винтовку, встал на одно колено и выстрелил в оставшуюся гранату, но, увы, тоже промазал. Это был единственный выстрел, сделанный мною за все время беспорядков. У тротуара, усыпанного осколками стеклянной вывески кафе "Мока", стояли две машины (одна из них — служебный автомобиль Коппа), изрешеченные пулями, с ветровыми стеклами, разбитыми осколками гранат.

Копп пригласил меня снова подняться с ним наверх и объяснил мне, как обстоят дела. Нам было приказано защищать здания ПОУМ, если они подвергнутся нападению, однако руководство ПОУМ передало распоряжение придерживаться оборонительной тактики и не открывать огонь, пока есть хоть какая-то возможность избежать этого. Прямо напротив нас находилось здание кинотеатра "Полиорама": над кинозалом был музей, а еще выше — маленькая обсерватория с двумя куполами, поднимавшимися над крышами других домов. С куполов простреливалась вся улица; достаточно было разместить там нескольких бойцов с винтовками, чтобы предотвратить любое нападение на зда-

ние ПОУМ. Администраторы кинотеатра — члены НКТ, и беспрепятственный вход-выход нам обеспечен. Что до засевших в кафе "Мока" гражданских гвардейцев, то с ними осложнений не могло возникнуть: они не хотели драться и с радостью восприняли принцип "живи и давай жить другим". Копп повторил, что нам приказано не стрелять, если не стреляют в нас самих и не нападают на наши здания. Как я понял из его слов (хотя прямо он этого не говорил), руководители ПОУМ пришли в ярость оттого, что их втянули в эту историю, но не могут не поддержать НКТ.

В обсерватории уже дежурил наш пост. Следующие три дня и три ночи я бессменно проторчал на крыше "Полиорамы", лишь ненадолго отлучаясь поесть в гостиницу. Я не подвергался опасности, не терпел лишений, страдая разве что от голода да скуки, и тем не менее эти трое суток стали одним из самых невыносимо тяжких периодов всей моей жизни. Мне не приходилось переживать ничего более отталкивающего, более разочаровывающего, более изматывающего, чем испытания этих недобрых дней уличных боев.

Проводя время на крыше, я дивился безумию всего происходящего. За оконцами обсерватории город лежал как на ладони: на многие мили взору открывалась панорама высоких стройных зданий, стеклянных куполов и фантастически изогнутых крыш, покрытых ярко-зеленой и медно-красной черепицей, а за всем этим виднелась на востоке мерцающая бледно-голубая полоска моря. (Я увидел отсюда море впервые после приезда в Испанию.) И весь этот огромный город с миллионным населением охвачен каким-то яростным бездействием, оцепенел в каком-то грохочущем неподвижном кошмаре. На залитых солнцем улицах не было ни души. В городе ничего не происходило, если не считать того, что из-за баррикад и из окон, заложенных мешками с песком, неслись навстречу друг другу потоки пуль. Всякое движение на улицах полностью остановилось; там и сям стояли на Рамблас трамваи, застывшие в неподвижности с того момента, когда из них повыпрыгивали напуганные стрельбой вагоновожатые. И все время продолжался несмолкающий дьявольский грохот, отраженный от тысяч каменных зданий, как будто над городом гремела страшная тропическая гроза. Трах-трах-тах, тарарах, бум, бах — иногда пальба, ослабевая, распадалась на отдельные выстрелы, потом вновь сливалась в оглушительную трескотню, но при свете дня она не прекращалась ни на минуту и возобновлялась прямо с восходом солнца.

Что тут творилось на самом деле, кто с кем воевал и кто кого побеждал — в этом мне очень трудно было поначалу разобраться. Барселонцы так попривыкли к уличным боям и так хорошо знали свой город, что безошибочно, неким чутьем, угадывали, какие улицы и какие здания контролируются той или иной политической партией. Иностранцу же рассчитывать на такое чутье не приходилось. Наблюдая за происходящим из окна обсерватории, я сумел определить, что Рамблас, одна из главных улиц города, служила как бы разделительной линией. Рабочие кварталы справа от Рамблас являлись твердыней анархистов; в лабиринте извилистых боковых улочек по левую сторону от Рамблас картина боев была неясной, но на этой стороне хозяевами положения в большей или меньшей степени являлись ОСПК и гражданская гвардия. В нашем конце улицы Рамблас, вокруг

площади Каталонии, взаимное расположение сражающихся отличалось такой сложностью, что никто бы не смог разобраться в нем, не развевайся над каждым зданием тот или иной партийный флаг. Главным ориентиром здесь был отель "Колон", штаб-квартира ОСПК. Это здание господствовало над площадью Каталонии. Из его окна рядом с предпоследним "о" огромной, во весь фасад, вывески "Отель Колон" торчал пулемет, способный смести огнем все на площади. В сотне ярдов правее нас, дальше по Рамблас, находился большой универмаг, который удерживала ОСМ, молодежная организация ОСПК; торцевые окна универмага, заложенные мешками с песком, выходили на нашу обсерваторию. ОСМ спустила свой красный флаг и подняла над универмагом национальный флаг Каталонии. На Центральной телефонной станции, где и началась вся эта заварушка, развевались рядом каталонский национальный флаг и флаг анархистов. Там был достигнут некий временный компромисс: станция бесперебойно работала, и из здания не стреляли.

На нашей позиции стояла, как это ни странно, тишь да гладь. Гражданские гвардейцы в кафе "Мока" опустили на окна железные жалюзи и забаррикадировали вход столиками. Несколько позже с полдюжины гвардейцев забрались на скат крыши, обращенный в нашу сторону, и соорудили еще одну баррикаду, из матрасов, над которой водрузили национальный флаг Каталонии. Но они явно не горели желанием вступать в бой. Копп со всей определенностью договорился с ними: если они не станут стрелять в нас, мы не будем стрелять в них. К этому времени он установил с гражданскими гвардейцами вполне дружественные отношения и несколько раз бывал у них в кафе "Мока". Разумеется, гвардейцы разграбили весь имевшийся в кафе запас спиртного и даже одарили Коппа пятнадцатью бутылками пива. Тем не менее сидеть на крыше было немного неуютно. Обычно нас было наверху человек шесть. Выставив по одному дозорному в каждую из двух наблюдательных башенок обсерватории, мы располагались прямо на плоской крыше, защищенные лишь каменным бордюром. Я, конечно, понимал, что в любую минуту гражданские гвардейцы могут получить по телефону приказ открыть по нам огонь. Они, правда, обещали, что предупредят нас, прежде чем открыть огонь, но никакой уверенности, что они сдержат обещание, у нас не было.

Чуть ли не с первого дня стало голодно. Еда для тех пятнадцати-двадцати бойцов милиции, что охраняли здание Исполнительного комитета ПОУМ, доставлялась с немалым трудом и только под покровом темноты (поскольку гражданские гвардейцы постоянно обстреливали Рамблас) из гостиницы "Фалькон", но того, что приносили, едва хватало, и все, кто мог, питались в "Континентале". "Континенталь" в отличие от большинства гостиниц был "коллективизирован" не одним из профсоюзов НКТ или ВСТ, а Генералидадом и считался как бы нейтральной территорией. Едва лишь грянули бои, как гостиницу до отказа заполнила необыкновенно пестрая публика: иностранные журналисты; политически неблагонадежные лица всех оттенков; американский летчик, поступивший на службу к Республиканскому правительству; всевозможные коммунистические агенты, в том числе и один русский — мрачного вида толстяк, пре-

дположительно агент ОГПУ, носивший прозвище Чарли Чан, прицеплявший к поясу револьвер и аккуратную маленькую гранату; жены и дети богатых испанцев, судя по всему сочувствующие фашистам; двое или трое раненых интербригадовцев; группа шоферов больших французских автофургонов, что везли во Францию груз апельсинов и стояли теперь из-за начавшихся уличных боев; несколько офицеров Народной армии. В целом Народная армия сохраняла на протяжении всего вооруженного столкновения нейтралитет, но кое-кто из ее солдат улизнул из казарм, чтобы принять участие в боях как частные лица; во вторник утром я видел нескольких солдат Народной армии на баррикадах ПОУМ. На первых порах, еще до того, как обозначилась острая нехватка продовольствия и в газетах развернулась кампания по разжиганию ненависти, к происходящим событиям относились довольно несерьезно. Люди говорили, например, что такие заварушки бывают в Барселоне ежегодно. Итальянский журналист Джордже Тиоли, наш большой друг, однажды явился к нам в брюках, пропитанных кровью. Он, оказывается, вышел на улицу поглядеть, что там творится, и в тот момент, когда он перевязывал лежащего на тротуаре раненого, какой-то шутник бросил в него гранату. К счастью, его лишь поцарапало. Помню, как он сострил, что камни барселонских мостовых следовало бы пронумеровать: это сбережет столько труда при сооружении и разборке баррикад. И еще помню, как я, усталый, голодный, грязный, ввалился к себе в номер после бессонной ночи, проведенной на дежурстве, и застал там гостей — нескольких интербригадовцев. Они занимали в этом деле совершенно нейтральную позицию. Как добросовестным членам партии им, наверное, следовало бы попробовать убедить меня перейти на другую сторону, а то даже и отобрать у меня силой гранаты, рассованные по карманам; вместо этого они лишь посочувствовали, что я вынужден проводить свой отпуск, дежуря на крыше. Общее отношение к происходившему было таково: "Это ничего не значит, просто потасовка между анархистами и полицией". Несмотря на широкий масштаб этой схватки и на имевшиеся жертвы, такая оценка, по-моему, была ближе к истине, чем официальная версия, представившая все это как заранее подготовленное восстание.

В среду (5 мая) ситуация, похоже, начала меняться. Улицы, на которых все витрины были наглухо закрыты ставнями, выглядели зловеще. По ним крадучись пробирались туда и сюда редкие прохожие, вынужденные по какой-то причине выйти в город; они демонстративно помахивали белыми носовыми платками; посреди Рамблас, на пятачке, прикрытом от пуль, газетчики выкликали названия газет, взывая к безлюдной улице. Во вторник "Солидаридад обрера", газета анархистов, еще называла нападение на Центральную телефонную станцию "чудовищной провокацией", однако в среду она сбавила тон и начала призывать всех бастующих возобновить работу. Руководители анархистов обратились с тем же призывом по радио. Неохраняемая редакция газеты "Баталья", орган ПОУМ, была разгромлена и захвачена гражданскими гвардейцами примерно в то же время, когда производился налет на Центральную телефонную станцию, но газету продолжали печатать где-то в другом месте и распространять небольшим тиражом. "Баталья" призывала всех оставаться на баррикадах. Люди пребывали в сомнении и с беспокойством спрашивали

себя, чем вся эта чертовщина закончится. Пока никто еще, кажется, не уходил с баррикад, но всем уже надоела эта бессмысленная драка, которая явно не могла ничего разрешить, ибо никто не хотел, чтобы она переросла в настоящую гражданскую войну, что было бы чревато поражением в войне с Франко. Эти опасения я слышал со всех сторон. Насколько я могу судить по тому, что говорили тогда люди, рядовые члены НКТ хотели, притом хотели с самого начала, только двух вещей: возвращения Центральной телефонной станции и разоружения ненавистных гражданских гвардейцев. Обещай Генералидад выполнить оба эти требования и покончить со спекуляцией пищевыми продуктами, баррикады, несомненно, были бы разобраны уже через пару часов. Но Генералидад явно не собирался идти на уступки. Ходили тревожные слухи. Говорили, что центральное правительство в Валенсии направляет в Барселону шесть тысяч солдат с приказом занять город и что пять тысяч бойцов, анархистов и членов ПОУМ, снялись с Арагонского фронта и выступили им навстречу. Как выяснилось, лишь первый из этих слухов соответствовал действительности. Ведя наблюдение из башенки обсерватории, мы увидели низкие серые силуэты военных кораблей, приближавшихся к гавани. Дуглас Мойл, бывший моряк, сказал, что они смахивают на английские эсминцы. Как мы узнали впоследствии, это и впрямь были английские эсминцы.

В тот вечер до нас дошел слух, что на площади Испании сложили оружие и сдались анархистам четыреста гражданских гвардейцев; кроме того, к нам просачивались неточные сведения, что в предместьях (которые были преимущественно рабочими районами) сторонники НКТ контролируют положение. Похоже, мы побеждали. Но тем же вечером Копп послал за мной и с мрачным, озабоченным лицом сообщил мне, что, как ему только что стало известно, правительство собирается объявить ПОУМ вне закона и провозгласить, что находится с ней в состоянии войны. Новость ошарашила меня. Тогда мне впервые открылось, как станут интерпретировать эту историю впоследствии. Я смутно догадывался, что после прекращения огня всю вину возложат на ПОУМ, слабейшую из партий и, следовательно, самую подходящую для того, чтобы сделать из нее козла отпущения. А сейчас выходило так, что нашему локальному нейтралитету пришел конец. Раз правительство объявляет нам войну, нам не остается ничего другого, как защищаться, а в том, что засевшие в соседнем здании гражданские гвардейцы получат приказ атаковать нас, защитников здания Исполнительного комитета, сомневаться не приходилось. Единственный наш шанс состоял в том, чтобы атаковать первыми. Копп ожидал приказа по телефону: если известие об объявлении ПОУМ вне закона подтвердится, мы должны будем сразу же приступить к подготовке захвата кафе "Мока".

Мне помнится нескончаемо долгий кошмарный вечер, в течение которого мы всячески укреплялись в здании. Мы закрыли стальными жалюзи парадный ход, а в проеме дверей возвели баррикаду из каменных плит, оставленных строительными рабочими, которые занимались тут какими-то переделками. Еще раз пересчитали наши запасы оружия. Вместе с теми шестью стволами, что находились на крыше "Полиорамы", у нас имелось: двадцать одна винтовка, причем одна неисправная; примерно по пятидесяти патронов на каждую винтовку, несколько десятков

гранат да еще несколько пистолетов и револьверов, вот и все. С дюжину добровольцев, в основном немцев, вызвались атаковать кафе "Мока", если и впрямь грянет война. Мы должны будем напасть на них, конечно, со стороны крыши, подкравшись глубокой ночью и ударив неожиданно; на их стороне — численное превосходство, зато на нашей — более высокий боевой дух, и мы наверняка сможем взять кафе штурмом, хотя в бою неизбежно погибнут люди. В нашем здании не осталось никакой еды, помимо нескольких плиток шоколада, и распространился слух, что "они" собираются перекрыть воду. (Никто толком не знал, кто такие эти "они". Водопровод мог находиться под контролем правительства, а мог — и под контролем НКТ.) Мы потратили много времени на то, чтобы запастись водой: наполнили все бачки в уборных, все ведра, которые могли найти, и, наконец, пятнадцать пустых пивных бутылок.

Я был в отвратительном расположении духа и в полнейшем изнеможении после шестидесятичасового недосыпания. Перевалило далеко за полночь. Внизу, на полу вестибюля, за баррикадой вповалку спали люди. Вверху была комнатка с диваном, которую мы собирались занять под перевязочную, хотя во всем здании, конечно же, не нашлось ни йода, ни бинтов. Из гостиницы пришла моя жена — на случай, если понадобится сестра милосердия. Я прилег на диван, чтобы хоть полчасика отдохнуть перед атакой на кафе "Мока", во время которой я, вполне возможно, буду убит. Помню, какое невыносимое неудобство причинял мне пистолет, пристегнутый к поясу и больно упиравшийся мне в поясницу. Следующее же, что я помню: внезапно вздрогнув, я просыпаюсь и вижу стоящую рядом жену. За окном светло — уже день. Ничего страшного не стряслось: правительство не объявило ПОУМ войну, воду не перекрыли, и все шло вполне нормально если не считать вспышек стрельбы на улицах. Жена сказала, что ей было жалко меня будить и она поспала в кресле в одной из соседних комнат.

Во второй половине дня установилось что-то вроде перемирия. Перестрелка смолкла, и улицы, как по мановению волшебной палочки, заполнились людьми. В некоторых магазинах поднимались ставни, а рынок запрудила огромная толпа желающих купить чего-нибудь съестного, хотя прилавки были почти пусты. Обращало, однако, на себя внимание то, что трамваи все еще не ходили. Гражданские гвардейцы в кафе "Мока" по-прежнему оставались за своими баррикадами. Ни та, ни другая сторона не спешила покидать свои укрепленные здания. Люди сновали и суетились, пытаясь приобрести что-нибудь из еды. И всюду задавались одни и те же тревожные вопросы: "Вы думаете, это кончилось? Полагаете, это начнется снова?" Люди теперь воспринимали "это" — уличную войну — как стихийное бедствие, как ураган или землетрясение, как беду, которая обрушилась одинаково на всех нас и которую мы бессильны предотвратить. Ну и конечно, почти сразу — в действительности перемирие длилось не один час, но часы показались считанными минутами — внезапный треск выстрелов, словно июльский ливень, заставил людей броситься врассыпную; железные ставни с лязгом захлопнулись; улицы словно по волшебству опустели; сражающиеся заняли места за баррикадами, и "это" началось снова.

В крайнем негодовании и раздражении я вновь занял свой

пост на крыше. Когда человек принимает участие в подобных событиях, он, надо полагать, пусть и в маленьком масштабе, но творит историю и вправе чувствовать себя исторической личностью. Однако почувствовать себя таковой никогда не удается, потому что в такие времена конкретные подробности заслоняют все остальное. На протяжении всего периода уличных боев я даже не попытался по всем правилам "проанализировать" положение, чем так лихо занимались журналисты, находившиеся за сотни миль от места действия. Чаще всего я думал не о том, кто прав и кто виноват в этой злосчастной междоусобной потасовке, а просто о том, до чего же утомительно и скучно день и ночь торчать на этой постылой крыше и до чего же хочется есть: мы ведь с понедельника не имели нормальной горячей пищи и совсем оголодали. Все время меня мучила мысль о том, что сразу по окончании этой заварушки мне предстоит возвратиться на фронт. Было от чего лезть на стенку. Проведя сто пятнадцать дней на передовой, я вернулся в Барселону с жаждой немного пожить в покое и удобстве, а вместо этого должен был сиднем сидеть на крыше напротив гражданских гвардейцев, которым все это так же обрыдло, как и мне. Время от времени гвардейцы махали рукой и кричали мне, что они — "рабочие" (этим они как бы выражали надежду, что я не стану в них стрелять), но сами-то наверняка открыли бы огонь, если бы им приказали. Нет, если здесь и творили историю, то я этого не почувствовал. Скорее это напоминало изнурительно трудный период фронтовой службы, когда из-за нехватки личного состава приходилось непомерно долгие часы стоять в карауле; в обоих случаях, вместо того чтобы совершать геройские подвиги, ты должен был просто торчать на своем посту, изнывая от скуки и чуть не падая от желания спать, совершенно безучастный к тому, что все это значит.

А в гостинице, среди разношерстной толпы ее постояльцев, в большинстве своем не осмеливавшихся высунуть нос на улицу, воцарилась зловещая атмосфера подозрительности. Люди, охваченные шпиономанией, шептались по углам про своих соседей-шпионов: этот шпионит в пользу коммунистов, этот — в пользу троцкистов, этот — в пользу анархистов и т.д. и т.п. Толстый русский агент по очереди отводил в сторонку иностранцев-эмигрантов и доверительно объяснял им, что вся эта история — заговор анархистов. Я не без интереса наблюдал за ним, так как никогда раньше не видел профессионального лжеца, не считая, конечно, журналистов. Было что-то отталкивающее в этой пародии на светскую жизнь фешенебельной гостиницы, идущую за закрытыми ставнями под аккомпанемент уличной стрельбы. Обеденный зал с окнами, выходящими прямо на Рамблас, пустовал с тех пор, как в окно влетела пуля и оставила щербинку на колонне, а постояльцы теперь ели в темноватой комнате в задней части здания, где было тесно и не хватало столов. Штат официантов сократился (некоторые из них состояли в НКТ и участвовали во всеобщей забастовке), официанты отложили до лучших времен свои крахмальные рубашки, но еду подавали по-прежнему со всеми церемониями. Правда, есть было практически нечего. Вечером в тот четверг главным блюдом, поданным к обеду, была одна-единственная сардинка на каждого едока. Вот уже несколько дней в гостинице не было ни крошки хлеба. И даже запасы вина подходили к концу, так что мы пили все более старые и

все более дорогие вина. Острая нехватка продовольствия продолжалась еще несколько дней после прекращения огня. Помню, три дня подряд мы с женой завтракали лишь маленьким кусочком козьего сыра без хлеба и ничем его не запивали. Единственное, что имелось в изобилии, — это апельсины. Их натащили в гостиницу французы — водители грузовиков. Это были крепкие парни; компанию им составляли несколько развязных испанских девиц и гигант грузчик в черной рубахе. В любое другое время высокомерный управляющий гостиницей, сделал бы все, чтобы "поставить на место" эту публику, больше того, не сдал бы им номеров, но сейчас они пользовались популярностью, потому что только у них из всех обитателей гостиницы имелся свой собственный запас хлеба, и все остальные клянчили у них кусочки.

Ту последнюю ночь, с четверга на пятницу, я еще отдежурил на крыше, а наутро все и впрямь указывало на то, что бои прекращаются. В тот день — это была пятница — постреливали, помнится, все реже и реже. Никто, похоже, не знал наверняка, действительно ли подходят войска из Валенсии; как выяснилось потом, они прибыли в пятницу вечером. Правительство передавало по радио наполовину успокоительные, наполовину угрожающие обращения, призывая всех расходиться по домам и предупреждая, что после определенного часа любой человек, имеющий при себе оружие, будет арестован. На правительственные радиосообщения мало кто обращал внимание, но повсеместно люди начали покидать баррикады. Главной причиной их ухода был, я в этом не сомневаюсь, голод. Со всех сторон только и слышалось: "Нам больше нечего есть, надо возвращаться на работу". Зато гражданские гвардейцы, которые твердо знали, что питание им будут выдавать по норме, пока в городе сохранится хоть сколько-нибудь продовольствия, могли и дальше оставаться на своих боевых постах. Ко второй половине дня улицы зажили своей нормальной жизнью, хотя обезлюдевшие баррикады пока и не были разобраны; по Рамблас потекли людские толпы; пооткрывались почти все магазины, ну а самым обнадеживающим было то, что, дернувшись, вновь побежали трамваи, которые так долго стояли в безжизненном оцепенении. Гражданские гвардейцы по-прежнему удерживали кафе "Мока" и не разбирали своих баррикад, но некоторые из них вынесли на тротуар стулья и посиживали теперь на них с винтовками на коленях. Проходя мимо, я подмигнул одному из них и увидел на его лице вполне дружелюбную улыбку; он, конечно, меня узнал. Над Центральной телефонной станцией развевался только флаг Каталонии — анархистский флаг спустили. Это означало только одно: что рабочие потерпели поражение; я, в общем-то, понимал — хотя в силу своей политической неграмотности и не так ясно, как следовало бы, — что, когда правительство почувствует себя увереннней, последуют репрессии. Но в тот момент меня не интересовала эта сторона дела. Единственное, что я чувствовал, — это глубочайшее облегчение от того, что смолк дьявольский грохот пальбы и теперь можно купить чего-то съестного и хоть немного спокойно отдохнуть перед возвращением на фронт.

В тот же день поздно вечером на улицах впервые появились войска, присланные из Валенсии. Это были штурмгвардейцы (штурмовая гвардия — формирование, аналогичное гражданской гвардии) и карабинеры (формирование, предназначенное прежде

всего для выполнения полицейских функций), а также отборные воинские части Республики. Они появились внезапно, как из-под земли; куда ни глянь, всюду были видны их отряды, патрулирующие улицы; в каждом отряде — десяток рослых мужчин в серой или синей форме с перекинутыми через плечо длинными винтовками, вдобавок к этому — ручной пулемет. А нам тем временем предстояло провернуть одно деликатное дело. Шесть винтовок, с которыми мы дежурили на посту в башенках обсерватории, так и лежали там, и мы должны были всеми правдами и неправдами переправить их обратно в здание ПОУМ. Надо было незаметно перенести их через улицу. Винтовки подлежали возврату на склад оружия ПОУМ, но как вынести их на улицу вопреки правительственному запрету? Попадись мы с оружием в руках, нас наверняка бы арестовали — хуже того, конфисковали бы винтовки. А потерять шесть винтовок, когда их всего-то в здании двадцать одна, — вещь непозволительная. После долгих обсуждений того, как лучше всего это сделать, молодой рыжеволосый испанец и я принялись перетаскивать винтовки тайком. Избежать встречи с патрулями штурмовой гвардии было достаточно легко; опасность представлялигражданские гвардейцы в кафе "Мока": они-то хорошо знали, что у нас в обсерватории были винтовки, и могли выдать нас, заметив, как мы таскаем их через улицу. Раздевшись до пояса, мы повесили по винтовке себе на левое плечо таким образом, чтобы приклад упирался под мышку, а ствол опускался в штанину. Как на зло, это были длинные винтовки "маузер". Даже такому долговязому человеку, как мне, неудобно ходить с длинноствольным "маузером" в штанине. Было настоящей мукой спускаться по винтовой лестнице с негнущейся левой ногой. Выйдя на улицу, мы обнаружили, что сможем передвигаться, только если будем шагать очень медленно, настолько медленно, чтобы можно было не сгибать ноги в коленях. Пересекая с черепашьей скоростью улицу, я заметил, что люди, толпившиеся возле кинотеатра, с явным любопытством поглядывают в мою сторону. Интересно, что они обо мне думали? Наверное, принимали меня за раненого. Как бы то ни было, все винтовки удалось благополучно переправить.

Назавтра повсюду в городе было полно штурмгвардейцев, которые расхаживали по улицам с видом победителей. Правительство, вне всякого сомнения, просто проводило этакую демонстрацию силы, чтобы припугнуть барселонцев, которые, как оно уже установило, не станут больше сопротивляться. Ведь если бы оно действительно опасалось новых беспорядков, штурмгвардейцев держали бы в казармах и не пускали бы небольшими отрядами по всему городу. Это были отборные войска, бесспорно, лучшие из всех, что я видел в Испании, и, хотя они являлись как бы в некотором роде "противником", я не мог не любоваться их молодцеватой выправкой. Но при виде этих неторопливо прохаживающихся вдоль улиц солдат я не мог не испытывать некоторого изумления. На Арагонском фронте я привык к виду оборванных, плохо вооруженных бойцов милиции и даже не подозревал, что Республика располагает такими войсками. Меня поразило не только то, что это были как на подбор рослые, физически крепкие парни, но, главное, то, как они были вооружены. Все они имели новенькие винтовки того образца, который получил наименование "русская винтовка" (их посылал в Испанию СССР, но

изготовлялись они, по-моему, в Америке). Я внимательно осмотрел одну из них. Винтовка была далека от совершенства, но несравненно лучше тех ужасных, допотопных мушкетов, с которыми воевали на фронте мы. У штурмгвардейцев один ручной пулемет приходился на десять человек, а автоматический пистолет был у каждого; у нас же на фронте ручной пулемет приходился примерно на полсотни бойцов, а что до пистолетов и револьверов, то их мы доставали только незаконным путем. Гражданские гвардейцы и карабинеры, чьи формирования отнюдь не предназначались для фронтовой службы, были лучше вооружены и гораздо лучше обмундированы, чем мы, фронтовики. Я сильно подозреваю, что так бывает на всех войнах: всегда существует контраст между лощеными полицейскими в тылу и оборванными солдатами на передовой. В общем и целом штурмгвардейцы неплохо поладили с горожанами после одного-двух напряженных дней в самом начале. В первый день не обошлось без эксцессов, потому что некоторые штурмгвардейцы — выполняя, надо полагать, полученные указания — повели себя вызывающе провокационным образом. Патрульные штурмгвардейцы, влезая в вагоны трамваев, обыскивали пассажиров и, если находили у кого-нибудь членские билеты НКТ, рвали их и топтали ногами. Это приводило к дракам с вооруженными анархистами, имелись даже убитые. Однако очень скоро штурмгвардейцы бросили эти замашки победителей, и между ними и барселонцами установились более дружественные отношения. Как можно было заметить, через пару дней большинство из них обзавелись подружками.

Вооруженное столкновение в Барселоне дало Республиканскому правительству в Валенсии долгожданный повод для того, чтобы установить более полный контроль над Каталонией. Рабочая милиция подлежала теперь расформированию, а ее личный состав — перераспределению по частям Народной армии. Повсюду в Барселоне был вывешен флаг Испанской республики — по-моему, я увидел его тогда впервые, если не считать того, что я видел его над фашистской траншеей. В рабочих кварталах разбирали баррикады — дело шло не слишком споро, потому что построить баррикаду куда легче, чем уложить камни на место. Баррикады, возведенные вокруг зданий ОСПК, было разрешено оставить — многие из них оставались неразобранными еще в июне. Гражданские гвардейцы по-прежнему занимали стратегически важные пункты. В зданиях, являвшихся твердынями НКТ, производились крупные конфискации оружия, хотя немало оружия, вне всякого сомнения, было утаено от конфискации. "Баталья" все еще выходила, но подвергалась такой жестокой цензуре, что первая ее полоса представляла собой практически чистый лист. Зато газеты ОСПК, не контролируемые цензурой вовсе, публиковали подстрекательские статьи с требованием запретить ПОУМ. Саму же ПОУМ объявили замаскированной фашистской организацией, и агенты ОСПК распространяли по всему городу карикатуры, на которой ПОУМ была представлена в виде фигуры, срывающей с себя маску с изображением серпа и молота, за которой — отвратительная, искаженная бешенством харя со знаком свастики. Очевидно, официальная точка зрения на барселонское столкновение уже была выработана: его надлежало изо-

бражать как путч фашистской "пятой колонны", спровоцированный одной только ПОУМ.

Чудовищная атмосфера подозрительности и враждебности, которая царила в гостинице, теперь, с прекращением огня, только усугубилась. Перед лицом обвинений, которые ее обитатели бросали друг другу, невозможно было оставаться безучастным. Возобновила работу почта, начали приходить зарубежные коммунистические газеты, и их отчеты о столкновении отличались не только грубой тенденциозностью, но и, конечно же, вопиющим искажением фактов. Я думаю, некоторых коммунистов, которые находились на месте событий и собственными глазами видели, что произошло в действительности, ужаснуло подобное освещение событий, но они, естественно, должны были принять версию, выдвинутую их стороной. Наш друг-коммунист снова встретился со мной и спросил, собираюсь ли я перейти в Интернациональную бригаду.

Несколько удивленный, я сказал:

— В ваших газетах пишут, что я фашист. Мой переход из ПОУМ наверняка покажется политически подозрительным.

— А, не имеет значения. В конце концов, вы только исполняли приказ.

Мне пришлось объяснить ему, что после этой истории я не смогу вступить ни в какое формирование, находящееся под контролем коммунистов. Ведь рано или поздно это могло бы означать, что меня пошлют усмирять испанских рабочих. Никто не знает, когда могут снова возникнуть подобные беспорядки, и, уж если мне придется с оружием в руках участвовать в таких событиях, я предпочту сражаться на стороне рабочих, а не против них. Он воспринял мой отказ с пониманием и без обиды. Но отныне общая атмосфера стала меняться — чем дальше, тем больше. Теперь уже нельзя было, как прежде, "оставаясь при своем мнении", по-дружески выпить с человеком, который предположительно являлся твоим политическим противником. В гостиной нашего отеля вспыхивали безобразные ссоры. А тюрьмы тем временем уже были до отказа переполнены. По окончании боев анархисты, естественно, освободили своих пленных, а гражданские гвардейцы — нет; большинство схваченных ими оказались в тюрьме и содержались там без суда, иногда месяцами. В силу обычного полицейского головотяпства арестовывали ни в чем не повинных людей. Дуглас Томпсон был ранен в начале апреля. Потом мы потеряли с ним связь, как это часто бывало, когда человека ранило, поскольку раненых часто переводили из госпиталя в госпиталь. Оказалось, он лежал в госпитале в Таррагоне и был переведен в Барселону перед самым началом столкновения. Во вторник утром я повстречал его на улице. Крайне озадаченный пальбой, звуки которой доносились со всех сторон, он задал вопрос, просившийся на язык каждому:

— Что, черт побери, все это значит?

Я объяснил ему, как умел. Томпсон тотчас же сказал:

— Не стану я в это впутываться. У меня еще не прошла рука. Пойду в гостиницу и носа наружу не высуну.

Он вернулся в гостиницу, но, к несчастью для него, она была расположена (как важно знание местности во время уличных боев!) в той части города, где хозяйничали гражданские гвардейцы. В гостинице устроили облаву, Томпсона арестовали, бросили

в тюрьму и восемь дней продержали в битком набитой людьми камере, где даже негде было лечь. Аналогичных случаев было много. Многочисленные иностранцы с сомнительным политическим прошлым были вынуждены скрываться; их выслеживала полиция, и они жили под постоянным страхом разоблачения. Хуже всего пришлось итальянцам и немцам: у них не было паспортов, а на родине их, как правило, разыскивала тайная полиция. Если их арестовывали, они подлежали в дальнейшем высылке во Францию, а это могло означать, что их отправят обратно в Италию или Германию, где их ожидали одному Богу известно какие ужасы. Две-три иностранки спешно легализовали свое положение, фиктивно выйдя замуж за испанцев. Девушка-немка, не имевшая никаких документов, прячась от полиции, в течение нескольких дней выдавала себя за любовницу одного своего знакомого. Я случайно столкнулся с ней, когда она выходила из спальни этого мужчины, и мне запомнилось выражение стыда и страдания на лице этой бедняжки. Разумеется, она не была его любовницей, но, конечно же, подумала, что я понял иначе. Тебя преследовало все время отвратительное подозрение, что кто-то, кого я прежде считал другом, может быть, в этот момент выдает меня тайной полиции. От долгого кошмара уличных боев, грохота, недоедания и недосыпания, смешанного чувства напряжения и скуки, когда день и ночь сидишь на крыше и думаешь о том, что через минуту тебя могут застрелить или ты сам будешь вынужден застрелить кого-то, нервы у меня совершенно расшатались. Я дошел до такого состояния, что хватался за револьвер всякий раз, когда хлопала дверь. В субботу утром снаружи загремели выстрелы, и у всех вырвался возглас: "Опять начинается!". Я выбежал на улицу и увидел, что это просто какие-то штурмгвардейцы палили в бешеную собаку. Ни один человек, который был в Барселоне в ту пору, равно как и в последующие месяцы, не забудет той жуткой атмосферы, порожденной страхом, подозрительностью, ненавистью, газетами под гнетом цензуры, переполненными тюрьмами, огромными очередями за продовольствием и рыскающими по улицам отрядами вооруженных людей.

Я попытался дать некоторое представление о том, что ощущал человек во время барселонских уличных боев; боюсь только, что мне не удалось как следует передать ощущение странности того времени. Когда я возвращаюсь к нему в своих мыслях, мне вспоминаются, помимо прочего, случайные встречи и знакомства; запечатлевшиеся в памяти, как на моментальном снимке, фигуры мирных горожан, для которых все происходящее было просто-напросто бессмысленным шумом. Вспоминается модно одетая женщина с сумкой для покупок и с белым пуделем на поводке, которую я увидел неторопливо шагающей по Рамблас, когда на соседней улице громко ахали выстрелы. Вероятно, она была глухая. И мужчина, которого я увидел перебегающим совершенно безлюдную площадь Каталонии: он размахивал белыми платками, зажатыми в обеих руках. И какая-то большая группа людей во всем черном, которые битый час безуспешно пытались перейти площадь Каталонии. Каждый раз, едва только они показывались из-за угла улицы, пулеметчики ОСПК, засевшие в отеле "Колон", выпускали очередь и отгоняли их обратно — не знаю уж почему, так как эти люди были явно безоружны. Потом

до меня дошло, что, наверное, это была похоронная процессия. И низенький человечек, смотритель музея над кинотеатром "Полиорама", воспринимавший всю эту кутерьму как светский прием. Он был так рад, что его посетили англичане: они такие simpatico, эти англичане. Он искренне надеется, что все мы посетим его еще раз, когда кончатся беспорядки. Я и в самом деле приходил потом навестить его.

На протяжении последних недель, проведенных мной в Барселоне, в городе царила зловещая атмосфера — атмосфера подозрительности, страха, неопределенности и затаенной ненависти. Майское вооруженное столкновение оставило неизгладимые следы. С падением правительства Кабальеро к власти явно пришли коммунисты, дело поддержания внутреннего порядка было поручено министрам-коммунистам и не приходилось сомневаться, что при первом же удобном случае они раздавят своих политических соперников. Ничего такого еще не происходило, лично я даже в воображении представить себе не мог, что тут начнется в скором времени, и тем не менее людей не покидало смутное ощущение какой-то нависшей угрозы, предчувствие надвигающейся беды. Как бы ни чуждались вы в действительности всяческой конспирации, вся атмосфера побуждала вас чувствовать себя этаким заговорщиком, конспиратором. Казалось, все время вы только и делаете, что шушукаетесь с кем-то по углам кафе да прикидываете, не полицейский ли шпик вон тот тип за соседним столиком.

Из-за того, что цензура заткнула рот газетам, поползли всевозможные зловещие слухи. Поговаривали, в частности, что правительство Негрина — Прието умышленно ведет дело к поражению в войне. В тот момент я готов был поверить этому, потому что фашисты подступали к Бильбао, а правительство явно ничего не делало для спасения города. По всей Барселоне были развешены баскские флаги, сборщицы пожертвований обходили кафе, позвякивая монетами в кружках, в радиопередачах привычно славили "героических защитников", но баскам не оказывалось никакой реальной помощи. Поэтому возникало искушение предположить, что правительство ведет двойную игру. Как показали дальнейшие события, тут я попал пальцем в небо, но, думается, Бильбао все же можно было спасти, прояви правительство больше энергии. Наступление на Арагонском фронте, даже неудачное, вынудило бы Франко отвлечь часть своих сил; однако правительство все не предпринимало наступательных операций, пока не стало слишком поздно, то есть практически вплоть до падения Бильбао. НКТ выпустила массовым тиражом листовку с призывом "Будьте бдительны!"; в ней прозрачно намекалось, что "некая партия" (то есть коммунистическая) втайне готовится совершить государственный переворот. Многие опасались также фашистского вторжения в Каталонию. Еще раньше, когда мы возвращались на фронт, я видел мощные оборонительные укрепления, сооружаемые в десятках миль от линии фронта. Повсюду в Барселоне рыли новые бомбоубежища. Горожане боялись воздушных налетов и обстрелов с моря и, случалось, впадали в панику. Чаще всего тревога оказывалась ложной. Но каждый раз, когда вечером начинали выть сирены, город на много часов погружался во тьму, и люди робкого десятка спешили спуститься в

подвалы. Везде кишели полицейские шпионы. Тюрьмы по-прежнему были битком забиты людьми, схваченными после майской стычки, но в них пачками бросали все новых арестантов — разумеется, из числа приверженцев анархистов и ПОУМ. Насколько можно было выяснить, никого не привлекли еще к суду и никому даже не предъявили обвинений, хотя бы неопределенного обвинения в "троцкизме", — человека просто сажали в тюрьму и содержали, как правило, без права переписки. Все чаще и чаще бросали за решетку иностранцев — интербригадовцев и бойцов милиции. Обычно их арестовывали за дезертирство. Никто теперь не знал наверняка — и это было типично для общей ситуации, — является боец милиции добровольцем или же солдатом регулярной армии. Несколько месяцев тому назад каждому, кто вступал в милицию, говорили, что он является добровольцем и при желании всегда может получить свидетельство об увольнении, как только настанет срок его отпуска. Теперь правительство, похоже, передумало: боец милиции стал солдатом регулярной армии и считался дезертиром, если пытался уехать домой. Но даже и в отношении этого, кажется, не было полной определенности. На некоторых участках фронта военные власти все еще выдавали документы об увольнении. На границе эти документы когда признавались, когда — нет; в последнем случае предъявителя немедленно бросали за решетку. Впоследствии количество посаженных в тюрьму "дезертиров" из числа иностранцев достигло нескольких сотен, но большинство из них были репатриированы, после того как это вызвало шум у них на родине.

Группы вооруженных штурмгвардейцев патрулировали улицы, гражданские гвардейцы все еще удерживали кафе и другие дома, расположенные в стратегически важных пунктах, многие здания ОСПК так и стояли с заложенными мешками с песком окнами и забаррикадированными входами. В различных местах города были установлены посты, где несли службу гражданские гвардейцы или карабинеры. Они останавливали прохожих и проверяли у них документы. Меня со всех сторон предупреждали, чтобы я показывал паспорт и справку из госпиталя, но ни в коем случае — билет бойца милиции ПОУМ. Даже упоминать на людях о том, что ты служил в милиции ПОУМ, и то было небезопасно. Раненым или уволенным в отпуск бойцам милиции ПОУМ учиняли мелкие неприятности — например, всячески затрудняли для них получение денежного довольствия. "Баталья" продолжала еще выходить, но ее почти совсем задушила цензура; "Солидаридад" и другие анархистские газеты тоже жестоко цензуровались. Согласно новому правилу, место вымаранных кусков запрещалось оставлять, как прежде, пустым — его надлежало теперь чем-нибудь заполнить; в результате сплошь и рядом не было возможности определить, где именно порезвилась цензура.

Продовольственные нехватки, которые то усиливались, то смягчались на протяжении этой войны, обострились до последней крайности. Хлеба не хватало, и в дешевые его сорта добавлялся рис; солдатам в казармах давали ужасный хлеб, похожий на замазку. Молоко и сахар стали большим дефицитом, а табак почти совсем исчез, если не считать дорогих контрабандных сигарет. Очень редко поступало в продажу оливковое масло, которое идет у испанцев и в пищу, и на другие надобности. За

оливковым маслом выстраивались такие очереди, что для наведения порядка вызывали конных гражданских гвардейцев, которые иной раз забавы ради наезжали на очередь, стараясь отдавить женщинам ноги. Не хватало в ту пору даже мелких разменных денег. Серебро было изъято из обращения, а новых монет вместо серебряных еще не выпустили. Поэтому в хождении не осталось промежуточных денежных знаков между монетой в десять сентимо и купюрой в две с половиной песеты; впрочем, и все прочие купюры достоинством до десяти песет были чрезвычайно редки. Это еще больше ударяло по самым бедным. Так, женщина, у которой имелась лишь бумажка в десять песет, могла несколько часов простоять в очереди в бакалейную лавку и в результате ничего не купить, потому что у бакалейщика нет сдачи, а ей не позволяют обстоятельства потратить здесь всю эту сумму.

Нелегко передать читателю кошмарную атмосферу того времени — особое тревожное состояние, порожденное противоречивыми слухами, подцензурностью газет и постоянным присутствием вооруженных людей. "Сталинисты" пришли к власти, и из этого с несомненностью вытекало, что над каждым "троцкистом" нависла угроза. Того, чего все боялись — новой вспышки уличных боев, ответственность за которую, как и прежде, будет возложена на ПОУМ и анархистов, — в конце концов так и не произошло. Временами я ловил себя на том, что невольно прислушиваюсь: не раздались ли первые выстрелы. Как будто какой-то могучий недобрый дух витал над городом. Все это замечали, все об этом говорили.

Долечивался я в санатории имени Маурина, одном из лечебных заведений, контролируемых ПОУМ. Санаторий находился в предместье Барселоны рядом с Тибидабо, горой причудливой формы с обрывистыми склонами, которая возвышается над городом и которую исстари считают той самой горой, откуда сатана показывал Иисусу царства мира. Прежде здание принадлежало какому-то богатому буржуа и было конфисковано во время революции. Сюда помещали по большей части бойцов, отозванных с фронта по состоянию здоровья, и тех, кто надолго или навсегда выбыл из строя по ранению, — инвалидов с ампутированными конечностями и т.д. и т.п.

Моя жена по-прежнему жила в гостинице "Континенталь", и дневное время я обычно проводил в Барселоне. По утрам я ходил на процедуры в Городскую поликлинику — мою руку лечили электричеством. Это была занятная процедура: руку покалывало и дергало током, в результате чего ее мышцы непроизвольно сокращались. Впрочем, лечение, кажется, пошло на пользу: у меня заработали пальцы и несколько уменьшилась боль в руке. Мы с женой пришли к заключению, что самое лучшее для нас — это как можно скорее вернуться в Англию. Я был чрезвычайно слаб, у меня пропал голос — похоже, навсегда, — и врачи говорили, что пройдут еще месяцы, прежде чем я снова буду годен в строй. Рано или поздно мне предстояло начать зарабатывать на жизнь, и я не видел особого смысла в том, чтобы оставаться в Испании и есть чужой хлеб. Но в основном я руководствовался эгоистическими побуждениями. Мною овладело непреодолимое желание бежать прочь от всего этого: от ужасной атмосферы политической подозрительности и ненависти; от улиц, заполненных

вооруженными людьми; от воздушных тревог, окопов, пулеметов; от громыхающих трамваев, чая без молока, пищи на оливковом масле и вечной нехватки сигарет — почти от всего, что стало ассоциироваться у меня с Испанией.

Врачи в Городской поликлинике признали меня негодным к военной службе, но для того, чтобы получить свидетельство об увольнении из армии, мне надо было пройти медицинскую комиссию в одном из прифронтовых госпиталей, а затем явиться в штаб-квартиру милиции ПОУМ в Сьетамо, где на моих увольнительных документах поставят печать. С фронта приехал Копп, полный восторженных впечатлений. Он только что участвовал в боях и утверждал, что наконец-то Уэска будет взята. Правительство перебросило войска с Мадридского фронта и сосредоточило под Уэской тридцатитысячный ударный кулак, стянуло туда большое количество самолетов. Итальянцы, которых я видел в воинском эшелоне, отходившем от Таррагоны, атаковали в районе дороги на Хаку, но понесли тяжелый урон и потеряли два танка. Тем не менее, говорил Копп, город неминуемо падет. (Увы! Он так и не пал. Наступление провалилось из-за чудовищной неразберихи и ни к чему не привело, кроме вакханалии вранья в газетах.) Копп тем временем собирался ехать в Валенсию, где ему предстоял разговор в министерстве обороны. У него было с собой письмо генерала Посаса, командующего Восточной армией, — обычное служебное письмо, аттестующее Коппа как "человека, заслуживающего всякого доверия", и рекомендующее зачислить его особым распоряжением в инженерно-саперные войска (в мирной жизни Копп был инженером по специальности). Он поехал в Валенсию в тот же день, когда я отправился в Сьетамо, — 15 июня.

В Барселону я вернулся только через пять дней. В переполненном бойцами кузове грузовика я добрался к полуночи до Сьетамо, и, как только мы явились в штаб-квартиру ПОУМ, нас спешно построили и начали раздавать винтовки и патроны, не удосужившись сначала переписать наши фамилии. Оказалось, вот-вот должно начаться наступление и в любой момент может потребоваться подмога. У меня лежала в кармане справка из госпиталя, но я счел неудобным отказываться идти вместе со всеми. В тревоге и смятении прилег я соснуть на землю, положив под голову патронташ вместо подушки. Ранение на время лишило меня мужества (это, кажется, обычное явление), и перспектива идти под пули ужасно меня пугала. Однако, как водится, что-то там отложили до завтра, и подмога не понадобилась. Наутро я предъявил справку из госпиталя и отправился добывать увольнительное свидетельство. Как обычно, меня гоняли туда и сюда — из госпиталя в госпиталь, из Сьетамо в Барбастро, из Барбастро в Монсон, оттуда снова в Сьетамо — поставить печать на свидетельстве об увольнении. Наконец я пустился в обратный путь, опять через Барбастро и Лериду — и это в то время, когда перемещение войск по сходящимся направлениям к Уэске монополизировало весь транспорт и дезорганизовало его движение. Где только не приходилось мне ночевать! Помнится, одну ночь я провел на больничной койке, другую — в канаве, третью — на узенькой скамейке, с которой свалился во сне, еще одну — в городской ночлежке. В стороне от железной дороги единственным средством транспорта были случайные грузовики. Приходилось

подолгу ждать на обочине (иногда часа по три-четыре) в компании унылых крестьян, обвешанных корзинами с утками и кроликами, и махать руками, пытаясь остановить попутный грузовик. Когда же грузовик, кузов которого не был до отказа набит людьми, буханками хлеба или ящиками с боеприпасами, наконец останавливался, тряска на ухабах вдрызг разбитых дорог грозила отбить все внутренности. Ни один конь не подбрасывал меня так высоко в седле, как подбрасывало в кузовах этих грузовиков. Выдержать такую тряску можно было, только сгрудившись в кучу и цепляясь друг за друга. А тут еще, к моему стыду, обнаружилось, что я настолько слаб, что не могу без посторонней помощи забраться через борт в кузов.

Когда я ночевал в госпитале в Монсоне, где проходил медицинскую комиссию, моим соседом по койке оказался штурмгвардеец с раной над левым глазом. Он по-дружески расположился ко мне и угощал меня сигаретами.

— А ведь в Барселоне нам пришлось бы стрелять друг в друга, — сказал я, и оба мы посмеялись над этим. Чем ближе к линии фронта, тем поразительней менялся общий настрой. Пропадало, словно испаряясь, все или почти все злобное ненавистничество политических партий. За все время своего пребывания на фронте я не помню случая, чтобы сторонник ОСПК выказал враждебность ко мне из-за того, что я служу в милиции ПОУМ. Подобная враждебность характерна для Барселоны или для мест, еще более отдаленных от фронта. В Сьетамо штурмгвардейцы попадались на каждом шагу. Их прислали из Барселоны для участия в наступлении на Уэску. Штурмовая гвардия не являлась формированием, предназначенным в первую очередь для ведения боевых операций, и многие штурмгвардейцы не бывали раньше в бою. Если в Барселоне это были хозяева улиц, то здесь, на фронте, они были quintos — необстрелянные новобранцы — и искали дружбы с пятнадцатилетними бойцами милиции, парнишками, уже не первый месяц воевавшими на передовой.

Врач в монсонском госпитале проделал обычные манипуляции с моим языком и зеркальцем, заверил меня таким же бодрым, радостным тоном, как и все его предшественники, что голос у меня никогда не восстановится, и подписал мне свидетельство об увольнении. Пока я дожидался осмотра, в хирургическом кабинете шла какая-то ужасная операция без наркоза — почему без наркоза, не знаю. Из-за дверей снова и снова доносились душераздирающие крики, а войдя внутрь, я увидел разбросанные стулья и лужи крови и мочи на полу.

Подробности этой последней поездки до странности отчетливо запечатлелись в моей памяти. На сей раз я путешествовал в ином, более созерцательном настроении, чем все минувшие месяцы. В кармане у меня лежали свидетельство об увольнении, скрепленное печатью 29-й дивизии, и медицинская справка, удостоверяющая, что я "признан негодным". Теперь я мог свободно выехать в Англию и, следовательно, получил возможность, едва ли не впервые, осмотреть Испанию. На осмотр Барбастро у меня был целый день, так как поезд на Барселону отправлялся раз в сутки. Прежде я видел Барбастро лишь мельком, и он воспринимался мной просто как часть панорамы войны: этакое серенькое, грязное, холодное местечко, полное урчащих грузовиков и солдат в замызганной форме. Теперь это был как бы совершенно

иной город. Бродя по нему, я замечал прелесть кривых улочек, старинных каменных мостов, винных лавок с большими влажными бочками высотой в человеческий рост и манящих взор полуподвальных мастерских, где ремесленники выделывали колеса для повозок, кинжалы, деревянные ложки и бурдюки из козьих шкур. Я понаблюдал за мастером, изготовлявшим бурдюк, и не без интереса обнаружил неизвестный мне дотоле факт: бурдюки, оказывается, делают шерстью внутрь, притом шерсть не удаляют, так что на самом деле вы глотаете чистейший козий волос. А я-то месяцами пил из бурдюков, не подозревая об этом! На окраине города неглубокая речка с зеленоватой водой цвета нефрита обтекала отвесный утес, на вершине которого лепились к скалам дома — из окна своей спальни их обитатели могли поплевывать в воду со стофутовой высоты. В расселинах утеса жило множество голубей. А в Лериде на карнизах старых домов с осыпающимися стенами гнездились тысячи и тысячи ласточек, так что издали узор из ласточкиных гнезд напоминал какую-то вычурную лепнину в стиле рококо. Как странно, что почти полгода я не замечал подобных вещей! С увольнительной в кармане я снова чувствовал себя человеком и даже чуть-чуть туристом. Может быть, впервые я ощутил: я и впрямь в Испании, стране, побывать в которой мечтал всю жизнь. На тихих окраинных улочках Лериды и Барбастро я, кажется, поймал то мимолетное впечатление, тот далекий отблеск Испании, что живет в воображении каждого. Испании горных цепей с зубчатыми снежными вершинами, живописных козопасов, темниц инквизиции, мавританских дворцов, черных верениц мулов на извилистых тропах, серых оливковых деревьев и лимоновых рощ, девушек в черных мантильях, вин Малаги и Аликанте, соборов, кардиналов, корриды, цыган, серенад. Одним словом, Испании. Из всех стран Европы эта страна наиболее властно завладела моим воображением. Как жаль, что, когда я наконец-то выбрался сюда, мне удалось повидать только этот северо-восточный угол, да еще в разгар военной сумятицы и преимущественно в зимнее время.

В Барселону я вернулся поздно вечером, такси нигде не было. Поскольку пробираться в санаторий имени Маурина, расположенный за городской чертой, не имело смысла, я направился в гостиницу "Континенталь", поужинав по дороге в каком-то ресторанчике. Помню, я разговорился там с патриархально-заботливым официантом об отделанных медью дубовых кувшинчиках, в которых подавали вино. Я сказал, что хотел бы купить целый набор таких и увезти домой, в Англию. Официант посочувствовал: что и говорить, кувшины красивые, только сегодня их нигде не купишь. Их больше никто не изготовляет — да и никто сейчас ничего не изготовляет. Война! Такая жалость! Мы вместе пожалели о том, что идет война, и я ощутил себя туристом. Понравилась ли мне Испания, учтиво спрашивал официант, приеду ли я в Испанию снова? О да, обязательно приеду! Наша беседа запечатлелась у меня в памяти своим мирным тоном, составившим такой контраст с тем, что последовало за этим.

Придя в "Континенталь", я нашел жену в гостиной. При моем появлении она встала и с поразившим меня крайне безразличным, как мне показалось, видом пошла мне навстречу; затем,

обняв меня за шею и улыбнувшись очаровательной улыбкой, предназначенной для посторонних, прошипела мне на ухо:

— *Уходи!*

— Что?

— Уходи отсюда *немедленно!*

— Что?

— Да не стой же ты тут! Быстрей выходи на улицу.

— Что? Почему? Как это понимать?

Она ухватила меня под руку и потянула к лестнице. На полпути мы повстречались со знакомым французом — я не стану называть его имени, потому что, не будучи никак связанным с ПОУМ, он по-дружески относился ко всем нам во время беспорядков. При виде меня лицо у него стало озабоченным.

— Послушайте! Вам не следует появляться здесь. Быстро уходите и скройтесь, прежде чем они позвонят в полицию.

А на нижней площадке лестницы ко мне вдруг подошел, украдкой выскользнув из кабины лифта, один из служащих гостиницы, член ПОУМ (я думаю, он скрывал свое членство от администрации), и на ломаном английском сказал, чтобы я уходил. Даже теперь я все еще не понимал, что произошло.

— Что, черт возьми, все это значит? — спросил я, как только мы вышли на улицу.

— Ты что, *не слышал?*

— Нет. А что случилось? Я ничего не слышал.

— ПОУМ запрещена. Отобраны все ее здания. Практически всех посадили. И, говорят, уже начались расстрелы.

Так вот оно что! Нам надо было найти безопасное место, где мы могли бы поговорить. Во всех больших кафе на Рамблас толпились полицейские, но мы отыскали одно кафе на боковой улочке, где было спокойно, и жена рассказала мне, что тут произошло за время моего отсутствия.

15 июня полиция неожиданно арестовала Андреса Нина прямо в его служебном кабинете, а вечером того же дня совершила облаву в гостинице "Фалькон", арестовав всех, кто там находился, по большей части приехавших в отпуск бойцов милиции. Гостиницу тотчас же превратили в тюрьму и за короткое время до отказа набили ее заключенными. На следующий день ПОУМ была объявлена организацией, находящейся вне закона, и у нее отобрали служебные помещения, книжные киоски, агитационные центры, санатории и все прочее. А тем временем полиция брала всех, кого только могла схватить, по малейшему подозрению в связях с ПОУМ. За один-два дня в тюрьму посадили всех или почти всех членов Исполнительного комитета партии в составе сорока человек. Возможно, двум-трем и удалось скрыться, но полиция тут же прибегла к приему, который широко применяли в гражданской войне обе стороны: схватила в качестве заложниц их жен. Невозможно было подсчитать, сколько всего людей арестовано. Моя жена слыхала, что в одной только Барселоне взяли около четырехсот человек. Позднее я пришел к выводу, что даже в тот момент число арестованных, вероятно, было гораздо больше. Кого только тогда не бросали за решетку! Происходили фантастические вещи. В некоторых случаях полицейские не останавливались даже перед тем, чтобы выволакивать из госпиталей раненых бойцов милиции.

Все это вызывало глубокую тревогу. Ради чего, черт возьми,

все это делается? Почему они запретили ПОУМ, я еще мог понять, но за что они арестовывают людей? Насколько я мог судить, ни за что. Похоже, запрету на ПОУМ придали обратную силу: коль скоро ПОУМ поставлена вне закона, то нарушителем закона объявляется всякий, кто был ее членом в прошлом. Как обычно, никому из арестованных не предъявили официальных обвинений. А тем временем коммунистические газеты, выходящие в Валенсии, трубили о раскрытии гигантского "фашистского заговора", о сношениях заговорщиков с неприятелем по радио, о документах, подписанных симпатическими чернилами, и т.д. и т.п. Важно обратить внимание на то, что они печатались только в валенсийских газетах; наверное, я не ошибусь, если скажу, что ни одна барселонская газета, будь то коммунистическая, анархистская или республиканская, не опубликовала ни слова о "заговоре", равно как и о запрещении ПОУМ. О том, какие же именно обвинения предъявляются руководителям ПОУМ, мы узнали не из испанской прессы, а из английских газет, которые пришли в Барселону через день-другой. Но вот чего мы никак не могли знать в то время: оказывается, правительство и не выдвигало обвинений в измене и шпионаже; впоследствии члены правительства отмежевались от них. Нам лишь было смутно известно одно: руководителей ПОУМ и, видимо, всех нас вместе с ними обвиняют в том, что мы — платные агенты фашистов. И уже разнеслись слухи о тайных расстрелах, производимых по тюрьмам. Конечно, тут было много преувеличений, но в ряде случаев расстрелы определенно имели место, а то, что именно так расстреляли Нина, почти не вызывает сомнения. После ареста Нин был переведен в Валенсию, а оттуда — в Мадрид, и уже 21 июня до Барселоны дошел слух, что он расстрелян. Впоследствии этот слух принял более определенную форму: Нина расстреляла в тюрьме тайная полиция, а его труп выбросили на улицу.

Аресты между тем продолжались, пока количество политзаключенных не стало измеряться тысячами — и это помимо фашистов! Бросалась в глаза полная бесконтрольность действий нижних чинов полиции. Многих они арестовывали явно незаконным образом, а узников, освобожденных по предписанию начальника полиции, хватали вновь прямо за тюремными воротами и сажали в "секретные тюрьмы".

Самое противное для меня во всей этой катавасии (пусть это обстоятельство и не самое важное) — что происходившее скрывали от солдат на фронте. Ведь ни я, ни кто-либо другой на фронте ничего не знали о запрещении ПОУМ. Все штаб-квартиры милиции ПОУМ, агитационные центры и т.п. функционировали как обычно, и даже 20 июня в Лериде, на порядочном отдалении от фронта и всего в сотне миль от Барселоны, никто не слыхал о случившемся. Ни словечка об этом не попало на страницы барселонских газет (валенсийские газеты, печатавшие небылицы о шпионах, не доходили до Арагонского фронта), и одной из причин ареста всех бойцов милиции ПОУМ, проводивших отпуск в Барселоне, было, вне всякого сомнения, стремление помешать им вернуться на фронт с дурными новостями. Тот контингент возвращающихся на передовую отпускников, с которым я выехал из Барселоны 15 июня, наверное, был последним. Я до сих пор не могу понять, как удалось сохранить все в тайне: ведь из тыла на фронт по-прежнему шли грузо-

вики с провиантом и боеприпасами и прочий транспорт. Но эту историю *удалось-таки* сохранить в тайне; от многих других я впоследствии слышал, что бойцы на передовой узнали обо всем лишь через несколько дней. Мотив такого умолчания был прозрачен. Начиналось наступление на Уэску, милиция ПОУМ все еще оставалась обособленной войсковой частью, и, вероятно, существовало опасение, что ее бойцы откажутся идти в бой, если узнают, что творится. На самом же деле, когда им это стало наконец известно, ничего такого не произошло. В промежутке многие из них, должно быть, сложили головы, так и не узнав, что газеты в тылу называют их фашистами. Такие вещи трудно простить. Я знаю, что на войне принято скрывать от солдат худые вести, и допускаю, что такая политика, как правило, бывает оправданной. Но посылать солдат в бой и даже не сказать им, что в тылу за их спиной их партия запрещена, их руководители обвинены в измене, а их друзей и родных бросают в тюрьму, — это совсем-совсем другое дело.

Жена принялась рассказывать мне, что случилось с тем или иным из наших друзей. Некоторые англичане и другие иностранцы перебрались через границу. Уильямс и Стаффорд Коттман, избежавшие ареста во время полицейского налета на санаторий имени Маурина, где-то прятались. Прятался и Джон Макнэр, который был во Франции, но вернулся в Испанию, узнав, что ПОУМ объявили вне закона, — поступок, что и говорить, безрассудный, но он не захотел оставаться в безопасности, в то время как его товарищи подвергаются угрозе. Что до остальных, то повествование свелось к простой хронике: "Взяли такого-то", "Взяли такого-то и такого-то". Похоже, "взяли" практически всех. Я был ошеломлен, услышав, что "взяли" также Жоржа Коппа.

— Что?! Коппа? Я думал, он в Валенсии.

Оказалось, Копп вернулся в Барселону; при нем было письмо из военного министерства на имя полковника, командующего инженерно-саперными операциями на Восточном фронте. Он, конечно, знал о запрещении ПОУМ, но ему, видимо, не пришло в голову, что полицейские способны на такую глупость — арестовать его в момент, когда он едет на фронт со срочным военным поручением. Он зашел в гостиницу "Континенталь" за своими вещевыми мешками; моей жены в тот момент там не было, и служащим гостиницы удалось под каким-то лживым предлогом задержать его, а самим позвонить в полицию. Услышав об аресте Коппа, я, признаться, вознегодовал. Он был мне другом, не один месяц я служил под его началом, ходил с ним в бой и знал историю его жизни. Этот человек принес в жертву все: семью, гражданство, средства к существованию — единственно ради того, чтобы поехать в Испанию сражаться с фашизмом. Поскольку из Бельгии он выехал без разрешения и к тому же, будучи резервистом бельгийской армии, поступил на службу в иностранную армию, а еще до этого был причастен к нелегальному изготовлению боеприпасов для испанского правительства, на родине его ждало, если бы он туда вернулся, несколько лет тюремного заключения. На фронте он воевал с октября 1936 года, проделал путь от рядового бойца милиции до майора, невесть сколько раз ходил в бой и был ранен. Во время майского столкновения — я видел это собственными глазами — он предотвратил боевые действия в районе нашего расположения и, вероятно, спас

десяток-другой жизней. А в благодарность за все его бросили в тюрьму! Конечно, в моем негодовании было мало проку, но, право же, подобные вещи кого угодно выведут из себя своей злонамеренной глупостью. Жену мою пока что не "взяли". Хотя она по-прежнему жила в "Континентале", полиция не торопилась арестовывать ее. Было совершенно очевидно, что ей отводится роль подсадной утки. Однако позавчера ночью в наш гостиничный номер явились с обыском шестеро полицейских в штатском. Они конфисковали все наши бумаги, сделав, по счастью, исключение для паспортов и чековой книжки. Они забрали с собой мои дневники, все наши книги, все газетные вырезки, накапливавшиеся месяцами (я часто потом недоумевал, зачем понадобились им эти вырезки), все мои военные сувениры и все наши письма. Впоследствии я узнал, что полицейские конфисковали также и мои пожитки, остававшиеся в санатории имени Маурина. Они даже забрали сверток с моим грязным бельем. Наверное, заподозрили, что на нем есть тайные записи, сделанные симпатическими чернилами.

Итак, было ясно, что самое безопасное для моей жены — это оставаться в гостинице, во всяком случае до поры до времени. Если она попытается скрыться, ее сразу же начнут искать. Что касается меня, то я должен немедленно перейти на нелегальное положение. Перспектива прятаться вызывала у меня отвращение. Вопреки факту повальных арестов я никак не мог поверить, что опасность угрожает и лично мне. Вся эта история казалась мне совершенно бессмысленной. Из-за подобного же отказа принимать всерьез эту дурацкую кампанию и оказался в тюрьме Копп. "Но зачем кому-нибудь понадобится арестовывать меня? Что я сделал? — все повторял я. — Ведь я даже не член ПОУМ! Верно, во время майских боев я был вооружен, но ведь тогда были вооружены, кроме меня, еще тысяч сорок-пятьдесят. К тому же мне просто необходимо отоспаться. Я хочу рискнуть и вернуться в гостиницу". Но жена и слышать об этом не хотела. Терпеливо, как ребенку, растолковывала она мне положение дел. Не имеет значения, сделал я что-нибудь или нет. Это же не облава на преступников; это просто-напросто царство террора. Я не виновен ни в каком таком проступке, но я виновен в "троцкизме". Одного того факта, что я служил в милиции ПОУМ, с лихвой достаточно, чтобы упечь меня в тюрьму. Здесь нельзя уповать на английское правило: пока человек соблюдает закон, ничто ему не угрожает. На практике закон сейчас — это то, что угодно полиции. Так что мне остается одно: уйти в подполье и скрывать самый факт, что я имел какое-то отношение к ПОУМ. Мы проверили все бумаги в моих карманах. По настоянию жены я порвал военный билет бойца милиции с крупными буквами ПОУМ, а также групповую фотографию бойцов милиции с флагом ПОУМ на втором плане: теперь эти вещи могли послужить основанием для ареста. Однако документы об увольнении надо было сохранить. Даже и они представляли для меня опасность: на них стояла печать 29-й дивизии, а полиции, вероятно, было известно, что 29-я дивизия — это формирование ПОУМ; правда, без них меня могли бы арестовать как дезертира.

Теперь нам следовало подумать о том, как выбраться из Испании. Оставаться, будучи уверенным, что рано или поздно

тебя посадят, не имело смысла. Откровенно говоря, нам обоим очень хотелось остаться, хотя бы для того, чтобы посмотреть, что будет дальше. Но я предчувствовал, что испанские тюрьмы плохи (на самом деле они были много хуже, чем я воображал) и что, очутившись в тюрьме, я бы понятия не имел, когда из нее выйду, а здоровье у меня было подорвано, не говоря уж о боли в руке. Мы условились завтра же встретиться в британском консульстве, куда должны прийти также Коттман и Макнэр.

Жена вернулась в гостиницу, а я побрел в темноту искать себе место для ночлега. На душе у меня, помню, было пасмурно и скверно. Я так мечтал провести ночь в постели! Мне было некуда идти, негде искать крова и убежища.

Я долго брел куда глаза глядят и вышел в район Городской поликлиники. Нужно было найти такое местечко, где бы я мог устроиться на ночлег, не опасаясь, что какой-нибудь бдительный полицейский заметит меня и потребует предъявить документы. Я попытался улечься спать в бомбоубежище, но оно было недавно открыто и дышало сыростью. Потом я набрел на развалины церкви, разграбленной и сожженной во время революции. Остался только остов — четыре стены без крыши да груды обломков внутри. Пошарив в полутьме, я отыскал что-то вроде углубления, где можно было притулиться. Битый кирпич — не лучшая постель, но, по счастью, ночь была теплая, и мне удалось на несколько часов забыться сном.

Самое неприятное для человека, который прячется от полиции в таком городе, как Барселона, это то, что все заведения открываются так поздно. Когда ночуешь под открытым небом, всегда просыпаешься с рассветом, а ни одно барселонское кафе не открывается раньше девяти. Приходится часами дожидаться, чтобы выпить чашку кофе или побриться. Странно было видеть теперь на стене парикмахерской все то же анархистское объявление, разъясняющее, что чаевые запрещены. "Революция разбила ваши оковы" — провозглашалось в нем. Меня подмывало сказать парикмахерам, что оковы на них скоро наденут вновь, если они не поостерегутся.

Я побрел обратно в центр города. Со зданий ПОУМ были сорваны красные флаги, а на их месте развевались флаги Республики; в подъездах толклись кучки вооруженных гражданских гвардейцев. В "Доме красной помощи" — агитационном центре на углу площади Каталонии — полицейские, развлекаясь, побили витрины. Из книжных киосков ПОУМ исчезли все книги, а доска объявлений чуть дальше на Рамблас была заклеена злобной карикатурой на ПОУМ — той, где из-под личины выглядывает фашистская харя. В конце Рамблас, неподалеку от набережной, моему взору представилось диковинное зрелище: на стульях, поставленных здесь рядком для чистильщиков сапог, сидели, устало развалясь, бойцы милиции, все еще оборванные и грязные, явно прямо с передовой. Я догадался, кто они, и даже узнал одного из них. Это были бойцы милиции ПОУМ, накануне прибывшие с фронта и только здесь услыхавшие о запрете ПОУМ; ночь им пришлось провести на улице, так как дома у них побывала с облавой полиция. Перед каждым бойцом милиции ПОУМ, вернувшимся в те дни в Барселону, вставал выбор: либо немед-

ленно спрятаться, либо загреметь в тюрьму. Не очень-то теплый прием после трех-четырех месяцев на передовой!

В странном мы оказались положении. Ночью ты был беглецом, спасающимся от преследования, зато днем мог вести почти нормальную жизнь. Каждый дом, известный тем, что здесь с симпатией относились к ПОУМ, находился — или, во всяком случае, мог находиться — под надзором полиции, а в гостиницу или пансионат нельзя было соваться, потому что администраторам предписывалось немедленно звонить в полицию при появлении каждого незнакомого лица. На практике это означало, что ночевать нам приходилось под открытым небом. С другой стороны, в дневное время человек, скрывающийся в таком большом городе, как Барселона, мог чувствовать себя в относительной безопасности. Хотя улицы были наводнены гражданскими гвардейцами, штурмгвардейцами, карабинерами и обычными полицейскими, не говоря уж о Бог весть скольких шпиках в штатском, останавливать всех прохожих они все-таки не могли, и если вы ничем не выделялись, вам удавалось затеряться в уличной толпе. Главное, следовало поменьше слоняться вокруг зданий ПОУМ да не заходить в кафе и рестораны, где официанты знали вас в лицо. Много времени в тот первый день, а также назавтра я провел в бане. Мне пришло в голову, что это неплохой способ коротать время, не мозоля глаза стражам порядка. К несчастью, эта же мысль пришла в голову очень многим, и через несколько дней — уже после моего отъезда из Барселоны — полицейские устроили в бане облаву и арестовали нескольких "троцкистов" в чем мать родила.

На Рамблас я повстречался с одним из раненых, что лечился вместе со мной в санатории Маурина. Мы незаметно перемигнулись, как перемигивались люди в то время, и стараясь не привлекать ничьего внимания, встретились в ближайшем кафе. Ему удалось избежать ареста во время полицейской облавы в санатории, но, как и все другие, он оказался выброшенным на улицу. Он был в одной рубашке — спасаясь бегством, не успел надеть куртку — и без денег. Один гражданский гвардеец, рассказал он, сорвал у него на глазах со стены большой цветной портрет Маурина, швырнул себе под ноги и растоптал. Маурин (один из основателей ПОУМ) попал в руки к фашистам и к тому времени был, судя по всему, расстрелян ими.

С женой я встретился в британском консульстве в десять часов. В тот же день мы с ней навестили Коппа. С заключенными — кроме тех, кого содержали без права переписки и сообщения, — разрешались свидания. Правда, наведаться к ним, не навлекая на себя подозрений, можно было лишь раз-другой. Полицейские следили за посетителями. И если кто-то слишком увлекался хождением по тюрьмам, он разоблачал себя в их глазах как друг "троцкистов" и сам мог кончить тюрьмой. С некоторыми уже так и случилось.

Копп не был лишен права переписки, и мы без труда получили разрешение на свидание с ним. В тот момент, когда нас пропускали через обитые железом двери тюрьмы, двое гражданских гвардейцев выводили наружу бойца милиции — испанца, в котором я узнал знакомого фронтовика. Наши глаза встретились — и снова это конспиративное подмигивание. А первым, кого мы увидели внутри, оказался боец милиции — американец, который не-

сколькими днями раньше выехал на родину; документы у него были в полном порядке, но несмотря на это, его арестовали на границе; возможно, его выдали форменные вельветовые бриджи, по которым он был опознан как боец милиции. Мы разминулись, сделав вид, что не знакомы. Ужасно! Мы знали друг друга несколько месяцев, жили в одной землянке, он тащил меня в тыл, когда меня ранило, но поступить иначе мы сейчас не могли. Всюду шпионили охранники в синих мундирах. Для человека, узнавшего слишком многих узников, это могло иметь роковые последствия.

Эта так называемая тюрьма на самом деле представляла собой нижний этаж магазина. В две комнатушки было втиснуто чуть ли не сто человек. Вся обстановка живо напоминала картинку из "Справочника нью-гейтской тюрьмы", изображающую темницу **XVIII** века: грязь, кишение человеческих тел, отсутствие мебели — лишь голый каменный пол, одна скамья да несколько драных одеял, — тусклый полумрак даже днем, так как окна закрыты рифлеными железными ставнями. На запачканных стенах нацарапаны революционные лозунги: "Да здравствует ПОУМ!", "Да здравствует революция!". Это помещение уже не первый месяц использовалось как тюрьма для политических заключенных. Стоял оглушительно громкий гул голосов. Наступил час свиданий, и в комнаты набилось столько народу, что негде было яблоку упасть. Почти все посетители принадлежали к беднейшему слою трудящегося населения. Женщины развязывали жалкие узелки со съестным, принесенные своим заключенным мужьям и сыновьям. Среди узников я узнал нескольких раненых из санатория имени Маурина, у двоих была ампутирована нога. Одного из них запихнули в тюрьму без костыля, и он прыгал на одной ноге. Среди заключенных я заметил мальчика лет двенадцати, не больше — очевидно, сажали даже детишек. Воздух в помещении был спертый и смрадный, каким он всегда бывает в местах большого скопления людей при отсутствии должных санитарных условий.

Копп проталкивался через толпу навстречу нам. Его пухлое краснощекое лицо выглядело почти как обычно; несмотря на окружающую грязь, его форма имела опрятный вид, и он даже ухитрился быть чисто выбритым. В окружающей толпе был еще один офицер, носивший форму Народной армии. Когда Копп, пробираясь к нам, оказался напротив него, они отдали друг другу честь. Однако жест этот показался мне трогательно-жалким. Копп, похоже, пребывал в распрекраснейшем настроении. "Ну что ж, по-моему, нас всех расстреляют", — весело сказал он. При слове "расстреляют" меня передернуло. Совсем недавно в мое собственное тело вошла пуля, и мне живо помнилось это ощущение; не очень-то приятно думать, что это может случиться с человеком, которого ты хорошо знаешь. В то время я почти не сомневался, что всех, кто занимал важное положение в ПОУМ, в том числе и Коппа, ждет расстрел. До нас только что дошли первые слухи о гибели Нина, и нам стало известно, что ПОУМ обвиняется в измене и шпионаже. Все говорило о том, что готовится громкий инсценированный процесс с последующим массовым уничтожением видных "троцкистов". Ужасно видеть своего друга в тюрьме и знать, что ты ничем не можешь ему помочь. Ведь сделать для него я при всем желании ничего бы не смог; даже

обращаться к бельгийским властям было бесполезно: поехав в Испанию, Копп нарушил закон своей собственной страны. Я был вынужден в основном помалкивать, предоставив жене говорить за нас двоих, так как мой слабый писклявый голос тонул в общем гомоне. Копп рассказывал нам о людях, с которыми он подружился в тюрьме; о тюремщиках, среди которых попадались и славные ребята, и сволочи, оскорблявшие и избивавшие тех узников, что не умеют постоять за себя; о том, что кормят здесь "помоями". К счастью, мы догадались захватить с собой кое-какие продукты и сигареты. Затем Копп стал рассказывать, какие документы отобрали у него при аресте. Среди них было письмо из военного министерства, адресованное полковнику, командующему инженерно-саперными операциями в Восточной армии. Полицейские забрали его и отказывались возвратить; говорят, оно лежит теперь в управлении начальника полиции. Если бы удалось выцарапать его у них, это, возможно, изменило бы дело.

Я тотчас же понял, сколь важное значение это могло бы иметь. Ведь официальное письмо такого рода, содержащее рекомендации военного министерства и генерала Посаса, подтвердило бы факт благонадежности Коппа. Но как доказать, что такое письмо есть? Если в управлении начальника полиции письмо вскроют, его наверняка уничтожит кто-нибудь из полицейской шатии. Только один человек мог бы, пожалуй, вытребовать письмо из полиции — офицер, которому оно было адресовано. Копп уже подумал об этом и написал письмецо, которое попросил меня вынести из тюрьмы и отправить по почте. Но ведь явно будет быстрей и надежней, если я пойду к этому офицеру сам. Оставив жену с Коппом, я выскочил наружу и — после долгих поисков — нашел такси. Время, я знал, сейчас — это все. Было около половины шестого; полковник, вероятно, уйдет с работы в шесть, а до завтра с письмом может случиться что угодно: его могут или уничтожить, или просто затерять в бумажном хаосе — ведь горы документов, вероятно, растут по мере того, как арестовывают одного неблагонадежного за другим. Служебный кабинет полковника помещался в здании Военного управления на набережной. Когда я взбежал по ступенькам подъезда, часовой-штурмгвардеец перегородил вход винтовкой с длинным штыком и потребовал: "Ваши документы!" Я помахал перед его лицом своим свидетельством об увольнении; как видно, он не умел читать и, чтя непонятную и таинственную власть "документов", пропустил меня внутрь. Военное управление представляло собой громадный муравейник со сложным лабиринтом коридоров, внутренним двориком посредине и сотнями служебных кабинетов на каждом этаже. Ну и как уж водится в Испании, никто не имел ни малейшего понятия о том, где находится нужный мне кабинет. Я без конца твердил: "El coronel... jefe de ingenieros, Ejército del Este"* Люди улыбались в ответ и учтиво пожимали плечами. Все, кто высказывал какие-то соображения о том, где искать кабинет полковника, посылали меня в противоположные стороны: поднимитесь по этой лестнице, спуститесь по той лестнице, прямо по коридору. Бесконечно длинные коридоры закан-

---

* Полковник... начальник инженерной службы, Восточная армия (*исп.*).

чивались тупиками. А время уходило. У меня появилось престранное ощущение, что все это снится мне в кошмарном сне: я ношусь вверх-вниз по лестницам; туда и сюда снуют с таинственным видом какие-то люди; я бросаю через открытые двери беглые взгляды на неубранную внутренность кабинетов с разбросанными всюду бумагами, слышу доносящийся оттуда стук пишущих машинок; меня терзает сознание, что время бежит, а жизнь человека, может быть, висит на волоске.

Все же до нужного кабинета я добрался вовремя, и меня, к некоторому даже удивлению с моей стороны, согласились выслушать. Самого полковника я не видел, но ко мне вышел в приемную его адъютант или секретарь, миниатюрный стройный офицер в изящно сидящей форме и с большими косящими глазами. Я принялся излагать свое дело. Так и так, я пришел сюда от имени своего старшего офицера, майора Хорхе Коппа, который был послан со срочным заданием на фронт и которого по ошибке арестовали. Письмо полковнику имеет конфиденциальный характер и должно быть безотлагательно возвращено. Я служил с Коппом много месяцев, это офицер высочайшей репутации, его арест — явная ошибка, полиция приняла его за кого-то другого и т.д. и т.п. в том же роде. Особенно я упирал на срочность задания, с которым Коппа послали на фронт, зная, что это сильнейший из моих доводов. Но в моих устах эта история звучала, наверное, довольно странно, тем более что мой отвратительный испанский язык в критические моменты переходил во французский. Хуже всего было то, что голос у меня почти сразу сел, и, только до предела напрягая его, я мог издавать какое-то кваканье. Я с ужасом ожидал, что голос пропадет совсем и маленькому офицеру надоест вслушиваться. Интересно, как объяснил он себе странность моей дикции: что перед ним сидит пьяный или просто человек с нечистой совестью?

Как бы то ни было, он терпеливо слушал меня, часто кивал головой и выражал осторожное согласие с тем, что я говорил. Да, похоже на то, что могла произойти ошибка. В этом деле, конечно, надо разобраться. **Mañana...** Нет, только не **mañana,** запротестовал я. Дело не терпит отлагательства; Копп уже должен быть на фронте. И снова офицер, по-видимому, согласился. Затем последовал вопрос, которого я страшился.

— А этот майор Копп — в какой части он служил?

— В милиции ПОУМ. — Ужасное слово было произнесено.

— ПОУМ!

Как бы я хотел передать интонацию его возгласа! Он был явно поражен и встревожен. Здесь надо напомнить, как смотрели на ПОУМ в тот острый момент. Психоз шпиономании достиг апогея; вероятно, все благонамеренные республиканцы на день-другой уверились в том, что ПОУМ и впрямь представляла собой гигантскую шпионскую организацию, состоящую на службе у Германии. На офицера Народной армии мое сообщение произвело впечатление разорвавшейся бомбы. Его темные косящие глаза изучали мое лицо. После еще одной долгой паузы он медленно проговорил:

— Вы сказали, что воевали вместе с ним на фронте. Значит, и сами вы служили в милиции ПОУМ?

— Да.

Он повернулся и нырнул в кабинет полковника. Из-за двери

доносились возбужденные голоса. "Все кончено", — мелькнуло у меня в голове. Письмо, отобранное у Коппа, теперь не вернуть. Больше того, меня вынудили признаться, что я тоже служил в ПОУМ; они наверняка позвонят в полицию, и меня арестуют, просто чтобы добавить еще одного "троцкиста" к остальной компании. Вскоре, однако, офицер снова вышел в приемную, поправляя фуражку, и строгим жестом велел мне следовать за ним. Мы шли в управление начальника полиции. Дорога была длинная — двадцать минут ходьбы. Маленький офицер решительно шагал впереди меня четким строевым шагом. За весь путь мы не обменялись ни единым словом. И вот мы в управлении начальника полиции. Перед дверью в его кабинет толпились мерзавцы самой отвратительной наружности, явно полицейские шпики, доносчики и шпионы всех сортов. Маленький офицер вошел внутрь; начался разговор на повышенных тонах, который тянулся томительно долго. Было слышно, как за дверью повышаются в яростном споре голоса; мне живо рисовались в воображении резкие жесты, пожимания плечами, удары кулаком по столу. Было очевидно, что полиция отказывается отдать письмо. Наконец офицер появился на пороге — возбужденный, покрасневший, но с большим служебным конвертом в руке. Это было письмо, конфискованное у Коппа. Мы одержали маленькую победу. Правда, как выяснилось потом, это ровным счетом ничего не меняло. Письмо было честь честью вручено адресату, но военное начальство Коппа не имело никакой возможности вызволить его из тюрьмы.

Офицер обещал мне, что письмо будет передано по назначению. А как же насчет Коппа? — спросил я. Разве не можем мы добиться, чтобы его освободили? Офицер пожал плечами. Это совсем другое дело. Им ведь не известно, за что арестован Копп. Он может только заверить меня, что будут наведены соответствующие справки. Говорить больше было не о чем, пришла пора прощаться. Мы слегка поклонились друг другу. И тут произошло нечто удивительное и трогательное. Маленький офицер, мгновение поколебавшись, шагнул ко мне и пожал мою руку.

Не могу передать, как глубоко растрогал меня его поступок. Казалось бы, какой пустяк, но это не было пустяком. Надо представить себе царившую тогда атмосферу — ужасную атмосферу подозрительности и ненависти, когда всюду циркулировали лживые измышления и слухи, а плакаты кричали со щитов, что я и все подобные мне — фашистские шпионы. И надо еще помнить, что сцена эта происходила перед дверьми кабинета начальника полиции на глазах у гнусной шайки доносчиков и провокаторов, любому из которых могло быть известно, что меня "разыскивает" полиция. Это было все равно, что на людях обменяться рукопожатием с немцем во время мировой войны. Наверное, он решил про себя, что на самом деле я не фашистский шпион, но все равно пожать мне руку было благородным жестом с его стороны.

Я привожу этот факт, пусть даже он покажется тривиальным, потому что он тем не менее характерен для Испании: испанцам свойственны подобные всплески благородства в худших из обстоятельств. Об Испании у меня сохранились самые скверные воспоминания, но зато очень мало дурных воспоминаний об испанцах. Всего пару раз, помнится, я был по-настоящему сердит на

испанца, да и то, когда я оглядываюсь теперь назад, мне кажется, что в обоих случаях не прав был я сам. Испанцам, вне всякого сомнения, присуще великодушие, то благородство души, которое принадлежит иному, не **XX** веку. Это дает надежду на то, что в Испании даже фашизм мог бы принять сравнительно нежесткую и терпимую форму. Испанцам мало свойственна та отвратная деловитость и последовательность, в которых нуждается современное тоталитарное государство. В качестве своеобразной маленькой иллюстрации, подтверждающей это, приведу случай, происшедший несколькими днями раньше, когда полицейские производили обыск в номере моей жены. Вообще, этот обыск представлял собой очень занятный спектакль, и я хотел бы его видеть, хотя, быть может, лучше, что я его не видел: глядишь, потерял бы самообладание.

Полицейские производили обыск в патентованной манере ОГПУ или гестапо. Глубокой ночью громко замолотили в дверь, и шестеро мужчин быстро вошли в комнату, зажгли свет и, действуя по явно согласованному заранее плану, устремились каждый на свое место. Затем они с невероятной тщательностью обыскали обе комнаты (спальню и примыкающую ванную): простукивали стены, поднимали ковры, осматривали пол, прощупывали шторы, шарили под ванной и под радиатором, высыпали содержимое каждого выдвижного ящика, каждого чемодана, проверяли на ощупь и подносили к свету каждый предмет одежды. Они забрали с собой все бумаги, в том числе и извлеченные из мусорной корзины, а также все наши книги в придачу. Находка "Майн кампф" Гитлера во французском переводе вызвала у них пароксизм подозрительности. Не имей мы других книг, эта находка оказалась бы для нас роковой. Разве не ясно, что человек, читающий "Майн кампф", — наверняка фашист? Однако в следующее мгновение они наткнулись на брошюру Сталина "О мерах борьбы с троцкистами и иными двурушниками", которая несколько охладила их пыл. В одном из ящиков стола они обнаружили несколько пачек папиросной бумаги. Так каждую пачку они не поленились перебрать по листочку, внимательно осматривая их с обеих сторон в поисках записей. Процедура обыска заняла у них около двух часов. И за все это время они *так и не обыскали постель!* В постели, пока шел обыск, лежала моя жена; очевидно, что под матрасом можно было спрятать полдюжины пистолетов-пулеметов, а под подушкой — целую троцкистскую библиотеку. Однако сыщики не притронулись к кровати, даже не заглянули под нее. Я не могу поверить, что так принято действовать по инструкциям ОГПУ. Имейте в виду, что полиция почти полностью находилась под контролем коммунистов и что полицейские, производившие обыск, сами, наверное, являлись членами компартии. Но, будучи испанцами, они не могли заставить себя вытряхнуть из постели женщину. Для них это было слишком. Они просто молчаливо проигнорировали эту часть своей работы, лишив тем самым всякого смысла весь обыск.

Той ночью Макнэр, Коттман и я улеглись спать в зарослях высокой травы на краю заброшенной строительной площадки. Ночь выдалась не по-летнему холодная, и выспаться никому из нас не удалось. Помню долгие гнетущие часы, проведенные без дела в ожидании, когда можно будет согреться чашкой кофе.

Мы вели какое-то странное, безумное существование. Ночью

мы были преступники, зато днем — богатые английские туристы, каковыми, во всяком случае, старались казаться. Даже после ночлега под открытым небом бритье, ванна и начищенные ботинки чудесно преображают вашу внешность. Теперь безопаснее всего было выглядеть как можно более буржуазно. Мы стали часто посещать фешенебельные жилые кварталы города, где нас не знали в лицо, захаживали в дорогие рестораны и держались с официантами, как подобает истым англичанам. Впервые в жизни я начал писать лозунги на стенах. В коридорах нескольких шикарных ресторанов появилась на стенах надпись "Да здравствует ПОУМ!", выведенная самыми большими буквами, какие я только мог нацарапать. Хотя формально я жил все это время на нелегальном положении, у меня не было ощущения грозящей опасности. Слишком уж нелепой казалась вся ситуация. Я сохранял неискоренимое убеждение англичанина, что тебя не могут арестовать, раз ты не нарушал закона. Нет ничего опасней этого убеждения во время политического погрома. Уже был выписан ордер на арест Макнэра, да и фамилии остальных из нас, возможно, фигурировали в черном списке. Беспрерывно продолжались аресты, облавы, обыски; практически все наши знакомые, за исключением тех, кто все еще воевал на фронте, оказались к этому времени в тюрьме. Полицейские даже производили обыски на борту французских пароходов, периодически забиравших беженцев, и хватали подозреваемых "троцкистов".

Благодаря любезности британского консула, которому мы, наверное, доставили много хлопот на той неделе, нам удалось выправить паспорта. Теперь следовало не медля уезжать. Ближайший поезд до Пор-Бу отправлялся по расписанию в половине восьмого вечера — значит, можно было ожидать, что он отойдет, как обычно, с часовым опозданием, около половины десятого. Мы условились с женой, что она заранее закажет такси, затем соберет вещи, оплатит счет и покинет гостиницу в самый последний момент. Если она предупредит служащих гостиницы о своем отъезде слишком рано, те наверняка пошлют за полицией. Я добрался до вокзала около семи и узнал, что поезд уже десять минут как ушел. У машиниста, как водится, изменились планы. По счастью, я успел вовремя предупредить жену. Следующий поезд шел завтра рано утром. Макнэр, Коттман и я поужинали в привокзальном ресторанчике и с помощью осторожных расспросов выведали, что хозяин ресторанчика — член НКТ и настроен по отношению к нам дружественно. Он сдал нам номер с тремя постелями и забыл предупредить полицию. В первый раз за пять суток я смог поспать без одежды.

Наутро жена удачно улизнула из гостиницы. Отправление поезда задержалось примерно на час. Я воспользовался этим временем, чтобы написать длинное письмо в военное министерство, в котором изложил обстоятельства дела Коппа: что его, вне всякого сомнения, арестовали по ошибке; что он был послан со срочным заданием на фронт, где необходимо его присутствие; что множество людей может засвидетельствовать его полную невиновность и т.д. и т.п. Не знаю, прочел ли кто-нибудь это послание, написанное на листках, выдранных из блокнота, корявым почерком (у меня все еще были частично парализованы пальцы) и на еще более корявом испанском языке. Во всяком случае, ни это письмо, ни что-то другое не возымело действия. Сейчас, ког-

да я пишу эти строки, через полгода после ареста Коппа, он (если только его не расстреляли) все еще сидит в тюрьме, без суда и следствия. На первых порах мы получили от него два-три письмеца, которые были тайком вынесены из тюрьмы освободившимися заключенными и отправлены по почте из Франции. Они рисуют все ту же картину: содержание в грязных, темных застенках, плохое и недостаточное питание, серьезная болезнь как следствие скверных тюремных условий и отсутствия всякой медицинской помощи. Все это подтверждается свидетельствами, полученными мною из ряда других источников, английских и французских. А потом Копп исчез в одной из "секретных тюрем", с которыми, по-видимому, невозможна какая-либо связь извне. Он разделил судьбу десятков, если не сотен иностранных граждан и бессчетных тысяч испанцев.

В конце концов границу мы пересекли без всяких инцидентов. В поезде были вагон первого класса и вагон-ресторан, первый вагон-ресторан, который я видел в Испании. До последнего времени в Каталонии ходили поезда с вагонами только одного класса. Два детектива шли вдоль состава, переписывая фамилии иностранцев, но, когда они увидели нас за завтраком в вагоне-ресторане, это, кажется, убедило их в нашей респектабельности. Странно, как все переменилось. Еще полгода назад, в период верховенства анархистов, респектабельным считалось выглядеть по-пролетарски. Когда я ехал из Перпиньяна в Сербер, направляясь в Испанию, коммивояжер-француз, мой сосед по купе, со всей серьезностью убеждал меня: "В Испанию нельзя ехать одетым так, как вы. Снимите-ка этот воротничок и галстук. Не то с вас сорвут их в Барселоне". Он несколько преувеличивал, но его слова показывают, какой виделась тогда Каталония. И действительно, на границе анархисты-пограничники отправили обратно шикарно одетого француза и его жену — по-моему, только потому, что у них был слишком буржуазный вид. Теперь все перевернулось: наш буржуазный вид давал единственный шанс на спасение. В отделе контроля паспортов на границе проверили, не значимся ли мы в картотеке разыскиваемых, но благодаря неоперативности полиции наши фамилии, в том числе и Макнэра, там благополучно отсутствовали. Нас обыскали с головы до ног, но ничего компрометирующего мы при себе не имели, если не считать моих документов об увольнении, но обыскивавшие меня карабинеры, слава Богу, не знали, что 29-я дивизия была подразделением ПОУМ. И вот мы прошли через барьер, и я снова оказался, ровно через полгода, на французской земле. Единственными сувенирами, которые я вывез из Испании, был бурдюк да еще маленькая железная лампа. Я подобрал ее в разрушенной крестьянской лачуге, и это каким-то чудом сохранилось в моих пожитках. Арагонские крестьяне заправляют такие лампы оливковым маслом. По форме своей они являются почти точными копиями терракотовых светильников, применявшихся римлянами две тысячи лет тому назад.

И все же, как выяснилось, наш отъезд не был чрезмерно поспешным. В первой же газете, которую мы увидели, объявлялось об аресте Макнэра по обвинению в шпионаже. Испанские власти чуточку поторопились с этим объявлением. По счастью, "троцкизм" не является преступлением, влекущим за собой обязательную выдачу преступника.

Интересно, что подобает первым долгом сделать человеку, после того как он, приезжая из охваченной войной страны, ступает на мирную землю? Лично я первым делом бросился к табачному киоску и накупил столько сигар и сигарет, сколько смог втиснуть в свои карманы. Затем все мы отправились в буфет и выпили по чашке чаю, первой чашке чаю со свежим молоком за многие месяцы. Прошло несколько дней, прежде чем я привык к мысли, что сигареты можно купить в любой момент, когда захочется. Мне все казалось, что я увижу двери табачной лавки на запоре, а в витрине прочту категорическое объявление: "No hay tobaco" — "Табака нет".

И вот — Англия. Пейзажи южной Англии за окном вагона дышат довольством и покоем. Даже не верится, что где-то там в мире что-то происходит: землетрясение в Японии, голод в Китае, революция в Мексике. Не волнуйтесь, молоко завтра будет оставлено у вашей двери, "Нью Стейтсмен" как обычно выйдет в пятницу... А за окном проплывает Англия, какой я ее помню с детства: полевые цветы на откосах, сочные луга с пасущимися крупными сытыми конями, сонные речки в зарослях ивняка, зеленые кроны вязов, дельфиниумы в садиках... Потом лондонские пригороды, баржи на грязной реке, знакомые улицы, афиши крикетных матчей, мужчины в котелках, голуби на Трафальгар-сквер, красные автобусы, синие мундиры полисменов — вся Англия, погруженная в глубокий-глубокий сон, от которого, боюсь, мы не очнемся, покуда нас не разбудит грохот разрывов.

Читайте в четвертом выпуске:

Эрик КРИСТИ
Полицейские пули

Роберт БРУТТЕР
Наследство по заказу

Владимир СОЛОВЬЕВ
Елена КЛЕПИКОВА
Юрий Андропов: тайный ход в Кремль

Франсуа ВИДОК
Мемуары

6 р. 90 к.

ISSN 0235-6686

Читайте в этом выпуске:

Дик Фрэнсис. НЕРВ

Не все в порядке в королевстве скачек. Прямо на ипподроме застрелился классный жокей Арт Мэтьюз. Его молодой коллега Роб Финн затевает самостоятельное расследование...

Ласло Дюрко. ПОД СЕНЬЮ СМЕРТИ

Профессией Йована Кина долгое время была охота на людей.
За ним тоже охотились.
Но вот уже несколько лет охота идет только за ним.
Кин чувствует, что стареет.
Но без чувства опасности ему жизнь — не жизнь.

Феликс Розинер. ЛИЛОВЫЙ ДЫМ

Ионке Янкелявичусу казалось, что события тех четырех лет, прошедших после страшной войны, навсегда ушли из его жизни. Но вот уже скоро год, как стали приходить эти письма — из Чикаго, Кливленда, Иерусалима, Филадельфии... И снова из небытия возникает слабый огонь сквозь туман и дым лиловый над пеленой тумана... Но вот огонь становится ярче — и из глубин памяти всплывают четыре безумных года меж смертью и жизнью, меж любовью и ненавистью...

Новости

1991

3

ДЕТЕКТИВ и ПОЛИТИКА